Леонид Залата

Далеко в Арденнах

Пламя в степи





Леонид Залата

Далеко в Арденнах

Пламя в степи

Роман. Повесть

Авторизованный перевод с украинского
Николая Родичева



Москва Советский писатель 1984

ББК 84Ук7
З 22

Художник *Владимир Фатехов*

Залата Л.
З 22 Далеко в Арденнах. Пламя в степи: Роман. Повесть. Пер. с укр. — М.: Советский писатель, 1984. — 448 с.

В романе «Далеко в Арденнах» рассказывается о советских воинах, которые совместно с патриотами Польши, Бельгии, Франции и других стран героически сражались с гитлеровцами в глубоком тылу врага. Многие страницы произведения посвящены самоотверженному труду колхозников в годы войны.

В повести «Пламя в степи» показана борьба комсомольцев-подпольщиков Приазовья с фашистскими захватчиками.

З $\frac{4702590200-355}{083(02)-84}$ 352—85 ББК 84Ук.7



Роман

Не опасности я люблю. Я люблю жизнь... Хотя человеческая жизнь и дороже всего, мы поступаем так, словно в мире существует нечто более ценное, чем человеческая жизнь. Но что же это?..

Антуан де Сент-Экзюпери

ПРЕЛЮД

1

Дым стлался низко над землей, глаза слезились, черной мошкарой в воздухе летала сажа. Горели скирды. Солома, мокрая после ночного дождя, трещала, выбрасывая красные клочья. Справа, на склоне холма, чадил подбитый немецкий танк.

— Чижов!

— Я, товарищ лейтенант!

— Ваша работа?

— Забаштанский стащил с него обувку. Он и заплясал на одной ноге. А я уж потом, товарищ лейтенант, для надежности...

Щербак нахмурился.

— Обувку... На одной ноге... Да еще эти ваши усы... Вы, старшина, будто до сих пор в колхозной бригаде. Иногда при высоком начальстве такое ляпнете... Стало быть, Забаштанский? Хвалю... Выберемся из окружения — представлю к ордену. Обоих. А сейчас прикажите, чтобы углубили окопы. А я — к комбату. Ясно?

— Так точно, товарищ лейтенант! Куда яснее! А только я бы не советовал...

На обветренном, по-цыгански смуглом лице Щербака резко обозначились желваки.

— Старшина Чижов! Опять вы за свое? В конце концов, кто здесь командир — я или вы?

— Известное дело, вы, товарищ лейтенант. И все-таки...

— Что «все-таки»? Ну, что?

— Не попрет немец снова в лоб, это факт несомненный. Обойдет, как вчера. Так и скажите комбату.

Щербак снял влажную от пота пилотку, повертел в руке, зыркнул по сторонам пронизывающе черными гла-

зами: не прислушиваются ли солдаты к разговору. Покачал головой:

— Вы, старшина, хотя бы при людях меня... Я, разумеется, ценю ваш опыт и где-то наедине...

— Лейтенанта Щербака к комбату!

— Вот... Слышал? Всыплет мне майор за опоздание — это уж факт бесспорный, как говорил один мой учитель. Ну, я пошел, а вы приказание мое все же выполните.

Щербак старательно натянул на лоб пилотку и, прижав к груди автомат, побежал вдоль траншеи.

— Старшина, слышь, старшина...

— Чего тебе?

— Люди интересуются: о чем это вы с лейтенантом шушукались?

Чижов смачно затянулся самокруткой, затрещала махорка, казалось, что это трещат его усы — колючие, на кончиках рыжие, и с досадой сплюнул под ноги.

— Лейтенант о тебе допытывался.

Чубатый Забаштанский с перепачканным сажей лицом недоверчиво передернул плечами:

— Обо мне?

— Вот именно. Что это за привидение, говорит, из какой печки оно выползло?

Солдаты хохотнули.

— Расчистить окопы! — проворчал Чижов. — Через десять минут проверю.

Ветер сменил направление, дымовые хвосты поплыли на запад и заволокли солончаковую балку, из которой еще недавно роту Щербака атаковала немецкая пехота под прикрытием двух танков.

Чижова это беспокоило. Он был почти уверен, что враг уже пошел в обход, но теперь подумал, что немецкое командование могло воспользоваться удобным случаем, чтобы скрытно сосредоточить силы для новой атаки. Сидя здесь, за Донцом, в окопе, он был далек от штабов и не знал да и не мог знать того, что знали они, однако своим рассудительным мужицким умом давно уже дошел: наступление захлебнулось окончательно. Вот уже несколько дней полк месил раскисшую землю, зарывался в нее, отбивал атаки и снова отступал. Бойцы были измотаны боями и, чего там скрывать, удручены неудачами. Еще недавно они верили, что погонят фашистов без передышки до самого Днепра, поскольку наступление поначалу и в самом деле развивалось успешно.

Ночью полк вынужден был отойти за Донец, так как пришло сообщение о том, что враг ворвался в Изюм, а это грозило полным окружением. Правда, потом разошелся слух, что наши войска снова отбили город, однако никто ничего не знал наверняка.

Чижов наблюдал, как подсохшие брустверы покрываются под лопатами бойцов свежей глиной, и думал о лейтенанте Щербаке. «Напрасно он беспокоится о своем авторитете. Солдаты ему верят, хотя между собой и называют петушком. . .»

. . .Тишина взорвалась яростной стрельбой на левом фланге. Старшина был почти готов к такому развитию событий — с левым соседом со вчерашнего дня не было связи. Возможно, капитану Таратуте никто ночью не передал приказа об отступлении и его рота осталась на прежних позициях за Донцом. Если это действительно так, то теперь она отрезана от своих, и отныне вынуждена будет рассчитывать только на собственные силы.

Немцы, наткнувшись утром на решительный отпор, пошли-таки в обход, как это делали уже не раз. Поэтому в недавнем споре с лейтенантом Чижов оказался прав. Однако сейчас это нисколько не польстило его самолюбию, даже наоборот — лучше бы он ошибся.

Одного не мог понять старшина — куда подевались разведчики, которых лейтенант отправил на левый фланг еще два часа тому назад. . .

Прибежал запыхавшийся Щербак.

— В бой не вступать! Рота, за мной! . .

Ноги скользили на мокрой траве, глаза слепило солнце.

— Приказано прорываться к лесу. На соединение с первой ротой. . . Прижмут к речке — беда. . . Вы меня слышите, Чижов?

— Слышу. . .

В воздухе висело хриплое дыхание солдат, посвистывали пули.

Старшина бежал, чуть поотстав от Щербака, словно прикрывая собой его сзади. Он и сам не ведал, как привязался к молодому лейтенанту. Не имея детей, он просто не знал, какие они, отцовские чувства. Заметив, что Щербак очень любит бриться, Чижов раздобыл пакет трофейного сухого спирта и каждый раз разогревал лейтенанту воду, чтобы затем украдкой, пряча от самого

себя непонятное умиление, наблюдать, как тот старательно скребет подбородок, на котором, по правде говоря, и скрести-то нечего. Когда же в роте из офицеров остался один Щербак, старшина поклялся, что ни за что не даст ему погибнуть. Собственно, клятвы как таковой он не давал, но, зная, как не любит кланяться пулям по-мальчишески горячий лейтенант, в бою не отступал от него ни на шаг.

Рота уже приближалась к лесу, когда справа из-за пригорка неожиданно просвистели вражеские мины. Чижов хотел было спросить лейтенанта о комбате, он слышал, что вчера его ранило. Именно в этот миг воздух раскололся, в лицо дохнуло жаром, как из печи, и тут же свет перед глазами старшины закружился. Чижову показалось, что он падает с коня, ему даже почудилось ржание. Наверняка конь сейчас отбежал и косится на пустое седло, а он падает, падает — и нет конца этому падению, будто внизу не земля, а бесконечная пропасть. На самом же деле старшина лежал на земле, уткнувшись лбом в какую-то лужу и протянув обе руки вперед, к лесу...

Пришел в себя Чижов лишь к вечеру. В ушах звенело, словно кто-то неподалеку монотонно бренчал на одной струне; старшина подумал, что так оно и есть на самом деле. Вокруг стояла удивительная тишина — ни стрельбы, ни голосов. Невыносимо болела голова. Осколок мины прошелся у виска и срезал как бритвой кусок кожи вместе с волосами. Руки чем-то придавило. Чижов хотел было потянуть их к себе и не смог. Когда же наконец ему это удалось, старшина с ужасом увидел, что вытащил их из-под Щербака. Серое, иссеченное землей и порохом лицо лейтенанта было без признаков жизни, однако глаза его были закрыты, и это давало возможность на что-то надеяться, так как Чижов знал, что солдаты редко умирают с закрытыми глазами.

Странное чувство охватило старшину, когда он понял, как жестоко судьба пошла навстречу его желанию не расставаться с Щербаком. Рота наверняка уже прорвалась к лесу и теперь поспешно выходит из окружения. Чижову стало жаль себя, а еще больше — Щербака; будь они сейчас среди солдат, все складывалось бы совсем иначе — шли бы донецкими балками и косогорами или же закапывались в землю, чтобы снова и снова отбивать вражеские атаки.

Эти мысли промелькнули в его голове с невероятной быстротой, скорее это были даже не мысли, а видения. Он словно воочию увидел перед собою свою роту, испачканное сажей лицо Забаштанского и одновременно себя рядом с лейтенантом на грязном, изрытом снарядами солончаке. Это было удивительно — видеть себя со стороны.

И тут Чижов услышал голоса. Голоса немцев. Солнце зацепилось за бугор именно в том месте, откуда шли враги, слепило глаза, и потому старшина не мог разглядеть, сколько их и куда они направляются.

Чижов и сам не знал, зачем он это делает, а может быть, и знал, когда торопливо стаскивал со Щербака портупею и гимнастерку, комками вязкой глины забрасывал их в рваной воронке. Ему хватило еще сил доползти до автомата. И теперь он лежал, как и следует солдату, привычно прижавшись к спасительной земле. Пересохшие губы шевелились, словно шептали какую-то молитву. Но странная то была молитва, если бы кто-нибудь смог ее услышать:

— Идите сюда, идите ближе, гостюшки... Сейчас угощу я вас калеными орешками. Да такими, каких и моя Груня не жарила. Идите, милые, мать вашу...

Срезанный осколком клок волос повис перед глазами Чижова, он отвел его в сторону и тут же заскрежетал зубами от боли. Эта боль сверлила мозг и растекалась по всему телу невыносимым огнем. Старшине вдруг почудилось, что лежит он на горячем астраханском песке, а мимо него, покачиваясь на волнах, плывут круглые, как глобусы, полосатые арбузы. В этих арбузах таится желанная сладкая прохлада. Он тянется к ним руками и никак не может дотянуться...

2

Мама! Я понимаю твое горе. Ты думаешь, что меня убили, и белый свет стал черным в твоих глазах. Уж я-то знаю, кем был я для тебя после смерти отца! Помню, как куркули по-звериному мучили его. Ты просила их о пощаде, а он хрипел из последних сил: «Не кланяйся, не кланяйся гадам!..» Ты, наверное, наложила бы на себя руки, но у тебя был еще я, твой сын-замарашка, ради которого ты обязана была жить.

Вдвоем с тобой мы бросаем на отцовский гроб землю. Я до сих пор слышу, как сухие комья стучат о доски.

Мы сыплем и сыплем, пока не вырастает холмик, такой же, как и другие рядом, и вместе с тем не такой... Под ним лежит мой отец.

«Поплачь, — говорит тетка Кылына, — легче будет».

Но твои глаза сухие и блестящие, словно слезы в них испарились...

«Где же это видано, чтобы могила была без креста?.. Опомнитесь!» — упрекает какая-то бабка.

«Нет, нет, он бы гневался...» — шепчешь ты.

Потом ты плакала тоскливыми вдовьими ночами, пряча в подушку слезы. Я и поныне не знаю, почему ты прятала их от меня, может, не хотела ранить мое детское сердце. Я не утешал тебя, я боялся даже шевелиться, так как помнил совет тетки Кылыны. Я еще не понимал, что горе, разделенное на двоих, осилить легче, чем в одиночку, и никогда не заводил с тобой разговора об отце. Так мы и носили в сердце черный камень — ты свой, я свой, — делая вид, будто нет этого камня, будто не душит он нас обоих.

Лишь однажды ты не смогла утаить от меня своих слез, я увидел их, и с того дня наступило просветление.

В то время я ходил уже в школу. Учился старательно. И не потому, что очень любил занятия, — боялся причинить тебе горе, а это для меня было страшнее, чем плохая оценка.

Прибегая вечером с колхозного поля, ты ревниво листала мои тетрадки, и твоя ласковая улыбка была для меня наивысшей наградой. Никто, никто на свете не умел так улыбаться, как ты. Куда-то исчезали с обожженного степными ветрами лица преждевременные морщинки, начинали еле заметно шевелиться брови, а на левой щеке округлялась маленькая, как горошинка, ямочка. Скорее это была не улыбка, а какой-то свет, что лился из твоих карих глаз, из уголков губ, из каждой морщинки. И я был горд оттого, что мог вызвать к жизни этот свет, хотя и делал вид, что ничего не замечаю, старательно хлебая вкусный борщ.

Как-то, вернувшись из школы, я достал из сундука отцовскую буденовку, прицепил к лямке штанов деревянную саблю и, оседлав ручку чапельника, начал гарцевать по хате. Я любил эту игру. Я мчался во главе отряда красных конников и беспощадно рубил беляков. Когда же белые были уничтожены или взяты в плен, наступала

очередь махновцев. Заканчивалась моя игра всегда одним и тем же эпизодом, который я каждый раз дополнял своим воображением.

Махновцы захватили в плен девушку, а я смело вызволял ее из рук бандитов.

«Как зовут тебя, девушка?»

«Надей».

«А меня Корнеем».

«Ты ранен?»

«А, пустое. До свадьбы заживет», — небрежно отвечал я и ловко бросал саблю в ножны.

Я знал, мама, эту историю из твоих рассказов. Этой девушкой была ты, а храбрым командиром конников — мой отец.

Закончив игру, я снова прятал буденовку в сундук. Но мне еще долго чудился свист пуль и блеск сабель, а перед глазами развевалось на ветру боевое красное знамя.

В тот раз я, видимо, слишком увлекся игрой, а может, ты пришла с поля раньше обычного. Никогда не забуду, как ты плакала, схватив меня в объятия вместе с моим «боевым конем» и деревянной саблей. Буденовка сползла мне на глаза, и я незаметно старался вернуть ее на место — я не хотел показывать тебе, что она мне еще слишком велика. Твои слезы обжигали меня, но именно с того дня в нашей хате словно посветлело. Твоя душа, как говорила тетка Кылына, оттаяла...

Ты жила для меня, ради меня, во имя меня... Теперь ты, наверное, думаешь, что и меня у тебя нет. А я живой! Живой, мама... Меня контузило, и я лежу далеко от тебя, в донецкой степи, лежу, не в силах пошевелиться, хотя сюда идут немцы.

Я не один, мама, рядом со мной старшина Чижов. Он тяжело ранен, но все равно готовится встретить врага, как настоящий солдат. Если бы ты знала, что за человек этот Чижов. Не сердись, мама, но он напоминает мне отца. Такой же рассудительный и такой же упрямый. Ты должна быть благодарна ему, мама, он берег меня в бою, как мог...

Автомат выпал у него из рук, и я не могу ему помочь. Нет ничего страшнее, чем бессилье...

А немцы уже рядом, я слышу их голоса. Кажется, их трое...

— Русские, господин унтер-офицер!

— Живые? Посмотри-ка получше!

— Кажется, живые, черт бы их побрал! Может, мы их того... Как вы считаете?

— Я не палач, Граббе, я санитар. А вы?

— Так точно, господин унтер-офицер, санитар. Но позвольте сказать, я устал, уже темнеет... Вы не современный человек. Что касается меня...

— Послушайте, Граббе... В шестнадцатом один русский всю ночь тащил господина унтер-офицера к лазарету. А мог бы этого и не делать. Между прочим, спасенный им унтер-офицер был тогда желторотиком, как вы сейчас... Вы что-нибудь поняли?

— Но...

— Ничего вы не поняли, Граббе. Ваш влиятельный папаша запрятал вас от пуль в похоронную команду. Однако на фронте летают и слепые пули. Разве не так?..

— Вы что, угрожаете мне?

— Упаси боже! Я лишь информирую вас, вы же такой еще... зеленый. И вообще господин унтер-офицер ни о чем с вами не говорил. Он в это время думал приблизительно так: а вдруг эти русские важные птички!.. Ну вот теперь я вижу, что вы меня поняли, Граббе...

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

С самого утра сыплется нудная морось. И тучек горсточка, однако, нависая над полем, они кропят и кропят уже порядком уставших женщин, убирающих картофель.

Грязные струи стекают за воротник, щекочут груди, рубашка прилипает к разгоряченному, утомленному телу, от спины поднимается пар и смешивается с дождем, с дурманящим, терпким запахом пота.

Надежда хрипло дышит, вонзая лопату в раскисшую землю, с трудом выворачивает картофельные гнезда. Все по пуду, не меньше: ноги, руки, лопата. Чем дальше, тем труднее заставлять себя вгрызаться в это месиво. А работать до самого вечера, до густых сумерек. Чтобы потом, приплетясь домой, похлебать жидкой баланды и нырнуть в блаженство, которое люди почему-то называют сном.

— А-а, пропади оно все пропадом! Не могу больше, бабоньки, хоть убейте — не могу...

Соседка Надежды падает на колени и покачивается из стороны в сторону, будто ее колышет ветром.

— Стефка... Для кого стараемся? Забыла?

У обеих землистые щеки, у обеих из-под низко повязанных платков мерцают воспаленные глаза.

— Может, и твой в окопе будет радоваться этой картошке.

Глухо хлюпают лопаты в лужах, кто-то из женщин тяжело вздыхает — одна или все сразу вместе, а может, это у самой земли перехватило дыхание.

— Ваша правда... Я сейчас... Вы не смотрите, что я такая... Я жилистая... — Глаза Стефки светлеют, словно откуда-то изнутри в них вливается давнее приятное воспоминание. — Знаете, как он называл меня? Мячиком... — Стефка зарделась, спряталась от Надежды за густыми, мокрыми от дождя ресницами. — Ой, люди-то вон уже где! Давайте догонять! И дождь угомонился, а я все пустозвоню. Не сердитесь, тетя, я сейчас... — И вслед Надежде: — А я его — дудариком, слышите? Прямо умирал за сопилкой. Ну и чудной! Правда?..

2

Черти б забрали того, кто мастерил этот вагон: ни щелочки. Будто гроб готовил, подгоняя доску к доске так, чтоб не то что свет — даже воздух не смог проникнуть вовнутрь.

Блуждают, путаются мысли, скатываются, будто горошины, капли пота, кто меньше ростом, на тех и чужой каплет; разит на весь вагон хлоркой; рты раскрыты, как у рыб, выброшенных на горячий песок.

Неизвестно, кто сумел при обыске спрятать гвоздь и как это удалось ему, но все же вот сумел, как-то удалось. Гвоздь — это счастье, это — надежда: в углу вагона уже пробита крохотная щель, и пусть в нее даже пальца не просунешь — все равно она как луч света в сплошной темноте. К ней тянутся, не света жаждут — свежего воздуха. И не мешкай тут, глотни сладкой струи поскорее да уступи место другому — очередь длинная.

Ухо Антона Щербака обжигает горячий шепот:

— Сейчас мне, наверное, и ад показался бы раем...

Антон молчит. По хриплому с присвистом голосу он узнает Федора Яворивского. Еще когда заталкивали их

в вагоны на какой-то маленькой станции, прорвался к нему этот широкоплечий великан с мускулистым, побитым оспою лицом. Обрадовался, узнав, что они почти земляки.

— Держись меня, парень.

Было в этом богатыре какое-то обаятельное радушие, что-то трудноуловимое, но неподдельное, подкупающее. И все-таки Антон молчал, с горечью вспоминая свою недавнюю доверчивость. В Житомирском пересыльном концлагере залез один такой вот в душу, младшим лейтенантом Сохатым называл себя, подговаривал на побег, выискивал единомышленников: гуртом, говорил, мол, легче будет, — а потом всех и предал... До сих пор ноют ребра у Антона от той доверчивости.

Стучат колеса, покачивается вагон, подолгу стоит на разъездах, пропуская встречные эшелоны. Дрожит, стонет земля, и тяжело становится на сердце; несутся эти встречные составы, начиненные смертями и людской бедою на фронт; уже скрипят перьями ротные писари и взрываются слезами чьи-то глаза.

Наконец дошла очередь и Антону припасть к спасительному отверстию. И закружилась у него голова, словно глотнул он не воздуха, а обжигающего, настоянного на степных травах первака...

Грузились рано утром, уже прошли сутки, день и ночь, но он выстоял, не уснул, не упал, да и некуда падать, ведь со всех сторон его поддерживают плечи, много плечей, целое братство плечей.

И снова хриплый шепот над ухом:

— Что, опьянел, землячок? Ничего, мы с тобой еще не одного фрица переживем. Дай только на свободу вырваться.

— А где она, эта свобода? — огрызнулся Щербак.

— Нас на шахты везут, в Дортмунд. Разве ты не слышал? Эх, мне бы в руки что-нибудь! Хотя бы кайло, а там видно будет...

У Антона перехватило дух:

— Это что ж? Чтобы мы им уголь?..

— Не спеши возмущаться! Значит, на фронте фрицы несут большие потери, коль им своих рук на шахтах не хватает. Вот так-то, товарищ лейтенант.

— Это кто же тебе сказал, что я лейтенант?

— Сорока на хвосте принесла. Да ты не бойся, не меня надо бояться. Я про тебя, Антон, все знаю. Чижов просил не бросать тебя в беде.

Щербак встрепенулся:

— Так он живой? Где ты его видел? Когда? Давно?

— Эх ты! Оказывается, тебя легко на крючок поймать! .. А старшина жив. Был живой. А теперь как знать? Потом обо всем расскажу.

Сердце Щербака так захлестнуло радостью, что он перестал ощущать даже вагонную духоту.

— Спасибо, друже, — пожал он соседу руку.

— Чего уж там! А в Житомире я проморгал того подлеца. Эх, жаль... Не гневайся, лейтенант...

Звякнули буфера, затопали сапоги, заскрежетали засовы. Двери пульмана широко раскрылись, и всех ослепило ударившее в прорезь, словно прожектор, висевшее вдали над лесом солнце.

Сизые дула автоматов, черные мундиры, властные окрики — все на какой-то миг исчезло, растворилось в изобилии света, воздуха, красок, будто ничего былого и не существовало. Прищуренные глаза с жадностью впитывали окружающий мир, который расчленился вдруг на части, стал как бы мозаикой, и тщетны были усилия собрать его воедино, чтобы воспринять таким, какой он есть — прекрасным и жестоким.

Они не могли понять, чего от них хотят, и поэтому посыпались из вагонов вниз на полосу бурой, смешанной с желтым песком, щебенки, за которой начиналась на равном удалении, будто отмеренная шнуром, зелень лужайки.

Двери — прямоугольник, солнце — шар, степь — плоскость... Антону вспомнился почему-то учитель геометрии, который любил отыскивать в природе соответствия геометрическим фигурам, за что и был прозван учениками Трапецией. Вся школа знала остроумную шутку: «По плоскости ковыляет Трапеция, открывает прямоугольник, заходит в куб. Смотрит — за партами тридцать шаров. Трапеция изрекает: «В кубе тридцать шаров, в каждом шаре пустота, это — аксиома...»

Удар прикладом прервал Антоновы воспоминания, возвратил его к действительности. А наяву — несколько сотен уставших, в изодранной одежде людей бежали в лог справлять естественную потребность. Наконец пестрая мозаика слилась в единую картину, все стало на свои места, и это пробуждение было как новый удар, как прозрение, причиняющее боль.

На востоке синел лес, правым крылом он нависал над чьей-то усадьбой — видна была только черепица крыши, в утренних лучах солнца она выглядела кроваво-красной, и над нею спокойно, по-домашнему вился дым, словно не было на свете войны, не взрывались бомбы и снаряды и люди не сидели в окопах в ожидании команды, не поднимались в атаку. Одинокие кусты береста вырвались далеко в луговой простор, то тут, то там драгоценными бриллиантами сверкали, переливались капли росы, на кусте шиповника сидел воробей и, не обращая внимания на крики людей, старательно расклевывал позднюю ягоду.

— Бистро! Русиш, бистро!

Все, что произошло дальше, запомнилось Щербаку урывками: какой-то невероятный калейдоскоп, хаотично смонтированная кинолента, которую он смотрел со стороны и одновременно был на ней и сам действующим лицом. Засвистели широкие солдатские ремни, запрыгали по спинам пленных медные бляхи. В воздухе повис хохот, сытый, самодовольный хохот хозяев вперемежку с резкими выкриками, похожими на брань.

Они бежали, путаясь ослабевшими ногами в луговых травах, молча стиснув зубы. И не от боли, а от унижения клокотала в их жилах кровь.

Зацепившись разорванным сапогом за свалявшиеся плети бурьяна, Антон упал рядом с кустом береста. Неистово стучало в висках, дыхание раздирало пересохшее горло. Он заполз под куст и закрыл глаза. А когда снова открыл их, то одним взглядом сразу охватил и зеленый луг, по которому рассыпались военнопленные, и шеренги солдат, с притиснутыми к животам автоматами, и цепочку коричневых вагонов с темными дисками колес на блестящих рельсах.

Длинношеий эсэсовец, на вид совсем еще мальчишка, прибивал к телеграфному столбу кусок фанеры. Пилотка сползла с его белокурого чуба, он сунул ее в карман, затем достал из другого кармана кусок мела и старательно вывел на фанере: «Hier ist das russischen Rindvich gewesen. Karantin! Zwei Wochen!» [1]

Стряхнув с пальцев меловую пыль, эсэсовец зашелся смехом, довольный своей выдумкой.

От вагонов послышалась команда.

Щербак заметил, что военнопленные, подталкиваемые в спину прикладами, плетутся к железной дороге, обходя

---

[1] Здесь побывало русское быдло. Карантин! Две недели! *(нем.)*

берест, за которым он притаился, почти невидимый в бурьяне. И если всего лишь минуту назад он не думал о побеге, потому что это было бы безумием с его стороны — на глазах у сотен людей, среди белого дня, — то теперь на него вдруг повеяло ветром свободы, и он поверил в нее, по крайней мере в ее возможность, только бы не взбрело кому-нибудь в голову свернуть к его небольшому кустику береста. Ведь тогда...

Словно подслушав его мысли, толстый неуклюжий обершарфюрер, остановившийся неподалеку и счищающий стеком грязь с блестящего сапога, действительно, немного поколебавшись, направился в его сторону. Антон похолодел. Но пока он лихорадочно раздумывал, что предпринять — оставаться на месте, притворившись, что случайно уснул, или же подскочить, схватившись за живот, — из толпы военнопленных кто-то закричал:

— Господин офицер!.. Пан!.. Да пропустите же, я к господину офицеру!

Обершарфюрер с недовольным выражением на лице остановился. Конвоиры толкали прикладами Яворивского, а он упирался и продолжал кричать:

— Хочу что-то сказать лично господину офицеру! Пустите!

— Пустить его! — гаркнул обершарфюрер. Пружинящим шагом откормленного жеребца он подошел к Федору и ткнул стеком в грудь: — Фамилий?

— Яворивский, господин офицер!

— Что надо?

— Я прошу вашего разрешения запеть песню. Их волен песня!

— А-а, русиш соловей! — шевельнул губами обершарфюрер. — Но соловьи неволь не поют! — и несколько раз ударил стеком Яворивского по лицу.

— За что, пан офицер! — обиженно скривился Федор. — Я же о песне прошу, только о песне...

— Марш, марш! — вызверился обершарфюрер. — Никс песня!

Черные проемы пульманов глотали пленных, будто пасти каких-то чудовищ. От вагонов доносилось разноголосо: «Айн, цвай, драй...»

Когда подошла очередь лезть Яворивскому, он споткнулся и упал на гравий, увлекая за собой еще двух пленных.

Конвоир сбился со счета и, зло выругавшись, ударил

Яворивского сапогом. Федор, будто прощаясь, махнул в сторону Щербака рукою и исчез в вагоне.

Только теперь Антон понял, что Яворивский видел, как он спрятался под кустом, и сделал все возможное, чтобы отвлечь внимание конвоиров от него. Но вместе с радостью в сердце Антона проникла острая боль, ему казалось, что он предал товарища, оставляя его в неволе, ведь они договорились держаться вместе, а теперь разбежались их судьбы-дороги, может быть, навсегда...

— Спасибо тебе, брат, я этого никогда не забуду,— прошептал Антон, как клятву.

Он все еще боялся пошевелиться. Уже скрежетали засовы и конвоиры бежали к своим вагонам, прозвучал свисток паровоза и зацокали на стыках рельсов колеса, а он продолжал лежать, вжимаясь в землю, не веря в свою свободу. Все, что здесь, в поле, только что произошло, ему казалось просто невозможным, и он опять закрыл глаза. И чуть было не заснул, теперь уже от немыслимой усталости, вдруг накатившейся теплой волной.

...Первое, что увидел Антон, открыв глаза, были огромные буквы на фанере. И ему снова послышался хохот, страшный хохот, от которого заклокотала в теле кровь. Он заскрипел зубами и вытер холодный пот со лба.

Теперь, в звонкой тишине, что навевала дрему, к нему вернулась способность различать звуки, от которых уже давно отвыкло его ухо: чирикал воробей, прошелестела в траве ящерица, неподалеку что-то журчало, но он не сразу догадался, что это вода. А когда догадался, встрепенулся, потому что жажда давно обжигала не только горло, а и все внутри.

Он пополз навстречу журчанию и наткнулся на ручеек, меленький, хилый, однако вода в нем была прозрачная и холодная. Он припал к ней, и вдруг ощутил, как вместе с влагою в него вливается сила и появляется жажда действовать. Ему показалось, что с тех пор, как их выпустили из вагонов на этот луг, прошла целая вечность, и конечно же очень удивился бы, а может, и не поверил, если бы ему сказали, что с момента освобождения прошло всего десяток минут.

Ему захотелось немедленно, сейчас же, что-либо совершить, чтобы доказать самому себе хотя бы, что он в самом деле свободен и может вести себя как ему вздумается. Не прячась, во весь рост он побежал к телеграфному столбу. Его черные, как у землекопа, руки вцепи-

лись в кусок фанеры с гнусными, оскорбительными словами о нем, о его товарищах.

Он топтал сорванный лист фанеры ногами, пока не искрошил его в щепки. Потный, уставший, оперся плечом о столб. Над головою гудели провода, и это гудение породило мысль, что провода, возможно, несут уже известие о его побеге. Он выругал себя за безрассудность, упал в бурьяны и пополз к лесу.

Солнце успело за это время подняться лишь на палец над синими верхушками сосен. Из невидимой трубы над красной черепичной крышей по-прежнему вилась в небо кудрявая струйка дыма.

3

Мама, я иду на запад. Сама мысль о том, что с каждым шагом я все больше и больше удаляюсь от родной земли, от тебя, причиняет мне боль, и все же я иду на запад. Я хочу добраться до Франции, а там видно будет. Это все же легче сделать, чем пересечь всю Германию, Польшу, — в моем положении очень мало шансов избежать жандармского глаза.

После моего побега прошло уже двадцать два дня. Но этот подсчет не совсем точный. Каждые новые сутки я опускал в карман обломок веточки, чтобы не утратить представления о времени, о том, как кружится вокруг меня мир, а может, и наоборот, как я сам толкусь — в заколдованном кругу. Я боялся, что, потеряв счет дням, окажусь вне времени, а это страшно, особенно когда ты один, да еще среди совсем чужих, когда в каждом встречном человеке вынужден видеть врага и прятаться от него в рвах, ямах, в лесу, где застигла опасность.

Сегодня лежал до рассвета под бетонным виадуком и вспоминал каждый прошедший день после побега.

Иду я по обыкновению ночами, а на день забираюсь в какой-нибудь укромный уголок и отсыпаюсь. Вся моя еда — одна сырая картошка. Но слава богу, что хоть этого добра вокруг меня сколько угодно.

Иногда судьба улыбается мне. На одной из лесных полянок я наткнулся на корытце с кусками соли, которую егерь, видимо, оставляет для оленей. Соль была горькая, зализанная и твердая словно камень. И все-таки это была соль. После ежедневной пресной картошки она показалась мне лакомством, и я так на радостях набросился на нее, что потом долго не мог утолить жажду.

Как-то вышел на край леса. До восхода солнца мне надо было пересечь долину, посреди которой бежала небольшая речушка. Подойдя к ней, я долго колебался: плыть через нее или поискать мостик. Лезть в воду мне не хотелось, я и так сильно за ночь продрог, искать мостик уже не было времени, и я дополз до стожка сена, сделал в нем нору, свернулся в клубок и тут же заснул.

Разбудила меня песня. Чистый девичий голос с грустью выводил:

Веют ветры, веют буйны,
Аж деревья гнутся...

По другую сторону стожка под чьими-то ногами шелестела трава.

Ой, болит мое сердечко,
А слезы не льются...

Голос звучал тихо, как-то отрешенно. Это случается, когда человек поет не для кого-то, а только для себя.

За стожком стояла впряженная в здоровенного гнедого першерона двуколка. Босоногая девушка, согнувшись под тяжестью навильника, грузила на нее сено. Икры исцарапаны, словно разукрашены розовыми черточками, в коротко подстриженных волосах запутались привядшие стебельки травы.

Девушка повернула лицо в мою сторону.

— Катя!

Неужели это имя выкрикнул я? Слово вырвалось само по себе, как инстинктивный, неподвластный контролю порыв души.

Не знаю, кто из нас испугался больше: она или я. Мы стояли, уставившись глазами друг на друга. А конь как ни в чем не бывало хрумкал травой и время от времени недовольно встряхивал головой. В такие напряженные минуты в память врезаются и самые незначительные, пустячные детали.

Это была Катя! В тот миг я нисколько не сомневался, что это была действительно Катя. Конечно, за эти годы она выросла, острые ее плечи и подбородок округлились, но смотрели на меня ее глаза: серые, дымчатые, с подсиненными белками, всегда немного влажные, таинственные, и в них, как и давно когда-то, застыл все тот же немой вопрос, только теперь к нему прибавился еще и страх.

Мне бы спросить: как ты очутилась здесь, милая дивчина из моего родного таврического села (сколько верст нас разделило?), из моей юности (неужели и у меня была юность?), разве для того, чтобы встретиться с тобой снова, мне суждено было попасть в плен к врагу, убежать, блуждать по чужой земле и прибиться вот к этому серенькому стожку сена на заброшенной лужайке?

Но я спросил о другом:

— Где же твоя коса, Катя?

Видимо, мой вопрос, а может, и мой вид вызвали не страх, а скорее сочувствие. Девушка быстро пришла в себя и даже ступила шаг вперед.

— Я не Катя, я Оляна...

— А меня ты...— Я осекся, огляделся вокруг, стыдливо провел ладонью по заросшим щекам.

И в самом деле, разве может Катя узнать в обшарпанном, давно не бритом мужчине Антошку Щербака? Чудак, неужели думаешь, что ты и поныне все тот же молодцеватый комсорг сивачевской школы, на которого заглядывались старшеклассницы, одаривая украдкой, а иногда и открыто нежными взглядами?..

— Не знаю, кто вы, и не хочу знать. Но я вижу: вы — свой, наверное, голодны... Конечно же голодны! — воскликнула она, отбрасывая в сторону вилы.

— Катя, — повторил я.

— Ах, боже ж мой, да не Катя я! Ну, откуда вы взяли?

Она даже топнула ножкой, отстаивая свое имя, однако тут же поняла, что сердиться на этого странного упрямого человека неуместно, вдруг улыбнулась, и именно эта ее улыбка, хотя и была она искренней и душевной, породила в моей душе сомнения.

Я хорошо помню, как улыбалась Катя — одними губами, даже только уголками по-детски припухлых губ, а тонкие ноздри при этом слегка расширялись, словно вдыхали запах степных васильков.

— Вы спрячьтесь здесь, неподалеку. А я скоро вернусь. Хорошо?

Она ловко, как-то по-мальчишески, взобралась на передок двуколки и натянула вожжи. Мерин послушно переступил лохматыми ногами. Двуколка выползла на малозаметную в травах колею, которую я не разглядел сразу, и покатилась вдоль речки. Наверное, где-то там, за перелеском, была невидимая отсюда ферма, а возмож-

но, и село. Еще некоторое время я слышал тонкоголосое понукание, вокруг меня простиралась безмолвная долина, за речкой начинался косогор, по которому вверх взбирались реденькие кусты, а дальше за ними — зеленел буковый лес.

Два голоса вели в душе моей спор, и я не знал, к какому из них прислушаться. Один уговаривал меня забраться снова в свою нору и ждать, чтобы еще раз увидеть Оляну, услышать ее звонкий голосок, родную речь, по которой я так соскучился, съесть из рук ее кусок хлеба. Одна только мысль о хлебе вскружила мне голову, я упал на колени и уже готов был снова зарыться в сено и ждать: будь что будет!

Но другой голос тоже не угасал, он нашептывал об опасности, убеждал меня, что это не только не Катя, а совсем другой человек, с другим сердцем и другими помыслами. Неизвестно еще, принесет ли она хлеба или же приведет полицию. А если существует такая опасность, ты обязан уходить отсюда, девушку могут в конце концов и выследить. . .

Так нашептывал мне другой голос, я проклял его и все же поднялся и через силу поплелся к речке. У меня еще хватило ума стащить с себя лохмотья, чтобы потом, на другом берегу, не стучать зубами от холода в своем мокром тряпье.

К счастью, речка оказалась мелкой, иначе я едва ли осилил бы ее быстрое течение. Я выбрался на другой берег и пополз в заросли вереска. Меня все время не покидало ощущение, что будто бы кто-то смотрит мне в спину. Добравшись до кустов, оглянулся. На песчаной косе стояла косуля и рассматривала меня нежными невинными глазами.

Как я терзался, мама, когда через какой-нибудь час, а может и меньше, на том берегу снова появилась девушка. Отсюда, с возвышения, мне хорошо было видно, как шла она лугом, делая вид, будто подбирает упавшие клочки сена, а сама что-то прятала под ним, затем долго стояла у стожка. Конечно, она догадалась, что я не поверил ей. Я не мог разглядеть ее лица, но представлял себе обиду девушки, меня так и подмывало выскочить из кустов и окликнуть ее, она услышала бы и, я уверен, прибежала бы ко мне. Но осторожность взяла верх и над моими сомнениями. И я до сих пор проклинаю себя за это недоверие чистым серым с подсиненными белками глазам. В них грусть, и укор, и нежная невинность косу-

ли, которая долго провожала меня взглядом на берегу маленькой немецкой речки.

Девушка, без конца оглядываясь на стожок сена, пошла к перелеску, а я снова остался наедине со своими воспоминаниями, сладкими и одновременно горькими...

Помнишь ли ты Катю? Впрочем, зачем я об этом спрашиваю? Но, прости, все в нашей жизни так перепуталось, куда-то отдалилось, что теперь мы словно люди без прошлого или по меньшей мере это прошлое кажется нам таким давним, что вспоминать его приходится как сон. Война бросила нас в такой водоворот, что все прежнее отступило в тень как незначительное, второстепенное, дескать, не до этого сейчас, когда мир перевернулся, когда решается судьба не отдельных людей, а целых народов...

А все же нет, неправда, ведь и живем мы, и боремся лишь затем, чтобы вернуть то прошлое из мрака к свету, из воспоминаний в реальность. Разве не так? И достаточно порой маленького толчка, чтобы все давнее (да неужто оно такое и давнее?) всплыло в памяти до мельчайших подробностей. И выясняется, что ничего-то ты не забыл, что твое прошлое так же, как и прежде, дорого тебе и, возможно, оно и осталось поныне одним из тех родников, что освежают твою душу.

Конечно же ты знаешь Катю, длинноногую девчонку, стеснительную и всегда будто немного задумчивую, ту самую, что неизвестно по каким причинам сторонилась своих шумных подружек. И может, помнишь день, когда тетка Кылына пришла к тебе по своим делам и привела эту самую девочку Катю — свою дочку.

— Ну как, подрастаешь, невестушка? — сказала тогда ты и добавила: — Давай торопись, Катенька, жених уже видишь какой вымахал!

Я был года на три старше Кати, считал себя взрослым и, может, поэтому, не подумав, ляпнул:

— Ничего, я подожду.

Тетка Кылына засмеялась и погрозила мне пальцем, а Катя просто не знала, куда деться от стыда. Весь вечер она молча просидела на лавке, и только изредка я ловил на себе ее вкрадчивый взгляд.

Этот шуточный разговор ты, возможно, и не забыла. Но ведь был и еще один, которого ты уже не слышала. А произошел он через два года, когда провожали меня в армию.

Я торопился из военкомата за вещами в дорогу, и получилось так, что у калитки встретил Катю. Только потом, позже я догадался: она искала меня. Но тогда я подумал, что встреча эта случайна — в руках портфелик, на лице беззаботность. Я был в то время еще наивным пареньком и не знал, что за беспечным видом девушка может прятать порой глубокое волнение.

Все на свете мне казалось понятным, и я даже досадовал на себя из-за этого — душа моя жаждала чего-то таинственного, неизведанного. Я считал, что родился очень поздно, все лучшее люди пережили и перечувствовали до меня, на мою долю ничего не осталось интересного, окружение мое обыденно, а потому — скучно. Одним словом, самоуверенности мне было не занимать. . .

— Антон, помнишь, ты говорил, что подождешь, пока я подрасту. Это правда?

Может, потому что спросила она об этом без всяких предисловий, я растерялся. За два года, после того шутливого разговора, я много раз видел Катю в школе и на улице, как видел десятки других людей, с которыми нас запросто сталкивает жизнь, не оставляя от этих встреч почти никаких следов. Такими вот были и наши с ней мимолетные встречи.

Мое молчание затянулось. На глаза Кати набежала тень. Я лихорадочно подыскивал нужные слова и наверняка сказал бы какую-нибудь глупость, если бы Катя не опередила меня:

— Теперь я буду ждать!

С этими словами, качнув шелковистыми косами, она прошмыгнула мимо меня. Я только успел заметить около самого воротника белого платья на шее у нее крошечную, в пушку́, родинку, похожую на божью коровку, которая будто присела отдохнуть.

Молча, так и не успев вымолвить ни слова, я посмотрел вслед Кате. Хотелось окликнуть ее, чтобы она обернулась, возможно, тогда я побежал бы за нею и остановил бы ее и что-нибудь сказал, не знаю что, но наверняка что-то совсем не шуточное. Но девушка не обернулась. Как я понял потом, не могла обернуться.

Когда же фигурка Кати исчезла за поворотом, во мне будто что-то оборвалось. И пожалуй, именно в тот миг я начал понимать, что жизнь наша не такая уж и простая штука, она таит в себе неизведанные чувства и глубины. . .

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Уполномоченный эвакослужбы шумно вздохнул, словно свалил с плеч тяжелый мешок, и подморгнул на прощанье председателю колхоза Цыганкову: дескать, дальше уж твоя забота...

Машина дохнула клубком гари и покатилась к воротам. Вслед ей метнулась лохматая собачонка, раскрыла пасть, чтобы загавкать, но почему-то передумала и лениво поплелась к мусорной яме.

— Ну вот, братцы, и прибыло нашего полку, — сказал Цыганков без особого энтузиазма в голосе. Правый рукав его кожушка торчал наискосок за поясом, и от этого казалось, что Цыганков все время тянется рукою к пистолету.

«Братцы» — толпа пестро одетых женщин — молчали. А дети смотрели на них из-под шапок и косынок какими-то безразличными, ко всему уже привыкшими глазами. Они ничего не просили, эти глаза: в них было что-то недетское, отчуждение и боль, уцелевшие следы недавно пережитого горя и еще, может, смутные надежды...

— Прибыло, говорю, нашего полку,— с деланной бодростью в голосе повторил Цыганков и полез в карман за папиросой. — Построим им хороший дом, интернат называется, видел такой в Джагытарах. Да что там те Джагытары, мы еще лучший построим. Для таких воробышков ничего не пожалеем, верно, братцы?..

Женщины по-прежнему молчали. Им хотелось плакать, никакие слова не скажут больше, чем женские слезы. О каком там будущем интернате толкует Андрей Иванович, когда детишки притихли, стоят робкие, беззащитные и конечно же голодные.

— Тетя, я хочу писи...

Толпа всколыхнулась, будто в спину людям ударило ветром, и женщины кинулись навстречу собственному детству, да так разборчиво действовали, словно успела каждая разглядеть в табунке малышей родню...

Цыганков кричал что-то о документах. Он стыдился уже своей выдумки об интернате, потому что хорошо знал: люди расхватают прибывших ребятишек в свои семьи. Да он и сам приютил бы у себя какого-нибудь галчонка, если бы не был одиноким да еще без руки, которую оставил под Киевом, в Броварском лесу.

Надежда схватила в объятия самого маленького. Пока несла за боковую стену колхозного амбара, успела и чубчик заправить ему под шапку, и заметить, что шея у него слишком тонкая, а брови почти срослись на переносице, отчего казалось, что мальчонка все время хмурится.

— Как же тебя зовут-то?

— Пауль.

— Как? .. Что ты сказал?

— Пауль, — старательно застегивая штанишки, ответил мальчик. — Это папка меня так называет. А мама — Павликом.

В висках Надежды быстро, быстро застучала кровь, а грудь обожгло огнем, словно прислонилась она к чему-то горячему. «Немчонок. . .»

— Папка мой майор. Он сейчас на войне. У него вот такой наган. А маму бомбой убило, когда мы ехали. — Мальчик вздохнул, как взрослый: похоже, ему приходилось объяснять это не первый раз. — Только вы, тетя, не говорите папке, когда он приедет, что я плакал. Не скажете?

— Не скажу. Да ты и не плачешь... Ну, хорошо, Павлик, пошли домой, а то, видишь, мы уже одни здесь остались...

«Да что же это я делаю, бабоньки? За какие же грехи мне такое наказание? А если это и впрямь немчонок? Нет, пойду и отдам Цыганкову, пусть как хочет... Это же они, они погубили моего Антона. . .»

А ноги тем временем вели ее к воротам и натруженная рука не отпускала посиневшие от осеннего холода маленькие пальчики.

2

Давно уже остались позади Рейн и то отчаяние, что охватило было Антона на берегу реки, черной, словно текла в ней не вода, а загустевшая кровь. Может, причиной была глухая ночь — ни светлой точечки ни на земле, ни в небе. Моросил дождь, глухо шумел прибрежный кустарник, внизу плескалась черная вода.

Бредя вдоль берега, Антон споткнулся и упал, порезав до крови пальцы об острые ракушки. В голове прояснилось не сразу. Попятился на четвереньках назад, ощупывая руками, как слепец, вокруг себя землю. Рука на-

ткнулась на железную скобу, к которой была привязана тянувшаяся к воде шершавая от ржавчины цепь...

Уже на другом берегу, пустив лодку по течению, он с благодарностью подумал о немце, который, сам того не ведая, так помог ему в трудную минуту. Он даже посочувствовал неизвестному владельцу лодки. Небось какой-нибудь старый рыбак — играло воображение. Придет на рассвете на берег и не увидит лодки в привычном месте, помянет недобрым словом вора и уйдет расстроенным. Что поделаешь — война...

И тут нахлынули воспоминания. Вот он, Антошка Щербак, сидит на уроке географии, а учительница спрашивает его о реках Германии. Было ведь такое? Пожалуй, да...

Но тогда Рейн, как и многие другие европейские реки, был для него всего лишь узенькой голубой ленточкой на карте. Разве думал он в то время, что настанет час, когда ему, Антону, придется под покровом ночи и осеннего дождя, тайком переплывать эту совсем чужую для него реку на подгнившей рыбачьей лодке? И ленточка эта окажется не такой уж узенькой и безобидной...

Далеко позади ночным страшным призраком остался Рейн.

Иногда Антону казалось, что он кружится на одном и том же месте. Вчера, точно так же, как сегодня, спускался реденьким перелеском в падь, и там на рассвете его встретило лягушачьим кваканьем небольшое болотце. Предательски дрожали колени, какая-то скверная, противная слабость захлестывала его волнами, все вокруг утратило свои очертания, затуманилось, укрылось дымкой.

Вода была чистая, отстоявшаяся, хотя и отдавала гнилью. Антон пил ее, привалясь грудью на скользкую, замшелую кочку, а потом долго лежал вверх лицом, изучая над головою звезды. Они мерцали в вышине, безразличные ко всему и молчаливые, спутники его скитаний.

Когда стало рассветать, звезды начали таять на глазах, как тают снежинки, отжившие свой короткий век.

Антон выломал сухую ветку, похожую на пастушью палку, и пошел искать брод. Болотце вскоре иссякло. Дальше тянулась плотина, через которую бежала к просеке наезженная дорога.

Антон не успел ни измениться в лице, ни испугаться. Как и тогда около речушки, когда в спину ему смотрела

косуля, он почувствовал на себе чей-то взгляд и тотчас обернулся.

В нескольких шагах от него стоял человек в зеленой форме и высоких охотничьих сапогах, а из-за плеча у него торчало ружье — даже в утренних сумерках хорошо были видны два отливающих вороным блеском ствола.

— А-а-а! — закричал Антон, и — где только взялись силы! — в воздухе засвистела его палка.

В этот удар он вложил все: и свою ненависть, и свое отчаяние. И конечно, проломил бы голову проклятому немцу, который как наваждение вдруг возник на его пути к свободе. Какого черта людям не спится в такую рань?

Больше он ни о чем не успел подумать. Видел: немец отпрянул в сторону, а палка ударилась о землю у его ног и разломилась. Он качнулся от сильного взмаха и, не удержав равновесия, упал.

Хрипло дыша, лежал на земле вниз лицом и ждал выстрела...

3

Я и раньше слыхал, что в последний миг перед смертью в памяти человека с молниеносной быстротой проносится вся его жизнь, потому-то этот миг и кажется ему таким долгим.

Уткнувшись лицом в толстый слой рыжей, как ржавчина, хвои, я вдыхал терпкий запах плесени, с которым уже успел за время своих скитаний сродниться, и ждал выстрела. Какая-то машина в безумно быстром темпе плела в моем воображении бесконечную цепочку удивительно четких, словно вспышки, видений. Все, что я вспомнил, постороннему человеку показалось бы хаосом, но только не мне. В этих картинах был мир, который вобрала моя память, множество всяких мелочей, неведомо для чего сохранившихся, быть может для предсмертных минут, теперь выплеснулись из забытья. В них был я сам.

Выстрела все еще не было.

Фантастическая машина вдруг отключилась, мне даже показалось, что я слышал, как щелкнул выключатель. И только теперь мелькнула мысль, от которой меня охватил ужас еще больший, чем от ожидания выстрела: он не хочет убивать. С чисто немецкой педантичностью враги станут собирать сведения в различных инстанциях — кто я такой, откуда убежал — и в конце концов дознаются, чтобы привезти на место и уничтожить меня на глазах

моих товарищей, в назидание иным: пусть, мол, не забывают, побеги невольнику не прощаются.

Из последних сил я поднялся на ноги.

Два темных отверстия, слегка покачиваясь, будто два глаза, смотрели на меня черными зрачками. Тихо шумел утренний лес.

— Стреляй же! Чего тянешь?! — закричал я. — Живым решил взять? Награду за Ивана хочется? .. Но я не дамся живым, сволота! Не дамся! .. Стреляй! ..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Не раз она ловила на себе взгляд Андрея Цыганкова. Напрасны были попытки что-либо прочесть в том взгляде, и все же он волновал ее, вселял какую-то тревогу, а почему — и сама не знала. Что-то давно забытое, угасшее, чего она много лет не допускала в свои сокровенные мысли, вдруг пробуждалось в ней. Так подспудный корень после долгой зимней спячки ощущает вдруг живительные соки, хотя до наступления весны еще не близко и ничто вокруг, как ни присматривайся, не напоминает о ее приближении.

В первый раз Цыганков зашел к ней в воскресенье, когда она стирала в кадке Павликову рубашку, сожалея о легком цинковом домашнем корыте.

Вспомнила, как Антошка тайком от нее уволок это корыто в переполненную дождевой водой балку, а затем прискакал весь мокрый, перепуганный: «Дредноут пошел ко дну!» А она не знала — ругать его или смеяться. Давно это было...

— Как живешь?

Надежда завела под фартук покрасневшие от стирки руки, насторожилась: неужели про сына что-нибудь скажет! Время сейчас скорое на похоронки, и если раньше люди встречали почтальона с радостью, то теперь — со страхом. Возможно, председатель колхоза спрятал письмо в кармане и начинает разговор издалека? Но тут она вспомнила, что почтальон дед Панас недавно проковылял улицей и на ее немой вопрос лишь качнул головой. У нее отлегло от сердца. Говорят, вчера дед Панас напился, упал перед Цыганковым на колени и начал Христом-богом умолять: «Спасите меня от такого наказания!

Нет больше сил разносить смерть», — и плакал, как ребенок, размазывая слезы на старческих щеках...

— Заходите, Андрей Иванович, в хату, а то здесь холодно, — сказала Надежда, а сама подумала: «Зачем мне его звать?»

— Да, не жарко, — кивнул головой Цыганков и первым ступил через порог. — А малец куда-то умчался?

— А что ему?..

— Счастливый возраст, когда слезы высыхают быстро. Ну как, хватает хлопот, Надя?

Цыганков снял шапку, посмотрел под ноги — не наследил ли случаем? — и лишь потом уселся на лавку.

И от того, как он сказал «Надя», да еще от его жеста, смешного, совсем домашнего, в ней снова затрепетала непонятная тревога, словно шла она сейчас незнакомой тропинкой мимо пропасти — и достаточно было чуть оступиться, подвернуться ноге... И все же не страшно идти, как в детстве или, скорее, в юности, радостно и одновременно тревожно.

— Тихо и чисто у тебя в горнице. — Добавил Цыганков после паузы: — Слово-то какое красивое — горница...

Услышав эту похвалу своей старательности, Надежда смутилась, покраснела. И тут же ей стало страшно: что ему надо? Шел бы себе...

А Цыганков думал о чем-то своем, на его лице разгладились ранние морщинки, блеснули в улыбке зубы, между передними — щербинка, треугольная, совсем как у ребенка.

— Пойдешь за меня?

Слова эти вырвались у Цыганкова как-то отчаянно, с юношеской лихостью, и их можно было бы принять за шутку, если бы мозолистые натруженные пальцы не вцепились, будто ища опоры, в колени.

— Конечно, не с этого полагалось бы начинать, — заторопился Цыганков, — ты уж прости, Надя. Но время не то да и годы... Когда-то и я... Сказал бы — люблю, но разве ты поверишь седому, подтоптанному? Я много думал... И судьбы наши схожи...

Он говорил и говорил, хриплым, простуженным басом, путано и долго, чтобы скрыть волнение, а возможно, боялся ее ответа и потому оттягивал эту минуту как можно дальше.

А она сидела будто каменная, уставив взгляд в простенок напротив себя. Молотом билось в груди сердце,

а на экране-простенке мчались в буденновских шлемах конники. На вершине холма виднелась одна только половинка солнечного круга, а другую словно кто-то отсек саблей, и она покатилась вдаль под утробный гул земли. А кони перескакивали через солнце, едва не цепляясь за него копытами, легко и бесстрашно, будто их с детства только и учили тому, как перескакивать через солнце. Все они были огненной масти, их гривы и хвосты рассыпали искры.

Лишь потом, когда все кончилось, придя в себя от страха, выхваченная почти из рук озверелого махновца, она поняла, что сабли и гривы были осиянны лучами солнца и оттого золотились, а кони были просто кони — гнедые, буланые и вороные — обычные сельские коняги.

И все-таки остались они в памяти огненными и прекрасными, как широкий мир, что открылся ей в тот радостный день. Около нее был Корней, ее спаситель.

Так повстречала она свою судьбу в неполные семнадцать лет...

Цыганков давно уже умолк. Он понял, что Надежда не слышит его, ее нет рядом, она тут и вместе с тем где-то далеко-далеко, куда ему никогда не дотянуться ни взглядом, ни мыслью.

Он поднялся и тихо пошел к двери, чувствуя, как воротник вдруг будто стал у́же и сдавливает горло, не давая возможности дышать в полную грудь. Пустой рукав выскочил из-за пояса и закачался в такт его шагам, словно маятник...

2

— Рюс, рюс! Жэ сюи коммунист. Коммунист бельж. Брюссель! Ву компренэ? [1]

Эти неожиданные слова не сразу дошли до сознания Антона. Казалось, кто-то третий произнес их где-то там, за подлеском, а не этот, в ненавистной зеленой форме, что стоит перед ним, расставив ноги в высоких, почти до самых бедер, сапогах.

«Что он там лепечет? Что он коммунист? Видели мы таких коммунистов. Хитрит, гад... Хочет, чтобы я сам полез ему в лапы. При чем тут Брюссель? ..»

---

[1] Я коммунист. Бельгийский коммунист. Брюссель! Вы понимаете? *(франц.)*

Так думал Антон Щербак, медленно поднимаясь, готовый снова броситься на незнакомца. Он был в том отчаянном положении, когда для человека не существует ничего невозможного и он способен на поступки, которые при иных обстоятельствах показались бы абсурдными, однако в такой вот миг могут спасти жизнь.

«Что сделать, чтобы он поверил, что я не враг и даже не немец, что эту форму лесника напялил на себя лишь затем, чтобы не служить компании «Джон Коккериль», дельцы которой вот уже два года ведут двойную игру? Хотя директорат и сбежал в Лондон, однако не забыл оставить в Атюсе уполномоченного представителя, давно известного своими коричневыми симпатиями, и теперь заводы компании работают на гитлеровскую Германию, не сменив и вывеску, отлитую из меди еще в 1817 году. . .»

Так или приблизительно так размышлял Дезаре Рошар, восхищенный мужеством беглеца.

Рошар был инженером, обстоятельства заставили его надеть униформу лесника. Но он всегда был и оставался художником и его привлекали к себе мужественные духом люди. Созданная им галерея портретов была доступна лишь ближайшим друзьям. До войны Рошар прятал ее от чужих глаз из скромности, считая себя в искусстве дилетантом, теперь же на это были иные причины.

С почерневшего, заросшего щетиной лица, словно в две щелочки, на него смотрели пронзительные глаза. В них полыхал огонь ненависти. И все увиденное художником нельзя было определить одним каким-либо словом. Дезаре Рошару хотелось вобрать этот взгляд в свою память. Он как бы видел уже этот огонь в глазах незнакомца и все, что происходило с ним, на полотне в мастерской.

Низко пролетела сорока, обронила под ноги Рошару перышко. И он вдруг почувствовал какую-то легкость, которую и сам не смог бы объяснить. Он бросил ружье в заросли тростника и тихо, будто вспоминая давнее и радуясь, что оно, это давнее, не забылось, смешно коверкая русские слова, запел:

Мы кузнецы,
И дух наш молод.
Куем мы счастия ключи...

На Антона это подействовало как выстрел.

Только что он стоял напряженный, готовый к новой схватке, решив умереть здесь, чтобы не возвращаться в

концлагерь, где его все равно расстреляют или повесят, но перед этим проведут, как говорил комендант Зеелер, через «чистилище, иначе всевышний не примет души и снова вернет в концлагерь»...

Еще мгновение назад Антон твердо решил идти на этого странного охотника, идти, пока тот не выстрелит, он просто вынужден будет поступить так в целях самозащиты... А может, ружье не заряжено (что маловероятно) или даст осечку (бывает ведь и такое!), о, тогда мы еще посмотрим — кто кого...

Однако охотник отбросил ружье и запел.

Щербак с ужасом почувствовал, как начали подламываться ноги, пожалуй впервые отказываясь служить его воле. Он бессильно опустился на влажную рыжую хвою, которая вот уже столько дней и ночей была ему подушкой и матрацем. Опустился, с удивлением замечая, как ближние сосны вдруг поплыли вокруг него, будто их понесло водою. Стоило моргнуть, как деревья возвращались назад и снова плыли, все время ускоряя движение. И вся земля кружилась так, словно бы ось ее неожиданно переместилась именно на этот клочок, где он лежал, и даже прошла сквозь его тело.

3

Так суждено...

Я вспомнил тетку Кылыну, ее на редкость круглое, будто лишенное и скул, и подбородка лицо, излучающее доброту, вспомнил большую, розовую, как вишня, родинку под носом, из которой росли две черные жесткие волосинки. Стоило тетке Кылыне заговорить, как волосинки словно усы начинали шевелиться.

Однажды, в детстве, я сказал, что тетка Кылына похожа на кота, и был за это наказан. Помню, как, слушая чей-то рассказ, она подпирала указательным пальцем пухлую щеку, а другою рукой поддерживала локоть. В этой ее позе было внимание, сочувствие, что-то такое домашнее, материнское. А выслушав рассказчика, она вздыхала, произнося всегда одни и те же слова: «Так суждено...»

И — удивительно! — эти слова будто ставили точку. После них и говорить было не о чем. Если так суждено, чего же тут неясного?

Как ни странно, но эти самые слова я услышал и от бельгийской женщины, собственно, уже старушки, с ли-

цом морщинистым, как печеное яблоко, не очень разговорчивой, но не по годам подвижной.

Дезаре растолковал мне, как мог, ее слова, однако мне показалось, что я и сам их понял. Было что-то до боли знакомое в том, как она слушала сына, как покачивала головой, и я тут же вспомнил тетку Кылыну: на меня повеяло таким теплом, что защипало в горле.

Мы сидели в доме, где все — от старинной мебели, увенчанной мудреными шарами, до вышитых занавесок на высоких, в шесть стекол, окнах и гофрированной подстилки около порога — создавало уют, от которого я давно отвык, и свидетельствовало о давнем, прочном, не одно десятилетие существующем укладе. Здесь казалось несуразным вспоминать о том, что мир корчится в конвульсиях войны, что где-то взрываются снаряды и в жестоких муках погибают люди.

На столе стояла деревянная подставочка с зубочистками, я засмотрелся на эти зубочистки, поражаясь мысли, что кому-то сейчас нужна еще и такая мелочь. Гибнет всё живое, а тут ковыряются в зубах, будто ничего не произошло, а если и произошло, то нечто постороннее, до чего нам нет дела... Вот только я — бездомный бродяга, всем обликом похожий на распятие, нарушил устоявшийся здесь покой, напомнив им, что не все на свете благополучно...

Такие, мама, мысли промелькнули в моей голове, и я тут же устыдился их. Что я знаю о новых своих знакомых? Разве лишь то, что они спасли меня и приютили у себя.

Старый Рошар сосал трубку, седой дым висел на его густой, такой же как дым, бороде, прищуренные глаза смотрели в окно, и я не мог понять, как он относится к моему появлению в его доме.

Старуха покачивала головою, ее лицо светилось добротой. А когда Дезаре умолк, она произнесла эти самые слова, что напомнили мне тетку Кылыну.

Впрочем, об этом я уже говорил. А вот кто такой Дезаре...

Пока еще я и сам не знаю, кто он такой. Зеленая форма, так напугавшая меня, оказалась всего лишь одеждой лесника: на рукаве вышит желудь. Живет отдельно, там, где его служба, немного понимает по-нашему: около года прожил в Запорожье, когда строился Днепрогэс. Оттуда

привез и песню про кузнецов. В прошлом — инженер-электрик, а теперь почему-то лесник. Говорит — коммунист...

Дезаре постучал ногтем по часам: дескать, и так долго задержался, могут приехать немцы — пиф-паф! — на охоту, а егеря нет, и тогда жди неприятностей.

Все это он пояснил мне, путая русские и украинские слова с французскими, помогая себе жестами, мимикой, и в конце концов мы поняли друг друга.

Уже в дверях он обернулся, и, весело глядя на меня, снова запел:

Мы кузнецы,
И дух наш молод...

Старуха погрозила ему пальцем, а седобородый Рошар ограничился тем, что энергично пыхнул табачным дымом.

Вот так началась моя жизнь в Бельгии.

Я, Антон Щербак, и вдруг — Бельгия...

Сколько километров разделяет нас? Не знаю. И где ты сейчас, мама? Неужели осталась в Сивачах? И ты, и тетка Кылына, и Катя, сероокая, застенчивая Катя...

От одной мысли, что рядом с вами фашисты, меня бросает в жар. Если бы ты знала, как мне хочется снова стать солдатом, чтобы уничтожать их!..

Я надеялся добраться до Франции, но, как видишь, заблудился. Эсэсовцы не выдали мне компаса, а звезды немного подвели.

Пробираясь долгими ночами на запад, я боялся иногда сам себя, боялся, что ненависть, жажда мести ослепят меня и толкнут на безрассудный поступок. Снова и снова я шептал заклятье: подожди, Антон, сдержись, твой час еще не настал, умереть — не хитрая штука, даже если и потянешь за собой на тот свет какую-нибудь сволочь. Нет, слишком дорого досталась тебе жизнь, чтобы так дешево ее отдать. Подожди, пока в руках появится оружие.

Бельгия... Далеко же тебя занесло, Антон Щербак, очень далеко. Ну что ж, как говорит наш философ тетка Кылына, значит, так суждено...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Они не идут, не бегут — какая-то неведомая сила несет их по лужам степной дороги. На обветренных кочках спотыкаются ноги, в замерзших ночью колдобинах хрустит стекло первого ледка, над головами тает, словно молочные пары, выдыхаемый воздух.

Заспанное утреннее солнце дробится в осколках льда, пригревает молодую поросль озимых, над телеграфными проводами с криком кружатся вороны.

Если спросить, откуда пошел слух, что на станцию Бугрынь приходит эшелон с ранеными, то никто не смог бы ответить. Во время войны нельзя обойтись без тайн, даже в глубоком тылу. Но существуют ли они для женского сердца, материнской боли — неизвестно.

— На Бугрынь, бабоньки!..

И это все, что было сказано, но сказано все! Тут же заскрипели двери и калитки, цепочка кожушков и платков потянулась к станции, которая давала о себе знать в Карачаевке паровозными гудками.

— А что, если и мой Славка там? Может ведь такое быть, ну, скажите, может?..

Стефка забегает вперед, ей очень хочется заглянуть в глаза Надежды. Ведь глаза не лгут.

Но Надежда молчит. Она прислушивается к покалываниям в груди, вспоминает призрачное видение с весенним буйством тюльпанов. На какое-то мгновение перед нею тогда словно расступилась завеса и она увидела сына. Антон падал, протянув вперед — может, к ней? — руки. И вмиг все растаяло, не исчезло, а именно растаяло, только в грудь будто вонзилась раскаленная игла как напоминание о том страшном видении.

— Раненый — не убитый, — трещит Стефка. — Да пусть бы Славка каким угодно вернулся, лишь бы живым, лишь бы мог держать в руках сопилочку, дударик мой...

— Не говори глупостей.

Сбиваются в табуны на горизонте синеватые тучи, туманят солнечный диск, а одна повисла в зените, сыплет одинокие, похожие на бабочек снежинки.

— А наш председатель? — лукаво стреляет глазами Стефка. — Руки нет, а живет человек и работает, еще как!.. И на вас, тетя, иногда поглядывает...

У Надежды запылали щеки — то ли от мороза, то ли от слов Стефки.

— Не об этом речь. Тот убитый, тот ранен... А кто же будет воевать?

— Оно-то так, — не сдается Стефка. — А чего же тогда и вы...

Надежда словно споткнулась:

— Нет Антона в живых, это я точно знаю, сама видела. И зачем мне такое привиделось? А все равно иду... Ноги сами понесли... Какая-то искорка все же еще тлеет... Говорят, чужая душа — потемки. Но это чужая, а тут и в своей не разберешься...

— Н-ничего вы не видели, тетя, н-ничего... Душа болела, вот и привиделось! — Стефка не замечает, что кричит, кричит на всю степь. Идущие впереди женщины даже начали оглядываться. — Жив Антон! Жив! Верьте, что жив! А не пишет, так и мой Славка весточки не подает...

Последние слова Стефка произносит тихо, сдерживая слезы. А они катятся, крупные и прозрачные, как бусинки.

Небо уже тяжелое, серое, нависает все ниже — и как только не упадет на землю. Ветер подул в одну сторону, метнулся в другую, сыпанул снегом, загудели телеграфные провода. И сразу вокруг стало темно...

2

Ферма Рошара стояла на лесной опушке. Окно каморки на втором этаже, где поместили Антона Щербака, выходило на задний двор. Так что в случае опасности можно было воспользоваться этим окном. Замкнутый квадрат хозяйских построек замыкала высокая рига для сена, впритык к ней ветвистыми буками подступал лес. Вдали синели горы.

За две недели Антон до мелочей изучил все, что только можно было увидеть в окно. За узким окошком лежал мир, в котором ему отныне надлежало жить. Мир этот был непривычно тихим, настолько тихим, что его трудно было принимать всерьез. Эта тишина угнетала своей нарочитостью, словно была краденая, противозаконная, выдуманная только для него, Антона.

Каждое утро Щербак спускался вниз, и они завтракали втроем: спокойно, неторопливо, как люди, у которых впереди еще целая вечность.

Старый Рошар клал еду в рот маленькими кусочками, остерегаясь, чтобы крошки не падали на густую бороду, и долго пережевывал: его крепкие челюсти шевелились размеренно, будто жернова. Старуха, имени ее Антон до сих пор не знал, потому что и муж и сын называли ее одинаково — мамой — не столько ела сама, сколько подкладывала еду в тарелку Антона, сокрушенно покачивая при этом головою: дескать, какой же ты худущий, ой-е-ей, аж светишься весь. И Антон ел, хотя ему и совестно было, ведь он лишен возможности чем-либо отплатить хозяевам за щедрость и доброе сердце.

Хозяева не отличались разговорчивостью, но Антон ловил каждое их слово, непонятное переспрашивал, чтобы хорошенько запомнить. В школе он учил немецкий язык, потому-то, очутившись в плену, сравнительно быстро овладел им, по крайней мере понимал, о чем говорят, и при необходимости мог сам составить вполне приличную фразу. Французский язык (он уже знал, что в Валлонии прижилась речь южных соседей) ему казался значительно легче, чем немецкий. Но только язык, а не говор. Рошары же разговаривали как-то чудно, словно их мучил хронический насморк. Антон пробовал и сам пропускать слова через нос, но у него получалось смешно и непохоже.

Позавтракав, старик набивал трубку табаком и начинал утренний обход хозяйства, а Щербак снова поднимался по скрипучим ступенькам к себе наверх.

Рошар бродил от хлева к конюшне, от конюшни к сеновалу, поил и кормил лошадей, рубил дрова, но никогда не поднимал головы, чтобы встретиться взглядом с Антоном, хотя хорошо знал, не мог не знать: русский сидит около окна и видит каждое его движение.

Старуха выпускала во двор белых, с пышными гребешками кур и сама была похожа на клушу, которая сзывает своих птенцов на обед.

Иногда Рошар выводил из конюшни низкорослую гнедую лошаденку, запрягал кабриолет старинной работы и уезжал в невидимое за лесом село. Раз в неделю в кабриолет садилась старуха и Рошар вез ее в церковь на воскресную мессу...

3

Как-то на рассвете, когда хозяин повел меня в конюшню, чтобы я помог ему распилить кряж, непривычно

рано прикатил на велосипеде Дезаре, бросился ко мне, повалил на сено.

— Сталинград! Виктуар![1] Сталинград! — кричал он будто сумасшедший и больно толкал меня кулаками под бока́.

Мы сидели запыхавшиеся, взлохмаченные, с запутавшимися в волосах стебельками сена и говорили, говорили, словно нас прорвало, и все никак не могли выговориться. Я понял одно: советские войска окружили под Сталинградом армию Паулюса... Это начало каких-то важных перемен, быть может решающих для всего фронта на Востоке.

Мама, можешь ли ты представить себе мое состояние, мою гордость, мое волнение? Я верил, что рано или поздно произойдет что-то подобное. И вот наконец...

— Дезаре, ты наилучший из всех, из всех, кто только есть на свете! — орал я.

— Я рад, Антуан, и за тебя, и за себя, и за хороших людей на земле! Вив Сталинград![2]

Мы вели себя как дети и совсем забыли про старика. А он молча стоял в дверях, попыхивал трубкой и, похоже, усмехался в бороду. Я вспомнил о главном.

— А я сижу здесь, Дезаре! Когда же начнем мы? Ты слишком долго откармливаешь меня. Я уже о-го-го какой!

— Подожди, Антуан, скоро.

Потом мы сели за стол. Старый Рошар полез в погреб и вернулся с бутылкой красного вина. Пока он торжественно откупоривал ее, Дезаре шепнул мне, что этому вину уже за сорок лет.

— В ночь на первое января девятьсот первого года отец наполнил сотню бутылок молодым вином. Тогда была своего рода болезнь — хоть чем-нибудь да отметить первый день нового столетия. Люди верили: начинается новая эпоха. — Дезаре усмехнулся: — Магия круглых чисел. А тут еще и семейное торжество — появился на свет первенец у наших родителей, мой брат Анри... Так что вино это, можно сказать, историческое.

— А где он сейчас, твой брат? — спросил я.

— Был солдатом, пропал без вести... Не исключено, что ему посчастливилось добраться до Англии. По крайней мере, часть его однополчан оказались за Ла-Маншем.

---

[1] Победа! *(франц.)*
[2] Да здравствует Сталинград! *(франц.)*

Старик разлил вино по рюмкам, и мы выпили.

— Сталинград!..

Каким удивительно емким, окрыляющим может быть порой слово! Мы произносили это слово «Сталинград» как талисман. В нем было что-то магическое, необъяснимая сила, давно желанная опора, в которую поверили сразу и бесповоротно. Будто шел я долго, умирая от жажды, и вот наконец набрел на источник родниковой воды и теперь пил из него, пил, набирался бодрости перед долгой дорогой.

Мне вдруг захотелось запеть, мне так захотелось петь, что я весь напрягся, как струна. И Дезаре, наверное, заметил это, а возможно, и сам почувствовал такую же потребность. Он опустил на стол тяжелые, загоревшие кулаки и почти закричал:

Мы кузнецы...

Я не заставил себя ждать.

Старый Рошар, покачивая головой, слушал, как мы поем, глаза его прояснились. А старуха, видя нас счастливыми, тихонько плакала, улыбаясь уголками рта.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Цок-цок, цок-цок... Звонко отбивают на взлобке печи, за вьюшкой ходики, будто подковками стучат. В подернутые морозом стекла цедится с улицы утренний молочный свет.

Надежда перекусывает нитку, старательно разглаживает подтяжки, пришитые к Павликовым штанишкам крест-накрест.

— Ну, вот и все. Держи, казак.

Павлик прыгает на одной ноге, никак не может попасть другой ногой в штанину.

— Ну и худоба! Что я скажу твоему отцу?

— А мой папка в Испании был. Далеко-далеко... Не верите? У него и орден есть. Как у меня. Только у меня Ленин еще мальчик, а у папки уже большой. — Павлик ловко вспрыгивает на скамейку, вытягивается на цыпочках, высоко над головой расправляет руку: — Вот такой мой папка! Не верите? Как подбросит меня, как подбросит...

— Верю, верю. Слазь, а то к кузнецу опоздаем.

— Папка говорил, что меня тогда еще на свете не было. А как это — не было? Где же я тогда был?

— Был, был, — смеется Надежда.— Папка просто пошутил. Ты был, только маленький, меньше, чем сейчас.

— Как мизинчик?

— Ага, как мизинчик. Послушай-ка, мизинчик, а кто это сегодня хотел пойти к кузнецу?

Павлик мигом соскакивает со скамейки.

— Ура! А коньки он умеет делать?

Они идут заснеженной улицей. На заборах виснут белые шапки, деревья седые, избы по окна в сугробах. Вдоль заборов бежит извилистым ручейком рыжая тропинка.

Надежда едва поспевает за Павликом.

Снятся мальцу коньки, а где их взять? Разве что старый Махтей смилостивится. Больно ворчлив дед, но если захочет, не то что коньки — розу откует. И будет цветок как живой, словно суровое железо до поры до времени таило от людей свою нежность, но вдруг под руками Махтея засветилось невиданными красками. Надежда видела такие розы на карачаевских могилах. Ночью они, как слезами, наполнялись росою, а днем эти слезы выпивало солнце. Лепестки покраплены пятнышками ржавчины, и похоже, что на них проступает кровь. Железные розы стояли на тонких, как стебельки, железных ножках, их раскачивал ветер, и они позванивали глухо и печально.

Павлик семенит впереди, мелькают черные валеночки, спрячется за забором, выглянет. Глазенки так и сверкают. Что ему война? До нее ли мальчишке? Только и забот, что коньки да оторванные пуговицы. Все они такие. И Антошка был таким же. . .

На повороте улицы неожиданно столкнулись с Цыганковым.

Он в своем примелькавшемся, тесном на широких плечах, полушубке. На голове слегка сдвинутая набок каракулевая шапка, лицо выбрито, щеки обветрены.

— Здравствуй, Надя! Куда это чуть свет?

Серые глаза смотрят на нее спокойно, будто и не было осенью его отчаянного признания в любви, а затем бессонных ночей, беспокойных мыслей, умных и глупых. Будто не порывался к ней снова, чтобы высказать еще раз то, что уже говорил. А вдруг не так говорил? . .

— Коньки вот хлопчику захотелось. Иду на поклон к Махтею...

А было же, все было и у нее! И крик одиночества, и робкий огонек надежды, и немое отчаяние. Порывалась и она к нему. Но ничего он о том, ничегошеньки не знает.

— Почему бы и нет? Махтей человек хороший, небось не откажет.

Вытоптанная в снегу тропинка была узкая, разминаясь, Цыганкову пришлось слегка придержать Надежду за плечи: от этого неумышленного прикосновения их обоих бросило в жар — и они заторопились в противоположные стороны, забыв даже попрощаться, словно совершили нечто греховное, что никак не к лицу столь уважаемым на селе людям.

— Надя...

Она не посмела обернуться, опасаясь, что ее выдадут слезы. Пусть эта ее тревога останется в ней, ему не следует о ней знать.

— Солдатам нужна теплая одежда. Рукавицы, носки, возможно, у кого и валенки мужнины остались. Потолкуй с женщинами, — торопливо сказал Цыганков ей вслед.

В просвет между тучами выглянуло тусклое солнце. Навстречу ему сверкнули и тут же потухли окна. Ветер застучал мерзлыми ветками, закрутил поземку.

Павлик успел набегаться вволю и тихо плелся рядом. Щеки его пылали.

— Устал?

— Я вот думаю...

— О чем же ты думаешь?

— Можно, я стану называть вас: мама Надя?..

2

— А ля бонн эр![1] — сказала старуха Рошар на прощанье и еще долго, скрестив руки на груди, стояла за воротами и глядела вслед.

Гнедая лошаденка, весело помахивая подстриженным хвостом, бежала сноровисто, ей, должно быть, нравилось трусить мощеной дорогой между деревьев, которые нависали с двух сторон полинявшими за осень ветвями. Вверху синела полоска неба. Кабриолет слегка покачивался на рессорах, из-под подков лошаденки брызгали искры. Густой запах лесной прели щекотал ноздри, ло-

[1] В добрый час! *(франц.)*

шаденка то и дело фыркала, по лоснящейся шерсти пробегала дрожь.

В кармане Антона лежало удостоверение на имя Клода Рошара, глухонемого племянника фермера. Фотографию прилепили Щербака, все это было заверено печатью. Что за печать и кто ее поставил, Антон не знал.

На нем был тщательно отглаженный костюм с плеча уже не придуманного Клода, а самого настоящего сына Рошара — Анри. Костюм слишком долго лежал в комоде, и от него разило нафталином.

С Дезаре они попрощались еще вчера — сидели весь вечер в Антоновой комнате, избегая разговора о близкой разлуке. Щербака ждала неизвестность, но он сам жаждал этой неизвестности, не в силах больше отсиживаться на ферме, в стороне от действий, от борьбы, которая отныне была единственным смыслом его жизни.

— Ну, какой из меня лесник? — жаловался Дезаре. В его светлых зеленоватых глазах мерцала тихая грусть. — Но существует партийная дисциплина... Ты ведь знаешь...

Да, Антон знал, что такое партийная дисциплина. Она не всегда спрашивает о твоем согласии. И все же сердце тревожно сжималось. Был Чижов, был Яворивский... Но судьба разбросала их по свету, и нет даже надежды на близкую встречу. Теперь вот настала очередь и...

Антону показалось, что он произнес имя нового друга вслух, потому что в тот же миг из леса выбежал Дезаре.

— Боши!

Не успел Антон и рта раскрыть, как они со стариком Рошаром очутились в зарослях осоки, а Дезаре, вскочив в кабриолет, начал разворачивать коня в сторону от дороги.

...До вечера они просидели в глубоком овраге, на дне которого журчал ручеек.

Рошар поносил немцев, которых нелегкая принесла на станцию, а Щербак молчал — глухонемому Клоду нельзя разглагольствовать.

Антон думал о неожиданном появлении Дезаре. Когда вчера прощались, он сказал, что спешит в лесничество, но почему-то очутился здесь...

Когда стемнело, бородатый Рошар, вежливо раскланявшись с дежурным по станции, взял два билета на ве-

черний поезд, что шел из Лимбура на Льеж. До его прибытия оставалось еще с полчаса, и старик повел Антона в кафе.

Рыжеволосая женщина выгребала из углов пустые бутылки, кучи окурков, а хозяин кафе, усталый и злой, щелкал на счетах.

— Извините, господа, — хмуро произнес хозяин, — но я лишен возможности вас обслужить. Как видите, здесь недавно побывали рыцари великой Германии. А они не жалуются на свой аппетит.

— Симон! — Рыжеволосая бросила предостерегающий взгляд на мужа.

Буфетные полки сияли первозданной чистотой. Симон снова, теперь уже оценивающе, посмотрел на Антона и Дезаре и вполголоса выругался.

— Целый день здесь простоял эшелон из Ахена. Солдаты болтали о каком-то Атлантическом вале, — он криво усмехнулся. — Не знаю, что это будет за вал, однако через меня он уже прокатился...

3

Помнишь, мама, как мы в школе ставили спектакль?..

У меня была одна-единственная реплика. В разгар какой-то гулянки я выбегал на сцену и изо всех сил орал: «Люди! Пожар!..» На этом моя роль кончалась.

Однако — о наивное детское честолюбие! — я пригласил тебя на вечер и с волнением ждал мгновения, когда ты сможешь оценить мое актерское искусство. А когда этот миг наступил, я стал смотреть не на сцену, а в зал и растерялся. У меня едва хватило духа выкрикнуть два нужных слова о пожаре, но они прозвучали действительно так перепуганно, что на сцене поднялась паника, все бросились бежать. Побежал и я, но почему-то в противоположную сторону. А зрители подумали, что так и должно быть, и проводили меня дружным хохотом. Ты тоже ни о чем не догадалась, а я постыдился тебе признаться.

И вот сейчас мне снова приходится играть роль. Только теперь уже племянника фермера, глухонемого Клода.

Никогда не думал, что это так трудно. Человек обычно не замечает своего языка, разве только если он заболит. Не вспоминает о своих ушах. И вдруг ему говорят: ты глухонемой, ты не только не умеешь разговаривать, но не имеешь права реагировать на звуки.

И начинается мученье. Язык чешется от желания сказать хоть слово, во рту сохнет. Но это еще полбеды. Мир наполнен звуками, они лезут в уши, раздражают, а ты должен не замечать их. Мне вспомнился фильм: в подобной ситуации враги стреляли над головой нашего разведчика, а он стоял будто каменный, и ни один мускул не дрогнул на его лице. Тогда этот эпизод вызвал у меня восторг, теперь я готов, пожалуй, поставить под сомнение такую выдержку.

Мы были единственными пассажирами на станции. Казалось, поезд только ради нас и сделал остановку. Едва сели, дежурный дал сигнал отправления.

Вагон был почти пуст. Дремал мужчина, подперев ладонью седую чубатую голову. Иссеченное черными крапинками лицо говорило о том, что это шахтер. Трое парней резались в карты: одному из них, похоже, чертовски везло, он выглядел как именинник, а его партнеры бросали на него сердитые взгляды.

Я размышлял над словами Симона. Даже моих мизерных знаний языка хватило, чтобы понять: речь идет о береговых укреплениях напротив Британских островов. В концлагере, среди военнопленных, тоже велись разговоры об Атлантическом вале, но никто толком не знал о его истинном назначении. Ходили слухи, будто немцы готовят плацдарм для решающего десанта через Ла-Манш. Но когда я сказал об этом Дезаре, тот недоверчиво пожал плечом: «Глупости! Возможно, у Гитлера и было такое намерение, пока он не полез на Россию. А теперь. . .»

Поезд долго громыхал на стрелках, часто замедлял ход, пока наконец не остановился под куполом вокзала.

Город был окутан мраком. На фоне неба тускло вырисовывались готические шпили древнего Льежа. Несмотря на поздний час, привокзальная площадь была заполнена машинами, громко хлопали дверцы. Сквозь красные шторы светились окна ресторана, оттуда доносились звуки музыки. Прошел какой-то господин в котелке, под мясистым носом — закрученные в кольца усы, в руках — инкрустированная серебром палка. Он что-то раздраженно говорил тучному полицейскому, а тот, приотстав на шаг, шел следом за ним и угодливо козырял.

Я не мог избавиться от впечатления, что смотрю кадры какого-то фильма о далеком прошлом. . .

Нам повезло. Минут через десять мы сидели уже в вагоне другого поезда. Куда он пойдет, мне было неизвестно.

На этот раз пассажиров набралось много. Но я уже успокоился и не обращал на них внимания.

Все в мире железнодорожные колеса знают одну лишь песню — колыбельную. Я увидел тебя среди подсолнухов. Ты плыла в желтом море, голова твоя была повязана белой косынкой. И вдруг ветер сорвал косынку, она полетела над желтым морем все выше и выше и превратилась в тучу, туча окутала солнце, а ты приставила ладошку к бровям и принялась глядеть ей вслед. И была ты, как когда-то давным-давно, молодая, красивая. Но только в глазах твоих, мама, я не увидел радости...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

— Посмотри на себя, Стефка, на тебе лица нет. Уснула бы...

— Не могу, тетенька, не могу... Ну, почему ночь такая длинная?

— Ночь как ночь. Покойный отец говорил: время — не лошадь, кнутом не подгонишь.

«...А лежит он тут уже шестой месяц. Как привезли, был очень плохой, няни с ложечки кормили-поили. Не потому, что сам не мог, должно быть, жить ему расхотелось...»

— Ну зачем он так подумал?

— Не о себе он думал, о тебе.

— Может, я пойду? А, тетя? Потихоньку, не спеша, к рассвету, глядишь, и к Бугрыни прибьюсь.

— Я тебе пойду! Дорогу замело, вон какие сугробищи... Цыганков же сказал — отвезу, значит, отвезет...

«...И не слышали мы от него ни единого словечка. Хлопцы порешили: контузия, немой, и все тут. Уставится в потолок, словно невесть что увидел там, и лежит...»

— Кажется, рассветает?

— Ох, беда мне с тобой, Стефка! Павлика разбудишь. Еще и петухи не пели.

— А отдадут его?

— Не век же ему находиться в госпитале.

— Ой, тетя Надя, как же я буду любить его! Я так буду его любить!..

«...Положили к нам новичка, совсем еще ребенок. Только попал на передовую, и в первый же день клюнуло его в живот. Проснулся он среди ночи и видит: уставился Славка в потолок и лежит, будто мертвец. Испугался парнишка, как закричит. Мы тут же вскочили с мест, сбежались сестры. И вдруг слышим: «Чего взбаламутились? Живой я!..» Чудеса, да и только: немой заговорил...»

— А если застрянет машина? Сами же сказываете — сугробищи.

— Да не машиной — в санях поедешь.

«...Утром сели завтракать, смотрим, а он сам ложку взял. Обрадовался врач. «Ты, говорит, не ложку взял, ты себя в руки взял». И пошло с того дня на поправку. Молчун, пока слово вытянешь — семь потов сойдет, но все же кое-что разузнали. Верховинец он, тракторист. А какой из безногого тракторист? Смастерили ему шефы колясочку, вот и весь его трактор...»

— Зачерствеют лепешки, пока довезу... Но он у меня не переборчивый, нет. «В твоих руках, говорит, все вкусным кажется...» Прибежит, бывало, с работы...

— Стефка, ты еще не наплакалась?

— Не прибежит он больше, тетя... Н-не на чем теперь бегать м-моему дуд-дарику...

— Не вздумай и при нем зареветь, слышишь? Тебе тяжко, а ему и вовсе.

«...Одно утешение — музыка. День и ночь слушал бы радио. А то как-то пошептался с сестрою, и принесла она ему сопилку. Оказывается, он и на фронте не разлучался с нею, словом, боевая сопилка. Как заиграл, из всех палат сбежались. А он играл и плакал. Не взберусь, говорит, я теперь на полонину. А что это такое, полонина, спрашиваем? У Славки тут же слезы высохли. Да это, да это же... И как начал рассказывать, как начал, не угомонился, пока няни обед не принесли. Вот тебе и молчун!..»

— Сыча нечистая сила принесла. Ух как воет! Разве сычи зимы не боятся?

— Какой сыч? Ветер изводится в трубе.

«...Когда приносят почту, только один Славка отворачивается к стене и делает вид, будто спит. Думали, человеку не от кого весточки ждать, потому и грустит. Родная его полонина под немцем... Как-то был у меня день рождения, и выпили мы за здоровье наших воинов, живых и павших, вот тогда и признался мне Славка...»

— Тетя Надя, вы еще спите? Уже рассветает, правда, развиднюется.

— Вздремнула малость. Что ж, пора. Чугунок с картошкой в печи стоит, может, еще и не остыл.

— У меня есть...

— Что у тебя есть — в дороге пригодится. Садись... Да чайку попей, чтобы в животе не бурчало... Спи, Павлуша, спи, тебе еще рано.

«...И дал я клятву, что никто не услышит от меня Славкиной тайны. Вчера дал, а сегодня нарушил слово и вот пишу Вам, незнакомая мне Стефания, украдкой это письмо. Когда вели нас в баню, я вернулся, будто по нужде. И удалось мне разыскать конверт с Вашим адресом. Скверно у меня на душе, будто негоже веду себя, и все же я верю, что Вы меня простите. И Вы, и Славка. Ведь это же не дело — от любимой жены прятаться. Говорят, настоящая любовь и жертву примет. Но это смотря с какой стороны подойти. Кто знает, где счастье? А несчастье — оно никогда не замешкается. Так неужели судьба нам покорно подставлять горю свою шею? Когда приедете, прошу Вас, не выдавайте меня, я все-таки поклялся Славке, боюсь — он не в шутку разгневается. Возможно, я и не решился бы на такой шаг, но увидел Ваше фото. Посмотрел в Ваши глаза и поверил им. Бывает же такое!..»

— Не забудь, в дороге отоспись, а то круги под глазами, как у великомученицы. Тоже мне — мячик... Не смей в таком виде показываться своему дударику! Помни, Стефка, женщина всегда должна быть женщиной.

— Ой, тетя, да я это с вами, а будет рядом Славка... Слышите, а вдруг он что-нибудь об Антоне знает?..

2

Реки не признают границ.

Родившись во Франции на плато Лангр, торопливый Мёз в своем вечном стремлении к морю спешит на север. Не останавливают его и Арденны. Прорубив глубокую впадину в силурийских известняках, кварцах и песчаниках, река выкатывается на просторы Бельгии и здесь меняет свое подданство. Отныне Мёз становится Маасом и, приняв около Намюра в свое лоно Самбру, неожиданно резко берет курс на восток. Словно маршал, собирающий разбросанные полки под одно знамя, он направляется к Льежу, чтобы присоединить к себе Урт и Амблев,

И теперь уже, наполненный силой и сознанием своего величия для окружающего мира, снова поворачивает к Северному морю.

В свою очередь Урт и Амблев совершают обособленный маневр. Собрав горные воды из двух провинций, они сливаются около городка Комбле-о-Пон и остальное расстояние до Мааса преодолевают уже единым потоком.

Так называемая аллея Урт-Амблев — это гигантский природный коридор, который связывает Высокие Арденны с Льежем, третьим по величине промышленным и культурным центром Бельгии.

Перескакивая через реку железобетонными мостами, по долам и горам бежит к Люксембургу железная дорога. Бежит, оставляя по пути небольшие станции с красными башнями водокачек, перепрыгивая то на левый, то на правый берег, то и дело скрываясь за крутыми холмами и поворотами.

Затерялась среди них и станция Пульсойер, куда привез Рошар Антона Щербака.

Был тот ранний час, когда все живое еще пребывает в сладком забытьи сна, с гор спускается мгла, свиваясь в белесые клубы тумана, контуры предметов призрачны, а расстояния обманчивы.

Неподалеку плескалась речушка.

Рошар постучал в чьи-то двери.

Яркий свет ослепил Антона. В комнате, куда их провели, были двое: молодая женщина в ночном чепчике и просторном платье, которое, однако, не скрывало ее беременности, и спортивного телосложения мужчина в очках, каких-то случайных, совершенно неуместных на его широком подвижном лице.

— Эжени.

— Симон.

«Везет мне на Симонов», — подумал Щербак, ловя себя на том, что невольно назвался Антуаном.

Ладонь у Симона была в тугих мозолях, крепкая.

Эжени что-то шепнула Рошару. Тот улыбнулся.

— Моя племянница говорит, что вы похожи бо́льше на француза, чем на русского.

— Я уже слышал об этом, — Антон засмеялся. — А все, видно, оттого, что я смуглый от природы.

Рошар хотел было закурить, но, взглянув на Эжени, сунул трубку опять в карман и начал прощаться.

— Так скоро, мсье?

Старик обнял Антона.

— Надо.

— Спасибо вам! Скажите Дезаре, что мне теперь будет не хватать его... Доведется ли еще встретиться?

Симон повел Антона на второй этаж.

Снова были скрипучие ступеньки и тихая каморка, обставленная, как номер в провинциальной гостинице. Симон гостеприимно развел руками, загадочно усмехнулся и исчез за дверью.

— Да, переселилась птичка в новую клетку, — задумчиво молвил Антон.

Спать не хотелось, выспался в вагоне. Бросил на стол плащ и с хрустом потянулся.

— Ну, вот уже и хенде хох, — раздался чей-то веселый голос за спиною.

Антон замер. Прикидываться глухонемым Клодом не имело смысла. Он только что говорил о клетке и был, похоже, недалек от истины. Неужели западня?

Из-за портьеры шагнул рослый мужчина в гражданской одежде.

— Испугался?

Из-под бровей, нависших густыми кустами, смотрели переполненные радостью глаза, большие, навыкате, в них прыгали, перевертываясь, веселые чертики.

— Будем знакомиться?— здоровяк приблизился к Антону и так крепко стиснул его в объятиях, что затрещали кости. — Здорово, земляче! Так вот, перед тобою Егор Довбыш собственной персоной. Бывший сталевар, матрос Дунайской флотилии, а теперь... Ну, кто теперь — сам видишь. А ты — Антон Щербак, верно говорю?

— Откуда знаешь?

— Э-э, братишка, если бы не знал, какого черта я спозаранку торчал бы в этой каюте! А ты, вижу, парень осторожный.

— Жизнь научила.

— Да, она научит, это верно... А я и о твоих кубарях знаю, и еще кое о чем... Да ты садись рядышком, распоясывай душу.

Стул застонал под его грузным телом.

Антон все еще никак не мог прийти в себя. «Вот для чего Рошар доставил меня сюда! Ах, чертов Дезаре, почему же ни словом не обмолвился? Отныне я не одинок, теперь нас двое!» И он, покорившись властному порыву, бросился на шею матросу и неожиданно всхлипнул. Ему

было стыдно: взрослый мужчина допустил такую слабость...

— Эх, жизнь...— разволновался Егор и сам шмыгнул носом.— Натерпелся, видать, братишка, гарпун им в печенку... Где тебя взяли?

— Под Изюмом оглушило.

— Тебе легче, тебя контуженого... А меня в Одессе при полной, так сказать, амуниции... Когда наш монитор гробануло, стал я, братишка, сухопутным моряком... Однажды при рукопашной повисли трое на каждой руке. Я их лбами — не сработал прием... Так и загребли. Срамотища-то какая — ни одной царапины, а в плену. Зато вместо тельняшки вся спина в полоску — шомполами разрисована.

— И шрамы на шее,— подсказал Антон.

— Это уже потом,— матрос скрипнул зубами.— Предателя пришил в лагере, а он, сволочь, извернулся и ножакой успел полоснуть.

— О Сталинграде знаешь?

— А как же! После Сталинграда, братишка, здесь многое изменилось. Настрой уже не тот, а это великое дело. Даже те, кто держит курс на эмигрантское правительство в Лондоне, зашевелились. Кстати, им оттуда и оружие, и деньги, а нам,— он стукнул кулаком по столу,— нам фигу, мы пасынки, буржуям в любви не объясняемся... Ну, мне пора, братишка, уже светает.

— А как же я, Егор?

Матрос встал.

— Вечером приду за тобой. Может, и не я, а Василек. Это наш хлопец, белорус. Из Мюльгейма[1] сбежал. На вот для начала «ЖП»[2]. Приличная штука!

Антон схватил пистолет, с наслаждением ощутил в ладони холодок металла.

— Спасибо, дружище! Давно в руках не держал.

— Классная марка. Завод «Герштadь» здесь очень славится. Но оружия у нас, братишка, маловато, да и то, что имеем, плохонькое. Сами добываем, на лондонского дядю рассчитывать не приходится.

— Кто этот Симон? Надежный человек?

— Свой. Рабочий парень, из карьера. Но оставаться тебе у него нельзя. Здесь явочная квартира. Ну, пока, адью, мусью...

---

[1] Концлагерь на Рейне.

[2] «ЖП» — бельгийский двенадцатизарядный пистолет.

3

До вечера я не мог найти себе места. Симон водил меня в душ, смешливая Эжени дважды приносила еду, а я чувствовал себя как в тумане. Время от времени ощупывал карман, где лежал пистолет, чтобы лишний раз убедиться: матрос не пригрезился, он действительно был тут, в этой комнате. Я понимал, что отныне наступили решительные перемены в моей судьбе. Тайком, в щелочку между штор, жадно смотрел в окно, которое выходило на околицу.

Арденны!.. Партизанский край...

Туман растаял. Горы спускались в долину террасами в зарослях бурых кустарников. На склонах господствовали буки и дубы. Еще выше теснились сосны, похожие отсюда на зеленые островки.

Вечером вместо Егора пришел Василек, худенький, костлявый паренек, почти мальчишка. В глазах сухой блеск, щеки пылают огнем.

Когда наговорились с ним вволю, я спросил:

— Что с тобою, Вася? Заболел?

— На немецких курортах чахотку подхватил. Никак не выкашляю.

— Тебе бы поберечься, подлечиться...

— Показывали здесь врачу, выписал порошки, ребята привезли из Льежа. Но не верю я в эти лекарства. Будь я дома, в Пуще... Про Беловежскую пущу слыхал?

Острые черты лица Василька стали мягче, разгладились, и весь он как-то сразу посветлел, повеселел и смотрел мимо меня куда-то далеко-далеко, как может глядеть на волю человек из темницы. Я не раз замечал эту удивительную человеческую способность в минуты душевного подъема преодолевать пространство мысленным взором так скоро, что расступаются дали. До боли знакомые контуры вырисовываются в памяти четко, даже в цвете, но стоят перед глазами немые и лишенные движения, будто неживые.

— Это такая красотища... На всей земле не встретишь ничего подобного! Первозданный лес, нетронутая природа... Мама знает там все травы. А каждая травинка, Антон, ничтожный с виду бурьянчик — чудесное лекарство. У древних людей на все имелись рецепты, но теперь их затеряли, а моя мама помнит. Самых обре-

ченных ставила на ноги. И мою хворь она выгнала бы вон... Эх, мама!..

— И вылечит, Вася! Вот покончим с войной, а там...— Я силился, чтобы мой голос звучал бодро, убедительно.— Ты будешь врачом, мать научит тебя распознавать целебную силу трав...

— Хороший ты, видно, парень, Антон. Сам-то ты веришь в свои слова? «Покончим с войной»! Я-то ведь чувствую, не дотянуть мне до Пущи. И не утешай, пожалуйста, я все уже давно обдумал... Но вот почему оно так? Казалось бы, разве не все равно, где умирать — там или тут. А все же хочется к дому прибиться, к родным берегам...

— Зачем заживо себя хоронишь? Нам надо не себя, а фрицев — в землю!

— Это факт. Но только предавать земле я их не стану. Пусть вороны выклевывают им глаза, — взгляд Васи наполнился ненавистью, одной только ненавистью, которая на миг вытеснила все, даже недавние воспоминания.

...Мы вышли в ночь.

Небо было звездным. Вокруг светились окна. Вдали темнели горы. Глухо дрожала под ногами булыжная мостовая — где-то недалеко шел поезд.

— Куда ведешь?

— В Шанкс.

— Ты думаешь, мне это о чем-нибудь говорит?

— Шанкс — село. Отсюда двадцать минут хода. Приказано поселить тебя у Люна. Просторная, а главное — удобная хата. Собственная лавка канцтоваров.

Я остановился.

— Толкаете в лапы буржуя?

Василек засмеялся:

— Это Люн — буржуй? Люн — коммунист, Антон. Он еще в Испании с фашистами сражался.

Тропинка то бежала вверх, подступая впритык к обвитой корнями, словно змеями, террасе, то снова спускалась вниз к шелестящим во тьме кустарникам.

— А как же... собственная лавка?

— При чем здесь лавка? Чем-то жить человеку нужно? И мы в этой лавочке заинтересованы. Выручка партизанам идет. Теперь понял? Знай немцы Люна получше, черта лысого выдали бы ему патент.

Небо зарделось: из-за двурогой вершины выплывала луна. На землю упали тени. Прислушиваясь к глухому голосу Василька, я шел следом за ним, и с каждым шагом меня все сильнее охватывало разочарование.

Долгими ночами в каморке Рошара я мечтал о партизанском отряде. Мое воображение рисовало обвешанных гранатами бородачей, скрытые землянки в лесной чащобе, куда смельчаки возвращаются после дерзкого налета на врага.

А здесь все было не так. Партизаны живут дома, работают на фермах, в карьерах, на железной дороге. Получают зарплату и продуктовые карточки. Верующие справляют по воскресеньям мессу. На задание же выходят только по ночам. Для этого у них разработана специальная система оповещения.

Василек, будто почувствовав мое настроение, оглянулся:

— Чего нос повесил?

— Чудно как-то.

— А что поделаешь, привыкай, такая здесь обстановка. Вот соберемся с силами, тогда посмотрим, как быть дальше...

Нам не повезло. Люн уехал в город, должен был вернуться еще днем, но... Мадам Люн извиняюще развела руками.

Мы выпили по чашечке кофе, немного отдохнули. Вскоре Василек занервничал.

— Спасибо, мадам... Где нас найти, вы знаете.

Только мы вышли, как нам наперерез бросились двое с винтовками.

Мы бежали, останавливались на миг в кустах отдышаться и снова бежали, как мне казалось, наугад.

Вскоре погоня отстала.

Вдруг за гранитной глыбой вырисовалась чья-то фигура. Я схватился за пистолет.

— Спрячь! — прохрипел Василек. — Это Жан.

— Что там у вас случилось? — на чистом русском языке спросил Жан.

Он сделал шаг вперед, и я при лунном свете увидел его бледное лицо — широко поставленные глаза, прямой нос, крутой подбородок. В серой фетровой шляпе, габардиновом плаще и туфлях Жан выглядел весьма респектабельно.

— Жандармы... — Василек зашелся в надрывном кашле.

— Странно, — сказал Жан, — очень даже странно... Антон?..

— Мсье Антуан, — поправил я.

Жан засмеялся.

— А я — Николай Кардашов, партизанская кличка — Жан. Наверное, будут еще вопросы?.. Конечно, будут. Но обо всем потолкуем попозже. Договорились, товарищ Щербак? А сейчас некогда мне. Меня беспокоят эти жандармы. До сих пор они нас не трогали.

Я так давно не слышал слова «товарищ», что у меня запершило в горле. Как просто, буднично произносим мы его там, на Родине, и как светло, будто снова возвращая себе свой первоначальный смысл, прозвучало оно тут, на чужбине.

— Василь, поднимись, камень холодный.

— Да, плохи дела у хлопца, — тихо сказал я.

Жан вздохнул.

Мы углубились в каменоломню и вскоре очутились в пещере, устланной мягким сеном.

— Что сказал Люн?

— Он в Льеже.

— А Николь?

— Она знает, где нас искать... — Василька душил кашель. — Проклятие, наглотался холодного воздуха...

— Тебе нельзя бегать, Василь.

— Не захочешь, да побежишь.

В ночной тишине дважды прокричала сова.

— Ну вот, кажется, и Люн...

Люн оказался приземистым мужчиной в охотничьей куртке. Роскошные волнистые волосы, наполовину уже поседевшие, заменяли ему шапку. Говорил он так быстро, что я, привыкший к неторопливой речи Рошаров, ничего не мог понять, зато Николай, как видно, хорошо знал французский.

Оказывается, какие-то бандиты хотели вчера ограбить лавку Люна; узнав об этом, жандармы устроили засаду, в которую и угодили мы с Васильком.

— Жандармы сами не любят немцев,— сказал Жан.— Однако и нас побаиваются...

Я пожал плечами. Само слово «жандарм» вызывало у меня отвращение, и я никак не мог себе представить, что жандарм может быть не врагом.

— Чего ты удивляешься? Ясное дело, жандармы не коммунисты. Однако же бельгийцы!

— А Дегрель? [1]

Услышав это имя, Люн с отвращением сплюнул под ноги.

— Бет нуар! [2]

— Сволочей везде хватает, — сказал Жан. — Особенно в Брюсселе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Три дня над казахстанскими степями разгуливал буран. Ни земли, ни неба... Все смешалось в неистовой круговерти. Ветер косил и скирдовал снеговое изобилие, протяжно скулил в дымовых трубах.

И вдруг все стихло.

То ли выдохся циклон, то ли умчался дальше на юг, в пески, и здесь залегла такая тишина, что от нее звенело в ушах, будто где-то лопнула туго натянутая струна. Скрип дверей и шорох лопат разносились по всему селу — Карачаевка откапывала самое себя из-под снега. Надсадно ревела голодная скотина, кудахтали куры. Обшарпанные тучи устало тянулись за горизонт, выскочило, точно на смотрины белого бездорожья, круглое и холодное, как птичий глаз, солнце.

Надежда принялась расчищать тропинку. Из хаты вышел, щурясь спросонья от слепящего снега, Павлик.

— Можно, я бабу слеплю?

— До обеда слепил деда, а он хнычет, бабку кличет...

— Ой, мама Надя, как ты смешно сказала! Скажи еще.

— Говорила, сказала — узелок развязала...

Павлик хохочет, шапка набок сдвинулась.

— А я знаю, как дальше... Вылетела из вузлика [3] дырочка от бублика.

Смеется и Надежда, а внутренний голос нашептывает ей: «Чему радуешься? Над степью отгуляла завируха,

---

[1] Леон Дегрель — главарь бельгийских фашистов.

[2] Здесь — грязное животное. Буквальный перевод: черное животное *(франц.)*.

[3] Вузлик — узелок *(укр.)*.

оставив после себя тихую благодать, звон в легком воздухе да беззаботное чириканье воробьев? Блестят белые, как этот снег, Павликовы зубы? Но ведь ничего не изменилось! Это здесь тишина, а там? Там и снег черный от пороха и крови, а чистое небо как проклятье, сыплются с неба бомбы, спасение от которых в одном — зарыться в землю, а земля эта стонет, тело ее разрывают на куски, и бушует вокруг пламя, беспощадное к своим жертвам, и высвистывают птичьими голосами пули, может, как раз в эту минуту оборвалась чья-то жизнь... Вдруг — Антонова...»

— А ладно, я веник для бабы принесу?

— Принеси, пусть работает, а то есть не дадим. Ишь, руки в боки...

Собрались ужинать, когда в дверь постучали. Не Стефка ли? Пошла уже вторая неделя, как поехала за своим дудариком, и — ни слуху. Дороги замело...

Высокий мужчина в рыжем, подпоясанном ремнем полушубке, в солдатской со звездочкой шапке вопросительно и по-доброму смотрел на Надежду. В руке кожаная сумка.

— Это вы Надежда Щербак? Ну и снегу навалило! Если бы не лыжи...

— Вы от Антона?! . Говорите скорее, не мучайте...

— Па-па! .. Мама Надя, это мой папка... Ты приехал? .. Я же говорил, он приедет...

У Надежды отлегло от сердца, только в груди еще глухо, словно беззвучный колокол, билось сердце, а по ногам бежали холодные мурашки.

— Проходите в дом, а то ребенка застудите.

— Напугал я вас? Извините... А ну-ка, сынок, дай я на тебя погляжу. Ого, скоро отца догонишь! .. Ну-ну, мужчинам не пристало так долго целоваться... Рот фронт!

— Рот фронт! — стиснул кулачок Павлик. — А мама Надя говорит, что я худенький. Правда же, я не худенький?

— Да вы раздевайтесь. Не знаю, как вас величать...

— Майор Вейс. Отто Карлович... Собственно, с этого и следовало мне бы начать, но увидел сына — забыл обо всем на свете! .. Я так благодарен вам...

Пусть не удивляется Надежда... Егоровна? .. что не присылал ни писем, ни денег... Так складывались обстоятельства... Когда произошло несчастье, не сразу разыскал могилу жены под Воронежем, а следы мальчика

затерялись. Потом был по заданию во вражеском тылу и только теперь, вернувшись на Большую землю, разыскал вот адрес...

Рассказывая все это, Вейс неотрывно смотрел на сына, тискал его, а Надежда слушала и думала, что мужчина этот, видимо, немало хлебнул горя, молодой еще, а в волосах столько седины, и человек, наверное, хороший, хотя и немец. Странно как-то все же. Недавно здесь дезертира поймали, из своих, карачаевского. Когда вели его по улице, то женщины плевали вслед, одна заступилась было, — дескать, мужику жить тоже хочется, — ее избили бабы, а потом все вместе плакали. Кому жить не хочется? Но не за чужой же спиною...

Надежда оставила отца с сыном наедине — пусть наговорятся, — вышла во двор. Возле порога, припорошенные снегом, стояли лыжи. Над Карачаевкой опускался вечер. Тихий, в серебряных блестках. Седые столбики дыма над крышами обещали морозную ночь.

Взяла взаймы у соседки кусок сала, немного поколебавшись, зарезала и курицу, последнюю, — не приглашать же гостя на одну постную картошку.

...Когда Надежда вернулась в дом, там было уже полно народу. Женщин набилось — как на посиделки. Жадно слушали каждое слово Вейса, радовались, ойкали, вздыхали. Был тут и почтальон, дед Панас.

— Нет, ты скажи мне, добрый человече, — наседал он на майора, — до каких это пор я буду носить еще похоронки? Ты скажи! Там что, на фронте у вас, мельница стоит, которая людей русских перемалывает? Ты скажи!

Вскоре пришел и Цыганков, привычным движением потер горбинку на переносице, словно она постоянно чесалась и не давала ему покоя.

— Имейте совесть, женщины! Человек с дороги, сына едва разыскал, а вы... Паренек глаз с отца не сводит.

— Так с фронта же...

— Знаю, что не с базара. Просто так мы его не отпустим. Вот завтра в клуб пригласим и там честь по чести...

Женщины неохотно укутывались платками, следом за ними запрыгал на деревяшке и дед Панас, напевая себе под нос: «Гыля, гыля, гусоньки...»

Цыганков задержался.

— Ну, так как, майор? Не откажешься выступить в клубе?

Цыганков намеревался уже уходить, но Надежда не отпустила его, пригласила вместе с ними поужинать. Сказала больше из вежливости, а он обрадовался, ему показалось, что она поняла, как ему не хочется уходить отсюда.

— Ого, да под такую закуску не грех бы...

Вейс спохватился:

— Что же это я? А гостинцы?

Он достал из сумки кусок колбасы, шоколадку, какую-то банку с американской этикеткой.

— Второй фронт? — хмыкнул Цыганков. — Союзнички, дьявол их забери, отбиваются тушенкой...

— Сыну сладкое, а нам горькое, — майор подбросил на руке обтянутую замшей немецкую флягу. — Трофей!

— Хитрый я мужик, — сказал Цыганков. — Сначала всех выпроводил, чтобы самому больше досталось, а теперь еще и на чарку напросился.

Надежда, пожалуй, впервые в жизни пила коньяк. В голове зашумело, а на сердце стало грустно-грустно, хоть плачь.

Если б крылья я имела,
Прямо к дому полетела
Да к родному уголочку,
Повидала бы сыночка...

Она и сама не заметила, как тихо запела песню, которая будто выпорхнула из забытья, неизвестно где и когда услышанная, возможно еще в детстве. Память все сохраняет и терпеливо ждет, чтобы в должный момент встрепенуться, озарить душу.

Дни темны, как черны ночи,
Горько плачут мои очи.
Загляни, сыночек,
Хоть бы на часочек...

Ей казалось, что это не она, а чей-то голос издалека произносит слова песни и никто их, кроме нее, не слышит. Платок упал на плечи, позолоченный светом лампы тугой узел волос клонил голову набок, тени сделали ее лицо таинственно-печальным.

Вейс расстегнул воротник гимнастерки, хотел было что-то сказать, но Цыганков остановил его жестом руки и принялся скручивать самокрутку. Он давно уже на-

учился делать это одной рукою, прижимая подбородком бумажку к плечу, однако сейчас у него не получалось. Дождавшись конца песни, спросил так, словно продолжал ранее начатый разговор:

— И куда же теперь, майор, если не секрет? Снова на фронт?

— Нет, буду работать с военнопленными.

— Это что же? — вскинул брови Цыганков. — В переводчики зачислили или в кашевары?

— Смотри глубже, Андрей Иванович. Я и сам было вначале вскипел, но мне растолковали старшие. Понимаешь, с нацистами разговор ясен, но ведь много и честных, просто затурканных немцев. Рабочие, крестьяне... Гитлеровская машина перекрасила их в один цвет, бросила на фронт.

— И что же они, эти затурканные, не стреляли в нас?

— Важно, какими они домой вернутся. Думать надо и о будущем Германии.

— Как, как ты сказал? Думать о будущем Германии? — Цыганков в сердцах стукнул кулаком по столу. — Значит, сами кровью захлебываемся, а думать должны о будущем Германии? Это тоже тебе сказали или ты сам...

— Ну, руби уж до конца, чего там. — Вейс поднялся, нервно заходил по комнате, его ломаная тень заметалась по стенам. — Ты, мол, немец, потому-то тебе и больно за них. Это ты хотел сказать? Верно? Но не только моя эта боль, Андрей Иванович. У партии есть ближние и дальние заботы. Неужели ты не понимаешь, что мы сильны верой в завтрашний день. Значит, мы уверены в победе, если сейчас думаем о будущем Германии! Какой она станет?..

Нахмурившийся Цыганков дымил самокруткой и молчал. Сквозь заснеженные стекла в хату лился лунный свет. Павлик уснул. Надежда раздела его, уложила в кровать, убавила свет в лампе. Краем уха она улавливала разговор Цыганкова и Вейса, силясь понять, кто же из них прав. Она согласна была с майором. Фашистов перебить — это еще не все, нужно искоренить фашизм... Это он правильно говорит. Но и Андрей Иванович по-своему прав: до других ли дело, когда своего горя от моря до моря...

2

Антон нервничал. Через Пульсойер мчались табльдоты с люксембургской рудою, пульманы с реквизированным у французских фермеров скотом. Мчались на Льеж, чтобы оттуда повернуть на восток, в пасть крупповских заводов на Руре, в армейские бойни, насытить фронтовые дула и рты.

— Кто мы такие? Партизаны или? .. Для чего мы бежали из концлагерей — чтобы отсиживаться? .. А немец гонит эшелон за эшелоном! ..

— Не кричи на меня, — сказал Жан. — Оружия у нас мало, взрывчатки совсем нет, людей — по пальцам можно пересчитать. Приказано накапливать силы. Спроси у Люна.

— И спрошу! Ведь это не руду везут, а снаряды, бомбы, танки! Вот и спрашиваю: кому здесь смерть уготована? Возможно, Люну безразлично, а мне...

— Не смей так говорить о Люне! — вскипел Жан. — Люн поддерживает связь с ЦК, ежечасно рискует головою. — Он помолчал. — Завтра еду в Угре. Там прячутся семеро наших, убежали с шахт. Жозеф приказал переправить их сюда. Это же сила!

Антон знал, что отрядом командует Жозеф Дюрер, но ни разу еще не видел его. Известие о беглецах обрадовало. Четверо плюс семеро... Можно и самим за дело браться, своим отрядом. Он сказал об этом Жану.

Жан отрицательно покачал головою.

— И долго ты думал? Не разъединяться нам надо, а объединяться, товарищ лейтенант! Только в таком случае будем что-то значить в боях. А ты проповедуешь какое-то сектантство.

Они разошлись недовольные друг другом.

Пока Жан ездил в Угре, Василек разведал, что в доломитовом карьере есть динамит, а охрана — один сторож.

— Айда к Егору!

...Темной ночью они пробрались в карьер.

Сторож храпел в своей будке у разогревшейся докрасна «голландки» и спросонья долго не мог понять, чего от него хотят. А когда понял, сам принес откуда-то веревку и попросил, чтобы его связали.

Взяли два ящика динамита, прихватили и старенькое ружье с патронташем.

— В нашем хозяйстве все сгодится, — сказал весело Егор. — А ты, дядька мусье, лежи и не вздумай кричать. Понял?

Василек шел впереди, отыскивая между буераков дорогу покороче. В долину со всех сторон стекали потоки талой воды, ноги скользили на мокрых камнях.

— Ахнет такая штучка — и поминки некому будет справлять, — ворчал Егор, поглядывая на рюкзак с трофеем. — Ты, Антон, хоть когда-нибудь имел дело с динамитом? .. То-то! И я впервые его в руках держу.

Динамит и ружье спрятали неподалеку от Шанкса в незаметной для постороннего глаза пещере, скрытой густыми зарослями.

Из Угре Кардашов вернулся в приподнятом настроении. Всех беглецов удалось благополучно переправить на партизанскую базу в лес. Он с восторгом рассказывал, какие это отчаянные ребята и как они рвутся к делу.

— А мы тут, — Егор басовито прокашлялся, — немного динамиту раздобыли.

Антон был почти уверен, что Кардашов возмутится их поступком, начнет упрекать за своеволие, напомнит о дисциплине. Но тот внимательно выслушал и согласился.

— Взрывчатка нам скоро пригодится. Почистим и другие карьеры, их здесь много. Но действовать будем иначе. Бельгийцы сами станут отдавать нам взрывчатку, а в документах отмечать как использованную. Это я беру на себя. — Он усмехнулся: — Тогда и сторожей не придется связывать.

— Можно бы еще и жандармов разоружить, — предложил Егор.

— Чтобы их заменили немцами?! Ну ладно, ты, Егор, ступай, а мы с Антоном немного потолкуем. Да, подожди! — Кардашов достал из кармана пузырек с наклейкой на латинском языке. — Это для Василька. Питье ему доктор передал.

3

Я снова Клод Рошар и еду в Льеж.

— Эжени родила двойнят. Нужна коляска. Симон раздобыл, но она тесновата. Ты привезешь им большую.

Я смотрел на Жана, силясь понять, что кроется за его словами.

— Симон сам не может поехать — Эжени очень слабая. А ты, так сказать, их ближайший родственник.

Я молчал. Ждал, пока Кардашов выскажется до конца. Но он тоже умолк и хмуро смотрел в окно.

— В субботу я отвез ее в Брест, в больницу. Мы все ждали сына. И она уверяла, что будет сын. А в воскресенье...

— Коля...

— Помолчи. Не люблю, когда... Просто вспомнилось... Поедешь утром, деньги принесет Люн.

Он уже взял себя в руки. Передо мной снова сидел обычный Жан, Николай Кардашов, суровый, с льдинками в глазах.

— В самом деле я должен ехать за коляской?

— Конечно.

— И это все?

— Разумеется, не все. Вот адрес. Запомни, а бумажку сожги... Вот так... А теперь слушай внимательно. По этому адресу тебя будут ждать. Скажешь об Эжени и о коляске. Люн даст тебе сундучок. Пустой. Там его наполнят. Как разыскать нужную улицу, расспрашивать ни у кого нельзя. Ведь ты глухонемой. Понял?

— Но я же совсем не знаю Льежа!

— У нас есть карта города. А ты человек вроде бы военный...

Меня раздражал снисходительный, даже слегка высокомерный тон Кардашова, которого он придерживался в разговорах со мною. Впрочем, он, видимо, это чувствовал: всякий раз, только я начну нервничать, тепло улыбнется и тем самым обезоружит меня. Он умеет улыбаться одними глазами: в серых зрачках прыгают искорки, едва заметно подрагивают брови, и все! Прежней строгости его как не бывало, остается разве что ирония, добрая, дружеская, на которую грех гневаться.

Мы склонились над картой. К этому времени я уже настолько овладел французским языком, точнее, его валлонским диалектом, что мог мало-мальски поддерживать разговор, заполняя нехватку слов жестами. Но с чтением дела обстояли неважно. Я никак не мог понять, почему читать надо не так, как написано, а с вывертами языка. При чтении старательно выговаривал каждую буковку в тексте, а это по отношению к элегантному французскому языку было настоящим варварством.

Карта была подробной и охватывала не только Льеж, а также многочисленные его предместья от Герштaля на

севере до Угре на юге. Мое воображение рисовало древние, окруженные со всех сторон каменным валом, замки. Закованные в кольчуги рыцари Карла Бургундского и Людовика XI штурмуют восставший город. Квентин Дорвард храбро сражается с Гийомом де ля Марком — бессердечным, жестоким Арденнским Вепрем.

— Как видишь, Антон, — вернул меня к действительности голос Кардашова, — тебе нет необходимости слоняться по центральным улицам Льежа. Там, конечно, есть на что посмотреть, но и немцев предостаточно, они любят фешенебельные кварталы. Твоя цель — Серен, металлургическое предместье Льежа.

4

Серен встретил меня дымом. После чистого арденнского воздуха здесь просто нечем было дышать. К тому же в тихую погоду. Многочисленные трубы «Шато де Серен», одного из старейших заводов компании «Коккериль-Угре», обильно сеяли сажу на крыши, на молодые деревца с проклюнувшимися почками, на велосипедистов и пешеходов.

Улица Дювалье утопала в живых изгородях. Нужный мне домик с мансардой стоял почти на самом берегу Мааса в окружении вечнозеленых лиственниц.

На мой стук долго никто не отзывался, а когда дверь наконец открылась, я в тот же миг забыл, что я не я, а глухонемой Клод.

— Дезаре! Ты?!

Он укоризненно покачал головой, приглашая одновременно жестом в дом.

— Салют, Антуан! Не ожидал? Я тоже. Рад видеть тебя живым и здоровым. Ого, Арденны пошли тебе на пользу!

— Здесь можно говорить?

— Даже петь! «Мы кузне-ецы. . .»

— Подожди. Тебе не кажется, что мы уж слишком далеко заходим в нашей конспирации? Разве я не имел права знать, что иду к тебе?

— Кто тебя инструктировал? Жозеф?

— Жозефа я еще и в глаза не видел.

— Узнаю старого подпольного волка. Ну, а тот, кто тебя посылал, видимо, и сам знал немного. На Жозефа это похоже.

— Чей это дом?

— Мой, друже, мой. И чувствуй себя здесь как дома. Я приехал, чтобы встретиться с тобою. Собственно, я не знал, что придешь именно ты, но это не имеет значения, правда же?

— Правда, господин лесник.

Дезаре скривился:

— Не напоминай. Если бы ты знал, как осточертело угождать этим новоявленным нибелунгам! Каждый из них не стоит даже копыт благородных оленей, которых они истребляют здесь безжалостно на охоте, а потом, нахлеставшись шнапсу как свиньи, хвастают своими победами над бельгийскими женщинами. А я обязан ублажать их и с улыбочкой принимать из грязных рук рюмку, которую они в минуту откровения даруют мне как верному их слуге — егерю.

— И все это нужно терпеть?

— Нужно! — Дезаре вздохнул. — Пойдем в комнату. В ногах правды нет, как говорят русские... Зачем терпеть, спрашиваешь? А затем... Нализавшись, боши болтают не только о женщинах. Если бы услышал Гиммлер, он перевешал бы их всех подряд на первом попавшемся суку.

Мы зашли в комнату, которая, по всей видимости, была библиотекой. На одной стене висели полки, заполненные книгами. Письменный стол и два кожаных кресла дополняли обстановку. Напротив окна стоял мольберт с подрамником, на котором было натянуто начатое полотно. Под ним валялась оставленная в поспешности палитра с засохшими красками.

Меня обожгли глаза на полотне. В первый миг показалось, что, кроме глаз, на картине ничего и нет. Они заполнили все полотно — горячие, почти безумные. Однако так казалось лишь с первого взгляда. На самом же деле в глазах пламенела гамма человеческих чувств — ненависть, вызов, жажда свободы. Потом я увидел заросшее лицо, его истощенный, изнуренный вид не могла скрыть даже густая щетина на щеках, взлохмаченные пряди волос над лбом. Необычной была горделивая постановка головы, словно человек собирал силы для отчаянного прыжка вперед. Не знаю, как Дезаре удалось выразить линиями именно эту мысль, но она напрашивалась сама. Воображение же дорисовывало напрягшееся тело, а в раскрытых устах слышался крик. Что-то знакомое было в этом портрете, я уже видел этого человека, пожалуй, даже совсем недавно, но где — не мог вспомнить.

— Не узнаешь?

Голос Дезаре словно проявил невыраженные контуры, и передо мной встал утренний лес, почти физически я ощутил в руках сучковатую палку и свое стремление умереть, лишь бы не попасть в руки к зловещему коменданту Зеелеру.

Я обессиленно опустился в кожаное кресло, будто снова пережил тот незабываемый миг, и пережитое опять истощило меня до изнеможения.

— Впервые вижу влияние искусства на человека,— произнес обрадованно Дезаре.— Выпьем за мой успех!

Он старался скрыть свою радость, но это ему не очень удавалось. Наверняка я ублажил его честолюбие, хотя и не сказал ни слова о портрете.

Вино было сладкое, густо-красное.

— Я не знал, что ты... Давно?

— Грех юности.— Дезаре поднял палитру, взвесил на ладони, осторожно положил на стол.— Два года учился в Париже, в мастерской забытого ныне Марлона. Заказанные мне портреты имели спрос, а на то, что я делал по зову души, никто не обращал сколько-нибудь серьезного внимания. И я вскоре разочаровался в живописи, поступил в политехнический. Говорят, из меня получился неплохой электрик. Ваш Днепрогэс открыл мне глаза. Вернувшись домой, я вступил в партию. Служил на «Шато де Серен». Надо отдать должное этой компании, она умела ценить специалистов.

— А ты, неблагодарный, стал лесником.

— Напрасная ирония. Конечно, я совершил ошибку, и в ЦК мне указали на это недвусмысленно. Ведь на заводе тоже нужны наши люди. Но у меня не было сил работать на немцев. А тут подвернулось лесничество. Кроме того,— Дезаре лукаво повел глазами,— я знал, что мне предстоит спасти одного беглеца...

— Теперь же, когда эта благородная миссия выполнена,— подхватил я,— тебе полагалось бы возвратиться в Серен, но...

— Но Эдгара[1] не уговоришь,— хмуро заключил Дезаре и на мгновение умолк.— В твоем присутствии я становлюсь слишком болтливым. Между прочим, отец рад, что я лесник. Он из тех, кого не коснулась урбанизация.

---

[1] Эдгар Лальман — один из руководителей Бельгийской коммунистической партии.

Человек слишком отдалился от природы — вот его кредо в оценке современности.

— Эжени родила двойнят, — сказал я.

Дезаре засмеялся:

— Еще один сюрприз малышки Эжени. От нее всегда приходится ждать неожиданностей. Два года за нею увивался адвокат из Вервье. А когда уже все, и в первую очередь сам адвокат, были убеждены, что дело идет к свадьбе, она выскочила за Симона.

— И думаю, не ошиблась. А почему ты холостякуешь? На женоненавистника вроде не похож...

Я умолк, поняв, что сболтнул лишнего, ибо Дезаре побледнел и потянулся за спичками, чтобы прикурить сигарету.

— Прости, — сказал я. — Я не хотел. Эжени нужна коляска. У нее есть, но на двоих она мала. Собственно, для постороннего глаза, я за нею и приехал.

Дезаре по-прежнему молчал, преодолевая волнение.

— Сюзи умерла у меня на руках, — проговорил он наконец. — Будь проклят тот день — десятое мая тысяча девятьсот сорокового года! Этот страус Пьерло думал, что, объявив нейтралитет Бельгии, он избежит войны. Но напрасны были надежды — Гитлер плевал на его нейтралитет. Через неделю они были уже в Брюсселе, а двадцать восьмого мая по приказу Леопольда бельгийская армия капитулировала. Сам король объявил себя пленником и сдался на милость победителей... Мы не успели и узнать о войне, как боши ворвались в Эйпен. Это почти на границе. Там жила мать Сюзанны, а мы приехали к ней в гости. Слепая пуля влетела в окно...

Я слушал горькую исповедь Дезаре Рошара и думал о тебе, мама. Успела ли ты выехать из Сивачей, как я тебя просил? Иногда мне так хочется снова стать мальчишкой, чтобы мы с тобою долгими зимними вечерами сидели на теплой печи и я читал бы тебе «Кобзаря». Помнишь?.. Где это счастливое время? И все же у меня есть надежда (между прочим, я лишь теперь по-настоящему осмыслил твое имя!), а у Дезаре ее нет. Когда собственными руками хоронишь близкого человека, вместе с ним хоронишь и надежды.

— Пуля всегда слепая, но тот, кто ее посылает, зрячий. Мы отомстим, Дезаре, отомстим за все! И за смерть Сюзи...

Я понимал, что это не те слова, но лучших не мог найти.

— Множество раз я начинал писать ее портрет, но она почему-то перед моими глазами всегда мертвая. Я хотел бы видеть ее живой, живой!

Я наполнил рюмку и силком втиснул ее в непослушные пальцы Дезаре:

— Выпей! И я с тобой! В память о Сюзи... Живым жить. И бороться...

Он печально покачал головою.

— Живым жить... Но иногда не хочется. С тобою такого не случалось?

— Нет! — твердо сказал я. — Со мною такого не случалось. Даже там, в концлагерях. Правда, тогда, в лесу, я хотел умереть, но это совсем другое. Кто же будет убивать фашистов, если мы сами сдадимся смерти? Нет, друже, еще не все мы сделали на этом свете.

— Ты, пожалуй, прав, — тихо сказал Дезаре. — Я создал галерею героев. Ляо[1], которого немцы бросили в концлагерь, полковник Ванблейк, поднявший в воздух вместе с собою мост через Самбру, Эмиль Говен, зверски убитый полицией в тысяча девятьсот тридцать восьмом году во время забастовки рабочих Льежа...

— Надеюсь, эту галерею ты не хранишь здесь, в своем доме?

— Нет, она спрятана надежно. Одна мысль, что портреты могут попасть в грязные руки врагов, бросает меня в дрожь. Я этого не пережил бы. Верю, что придет время, когда я смогу показать свои работы в музеях Бельгии!

— Уже ради этого стоит жить! — волнуясь, сказал я. — Неужели ты сам не представляешь, какое великое дело ты творишь? Многие честные люди ничего не знают о своих героях! А ведь их не только знать, помнить и любить должны потомки!

На улице потемнело, в стекла ударили капли первого весеннего дождя. Дезаре стоял, скрестив на груди руки.

— Когда прижатая к морю в Остендских дюнах наша армия капитулировала, нашлись храбрецы, отказавшиеся выполнить королевский приказ. Один танкист повел свою машину через пески прямо на немецкую батарею. Но танк вспыхнул и остановился. Танкист выбрался че-

---

[1] Жюльен Ляо — член Политбюро ЦК, после разгрома гитлеровской Германии председатель Бельгийской компартии, член парламента. С первых дней оккупации страны возглавлял движение Сопротивления. В 1941 году был арестован гестапо. В 1950 году злодейски убит фашистскими наемниками.

рез люк и мог бы спастись. Однако он встал во весь рост на башню и сгорел на глазах всей армии. Я не знаю имени этого героя, но я напишу его портрет. Это был живой факел, живой огонь! Я вижу его, я хорошо вижу его сейчас... Пепел Клааса стучится в мое сердце...

Это, наверное, великое счастье, когда у тебя есть брат младший или же старший. Не твоя вина, мама, что у меня нет брата. Так сложилась наша жизнь, и я не укоряю тебя. Я только говорю, что хотел бы брата. И пусть бы он был похож на Дезаре Рошара.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Известие о том, что армия фельдмаршала Паулюса капитулировала, застало их в Саратове. Станция бурлила. Около громкоговорителя толпились люди, жадно ловили каждое слово, кричали «ура!», целовались. Солдаты комендантского взвода стреляли из винтовок в небо. Кто-то хрипло кричал:

— Слушай мою команду! К салюту славным сталинградцам... товсь!.. Пли!..

От вокзала, путаясь в длинных полах шинели, бежал разгневанный комендант:

— Прекратите стрельбу!.. Всех пересажаю на гауптвахту!..

Уткнувшись лицом в воротник полушубка Усманова, Надежда плакала счастливыми слезами.

— Не надо плакай, надо радуйся, — утешал ее Усманов.

С Аханом Усмановым, инструктором Джагытарского райкома партии, Надежда познакомилась несколько дней тому назад на станции Бугрынь. По обветренному до черноты лицу казаха трудно было определить, сколько ему лет. Усманову с одинаковым успехом можно было дать и сорок, и шестьдесят.

— Там пушка стреляй, — сказал он. — Страшно?

Им поручили сопровождать два вагона с зимней одеждой, собранной колхозниками для бойцов Советской Армии.

Надежда и радовалась этому поручению, и вместе с тем пугалась его. «Не могли послать мужчину побойчее? Этот уж слишком... нерасторопен».

Вскоре, однако, выяснилось, что Усманов не такой уж и простачок, как ей показалось вначале. Когда на узловых станциях отцепляли вагон с одеждой, Усманов не кричал, не ругался, а шел к коменданту и заводил неторопливый разговор.

— Ай-я-яй, не щиплет перья воробей... Ай-я-яй...

Занятый делами комендант посматривал исподлобья на странного посетителя и не знал, что сказать в ответ.

— Сидит, надулся, а перья не щиплет. Ай-я-яй...

— Ну и что? — не выдерживал комендант.

— Воробей мороз слышит, сердитый мороз будет.

— Возможно, и будет.

— Солдат рукавицы надо, солдат валенки надо.

— Правильно, — соглашался комендант. — Но где ты их наберешься? Армия большая, на всех не хватает.

— Зачем так? — качал головой Усманов. — На третий путь вагон стоит. Народ все теплое собирай, нам вручай: вези, Усман, вези, Надежда, солдат спасибо скажет.

Комендант злился, стучал кулаком по столу:

— Ох и хитрый же ты, отец! Ну, к чему завел эту сказку про воробья? Какого дьявола прямо не говоришь?

— Усман говорит. У тебя дела много. Ты не слушай...

— Поедут твои рукавицы, поедут.

И они ехали. Вторую неделю ехали всеми правдами и неправдами на прицепе у воинских эшелонов и товарняков.

Надежда была благодарна Цыганкову за эту поездку. После того как Вейс забрал Павлика, она не могла найти себе места от тоски, вдруг охватившей ее. Только теперь поняла, что Павлик для нее стал родным, единственной отрадой, той самой капелькой тепла, без чего и душе на ветру холодно.

— Я к тебе опять приеду! — сказал на прощанье Павлик.— Как выросту, сразу приеду.

Они удалялись, а Надежда смотрела им вслед и нервно мяла пальцами кончик шерстяного платка. И вдруг Павлик бросился назад, будто медвежонок, смешной, в шубейке — ее она выменяла на рождество за пуд картошки.

— Вот, мама Надя, это тебе...

Запыхался, из носа пар, как из чайника, а на ладони — складной ножичек. То был не просто ножичек, то была давнишняя мечта Павлика. Отец будто догадывал-

ся о заветном желании мальчика, а может, и знал по своей собственной мечте в детстве, привез этот маленький, с двумя лезвиями и с инкрустированной колодочкой, подарок сыну.

...Холодной звонкой ночью эшелон прибыл в только что освобожденный от фашистов Курск. Вагоны с одеждой были подогнаны к воротам пакгауза.

Город лежал в руинах. Станция была похожа на огромную кузницу. В морозном воздухе висел звон металла, слышались удары молотов и ломов. Скрипела, будто уключины лодки, дрезина. Но вот в глубине неба родилось неясное гудение, тяжелое, надсадное гу-гу, гу-гу, гу-гу... Земные звуки притихли. Станция будто онемела, только в воздухе слышался этот теперь уже четкий и угрожающий гул да раздавались голоса переговаривающихся на путях железнодорожников:

— Наши?

— «Юнкерсы»! Я этой музыки уже так наслушался, что и на том свете будет чудиться...

— Почему же пушкари молчат?

И словно в ответ на удивленные эти слова, где-то на окраине, у семафора, хвостатыми кометами рассекли тьму прожекторные лучи, заходили по темному небу, отыскивая вражеские бомбардировщики. И тут же ударили зенитки...

Прибежал запыхавшийся Усманов.

— Надежда! Капитан машина приехал. Хороший капитан! Усман говорил, куда ехать будешь? Капитан говорил: на фронт ехать будешь.

Надежда была удивлена тому, что в этот тревожный час они кому-то понадобились. Она уже потеряла счет дням, станциям и разъездам. Временами казалось, что они продвигаются неизвестно куда, а если и выдерживают какое-то направление, то благодаря неугомонности Усманова. А вышло — их ждали! Машину прислали с передовой!

На передовую их не повезли. Всю ночь обтянутый брезентом грузовик прыгал по выбоинам, петлял заснеженными лесными дорогами.

Дремал Усманов, спал капитан, по-детски шевеля во сне губами, и если бы не щетина на его сизых щеках, он

в этот миг мог бы сойти за подростка, которого неизвестно зачем нарядили в военное. Но Надежда знала, что под шинелью на груди у капитана Золотая Звезда. Она будто видела сейчас каждую ее грань сквозь сукно, как тогда, в комендатуре, когда капитан, скинув шинель, сидел разомлевший, по-домашнему расслабленный, около пышущей жаром «буржуйки».

Надежда почувствовала даже разочарование. Ей казалось, что у шофера вид куда более геройский: в широких плечах его чувствовалась сила; да и лицо — обветренное, мужественное, каким и должно быть лицо воина. Однако же герой не шофер, а вот этот несколько смешной во сне, не богатырского сложения, с припухшими, как у девушки, губами молоденький капитан.

Услышав в комендатуре от Усманова ее имя, капитан улыбнулся и сказал, что в свое время, еще до войны, он знал песенку: «О Надежда, звезда моих ночей...» И тут же смутился: «Извините за бестактность, просто вспомнилось...» Чудной этот капитан!

...На рассвете «студебеккер» наконец-то остановился посреди небольшого села. Под холмом слева поблескивала молодым, чистым ледком речка, справа высился заснеженный лес.

— Окоченели, товарищ Надежда?— спросил капитан.

Стояла тишина. Под ногами хрустел снег, звук был такой, будто щипали влажными губами сочную траву лошади.

— Женщины, капитан, создания выносливые. — Надежда вышла из машины и стала разминать затекшие ноги. — Вот Ахан-ата всю дорогу проспал, а теперь зубом на зуб не попадет... Это и есть передовая?

— Передовая там! — Капитан махнул рукой в сторону леса. — Километрах в двадцати отсюда.

Усманов обиженно посмотрел на офицера.

— Нехорошо! Говорил — фронт. А где фронт? Нет его. Получился обман.

— Фронт — не мамка, чтобы по ней скучать. Разве что теща? — неуклюже пошутил шофер.

— Зачем так говорит? Усман ехал тысяча километр, два тысяча... На фронт ехал...

— Не волнуйся, отец. — Капитан, слепив снежок, бросил его в сосну и, явно, остался доволен своей меткостью. — И здесь есть фронтовики. Наш батальон ночью сняли с передовой. Солдаты сейчас отсыпаются. А после

опять в бой. Вот мы и приоденем их. А пока попьем чайку горяченького...

И снова Надежда подумала, что капитан совсем не похож на героя, однако теперь это уже не вызывало у нее разочарования. Человек как человек. И пускай себе. Да и где их, особенных, наберешься? К таким небось не подступиться, а этот совсем свой парень, не забыл даже, как снежки лепят...

Чай пили из алюминиевых кружек в сельской хате. Сладкое тепло разливалось по всему телу, клонило в сон.

— А где же хозяева? — поинтересовалась Надежда.

Капитан, минуту назад щедро угощавший ее сахаром, сразу нахмурился, отодвинул свою кружку.

— Это село мы взяли без боя в прошлую пятницу. Входим: ни людей, ни собак, а печи в хатах топятся — дымки над крышами. У колодца стоят ведра, и вода не замерзла. А людей — ни души. Только за каждой дверью — мина. Поэтому село и не сожгли.

Капитан закрыл глаза, на щеках сквозь щетину проступили белые пятна. Похоже, он силился отрешиться от какого-то видения, но оно стояло перед ним и от него некуда было деться.

— Мы нашли их в лесу, в овраге. Женщины, дети... Мертвые... Один ребенок был жив и... совсем седой. А глаза безумные... Всякое я видел на войне, но такого... Это ужасно! Расскажите обо всем этом дома. Пусть знают.

Усманова затрясло.

— Шайтан!— хрипло закричал он.— Зачем дети стреляй? Усман старый, Усман стреляй! Кыз-гюль[1] мало жил на свете... — И он быстро-быстро заговорил о чем-то по-казахски. Глаза его, казалось, были сухими, и неизвестно откуда только брались слезы, которые текли по его глубоким, словно борозды, коричневым морщинам.

— Успокойся, Ахан-ата, успокойся... — попросила старика Надежда. Капитану сказала: — У него внучка маленькая есть...

Капитан сосредоточенно, обеими руками, застегивал пуговицу на шинели. Пальцы слушались его плохо.

Вдали громыхнула пушка, и тут же глухо зазвенели стекла, будто рвануло их ветром.

— Т-точно! — сказал капитан. — Восьмой час. Значит, фрицы уже позавтракали.

---

[1] Девочка-веточка, маленькая девочка *(казах.)*.

2

Падал мокрый снег. С крутого берега в реку по камням стекали ручьи. Плеск воды походил на вечную песню неутомимых цикад.

— Что-то долго Андрюха возится, — обеспокоился Щербак.

— В таких вещах спешить нельзя, — отозвался Жан. — Нам повезло, что хоть Савдунин знаком с динамитом. Вовремя все же привез я этих ребят из Угре.

Они лежали у насыпи, низкие опоры моста сливались с темной водой.

Антон силился представить себе, что делает в эту минуту Савдунин. Он только один раз встретил его на лесной партизанской базе, где Дюрер собрал школу подрывников. Шкиперская бородка, брови короткие, вполглаза, а в самих глазах мальчишеский азартный блеск.

— Хорошие ребята, — сказал Антон. — Только не слишком ли веселые? С чего бы это?

— Как с чего? На свободу вырвались, на волю! Неужели не понятно? Я, бывало, иду, а ноги сами несут, чуть не подпрыгивают от радости. Да что там говорить — вспомни свои первые дни после неволи.

— Мои первые дни... — Щербак стукнул «шмайсером» о гравий. — Мне было тогда не до самоанализа. После побега я целый месяц землю обнимал...

Брюки на коленях намокли, холод легкой дрожью расползался по всему телу.

— Мост — и никакой охраны...

— Да, — зашевелился Жан. — Вот если бы там с полсотни гитлеровцев сидело. Да еще в дотах. А мы бы штурмовали их...

Антон сплюнул.

— Я к тому, что живется им здесь слишком вольготно.

— Пока морду не набьем, — сказал со злостью Жан. — Тогда зашевелятся. Будет тебе и охрана, и облавы, и карательные акции. На это они мастера.

Три дня назад Люн привез приказ Диспи[1] приступить к активным действиям. Жозеф решил, что для начала было бы неплохо взорвать мост через Урт неподалеку от станции Риваж. По этой магистрали день и ночь шли эшелоны с люксембургской рудою.

---

[1] Р. Диспи — командующий партизанской армией Бельгии, секретарь ЦК компартии.

...Они лежали на мокром гравии взволнованные, увлеченные тем, что предстоит сейчас совершить. Это будет началом борьбы с врагом, им так хотелось, чтобы начало было удачным, надо доказать врагу свою силу, способность бороться с ним и здесь, на чужой земле, за тысячи километров от Родины. В каких списках они там числятся? .. Погибших? Пропавших без вести? А может, изменников? Эта мысль была тяжелой как камень и острой как нож. От нее невозможно было спрятаться, она вросла в живое тело, стала нервом, болезненным, ранимым.

— Николай, дрезина! Предупреди ребят.

В ночную темень полетел крик совы и тут же откликнулся эхом внизу, под мостом.

Глухо шумела, обтекая бетонные опоры, река.

Ощупывая колею тусклым фонарем, быстро приближалась электродрезина. В свете фонаря, словно ночные мотыльки, плясали снежинки. Антону показалось, что не только он видит вражеских солдат, но и они его. Плащи немцев отливали черным глянцем, по ним стекали капли растаявшего снега. Один из них бросил недокуренную сигарету, и она, прочертив в воздухе огненную параболу, упала прямо перед носом Щербака.

Дрезина выкатилась на мост. Свет замелькал в переплетениях ферм.

— Ох, и чесались же у меня руки! — произнес со злостью Антон.

— А ты их в карман, — посоветовал Кардашов. — Иногда помогает.

Тяжело сопя, по круче поднялся Жозеф Дюрер. Следом за ним появилась и огромная фигура Егора.

— Где вы тут? Не позамерзали?

Жозеф в куртке и в армейских галифе из чертовой кожи, шея закутана шерстяным шарфом.

— А мы их сейчас погреем! — загудел Довбыш, ловким движением фокусника извлекая из кармана флягу с ромом. — По глотку на брата. Вы первый, комендант...

— У нас не больше двадцати минут, — вытер губы концом шарфа Жозеф. — Георг, вы с Андре остаетесь на месте и действуете самостоятельно. Ан аван[1], санкюлоты!

---

[1] Вперед *(франц.)*.

С гор наползала влажная мгла. Дюрер то и дело спотыкался на скользких шпалах. Щербак и Кардашов спешили за ним вдоль насыпи. За акведуком железнодорожное полотно выгибалось, обходя поросший редким сосняком огромный выброс известняка.

— Здесь, — сказал Жозеф.

В этот момент в глубине земли родился едва уловимый гул. Вскоре он усилился — из-за поворота сверкнули два красных глаза.

Пока Жозеф размахивал фонарем и руками и о чем-то кричал, Щербак и Кардашов лежали в зарослях, прислушиваясь к звону рельсов и стуку собственных сердец.

Паровоз зашипел паром, лязгнули буфера. Из будки выглянул машинист в меховом картузе.

— Какого дьявола?

Жозеф с перепуганным видом подбежал к нему.

— Слава богу! Я боялся, что вы не заметите меня. Там акведук, мсье машинист, акведук размыло! Слышите, как вода хлещет? Я так боялся, что не успею.

Машинист неторопливо начал спускаться по ступенькам.

— Предупреждаю, мсье, не знаю, как вас по имени. Если вам померещилось с пьяных глаз, будете отвечать за остановку эшелона перед властями... Эй, ребята, а ну-ка сбегайте, взгляните на тот проклятый акведук!

Двое коренастых молодцов в замасленных робах — кочегар и помощник машиниста — спрыгнули на землю и тут же уперлись животами в дула автоматов.

— Руки! — крикнул Антон по-русски.— Леве бра! [1]— добавил он по-французски. — Вот так. И не шевелиться!

— Господа, господа, — залепетал машинист, — что вы делаете? Мы на службе, господа...

— Отведи этих двоих в сторонку и отпусти, — шепнул Дюрер Жану. — Будем ждать тебя около моста... Эй, вы, слушайте внимательно! Мы отпускаем вас домой, а шефа задержим как заложника. Через час вы можете доложить начальству, что на вас напали франтиреры. Но только через час, не раньше, ясно? Иначе этот симпатичный господин, — Жозеф ткнул машинисту пистолетом в грудь, — будет расстрелян. Надеюсь, вы понимаете, что мы не шутим?

— Руки можете опустить, — сказал Жан. — А теперь марш вперед!

---

[1] Руки вверх! *(франц.)*

Молоденький кочегар уставился на машиниста перепуганными глазами.

— Мсье, мы сделаем все, как вы приказали. Только не убивайте его...

Когда железнодорожники в сопровождении Кардашова исчезли в темноте, Жозеф обнял машиниста.

— Ну, Виктóр, никогда не думал, что ты такой артист! Да, не по той стезе ты пошел в юности, дружище.

— Зато в тебе кровь настоящих гезов играет, — произнес смущенный машинист. — А это русский? Познакомил бы нас.

— Его зовут Антуаном, — сказал Дюрер, — убежал из плена, а теперь, как видишь... Между прочим, он друг Рошара...

— О, Дезаре! — полногубый рот Виктóра расплылся до самых ушей в улыбке. — Рад, очень рад... Дезаре много рассказывал мне о России.

Он сжал руку Антона, Щербак улыбался в ответ, говорил принятые в таких случаях слова, а в глубине души накапливалась обида. Ну, пусть Дюрер, для него он новый человек, а Николай... Неужели Николай не мог предупредить его, что машинист — свой человек? А если бы возникла какая-то неувязка, ведь он, Щербак, мог бы и пристрелить этого Виктóра.

Натянув картуз по самые уши, машинист полез в паровозную будку.

— Заговорились мы. Скоро встречный.

— Пассажирских не будет? Это точно?

— Головою...

— Ну, голова твоя нам еще пригодится. Давай!

Крутнулся маховик, прижались, вцепились в рельсы колеса, длинной цепочкой потянулись вперед, ускоряя бег, приземистые платформы с рудой.

Виктóр спрыгнул на ходу поезда со ступеньки, покатился по насыпи.

— Ах, дьявольщина! Забыл трубку. К вещам, знаете, как к людям, привыкаешь. Ну, да что уж теперь...

Туман проглотил хвостовые огни.

На какой-то миг Антону показалось, что не было никакого поезда, что все это причуды болезненного воображения. Но рядом тяжело дышал Виктóр, а впереди слышался гул, который вдруг усилился, будто состав неожиданно выскочил из тоннеля на простор.

— Мост, — вымолвил совсем тихо Виктóр.

3

— Эх, Андре! — выдохнул Дюрер. — Неужели не рассчитал?..

Желтая вспышка разорвала ночную темень, ударил, сотрясая окрестности, гром...

Хаос звуков нарастал, превращаясь в визг и скрежет. Грохот взрыва подхватили горы, усилили во стократ, рокочущим эхом понесли дальше и дальше.

И вмиг наступила тишина. Слышен был лишь глухой шум воды под акведуком да шуршание гравия под ногами.

— Вуаля ту, — сказал Жозеф. — Аллён! [1]

Иногда минувшая жизнь кажется мне извилистой тропинкой, которая бежит без передышки за невидимый горизонт. Ухабы, холмы, балки на пути... А тропка то нырнет в темноту, то выскочит на освещенную поляну; вдоль тропы стоят молчаливые приметы, какие-то столбики, обозначающие краткие остановки, за них память цепляется будто птица крылом. Кое-где вешки эти и приметы возвышаются над иными, как повороты судьбы.

Вон там остался навсегда лежать мой отец, буденовец, организатор одного из первых колхозов в Таврии, зверски замученный куркулями. А оттуда я выехал в Киев на комсомольский слет. Есть еще одна вешка на жизненном пути, где я видел тебя в последний раз, мама.

Когда мы прощались с тобой, мы не знали, что я иду на войну. Похоже, что какой-то сказочный фотограф щелкнул в тот миг затвором и выхватил из целого мира только твои глаза, они навсегда остались возле малоприметного столбика на шляху. Смотрят твои глаза все время из далекой дали, из минувшего прямо в душу, и я читаю их будто книгу и никогда не смогу перевернуть последнюю страничку, ибо ее не существует.

А вот там был мой первый бой, боевое крещение, и, хотя после него прогремело много других сражений, первый запомнился навсегда, потому что он особенный...

Мы лежали тогда, зарывшись, как кроты, в раскаленную землю, и с ненавистью поглядывали на солнце: скорее бы оно садилось. Иногда человеку приходится ненавидеть то, что при других обстоятельствах он считает желанным, любит. Перед нами была Балта, там находились

---

[1] Вот и все. Пошли! *(франц.)*

наши войска, а мы оказались в кольце и с нетерпением ждали ночи. . .

Язык прилипал к нёбу, а в ста метрах, в балке, была неглубокая криница, возле нее мы проходили рано утром и напились. Теперь же там окопался враг. Мы уже дважды поднимались в атаку на прорыв и понесли большие потери. И мы, и залегшие около криницы гитлеровцы словно затерялись в подернутой испарением одесской степи, а фронт откатывался на восток, и каждый час светового времени усугублял наше положение. Громко стонали раненые: их мучила жажда.

Не знаю что было бы дальше, если бы одному из фашистов не взбрело в голову поиздеваться над нами. Он выставил на бруствере окопа флягу с водой и зашелся хохотом.

— Иван, ком! Карош водичка!

Кажется, никакой команды не было, по крайней мере я ее не слышал. Исчезло расстояние, разделявшее окопы. Был лишь топот ног, отчаянный хрип пересохших ртов и беспорядочная стрельба. Наглое издевательство словно удвоило наши силы, мы вышибли врага из траншей за несколько минут. А затем бросились к кринице. Но властный голос капитана Лигостова остановил нас:

— Стой! Вода для раненых в первую очередь! . .

Он сам, взъерошенный, без фуражки, еле держался на ногах. Пистолет дрожал в его руке, грязный пот катился по задубевшим, обветренным щекам немолодого, смертельно уставшего человека.

Помню, как покраснел я от стыда. Все будто перевернулось во мне, все отступило назад — и ужасное видение рукопашной схватки, и нечеловеческое напряжение, от которого кружилось в голове.

— Прости, батя. . . — сказал я.

Тогда я особенно остро понял, что человек никогда не должен забывать о том, что он человек. И на войне тоже! . .

Удивительная эта штука — память. Она в один миг связывает давно ушедшее с настоящим. Среди множества событий и фактов, спрятанных в ее тайниках, она выдает на поверхность именно то, что годится для данной минуты, что не затерялось в лабиринтах причудливо сплетенных ассоциаций.

. . .Мы возвращались домой по одному — так приказал Жозеф. Только Довбыш должен был сначала проводить Савдунина на нашу лесную базу.

Перед глазами высились изуродованные взрывом фермы моста, а на подступах к нему — кучи железного хлама, во что превратился длинный состав платформ. Повсюду торчали вывороченные рельсы, обломки шпал.

На полотне Жозеф повесил на проволочке кусок красного картона со словами «Федерасьон националь де партизан бельж»[1].

— Зачем? — спросил я.

Дюрер пояснил мне, что таков приказ командования. Его цель — уберечь от репрессий мирное население.

— Может, допишем — русские?

Куцые брови нашего командира подпрыгнули вверх.

— Мы не собираемся прятаться за чью-то спину.

Я хотел было напомнить, что бельгийцев участвовало в операции меньше, чем русских, но Кардашов незаметно толкнул меня локтем, и я промолчал. Позже, размышляя над этим разговором, я пришел к выводу, что он был прав. Конечно, приятно во весь голос заявить, что мы, советские люди, и здесь, на чужбине, не даем врагу пощады, но еще важнее то, чтобы бельгийцы поверили в собственные силы.

После того как король Леопольд III объявил себя военнопленным и сдался на милость оккупантов, верховным правителем страны стал гитлеровский генерал Фалькенхаузен. С его благословения, как грибы после дождя, разрослись профашистские, а то и явно фашистские организации — «Фламандский национальный союз», «Немецко-фламандский трудовой союз», различные христианско-религиозные группировки, которые спешили провозгласить свою «лояльность во имя гуманизма».

Генерал всячески разжигал вражду между фламандцами и валлонами, которым, как говорил он, безразлична судьба Бельгии, потому что они и во сне видят себя французами.

Кроме Бельгийской партизанской армии, которой руководила коммунистическая партия, объединяя вокруг себя настоящих патриотов, в стране действовали еще две боевые организации: «Тайная Армия», или «Арме Секрет», выполнявшая задания эмигрантского правительства Пьерло в Лондоне, и роялистская «Белая бригада» — вооруженные силы правых группировок. В отличие от ре-

---

[1] «Национальная федерация партизан Бельгии» *(франц.)*.

кситов, которых устраивал подвергнутый заключению король, роялисты объявили Леопольда невинной жертвою и ставили своей целью восстановить в стране монархию.

Взаимоотношения между силами движения Сопротивления были очень сложными, а нередко и открыто враждебными. Партизаны Диспи несли на своих плечах основную тяжесть борьбы с фашистскими захватчиками, однако английские летчики, сбрасывающие оружие «Тайной Армии», ревностно следили, чтобы это оружие не попадало в руки партизан.

— Пьерло боится нас, — сказал Дюрер. — Чем сильнее мы будем, тем страшнее для него. А вдруг мы не захотим, чтобы он возвратился из Лондона?!

...Я шел горной тропинкой, решив добраться до Шанкса с противоположной стороны, чтобы на случай встречи с кем-либо отвести от себя возможные подозрения.

Настроение у меня было приподнятое. Еще бы. Вот и пошел в дело реквизированный в доломитном карьере динамит, пригодились и детонаторы, и бикфордов шнур, их я привез в детской коляске из Серена. У меня было такое чувство, будто я долго бежал, преследуемый какой-то злою силой, не находя точки опоры, и вот наконец-то, почувствовав под ногами твердую почву, зашагал спокойно и уверенно. И отныне меня трудно поколебать, я снова солдат, а не беглец.

Что-то похожее пережил я под Балтой, после ожесточенной рукопашной схватки у криницы. Тогда я точно так же с ликованием понял: могу, умею не только отступать. Так пловец, преодолев быстрину, начинает смотреть на широкие воды уже без страха, глазами победителя, с чувством обретенного превосходства...

Как-то Николай Кардашов с грустью сказал:

— У всех, кто побывал в плену, появился комплекс моральной неполноценности. А это ужасно! Избавиться от него можно только в бою.

Он прав, мама. Пусть сегодня была еще не такая схватка, когда встречаешься со смертью лицом к лицу, когда страсти обострены до предела и смерть носится над тобой, хищная и молниеносная, как коршун, а ты не думаешь о ней, тебе просто некогда о ней подумать.

Это была обычная партизанская диверсия, без видимой крови, нашей и чужой, и все-таки я стал увереннее ступать по земле, тяжесть вины перед страдающим народом будто убавилась.

Кто знает... Быть может, ты в мыслях уже простилась со мной, похоронила рядом с отцом на старом каракуйском кладбище. Всем нам свойственно думать о том, что близкие люди и после смерти где-то находят друг друга, остаются навсегда рядом, будто вместе им лежать легче...

Но я живой.

А вот Василька уже нет. Случилось то, чего он больше всего боялся. А боялся он умереть вдали от родной белорусской земли!

Совсем юный паренек. Синие, в густых ресницах, глаза, льняные волосы... Он очень любил и умел рассказывать о Беловежской пуще. Слова для рассказа находил какие-то особенные, трепетные, они оживляли все, к чему прикасались, словно капельки волшебной воды, способной вернуть мертвому дыхание. Пока он был жив, над нами шумели столетние деревья и нетронутые травы, в целебную силу которых он верил свято. Он говорил, говорил, а на него было больно смотреть — так исхудал, измученный чахоткой, подхваченной в бетонном карцере Мюльгеймского концлагеря.

Но нет, не существует волшебной силы, которая вернула бы нам Василька!

Несколько дней тому назад мы похоронили его, не таясь, среди белого дня на кладбище в Комбле-о-Поне. На похороны пришел даже сам бургомистр и постоял у могилы, склонив голову, без фуражки. Собралось множество жителей городка.

Это была дань бельгийских патриотов мужеству советских людей. Как раз накануне смерти Василька окрестности облетело известие о капитуляции армии фельдмаршала Паулюса под Сталинградом. Люди здоровались двумя раздвоенными пальцами, означавшими латинскую букву «V» — виктуар — победа.

На Василька здешние люди смотрели, как на сына и брата тех, кто одержал такую громкую победу над общим врагом.

Он был поэтом. Я берегу его тетрадь, исписанную химическим карандашом до последней странички. Кто знает, возможно, когда-нибудь после войны его стихи увидят свет.

Моя далекая краина,
Тебя я матерью зову.
Давно ты распрощалась с сыном,
А я живу, а я живу!

За жизнь твою от боя к бою
Иду, тебя в душе храня,
Боюсь лишь только одного я,
Что позабудешь ты меня.
Когда стихает бой, любимую
Все вспоминаю я землю.
И льется в небо журавлиное:
«Тебя люблю! Тебя люблю...»

После похорон мы сидели у Филиппа Люна — я, Николай, Егор и хозяин дома. Пили терпкое вино и, как водится в таких случаях, вспоминали Василька.

— В конце концов, смерть есть логическое завершение жизни, — неожиданно произнес Люн, тряхнув седыми волосами. — Выпьем же за свой последний шаг. Кто раньше, кто позже...

Мы с Николаем переглянулись.

— И это все? — хмуро переспросил Довбыш.

Люн наклонил недопитый стакан, вино начало капать на скатерть, расползлось розовым пятном.

— Ни в день рождения, ни в минуту смерти человека не спрашивают о его согласии. — Язык Люна заплетался. — Пустили на свет — живи! И он живет, будто катится по инерции. Страшная эта сила — инерция... А затем говорят: хватит! Слышите?.. Слепой фатум. А может, я не хочу? Консенсус омниум [1] — как его достичь?.. Ха-ха-ха...

— Он пьян, — шепнул Кардашов.

— А в Испанию, — не вытерпел Егор, — тебя тоже понесло по инерции? Да и теперь... Есть лавчонка, достаток. Жил бы себе тихонько, а?

— В Испанию... Ты не был в Испании, Георг? Синие горы, розы, быки, коррида...

Люн допил вино и грохнул стаканом об стол.

— Вита бревис эст! [2] И все же я живой, а Пти-Базиль... О, это так несправедливо, когда умирают молодые! Не-спра-вед-ливо!

Бесшумно вошла Николь. Она умела появиться в нужную минуту, и Люн — мы знали, что он и по сей день безумно влюблен в свою жену, — дал ей покорно отвести себя в спальню. Прижавшись к худенькому плечу Николь, он пробубнил:

— Я намолол глупостей? Извините, сеньоры... Однако никто, — слышите? — никто не смеет говорить, что Ба-

---

[1] Согласие всех, всеобщее согласие (*лат.*).
[2] Жизнь коротка! (*лат.*)

зиль умер в кровати... Базиль принял смерть в бою! А мы живы, разве не так? И быков на наш век хватит...

— Впервые вижу Люна таким, — сказал я.

— Он очень любил Василька,— отозвался Николай.— Может, потому, что собственных детей Николь ему не подарила.

Оставшись наедине, я долго размышлял над словами Люна. Что-то в этих словах меня тревожило. Душа может болеть так же, как тело. Не засевайте душу бурьяном сомнений... Кто это сказал? Не помню...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

— Стефка, ты ли это?

— Не узнаете, тетя?

— А как же, богатой будешь.

— Я и без того богатая. Славка мой дома! Дударик мой ненаглядный... Я теперь надвое разделилась — одна половина с вами, а другая — там, от него не отходит. Смешно, правда же?

— Это сердце... А мы уже думали, что ты в Ташкенте пригрелась. Нет и нет...

— Не хотел же он! Исчезни, говорит, с моих глаз. А сам весь дрожит... Тот мужчина, Родионов, что письмо прислал, на фронт выписывался. Пришел прощаться. Прости, говорит, это я взял грех на душу. Думал, склею вашу жизнь, да, видать, ошибся. Вот тут-то и упал Славка ему в ноги. Отец вы мой, говорит, никогда не забуду...

Надежда смотрит в лазурные глаза Стефки — как преображает человека счастье! Стефка просто расцвела, округлилась. Как это она говорила, — мячик? И в самом деле мячик... Чего только не наколдует любовь... Корней когда-то... козой называл ее. Может, за быстрые ноги? .. Другая обиделась бы, а ей и это слово в радость. А еще — вишенкой. Ах, Корней! ..

Разомлевший, ноздреватый снег липнет к ногам, под ним уже заходили мятежные земные соки, с Тобола доносится чье-то надсадное хеканье, кто-то рубит прорубь.

— Дед Махтей вот флигелек нам выделил. Живите, говорит, на здоровье, ваше дело молодое... Файный дедусь.

Надежда вспоминает железные розы Махтея. Когда пришла к нему просить коньки для Павлика, он ковал цветы в память Ивана Манюшина.

Похоронку прислали на Ивана, а вручить некому. Еще осенью Антонина, жена его, поехала в город да там и осталась. «Хозяйничайте, тетя Надя, как знаете. Не прижилась я здесь».

Иван привез ее в Карачаевку перед самой войной. Ходили слухи, чуть ли не выкрал у какого-то бухгалтера в Кустанае. Очень они полюбили друг друга. А ждать баба не умела или не хотела, вернулась к первому мужу.

Махтей, похекивая в опаленную бороду, стучал по листам железа, загибая их наподобие лепестков. Взглянул на Надежду, словно обжег.

— В хате Манюшиных живешь? Не стану ковать!

— Мальчонка ведь, дедушка...

— Не возьму греха на душу, не проси.

Хрипели, как старческие груди, мехи, скалился красной пастью горн.

На следующий день Махтей сам пришел, положил на скамейку сизые, только с наковальни коньки, покашлял у порога.

— Вчера я... с дурной головы. Не сердись. Нельзя, чтобы тень солнце застила...

Надежда и не заметила, как произнесла сейчас эти слова Махтея вслух. Стефка же, не разобрав их толком, продолжала тараторить о своем.

— Солнце? Ох, и соскучилась я уже по солнцу! Но не по такому, что лишь бы светило, а чтобы землицу прогрело да босиком по зеленой травке... А вот и мой дударик! Славка, познакомься: это тетя Надя, о ней я тебе уже рассказывала.

Надежда знала об увечье Станислава и все же, увидев его, едва сдержала стон. Рассудок никак не хотел мириться с уродливой куцестью человеческого тела, воображение дорисовывало стройные, крепкие, по-юношески жилистые ноги. Вот сейчас он встанет во весь рост и скажет: «Добрый день!» — или что-нибудь иное, приличествующее моменту, когда приходят гости. С мужскою вежливостью поможет снять полушубок.

— Здравствуйте!

Голос оказался звонким, певучим, а с худощавого и вместе с тем немного припухлого у глаз лица не исчезала настороженность. Станислав напряженно ждал первых слов, должно быть боялся слез и сочувствия.

Надежда поняла это так ясно и отчетливо, будто прочитала его мысли.

— Вот таким ладным мужчиной я тебя и представляла, — сказала она, и Станислав сразу же повеселел, расчесал пятерней русый чуб.

— А я о вас слышал только хорошее.

И обоим показалось, что они знают друг друга уже давно. Разговаривали обо всем и ни о чем. Станислав показывал свою резьбу по дереву: шкатулки, разных смешных зверюшек, гордых беркутов, жаловался на неподходящий материал, вспоминал своего отца, мастера-краснодеревщика.

А потом была и сопилка, та самая, с которой Станислав не расставался и на фронте. И Стефка подпевала охрипшим от счастья голосом:

Синие горы
Над Черемошем...

— Андрей Иванович обещал весною открыть мастерскую, — сказал Станислав. — Вот и начну мастерить мебель. А это так, забава. Кому мои поделки нужны сейчас?

— Это ты зря! Напраслину возводишь...

Станислав махнул рукой, удлиненное лицо его посерело, стало будто вырезанным из дерева.

— Мне бы не пустышки мастерить, а снаряды, бомбы, пули. Чтобы падали они фрицам на головы каждый день, каждую ночь. Чтобы им самим костылять всю жизнь безногими. Слышите?! Железным поленом бы вам по ногам, проклятые, чтобы по чужим дорогам не шастали...

Он не кричал, наоборот, снизил голос почти до шепота, но тем страшнее были его слова, такая в них открылась бездна ненависти.

И Надежда вспомнила вдруг опустевшее село под Курском, и ей снова, как тогда, стало страшно. Горе порождало ненависть, ненависть звала к мести. Где же мера? Да и можно ли измерить людское горе? Есть ли хоть одна семья, которой не коснулось оно своим черным крылом, не оставило раны на всю жизнь? ..

2

На рассвете Симон поднял Щербака по тревоге. В ответ на его расспросы он лишь пожимал плечами и загадочно моргал подслеповатыми глазами сквозь толстые стекла очков.

— Приказ Жозефа!

Симон шепнул пароль и исчез.

Щербак плеснул в лицо пригоршню холодной воды и с сожалением вспомнил, что забыл передать привет Эжени. В последний раз он видел ее, когда доставил из Серена коляску. Несмотря на слабость после тяжелых родов, маленькая Эжени светилась счастьем. Близнецов нельзя было отличить друг от друга, и только материнский глаз делал это безошибочно. Щербаку приятно было узнать, что старшего назвали Антуаном. Собственно, старшим он был формально, всего на каких-то пятнадцать минут, и это обстоятельство имело бы значение разве что по закону английского майората.

...Урт бурлил. От застланной рыжим мхом каменистой земли поднимался пар.

Тропинка взбиралась в горы с террасы на террасу крутыми виражами, пока не нырнула в овраг, утыканный прутьями дикой лещины.

Овраг постепенно мелел и вскоре сошел на нет. Перед Антоном открылось бугристое плато в зеленых соснах.

Когда Щербак появился на базе, солнце сияло уже в полнеба.

Заброшенная лесопилка разместилась на поляне в глубине леса, ее оборудование еще перед войной вывез обанкротившийся владелец, а приземистое, замшелое здание будто вросло в землю, вцепилось в нее всеми опорами и, казалось, готово было прорасти зеленью, чтобы окончательно слиться с окружающей природою.

Дюрер давно приметил это строение. Вдали от человеческих троп, рядом с пресным озером, за которым начиналось непросыхающее болото, — лучшего места для базы не сыщешь.

— Стой! Не шевелиться! Пароль?

— Сталинград...

— Льеж. Проходи.

Как Антон ни приглядывался к кустам поблизости, он не заметил ни одной подозрительно шевельнувшейся веточки.

У дверей лесопилки стоял Кардашов. Собственно, это были не двери, а просторные ворота из дубовых бревен, похожие на старинные крепостные створы.

— Салют, Николай! Не меня ли высматриваешь?

— Ты же знаешь, я не выношу табачного дыма, а там будто очумели от этого зелья.

В заставленном верстаками помещении было натоплено с ночи и душно. Гладкие бока круглой, обитой жестью печи до сих пор отдавали жаром.

— Ого, да тут целый вагон некурящих! — весело сказал Щербак. — Привет, лоботрясы! Дымовую завесу пускаете?

— Айда к нам, — прогудел Довбыш. — Есть такой анекдот. Встретились матрос и поп. У попа, значит, ладан, а у матроса трубка с махрою. Поп и говорит...

— Обстриги своему анекдоту бороду,— засмеялся Антон. — Ты его уже трижды рассказывал. И Андрей здесь? Привет! Как живется-можется?

Савдунин не спеша раздавил самокрутку о подошву сапога.

— Учу вот братву потихоньку. — Он вздохнул, веснушки, словно божьи коровки, поползли к переносице. — Одна голая теория! А им бы практики, хоть немного. Парни понятливые.

«Понятливые» сидели на верстаках, смеялись, дымили самокрутками. Это были беглецы из аннских шахт, подпольный центр в Льеже прятал их в Угре, пока Кардашов под видом батраков, подыскивающих работу на горных фермах, не привез их в партизанский край.

— У нас, Антон, теперь налицо почти все роды войск, — загудел снова Егор. — Ваня Шульга, можно сказать, артиллерист, таскал на плечах железные трубы. У Чулакина рука так и тянется к чему-нибудь подлиннее да поострее, сразу видно кавалерию. Мишустин — санитар, одним словом, медицина. Олекса — матушка-пехота. В общем, армия, товарищ лейтенант, целая армия!.. А Андрюха норовит всех в саперную команду... Не по мне его профессия...

— Чулакина мы посадим на брабансона,— подмигнул Антон. — А вот с коробкой для тебя, моряк, будет потруднее. Морем здесь и не пахнет.

Пришел Дюрер, с ним пятеро бельгийцев.

— Комиссара выкурили?

Трудно было понять, шутит он или же укоряет собравшихся.

— Пять минут на знакомство.

...Четырнадцать человек стояли под затененными сводами лесопилки, четырнадцать пестро одетых муж-

чин. И еще двое перед ними — командир Жозеф Дюрер и комиссар Николай Кардашов. В разбитые стекла вместе с солнечным светом проникал и холодный горный воздух. Мхом пахли влажные доски.

— Ами! [1] — голос у Дюрера густой, с каким-то клекотом. — Вы знаете о капитуляции Паулюса под Сталинградом. Советские войска наступают по всему фронту. Через наших людей в «Арме Секрет» товарищи из ЦК узнали: в последнее время Лондон усилил интерес к укреплениям Атлантического вала. Значит, мы должны быть готовыми к усиленному развертыванию действий в Бельгии.

Жозеф прошелся вдоль шеренги партизан, круто повернулся и рубанул рукою воздух.

— Но у нас мало оружия! Поэтому Центр в Льеже разрешил рискованную операцию. Вы должны присоединиться к отряду из «Арме Секрет».

Кардашов из-за спины командира сделал предостерегающий жест, призывая к порядку.

— Повторяю: вы пойдете и скажете, что решили служить в их войсках! — тоном приказа продолжал Дюрер. — Тем более что они сами нам предлагают это. Фернан! Ты слышишь меня?

Маленький остроносый бельгиец неуверенно шагнул вперед. Он бойко заговорил о том, что недавно его навестил Рене Крафт, с которым они до войны работали на заводе в Шарлеруа. Крафт намекнул, что имеет отношение к «Арме Секрет» и что там охотно приняли бы к себе партизан за исключением «чересчур красного Дюрера».

— И что ты ему ответил?

— Сказал, что понятия не имею о партизанах. Он похлопал меня по плечу и рассмеялся в лицо. «Не прикидывайся дурачком, о тебе-то, Фернан, нам все давно известно».

— Этот Крафт не хвастался, — подал голос Кардашов. — Разведка у них действительно на высоте.

Дюрер остановил Николая жестом руки.

— Ваша задача — войти к ним в доверие и выяснить, где и когда Лондон сбрасывает оружие. Через две, самое большое, через три недели возвращаетесь сюда, на базу. Но чтобы без драки там — ясно? Помните: это — приказ.

— А что, если Фернан — провокатор? — спросил тихо Довбыш. — Ты меня слышишь, Антон?

---

[1] Друзья! *(франц.)*

— Слышу...

— Комиссар с вами не пойдет, — заключил Дюрер. — Они слишком хорошо знают его по Льежу. Комендантом группы назначаю лейтенанта Щербака. О связях договоримся отдельно...

3

Крафт, доброжелательный, белокурый увалень, с которым связался Фернан, привел нас к одинокой ферме на отрогах плоскогорья, а сам куда-то исчез.

Ферма не выглядела заброшенной, хотя Крафт и сказал, что владелец ее живет теперь в столице и за последние два года сюда не заглядывал. В доме фермера все — от картин в прихожей до посуды в кухонном буфете — осталось нетронутым, будто еще вчера пользовались этим добром.

— У этого господинчика, видать, не пусто в кармане, — проговорил Довбыш. — Не последнее же оставил!

— Его зовут Ван-Бовен, — сказал Фернан. — У него таких ферм... Крупный землевладелец.

— Откуда знаешь? — удивленно спросил Егор. — Ты ему кум или сват?

— Когда в тридцать восьмом, после забастовки, меня выгнали с завода, я батрачил у Ван-Бовена. Хитрый как лиса! Вокруг пальца обведет — и не заметишь, — хмуро разъяснил Фернан и вдруг вскипел: — Слушай, Георг, какого дьявола тебе от меня надо?

— Прекратите, — сказал я. — Что вы не поделили между собой?

— Да землю же Ван-Бовена! — засмеялся Савдунин. — Как ты думаешь, Егор, хороший из тебя получился бы фермер?

Довбыш процедил сквозь зубы в ответ что-то неразборчивое и хлопнул дверью.

— А я бы, к слову сказать, не отказался, — Фернан положил на стол узловатые, в синих жилах руки, грустно оглядел их, хрустнул пальцами. — Ради себя и своей семьи эти руки еще поработали бы.

Я вышел во двор. Солнце плавилось в стеклах рубленого флигеля. Над потемневшим от дождей штакетником нависали налитые весенним соком ветви яблонь. В небе кружил сокол. Егор сидел на горбыле у крыльца и листал какую-то книжку.

— Может, это западня, Антон?

— Не думаю... А Фернана ты оставь, по-моему, он свой парень, хотя в какой-то мере и ограниченный мечтами о собственном домишке в горах. Дюрер за него поручился. Что это у тебя за книжка?

— Не знаю. Взял в шкафу, там их до черта. Языком вот научился ворочать, а грамоты ихней до сих пор ни в зуб... — пожаловался Егор. — Рисунки красивые, приятно полистать.

В рисунках было что-то знакомое, хотя где я их мог видеть? И все-таки... Бородатое лицо, лукавые глаза, на плече — сова...

— Постой... Да это же легендарный Тиль Уленшпигель! Знаменитый гез!

— Ты мне лучше скажи, — усмехнулся Егор, — он за Гитлера или против?

— Против, мсье Довбыш, еще и как против!

Мне вдруг вспомнилось, как Дезаре сказал в Серене: «Пепел Клааса стучится в мое сердце...» Тогда я не обратил внимания на его слова, моя память просто не соединила эти два понятия...

Учился я, кажется, уже в пятом, когда роман де Костера попался на глаза. Я попросил эту книгу в библиотеке, но Ядвига Зигмундовна сказала: «Рано тебе еще, не осилишь». Такие слова только разожгли мой интерес к загадочному Тилю, и я в надежде, что подслеповатая библиотекарша не заметит моей хитрости, сунул тайком книжку в портфель.

Ядвига Зигмундовна была, пожалуй, права. Я восхищался смелостью Тиля, потешался над его остроумными выходками, а все остальное казалось мне слишком мудреным, и я пропускал целыми страницами. Через несколько лет еще раз прочел эту книгу и очень удивился. Давние события в незнакомой Фландрии я увидел теперь уже в новом свете, и пепел Клааса постучал в мое сердце. Я пришел к Ядвиге Зигмундовне, во всем ей признался: как украл тогда «Легенду» и лишь сейчас понял, что была она права. Она засмеялась, на сухоньком ее носу вместе с морщинками запрыгали и очки.

— Я все видела, Антось...

Никто никогда не называл меня так смешно и так ласково. Я покраснел, хотя был уже почти взрослым.

— Видели и не остановили меня?.. Простите!

Она покачала маленькой седой головой, и в голосе ее почему-то послышались нотки грусти.

— Вот ты и вырос...

Вокруг меня теперь лежало покрытое ранними травами скалистое плато. Вдали, на склоне горы, синели сосны, слева, за террасой, угадывалась долина, над которой зависла дымка тумана. Бельгия... Земля отважных гезов, по ней когда-то крепкие молодые ноги носили Тиля — совесть и мудрость многострадального народа...

Крафт вернулся вечером. Он приехал на немецком «цундапе», и не один: из коляски проворно выскочил длинноногий мужчина в берете и в кожаных крагах. Полосочка холеных усиков, холодный взгляд, армейская выправка. Небрежно бросил пальцы к берету.

— Капитан Гро!.. Почему не выставлены посты?

Руки не подал. Мы с Егором переглянулись. Капитан презрительно скривился.

— Это что, порядки такие у Дюрера?.. За отступление от дисциплины буду наказывать. Крафт, прикажите построиться!

— У нас есть свой командир, — сказал Егор, демонстративно прикуривая сигарету.

Капитан скользнул взглядом по богатырской фигуре Довбыша, в прищуренных его глазах промелькнула заинтересованность.

Я выступил вперед:

— Лейтенант Щербак. Разрешите выполнить приказ?

Гро пожевал губами.

— Выполняйте, — сухо сказал он.

Снова, как и два дня тому назад на лесопилке, четырнадцать человек выстроились в шеренгу около штакетника.

Но теперь вместо Дюрера и Кардашова перед нами стояли двое из «Арме Секрет», о которой мы наслышались всякого. Мы знали, что армии, как таковой, не существует. Есть отдельные полувоенные отряды, здесь, в Арденнах, в провинциях Лимбург, Льеж, Намюр, а в Брабанте и Фландрии — глубоко законспирированное подполье. Эти и вовсе ограничивают свои действия лишь сбором сведений об оккупантах, активной борьбы с ними не ведут. Лондон приказал накапливать силы для решительного момента. Но что это за момент и когда он настанет, никто не знает.

Ходили слухи, что «Тайная Армия» располагает широко разветвленной агентурой по всей Бельгии и даже за ее пределами. Благодаря ее разведке якобы удалось вы-

красть из «Апельсинового отеля»[1] двоих английских агентов, схваченных гестапо. Ходили слухи и о том, что функционеры «Тайной Армии» долгое время водили за нос полковника Гискеса, руководителя немецкого абвера в Бельгии. Гискес вербовал агентов среди бельгийцев и забрасывал их в Англию, не подозревая, что подполье подсовывает ему своих людей. Насколько это соответствовало истине, не знаю, но такую новость привез недавно из Льежа Филипп Люн.

Мы хорошо усвоили только одно: Пьерло озабочен тем, чтобы у его единомышленников было достаточно оружия, а у нас его мало. Поэтому мы и стоим сейчас перед капитаном Гро[2], никак не похожим на толстяка, а скорее напоминающим жердь, и покорно ждем его распоряжения.

Капитан молчит. Заложив руки за спину, он внимательно присматривается к нам, будто решает, стоит ли с нами связываться.

Смотрины его закончились речью, из которой мы поняли, что Гро далеко не Цицерон и склонен больше к приказной, чем к риторической форме. Он милостиво оставил меня командиром группы, однако отвел мне роль безропотного исполнителя, лишенного какой-либо собственной инициативы. Вступать в вооруженные стычки с немцами нам было запрещено.

— Отныне вы солдаты, — сказал Гро. — А солдаты выполняют приказ. Кому это не ясно, может вернуться назад. Но только сегодня. Завтра будет поздно.

Я ожидал, что капитан начнет допытываться, почему мы решили перейти на их сторону, и еще раньше подготовил приличную версию, но Гро оказался не слишком любопытным. Вскоре он оседлал мотоцикл и, оставив с нами Крафта, уехал.

— Как это тебе нравится? — усмехнулся Егор. — Ну и кикимора! Или он достаточно хитер и все видит по глазам?

Вечерело. Несмотря на плотно закрытые двери флигелька, слышно было, как Савдунин рассказывает анекдот: «Спрашивает Гитлер свой портрет: «Что с нами будет, если русские победят?» А тот ему и отвечает: «Да ничего особенного, меня снимут, а тебя повесят».

---

[1] Подземные казематы в самой большой в Голландии Схвенингенской тюрьме.

[2] Толстяк *(франц.)*.

За дверями раздался хохот, держась за живот, во двор выскочил Фернан. Я отвел его в сторонку.

— Ну и как Крафт?

Фернан вытер слезы, отдышался.

— Ох этот Андре... Ему бы на сцене... А что касается Крафта... Расспрашивал: можно ли доверять вам? Он рассчитывал увидеть здесь со мною двух-трех человек, а оказалось — целый взвод.

— И что же ты ему ответил?

— Сказал, хорошо платите... По две тысячи в месяц. Парням надоело голодать в каменоломнях, вот и потянулись в «Арме Секрет»... И себе спрашиваю, верно ли — по две тысячи?.. Не беспокойся, говорит, платим. А русские тоже на франки соблазнились? — Фернан сморщил острый носик, хмыкнул. — Ну да, говорю, большевиков деньгами не приманишь. Не поладили с Дюрером, потому и ушли от него. Кажется, поверил.

— Хотел бы я знать, что он за человек.

— Прежде был заодно с забастовщиками. В Шарлеруа. — Фернан помолчал. — Но ведь с той поры много воды утекло.

Над плато сгущались синие сумерки. Далекие вершины гор тускнели, растворялись в вечернем небе. Когда-то я любил тишину. В детстве она навевала раздумья, желание спрятаться в густой лебеде, в желто-рыжем доннике и слушать трели цикад. А еще лучше — среди подсолнухов, когда они шелестят шершавыми, будто кошачий язык, листьями, и шепот этот кажется понятным, а небо — из подсолнечника — особенно глубоким. Отец как-то сказал мне, что из колодца звезды можно увидеть и днем.

Помнишь ли, мама, наш колодец, его выкопал отец, он не хотел, чтобы ты бегала в зимнюю стужу на улицу к журавлю. Помню, он копал и все сокрушался, что вода может оказаться соленой, как пот, который блестел горошинами на его узловатых мышцах.

— Скоро уже и до дна докопаешься, а воды все нет, — сочувственно говорила ты отцу.

— До какого дна?

— До того самого!.. Должно же быть какое-то дно!

Отец смеялся. Его чубатая голова была повязана, как чалмою, твоей косынкой.

— А что, если в самом деле соленая? У Никифора вон даже корова и та носом крутит.

— Ничего, буду вишни поливать.

Но отец удачно обошел соленый пласт, докопался до пресной воды. Колодец наш был глубоким, выложенный кирпичом. В августовскую жару мы бросали в него арбузы — полосатые «мелитопольки», которые тетка Кылына называла почему-то «монастырскими».

Захотелось мне среди белого дня увидеть звезды. Спустился на веревке к воде. Холодно, мокро, на скользких кирпичах зеленый мох, а далеко вверху кружок неба, синий, почти черный, как ночью. Показалось, что я и в самом деле вижу звезды, а может, это привиделось от большого желания. Я так замерз, что стучали зубы. Скорей бы назад, а веревка скользкая...

Вечером, мама, ты укутывала меня потеплее, поила настоями трав. И все же я простудился и три дня пролежал в жару.

— Ну зачем тебя туда понесло?

— Смотрел на звезды.

— Ночью не мог?

— Ночью все видят, а я днем...

— Зачем они тебе, эти звезды?

Я не знал. В самом деле не мог объяснить, да и сейчас, пожалуй, не смог бы. Разве человек может объяснить все свои желания!

Тогда, в детстве, я любил тишину. В концлагерях боялся ее. В тишине таилась опасность, в любой миг она могла взорваться выстрелом, злым гавканьем овчарок, ненавистной командой.

Здесь же, в Арденнах, тишина убаюкивает, я никак не могу привыкнуть к ней, она сковывает движения...

Поздно ночью прибыл крытый брезентом «даймлер».

Нас куда-то повезли.

Я спросил Крафта:

— Куда?

Он загадочно усмехнулся:

— На прием к одному графу.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Тобол катил на север мутные воды. На склонах холмов объедался молоденькой травкой проголодавшийся за зиму скот. Земля парила.

Надежда целый день простояла около сортировки и домой шла уставшая, а мыслями была в Сивачах, где сейчас, наверное, так же, как здесь, обильно парует земля над старинными скифскими курганами, над Чумацким шляхом, где и поныне из земли проступает соль. А дальше, до самых Попелаков ровная и гладкая, как ладонь, степь — раздолье жирного чернозема, по которому ползут за горизонт, будто жуки, тракторы. Бежит вдоль лесополосы полуторка, засевает поле песнями. Это едут на бахчу пропольщицы. Лица укрыты косынками — берегут от палящего солнца женскую красоту. Только поблескивают в улыбках глаза да зубы...

Ох, и хорошо было!.. Было...

Теперь там враг. Сколько времени уже прошло, а до сих пор не верится в это. Надежда никак не может представить себе, что сейчас делается в родном селе. Возможно, сгорело оно, а может, стоит безлюдным в трагической тишине, как то селение под Курском. Страшно подумать.

Около правления ноги словно сами повернули к конторе. Надежде захотелось увидеть Цыганкова, перекинуться с ним каким-нибудь незначащим словом.

Цыганков был не один. Он сидел за столом, слегка наклонив голову, отчего мешочки под его глазами были особенно заметны, и вертел в руке старенькое пресс-папье. Перед ним расхаживал по комнате секретарь райкома Самохин, плечистый мужчина в военной форме, демобилизованный из армии после тяжелой контузии. Надежда уже была знакома с ним. Это Самохин напутствовал их с Усмановым перед поездкой на фронт.

— Тракторы будут без опоздания, — говорил Самохин рокочущим баском. Левая щека его время от времени подергивалась, будто он подмаргивал. — А вот люди... Давай вместе думать, Иваныч.

— Да что тут придумаешь? — Цыганков начал старательно обдирать с пресс-папье грязную промокашку. — Трактор — не веялка.

— Я не вовремя, — произнесла Надежда. — Извините, зайду в другой раз.

— Надя? — Она заметила, что Цыганков и удивлен ее приходом, и обрадован. — Проходи, садись, я скоро освобожусь. Вы знакомы?

— Был такой случай, — улыбнулся Самохин. — Ну как, Надежда Егоровна, съездилось вам на фронт? Не страшно было?.. Карачаевцам рассказывали?.. Правильно. Пусть люди знают о зверствах фашистов, ненависть прибавляет силы... Но вернемся к нашему разговору. Неужели-таки нет выхода?

Надежда вспомнила, что доярка Валентина Усова хвалилась как-то, что окончила перед войной курсы трактористов. Есть еще Станислав, правда, он...

— Вот видишь! — обрадовался Самохин. — Плохо, товарищ председатель, знаете свои кадры.

— Славка безногий, — хмуро сказал Цыганков. — За руль не посадишь.

— А Усова?.. Да ты собери людей, поговори с ними. Укомплектуй хотя бы одну смену. Пойми, даю тебе тракторы всего на пять дней. За это время ты должен отсеяться. Через пять дней заберу.

— Не заберешь.

— Заберу.

— Кому хуже сделаешь? Цыганкову?

— На лошадях досеешь. У меня ведь целый район на шее.

— Так и лошадей же нет! На три упряжки... Да и те ребрами светят.

Самохин присел на стул, заложил пальцы за портупею.

— Устал ты, Андрей Иваныч. Отдохнуть бы тебе, да некогда. Давай не будем ссориться, как-никак мы с тобой фронтовики. Собери завтра коммунистов.

— Представь, что уже в сборе. На весь колхоз я один остался из коммунистов. Да еще дед Махтей в кандидатах ходит. Так что проводи среди нас с дедом разъяснительную работу.

— Дожились, — вздохнул Самохин.

— А что, военкомат тебя не спрашивает?

— Я недавно в районе. Да и не в этом сейчас дело. Коммунисты поголовно ушли из деревни на фронт, а кто станет на их место — вы не подумали. Вот что плохо.

— Мы. А вы?

— Ох, и колючий же ты, Цыганков! Пусть будет по-твоему — мы. Давай теперь вместе поправлять дело. Вот

вы, Надежда Егоровна, почему не подаете заявление о приеме в партию?

— Я? — засмущалась Надежда. — Н-не знаю, как-то не думала...

— Ну, а все-таки? — секретарь смотрел на нее вопросительно, щека его перестала дергаться.

— Покойный муж, — Надежда покраснела, — бывало, говорил мне: «Мало у тебя, Надюша, политграмоты».

— Ну, это когда он вам говорил! — засмеялся Самохин и тут же оборвал смех. — Война научила всех политграмоте. И друзей, и врагов. Не стану скрывать, когда поручили вам поездку на фронт, я знакомился с вашей биографией. И о муже вашем знаю, и о сыне... А что, товарищ Цыганков, дадим Надежде Егоровне рекомендации в партию?..

Надежда испугалась:

— Вот так сразу?

— Я убежден: вы давно уже большевик, — улыбнулся Самохин. — По духу. А теперь оформим это документально. Подумайте и завтра скажете. Ладно?.. Вот и хорошо... А к тебе, Андрей Иваныч, у меня есть еще одно... гм-м... деликатное дело. — Самохин извлек из кармана вчетверо сложенный исписанный лист бумаги, развернул, но читать не стал. — Жалоба поступила на тебя. Зернá на посевную не хватает, а ты раздаешь колхозникам. Это правда?

Надежда увидела, как побагровело лицо Цыганкова, в вечерних сумерках оно показалось ей черным.

— Брехливая правда.

— Не знаю такой.

Цыганков рывком поднялся и направился к двери.

— Пошли!

Самохин пожал плечами, потянулся за своей шинелью.

— Пойдемте, Надежда Егоровна, и вы с нами. А то еще поколотит меня.

Карачаевка лежала укутанная вечерним туманом. По улице брело стадо коров, из кузницы доносился звон молотка.

Цыганков постучал в двери мазанки.

— Здравствуй, Фрося. Зашли посмотреть, как живешь.

Напрасно было гадать, сколько хозяйке лет — тридцать или пятьдесят. Костлявые плечи, под глубокими глазами морщины, юбка подпоясана платком. Малень-

кая девочка и трое мальчиков примостились друг против друга за столом, перед каждым — деревянная ложка. Восемь глаз с любопытством уставились на незнакомого дядьку в военной шинели, но никто из них не сдвинулся с места, потому что взгляды ребятишек перебегали от гостей к матери — она уже тащила на рогаче из печи тяжелый чугунок.

— Ох, и кондер у нас сегодня смачный! — сказала Фрося, открывая чугунок на загнетке.— Ешьте, детки, да растите скорее.

Четыре руки по очереди опускали ложки в большую, парующую миску, вспотевшие личики сосредоточены, с уст ни у кого не слетело ни единого слова. За столом происходило таинство ужина. Гости тоже молча стояли у порога.

Фрося провела пучком соломы по скамейке:

— Садитесь, в ногах правды нет.

— Чем топить тебе, привезли? — спросил Цыганков. — Вот и хорошо. С воскресенья детсадик открываем, приводи своих орлов.

Хозяйка поклонилась низко-низко до самой земли.

Самохин выскочил из двери, глотнул вечернего воздуха.

— Видал, что в чугунке? Это варево похоже на семенное зерно? Я дал ей пуд отсевок, — глухо объяснил председатель. — И еще таким же бедолагам по полпудика. П-пойдем дальше? . .

Самохин достал из кармана письмо с жалобой, с гневом разорвал его на мелкие кусочки.

— Сволочь. . . Кому-то все же не хватает политграмоты. Не гневайся. Слышишь, Иваныч? . .

2

Столетия расступились. Тусклый ранний свет сквозь узкие, как бойницы, окна падал на шлемы и латы рыцарей. Развешенные на стенах алебарды и шпаги, мушкеты и пистоли безмолвно хранили давние тайны. В нишах ощеривали зубы чучела медведей, развесистые оленьи рога заменяли подсвечники. Бесшумно открывались тяжелые дубовые двери, за которыми сияла анфилада мраморных залов. Дух средневековья витал под сводами замка.

— Резиденция графа Лануа, вассала могучего герцо-

га Бургундского,— сказал Крафт.— К сожалению, его отпрыск ныне находится в Лондоне и не может устроить нам прием.

— Сбежал?

— Он слишком важная особа, чтобы прятаться. А судьбу Леопольда разделить не захотел.

— И немцы не наложили лапу на его собственность? — удивился Щербак.

— Это уже наша забота,— ответил Крафт.— И потом, замок стоит вдали от стратегических дорог, а свалка средневековой рухляди может заинтересовать разве что неразборчивого коллекционера.

— Какое же наше задание? Охранять графские пожитки?

Крафт сделал вид, что не услышал его слов.

— А вот здесь ваши апартаменты,— весело продолжал он, показывая на боковые двери, за которыми оказался лабиринт служебных комнат. Одна из них напоминала казарму, так как была заставлена наспех сколоченными топчанами, укрытыми суконными одеялами армейского покроя; во всю стену — деревянная вешалка.

...Антон оглядел двери, решетчатые окна, затем назначил наряд дневальных.

Первым принял пост Довбыш.

— Латы, Егор, не про тебя кованы,— сострил Савдунин, нырнув под одеяло.— Хватай, если что, алебарду, может, кого огреешь при нападении на казарму.

Вскоре сон сморил партизан.

Только Щербаку не спалось, его одолевали сомнения. Не допустил ли Дюрер ошибки, послав их сюда? Ну, кто они здесь? Чего от них хотят? Крафт, конечно, наверняка знает, зачем их привезли в этот замок. Может, прижать его как следует и... Но поможет ли это выполнению их основного задания?

...Два дня они ели и спали, бродили по замку, восхищаясь его изысканной архитектурой, поднимались по винтовым лестницам в дозорные, обжитые голубями, башни, откуда открывался вид на гористую даль.

— Голубей гоняете! — недовольно ворчал Крафт.— А замок должен выглядеть заброшенным... Вы же военный человек, господин Щербак!

Довбыш предлагал отправить к Дюреру связного. Ан-

тон протестовал: отправить недолго, а с чем, с какими вестями?

Когда же пришел конец терпению и Щербака, приехал капитан Гро.

3

Наконец-то мы узнали, чего от нас хотят.

Оказывается, графский замок является базой, через которую Лондон доставляет «Арме Секрет» оружие. Именно здесь, над этим плато, винтовки и боезапас выбрасывают английские самолеты.

Задание нашей группы — подавать сигналы летчикам, разыскивать грузы, доставлять их на склад. Одновременно приказано подыскать и расчистить небольшую площадку, пригодную для посадки самолета.

Гро поинтересовался, нет ли среди нас человека, знакомого с аэродромной службой. Но авиаторов в отряде не оказалось.

— Жаль, — сказал капитан, — такой человек очень пригодился бы.

На этот раз он был в хорошем настроении, не хмурился. Я заметил, что субординация тешит его честолюбие, и решил играть на этой струне.

— Разрешите обратиться, мсье капитан!

Гро снисходительно кивнул.

— Мы просим вас поставить в известность советское посольство в Лондоне о том, что мы. . .

— Связь строго регламентирована, — перебил меня капитан. — Мы не имеем права в настоящее время засорять эфир разговорами о судьбах отдельных людей.

— Думаю, что наш отряд — это уже не отдельные люди, — едва сдержав себя, сказал я. — Вы солдат, мсье капитан, и вы должны понять нас. Нам хочется, чтобы в Москве знали: мы живы и продолжаем борьбу с врагом, как солдаты. Вот наши фамилии.

Гро пробежал глазами список.

— Кардашов? Но, мне кажется, среди вас такого нет?

— У вас отличная память, мсье капитан.

— Не жалуюсь, — сухо ответил он.

— Николай Кардашов не смог пойти с нами. Он болен.

— Ну что ж, возможно, мне удастся выполнить вашу просьбу. Чуть позднее. — Капитан повертел в руках мой лист бумаги, хотел положить его в карман, но передумал

и возвратил. — Я слышал про молодого солдата, которого вы похоронили в Комбле-о-Поне. Говорят, это был отважный парень. Занесите его в список, лейтенант. Пусть список пока будет у вас. Я напомню, когда понадобится.

Несколько дней прошло уже после этого разговора, а он все не выходит у меня из головы. Как я мог забыть про Василька? Гро не знает, как больно ударил он меня, не догадывается и о том, что я благодарен ему за участие. Кто он такой, этот Гро, — ретивый служака или убежденный патриот? Что руководило им — продуманный расчет или порыв души? А впрочем, все может смешаться в сложной причинной связи, которая и обусловливает если не характер человека, то по крайней мере его поведение.

...Мы нашли подходящую площадку для приема самолета.

Природа словно сама позаботилась обо всем. У подножья известняковой куэсты протянулась достаточно широкая, с мелкими кустиками вереска, равнина. Деревца покрупнее мы спилили. Нам оставалось лишь сдвинуть к оврагу глубоко вросшие в землю валуны, низринутые с куэсты, быть может, еще в силурийские времена. Пришлось дробить глыбы кайлами, подкапывать их, выворачивать на поверхность, а затем, обливаясь потом, шаг за шагом катить их к обрыву.

Маленький Фернан, наблюдая, как гигантская глыба оживает под натиском Егора, от удивления раскрывал рот и цокал языком.

— Офицер должен руководить, а не хвататься за кайло, — сказал Гро, отозвав меня в сторонку. — Или, может, в этом и кроется ваше знаменитое равноправие?

Я устал, не испытывал ни малейшего желания вступать в спор и все же не утерпел:

— А вам никогда не хотелось почувствовать себя обыкновенным человеком среди людей? — Я понял, что прозвучало это для него грубо, и поспешил смягчить свои слова: — Ну, скажем, забыть хотя бы на минутку, что вы командир, раствориться в солдатской массе, стать для них на какое-то время просто товарищем...

— Я кадровый офицер, — выпрямился Гро, — и армейская субординация...

— Поверьте, мы тоже знаем, что такое армейская субординация, — перебил я. — И в Красной Армии существует единоначалие. Без подчинения старшим нет ар-

мии. Но неужели вам никогда не хотелось скинуть свой мундир?

Капитан Гро внимательно посмотрел на меня и сухо сказал:

— Сколько угодно! Но только дома, у камина, когда за окном осенняя морось, а рядом женщина, которая тебе не безразлична...

Как-то ночью нас подняли по тревоге.

Крафт — он возглавлял комендантскую службу — сказал, что получена важная радиограмма. К этому времени мы уже знали, что в одной из башен постоянно дежурит радист, входить к которому нам было запрещено, его охранял вооруженный часовой.

...Ночь была звездной. Вдали, над отрогами От-Фаня, висел недавно народившийся месяц.

— Летит!

У Фернана редкостное зрение. Одна из серебристых точек бесшумно плыла среди звезд. Она была так высоко, что звук ее растворялся в воздухе и мы напрасно настораживали слух.

Крафт взглянул на часы и выстрелил сразу из двух ракетниц. Неестественный, мертвый свет выхватил из темноты окрестности горы, на склонах заметались тени.

Еще трижды ракеты разрезали тьму цветными траекториями.

Но вот самолет потушил бортовые огни и куда-то исчез, будто его не существовало и он привиделся нам.

— Капитан приказал без грузов не возвращаться, — сказал мне Крафт. — Сброшено три «посылки». У меня дел по горло. Так что действуйте...

Я проводил глазами быстро удаляющуюся неуклюжую фигуру Крафта.

Много позже мне стало известно, почему он так торопился. Оказывается, в ту ночь, кроме грузов, самолет сбросил и разведчика. Крафт должен был лично встретить его неподалеку от замка. Значит, капитан Гро не во всем доверял нам?

В те напряженные ночные минуты мы этого не знали и ретиво отыскивали тюки с парашютами.

Один из них упал на приготовленную для аэродрома площадку, другой запутался в кроне старого дуба, и нам пришлось порядком с ним повозиться, освобождая стропы от густых ветвей. Третьего груза мы так и не разы-

скали. Возможно, его занесло на другую сторону куэсты или он угодил в пропасть.

Тому, кто готовил эти упаковки на островах Альбиона, не откажешь в сообразительности. Ящики были снабжены пружинными амортизаторами, оружие укутано в промасленный брезент, сверху в цинковых коробках лежали патроны. Поразительно было и то, что новенькие автоматы — не английского образца, а хорошо знакомые нам немецкие «шмайсеры». Эта предусмотрительность упрощала дальнейшие хлопоты о патронах.

...Из тьмы вынырнул запыхавшийся Егор.

— Что делать, Антон? Третий как в воду канул. А уже рассветает...

— Жаль, — сказал я и тотчас принял решение: — Савдунин! Выдать всем по автомату!

Все принялись кто пучком травы, кто тряпьем очищать с новеньких затворов излишнее масло.

Обнаружилось, что кассеты тоже заполнены патронами, даже запасные, и я еще раз мысленно восхитился англичанами.

С автоматами за плечами мы наконец-то стали похожи на настоящих партизан. Я заметил, как все ребята браво подтянулись.

Андрей метнулся в кусты и притащил носилки, на которых вчера мы стаскивали к обрыву обломки камней. Теперь эти носилки нам снова пригодились. Мы погрузили на них ящики и тронулись в путь. Впереди шел Фернан.

...Рассвет застал нас в каньоне.

Словно ветви от ствола дерева, во все стороны разбегались овраги. Один из них вывел нас на заросшее кустарником плато, и только здесь мы позволили себе сделать привал.

— Хотелось бы сейчас видеть капитана Гро, — хохотнул Довбыш. — Или твоего приятеля Крафта. А, Фернан?

— Не трогай Фернана, — сказал Савдунин. — У него и без тебя хватает переживаний.

Егор расстегнул воротник, неторопливо почесал волосатую грудь.

— Женщинами в замке вроде и не пахло. Какие же могут быть переживания?

— А две тысячи франков?— подморгнул Савдунин.— Где они теперь? .. Бедолага так рассчитывал на них. Две да две, да еще сто раз по две, купил бы ферму, сам себе пан...

Я думал, что маленький Фернан бросится в драку — так резко он вскочил с места. Я хотел уже было вмешаться. Но неожиданно встал Довбыш.

— Ну, что ржете? — загудел он. — Если бы жил человек ради денег, давно продал бы нас. Ты не гневайся, братишка, это просто шутки с досады на судьбу. Дай руку!

Матрос обнял Фернана. Какой-то миг они стояли неподвижно, будто вырубленные из камня, все вокруг притихли. Лицо у Фернана светилось улыбкой. Возможно, в такие минуты и рождается суровая мужская дружба, не каждому суждено познать ее молчаливое счастье.

...Я лежу на нарах в лесопилке.

Измученные за двое суток трудного перехода, ребята спят мертвым сном. Храпит Довбыш. Завтра пошлю связного к Дюреру. Представляю, как обрадуется он нашему возвращению. Он и Николай. Все эти дни оба они не ведали покоя, мучились сомнениями, переживали за нас...

Меня тоже одолевает сон. Но я заставляю себя подняться: нужно проверить посты. Я все еще опасаюсь погони и думаю о капитане Гро. Возможно, с самого начала он не очень-то верил нам и теперь не станет кричать об «измене красных». Как бы там ни было, мы с ним пока союзники, по крайней мере у нас общие смертельные враги — нацисты. Разве мы виноваты, что в Лондоне сторонятся нас, не желая, чтобы мы выросли в такую силу, с которой придется считаться после войны? Дюрер рассказывал, что как-то Диспи обратился к командованию «Тайной Армии» с просьбой поделиться оружием, ему вежливо разъяснили: мол, никакого оружия, кроме дробовиков, нет, а слухи о доставке автоматов из Англии не больше чем провокация. Я не удивлюсь, если инцидент в замке графа Лануа испортит карьеру капитана Гро. Скрыть эту операцию от начальства ему не удастся, да и пойдет ли на это столь ревностный служака?

Одно плохо: не удалось передать в Лондон известие о наличии советских партизан в Арденнах. Гро не спешил выполнить свое обещание, список так и остался лежать в моем кармане.

Что бы там ни было, я снова дома, на партизанской базе.

Я говорю — дома, будто это и в самом деле мой дом. Человеку хочется иметь свое пристанище, куда бы он мог возвращаться, нужна точка опоры, без которой все становится шатким и неопределенным. Может, это вовсе и

не сосны толпятся вокруг меня, а любимые сердцу таврические акации с жесткими и узловатыми, как натруженные крестьянские руки, ветвями? Воробьиные насесты. Я люблю это дерево за его неприхотливость. Оно гордое и выносливое, не боится безводья, так как запускает корни в недоступные зною глубины. Оно поздно выбрасывает почки, зато как щедро пахуче цветет! Зеленые листья утопают в дурманящей замети цветов, сладкие гроздья ублажают и пчел и ребятишек, в воздухе плывет густой медовый аромат. А поздней осенью, когда сады уже становятся голыми, сбросив пожелтевшие листья, акация еще долго сохраняет свежую крону, позже шелестит по ветру коричневыми длинными, похожими на фасоль, стручками, ожидая удобного момента, чтобы посеять во влажную землю осени семена будущего детства. Мужественное, красивое и нежное дерево — акация.

Я опускаю свою ладонь на ствол. Нет, здесь кора деревьев гладкая, липкая. И тонко пахнет смолою..,

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Когда закончилось заседание бюро райкома, над Джагытарами уже нависла поздняя ночь.

Надежда и Махтей давно освободились и ждали Цыганкова — бюро заслушивало его последним.

Махтей, опустившись под окном в приемной на шаткий плетеный стул, дремал. Трижды пробегал Усманов и каждый раз кланялся Надежде, будто впервые ее видел, он был весь в заботах, под выцветшими бровями вместо глаз — угольки.

Наконец обитые дерматином двери выпустили Цыганкова. Ни на кого не глядя, он направился к выходу.

Надежда догнала его уже у калитки.

— Что с тобою?

— Ничего, Надя, ничего. Так нужно...

Она протянула руки, чтобы застегнуть ему воротник, но в это время появился Усманов.

— Ай-ай, Надежда, нехорошо. Ай-ай, ты не видел моя Кыз-гюль. Кыз-гюль любит гость. Кыз-гюль будет рада...

Он говорил быстро, глотая окончания слов, узкие глаза излучали тепло.

Цыганков помогал Махтею запрягать коней, старик ворчал что-то о гнилом недоуздке.

Надежде было жаль старого Усманова. Жена Ахана, родив ему дочь, умерла, и он на всю жизнь остался одиноким, перенеся свою любовь на маленькую Фатьму. Годы залечили рану. Усманов был почти счастлив, по крайней мере считал себя таким. Но пришло время, и Фатьму забрал у него джигит, о существовании которого он не имел представления. И хотя не было в том ничего неожиданного, сработал извечный закон, обрекающий родителей на неминуемую разлуку с детьми,— Усманов переживал это неожиданное для него счастье дочери как свое личное несчастье. А судьба исподволь готовила ему новое испытание. Вместе с красотой матери Фатьма унаследовала и ее хрупкость. И все как бы вновь повторилось. Горе ослепляет людей. Усманов не успел отвыкнуть от дочери, как ее не стало. А к внучке он и не думал привыкать. Зять разлучил Ахана с дочерью, может, на время, внучка — навсегда.

Пять лет Усманов не хотел ни видеть, ни слышать внучки. Как инспектор райземотдела, в метель и распутицу он скакал верхом по району, заглушая свою боль изнурительной работой. Но вот началась война.

Оставив Кыз-гюль у дальней родственницы, в степном ауле, обидев тем самым Усманова, зять ушел на фронт. В душе старого Ахана вдруг что-то перевернулось. Он приехал к внучке, упал перед ней на колени и заплакал. Ахан плакал, а Кыз-гюль смеялась, она не понимала, кто такой этот дедушка и почему он плачет да еще стоя на коленях...

— Прости, Ахан-ата,— произнесла тихо Надежда,— но я должна ехать. Как-нибудь в другой раз...

Шуршала под колесами пыль, глухо стучали копыта, время от времени понукал коня и, казалось, тут же снова погружался в сон Махтей.

— Странный этот Усманов,— сказал Цыганков.

Надежда покачала головой.

— Он не странный, он просто несчастный.

— А кто теперь счастливый? — не поворачивая головы, спросил Махтей и незлобиво защелкал кнутом.— Н-но, служивые, не из дома поспешаем, а домой. Но-о... Вот ты — счастливая?

Цыганков заворочался, принялся скручивать козью ножку.

— Это жестоко, дедушка...

— Эге ж, правда — она как мачеха.

— Все же не пойму я вас, — подал голос Цыганков. — Война, конечно, всех изранила, кому тело, кому душу... Однако же есть оно, счастье, есть! Разве не были мы счастливыми, пока... А, да что там говорить!..

— У счастья длинные ноги, попробуй догони, — бубнил Махтей. — И двуликое оно. Одному счастье, другому — несчастье. Н-но!..

Степная колея огибала озеро, за камышами хлюпала, плескалась вода, будто кто-то бросал в нее камни.

— Карп жирует, — завистливо чмокнул языком Махтей. — Посидеть бы здесь на рассвете с удочкой — вот тебе и счастье.

— Скоротечное это счастье, — сказал Цыганков, и по тому, как он это произнес, Надежда поняла, что Андрей Иванович чем-то расстроен.

— А мы и сами на этом свете не вечные, — почти весело откликнулся Махтей. — Сегодня есть — завтра как не бывало.

— У вас, дедунь, и в самом деле правда мачеха. А где же правда — мать? — спросил Цыганков. — Сегодня вас в партию принимали. Век прожил — не надумал, а тут вдруг... Не вяжется это с вашими рассуждениями о счастье... Тоже мне философия!

— Не то говоришь, Андрей Иванович. Какой из меня философ! — Махтей помолчал, щелкнул кнутом. — Когда молодой конь падает, то в оглобли заводят старого. — Он повернулся. — Но я же не конь!

Цыганков затянулся табачным дымом, огонек самокрутки выхватил из тьмы его обветренные губы.

— Этот конь — в каждой дырке затычка. То пусть, мол, думает — у него голова большая, а чуть что — сразу же другая поговорка: дескать, конь и о четырех ногах спотыкается.

Надежда засмеялась:

— Не о том же он, Андрей Иванович, не о том...

— Знаю, — сердито ответил Цыганков. — И я не о том... Иногда мы слишком много говорим, разводим всякий блуд словесный. На киселе гадаем. А надо об одном думать: как фашиста за горло схватить. Там, на фронте, люди головы кладут, а голова у человека одна... И нет выше счастья, когда клочок земли отобьешь у врага. Чтобы свободно дышала, зеленела по весне, родила... И мы — пахари и сеятели — тоже бойцы, тоже на фронте.

Не для красного словца говорю. Вот это и есть правда — мать...

Цыганков говорил еще и еще. Его будто прорвало. На землю опускалась мгла, небо посветлело, стало каким-то бархатистым, все в звездах. Копыта то тяжело опускались на окаменевшую бугристую дорогу, то шуршали по влажной от росы пыли. Тоненько попискивали рессоры.

— Вот меня сегодня чистили, как медную бляху, вдоль и поперек. Хотелось вскочить и закричать: дьявол вас побери, ну, разве мне износа нету? Из кожи лезу, прилечь порой недосуг!.. Но не вскочил, не закричал, не бросил в глаза укора, затаил в себе правду-мачеху. А все потому, что на фронте нашим еще накладней. Там вообще нет меры человеческим испытаниям.

Махтей прокашлялся.

— За что же тебя так?

— Сами знаете, посевную затягиваем.

— Слава богу, дожди утихли. Как-нибудь выкрутимся.

— Эх, дедушка, на «как-нибудь» гужи рвутся.

— Не цепляйся к слову, Андрей Иванович. Вот тебе невдомек, почему я на закате лет в партию поступаю. Оно и в самом деле чудно, если неверным глазом по моей жизни повести. Если, к примеру, не знать о том, что подавал я заявление в партию еще в тридцатом, в коллективизацию. Был я тогда первым карачаевским председателем. — Махтей хмыкнул. — Выходит, на твоем нынешнем месте сидел.

— Ну и что, отказали?

— Мало сказать — отказали. И с председателей в шею!

Цигарка выпала из рук Цыганкова на дорогу, рассыпала искры.

— За какие же грехи?

— У Колчака я был. Мобилизованный. Но в первом же бою под Уфой сдался. Служил в Красной Армии... На этом самом каверзном моменте и сосредоточили внимание и так и сяк пошли толковать. А о том, что после Перекоп брал, вроде забыли, будто и не было ничего...

— Ой, дедушка! — приподнялась Надежда. — Так вы в наших краях бывали! Вот не думала... Может, и Сивачи проходили?

— Не помню сейчас, — буркнул Махтей, недовольный, что его перебили. — Через Сиваш по пояс в грязи шел —

это помню. От Фрунзе благодарность... Известное дело, не за то, что грязь месил, шли, почти плыли все скопом, а так... случилась закавыка с пулеметом...

— Вот как,— взволнованно сказал Цыганков.— А я и не знал.

— Ты много чего не знаешь, Андрей Иванович,— Махтей говорил глухо, в бороду. — Что там тебе наговорили в райкоме, не известно, а вот я... Доведись мне быть на этом самом бюро, не погладил бы тебя по голове. Как пить дать не погладил бы!

— Что это вы, дедушка? — вступилась за Цыганкова Надежда. — Чем не угодил вам Андрей Иванович?

— Подожди, — перебил ее Махтей, — не тарахти! «Угодил — не угодил...» Председатель не лакей, чтобы всем угождать. Хороший ты человек, Цыганков, честный и работящий. Но все на своем горбу хочешь вывезти. А людей карачаевских не знаешь. Разве только меня одного? Я что, не обо мне речь. У тебя только работа на уме. Давай, давай!

— Такое время, — хмуро произнес Цыганков. — Давай и давай. Война определила нам такую судьбу.

— Не надо все на войну сваливать. Война войною... Ты сойдись с людьми поближе, приглядись, кто чем дышит. Фросе помог — она теперь молится на тебя, как на бога. А в работе как старается!

— Каждому в душу не влезешь.

— Н-но, служивые, н-но... Душа, Андрей Иванович, не погреб, в нее не лазят... Опираешься на плечо — свое подставь, и душа сама откроется. Сама...

На востоке зарделось. Заквакали в болоте лягушки, потянуло ветерком-утренником. На сердце у Надежды было легко, она давно уже не чувствовала в себе такой легкости.

На заседании райкома, где ее принимали в кандидаты, а Махтея — в члены партии, она разволновалась, изнервничалась. Все ждала чего-то необычного. Понимала, что отныне ее жизнь берет крутой подъем, ей было радостно и страшно. А что, если усталые, суровые на вид люди скажут ей, как когда-то говорил Корней: «Мало у тебя, Надюша, политграмоты»?

Она боялась разрыдаться, слезы уже щекотали горло, готовые брызнуть из глаз, руки, старательно разглаживая невидимые складки платья, потели. Робела под взглядами сидящих рядом с нею за столом. Вот сейчас спросят что-нибудь такое, о чем она и не слышала,

И люди какие-то малознакомые. Один, лысоватый, в очках, быстро-быстро записывает в блокнот... Начальник милиции — жилистый, со впалыми щеками, затянутый в блестящие ремни, — смотрит начальственно, строго. Хоть бы улыбнулся, ведь женщина перед ним, и не старая еще.

Как сквозь сон Надежда прислушивалась к голосу Самохина. Секретарь говорил, что райкому приходится брать на себя функции первичной партийной организации, потому что в Карачаевке только двое коммунистов, а все остальные взяты на фронт, такова неизбежность военного времени. Надежде не верилось, что Самохин говорит именно о ней, слова его были непривычные, будто обращены к другому, кого здесь нет, просто совпадали фамилии — разве мало на свете Щербаков?

Никто ни о чем ее не спросил. То ли члены бюро райкома слишком устали, то ли полностью положились на Самохина. Надежда увидела дружно поднятые руки и облегченно вздохнула, но так откровенно, что все присутствующие это заметили и в табачном дыму мелькнули улыбки.

Она была уже около дверей, не слыша скрипа стульев и голосов за спиною, но какая-то сила вдруг остановила и повернула ее. Не спеша, как у себя дома, она подошла к окну, открыла форточку — дым заклубился в черноту ночи — и сказала:

— А у меня сын коммунист, Антон... Кто знает, живой ли...

И вышла. Она не знала, зачем это сказала, ведь тот, в очках, зачитывал ее автобиографию, где было все сказано и о сыне, но какой-то внутренний голос заставил ее произнести эти слова, и ей сразу стало легко. Она не догадывалась, что этими словами хотела поставить себя в один ряд с сыном, плечом к плечу, как это делают солдаты в строю...

Надежду одолевал сон. Она и не заметила, как склонилась к Цыганкову. Ее укутанная в шерстяной платок голова упала ему на локоть, и он замер, боясь пошевелиться.

А кони бежали вдоль засеянных полос, мимо степных оврагов, а небо плыло, плыло и оставалось на месте.

Надежда не слышала, как Махтей спросил:

— И долго вот так?

— О чем вы, дедусь? — не сразу отозвался Цыганков.

— Думаешь, если дед, то уже и слепой? Сохнете, сох-

нете и никак не присохнете... На фронте не боялся, а здесь трусишь?

— Экий вы специалист по сердечным заботам! — незлобиво произнес Цыганков. — Не за ту вожжу дергаете, дедусь.

— Спрашивал хотя бы?..

— Спрашивал. Вся в прошлом... Куда мне и доступа нет.

— Бывает. Высокий порог переступить трудно... Ох, и выпил бы я на вашей свадьбе! — крякнул Махтей. — Хорошая женщина... Когда-то в этих делах я немного кумекал. Тп-р-р-у! Кого там спозаранку носит?

Дроги качнулись на рессорах, остановились. На перекрестке, где джагытарскую дорогу пересекала колея на Карачаевку, маячила фигура человека.

— Что, уже приехали? — встрепенулась, выпрямилась Надежда. — А я так сладко вздремнула.

Она так и не поняла, что спала, привалясь к председателю.

Цыганков соскочил на землю.

— Андрей Иванович, это вы? Как хорошо, что встретила вас, ой как хорошо!

— Стефка?

— Беда, Андрей Иванович. Трактор заглох, далеко отсюда. Застрял в борозде. Трактористка плачет, прибежала ко мне в слезах... Здравствуйте, дедушка! — подняла глаза на старика Стефка.

— Кто плачет?

— Да Валька же! Валька Усова, кто еще?

— А ты почему здесь?

— Везу своего дударика. Он у меня тракторист, вот и везу, пусть глянет... Ой, тетя Надя! И вы здесь? Здравствуйте! Ну как, приняли?.. Обоих приняли?.. Дайте я вас расцелую.

— Подожди, Стефка,— осадил женщину Цыганков.— Целоваться будем потом. Где твой тракторист?

— В коляске он. Не видите?..

— Здесь я, здесь! — донеслось из тьмы.

— Молодец, Стефка! Садись... А вам, друзья мои, придется домой пешком добираться. Смотрите, дедушка, не потеряйте по дороге Надежду Егоровну!

Упряжка исчезла в туманной пелене.

— И в самом деле, чем не фронт? — сказал Махтей, пропуская через пятерню свою черную бороду. — Только и разницы, что не пули свистят, а суслики...

2

Победа Советской Армии под Сталинградом ранним весенним громом прокатилась по всей Европе. На заводах Льежа, Брюсселя, Шарлеруа, Намюра, на железнодорожных станциях и шахтах участились диверсии. Люди с надеждой оборачивали свои вгзляды на Восток, понимая, что именно там решается судьба мира, охотно пересказывали друг другу радостные вести, а также язвительные анекдоты о британском льве, галльском петухе и русском медведе.

Беглецы из шахт Лимбурга прятались в лесах, накапливались в группы. Среди них было немало и советских военнопленных. Почти безоружные, не имея между собой связи, группки проявляли себя дерзкими налетами на немецких патрулей, реквизировали у богатых фермеров скотину, что дало повод профашистским газетенкам в Брюсселе и Льеже поднять шум о «бандитизме в Арденнах» и поносить бельгийских коммунистов, которые, дескать, «не только симпатизируют, но и активно помогают русским саботажникам».

Взбодренный этой шумихой, генерал Фалькенхаузен стал требовать, чтобы военное командование прислало в Арденны карательные отряды.

Начались облавы. Во время одной из таких облав погиб Симон Гарбо.

Он возвращался домой поздно вечером на велосипеде. Дорога из карьера выходила на станцию Пульсойер к самому перрону. Немцы устроили здесь заставу, проверяли документы у пассажиров только что прибывшего из Льежа поезда. Кто-то из рефрактеров[1] выпрыгнул из окна вагона и бросился бежать. Под автоматную очередь угодил Симон.

Двое маленьких Гарбо, едва научившись узнавать отца, навсегда потеряли его.

Эжени почернела от горя.

ЦК Бельгийской компартии предложил Диспи взять под контроль действия разрозненных групп в Арденнах и объединить их в единый партизанский полк.

В начале июня Люн привез Жозефу Дюреру приказ Диспи.

---

[1] Рефрактер — так в Бельгии называли тех, кто уклонялся от мобилизации на работы в гитлеровской Германии.

Они сидели у Люна: Дюрер, Кардашов и Люн. За окном угасали вечерние краски. На столе дымился кофе. Тихо входила и выходила Николь.

— Я и сам думал над этим, — взволнованно говорил Жозеф. — Полк! Представляете? .. Но оружие? Где взять оружие?

— Да, капитана Гро дважды не выдоишь, — усмехнулся Кардашов. — Теперь он ученый.

— Вчера Фернан нашел под дверью послание капитана. Гро требует вернуть «незаконно присвоенное оружие».

— На что он рассчитывает? — взорвался Николай. — По-моему, он просто подстраховывает себя бумажками на случай, если прижмет начальство.

— Может быть, и так...

— Черт его знает. Но послание суровое.

— Нам только междоусобиц и не хватает, — Дюрер, вздохнув, отхлебнул из чашечки кофе. — Кстати, где сейчас Антуан?

— В Пульсойере. После смерти Симона Эжени словно лишилась разума. Щербак понес для нее деньги, ну и вообще...

Жозеф Дюрер уже не слышал Люна, он думал о приказе Диспи. Приказы издаются для того, чтобы их выполнять. Но как? Как выполнить этот приказ? Группы беглецов разбросаны в горах на десятки километров от магистрали Льеж — Люксембург. Дислокация многих из них известна лишь приблизительно.

— Эсэсовцы продвигаются только вдоль железной дороги, — сказал Люн. — В горы не лезут. Но в Центре есть сведения, что из итальянской Ломбардии скоро прибудет батальон горных егерей.

— Вот как! — присвистнул Дюрер. — Значит, боши зашевелились... Но мы не имеем права допустить, чтобы враг разбил партизанские группы по одной. Нам нужно поскорее объединяться. Л'юньон фе ля форс[1]. Но как это быстро сделать? Времени у нас в обрез...

Жозеф поднялся — длинноногий, как стайер, заходил широкими шагами по комнате, будто измерял ее вдоль и поперек. Куцые неровные брови над глубоко посаженными глазами делали его лицо, даже когда он улыбался, сердитым, а сейчас торчали, как иголки ежа.

— Напиши приказ, мы размножим, разнесем.

---

[1] В единении — сила *(франц.)*.

Жозеф остановился у стола, налил кофе.

— Могут подумать: а что, если это все — провокация? .. Нет, приказом делу не поможешь. Смог бы я сам побывать в каждом отряде — другое дело...

— Насколько я знаю, — сказал Кардашов, — крылья у нашего команданта еще не выросли, поэтому предлагаю сделать иначе. Размножить приказ, конечно, нужно, однако сначала собрать бы на совещание командиров групп. Согласитесь, послать одного делегата риска меньше, чем явиться сразу всем отрядом.

— Пожалуй... Мы потратим три, допустим, четыре дня, зато больше толку... — Дюрер помолчал. — Наметим маршруты, подберем связных. Тебе, комиссар, придется идти к Селю. Задание, скажу прямо, не простое. Мне кажется, что этот Сель не нашего поля ягода. Он не столько воюет с немцами, сколько обирает фермеров. Хорошо, если просто дурак, а то, глядишь, и авантюрист, каких сейчас развелось с избытком. А если... Говорят, в его отряде два или три англичанина — летчики, сбитые под Шарлеруа. Эти парни меня особенно интересуют. И вот почему...

Жозеф рассказал, что «Тайная армия» располагает каналами, по которым переправляет нужных им людей на Британские острова. Летчики конечно же мечтают о возвращении домой. А что, если предложить капитану Гро этих англичан в компенсацию за потерянные автоматы? Небось и от Щербака отстали бы. В конце концов спасение летчиков будет зачислено в актив тому же служаке Гро, а это не так уж и мало. Гро должен уловить в этой сделке свою выгоду...

Жозеф говорил долго, уставив взгляд в черный прямоугольник ночного окна, будто хотел разглядеть за ним далекие контуры горных вершин, и Николай понял, что требования капитана Гро — дело не пустячное, иначе командант, озабоченный приказом партизанского штаба, не стал бы отвлекаться на мелочи.

— Спасибо, ами, — сказал Николай.

Дюрер задумчиво крутил в руках чашечку с остывшим кофе и не сразу поднял голову.

— Ты что-то сказал? ..

3

Наш командант Жозеф Дюрер в последнее время не дает нам передышки. Вооруженные «шмайсерами», мы

ходим в небольшие рейды и наделали много переполоха в окрестных комендатурах.

В начале июня под Вервье нам удалось перехватить вагон с динамитом американского изготовления «пластик», предназначавшимся абверовцам Гискеса. Сожгли лесопильный завод вблизи Айвая, на котором изготовлялись ручки для пехотных и противотанковых гранат.

Переход через горы нам дался неимоверно трудно, я еле осилил его, на ногах появились кровавые мозоли.

Хлопотливая мадам Николь смягчила мои раны какими-то мазями, забинтовала ноги и велела лежать.

Я пролежал два дня, и время это было для меня сплошным мучением. Потому-то, когда Люн сказал жене, чтобы она отнесла Эжени зарплату[1] Симона, которую партизаны решили сохранить за вдовою, я тут же предложил свои услуги: мол, слишком залежался, мозоли, чего доброго, вспухнут и на боках. На самом же деле рад был случаю повидаться с маленькой Эжени.

...Ветер дул с северо-запада, он зарождался в низинах Брабанта и Фландрии, а возможно и еще дальше, где-то над морем, но по дороге, зацепившись за трубы Угре и Серена, терял свою первородную чистоту и свежесть. В беспредельной глубине неба плыли белые кучевые облака. Их несло почему-то против ветра, видимо, там, вверху, у них были какие-то свои маршруты.

Я шел крутою тропинкой вдоль террасы в Пульсойер.

Шуршали в бурьянах мыши. Наколов на иголки ужа, деловито волок добычу к своему логову еж, дурманяще пахла из зарослей за рыжими осыпями ночная фиалка.

После гибели Симона я долго не решался навестить убитую горем Эжени. Для соседей и местных властей я был ее далеким родственником, и никого бы не удивило мое появление в домике Гарбо в самые скорбные дни для семьи покойного, но какая-то сила удерживала меня от этого шага.

Мама, я признаюсь тебе, пока только тебе: я люблю маленькую Эжени. Я любил ее и тогда, когда она светилась счастьем рядом со своим Симоном в обществе крикливых малышей. Счастье этой семьи щедро одаряло всех, кто приходил к ним в гости. Но в то время я не знал, не понимал, почему при одном лишь взгляде на эту хруп-

[1] Бельгийские партизаны получали ежемесячную зарплату.

кую женщину так светло и радостно становится у меня на сердце. Когда-то я читал, что любовь приходит к людям как озарение, властно и неожиданно. Но вычитанные слова не оставили следа в моей душе, каждый открывает любовь для себя сам, а я был слишком юн, чтобы понять высокую суть чужого опыта, если это вообще можно понять.

Меня влекло и к Симону. Нравилась его сдержанность на слова, добрый и какой-то мудрый взгляд сквозь толстые стекла очков. Я думал, что навещаю Симона, а на самом деле приходил ради Эжени. Возможно, виною всему были ее глаза. Три кружочка в зеницах — синий, темно-синий и совсем черный. Радостно и страшно смотреть в такие глаза — необъяснимое очарование в их глубине...

Свою любовь к Эжени я осознал в тот день, когда Симона совсем не стало. Возможно, мне передалось ее горе и совместные переживания обострили мое чувство, не знаю, только пришло это самое озарение. Так, пожалуй, чувствует себя слепой, которому посчастливилось на миг прозреть.

Было, наверное, кощунством думать о любви, когда земля стучала о сосновые доски, когда глаза Эжени не просохли еще от слез и в них не было ничего, кроме страдания. Но я жалел ее, очень жалел в эти минуты и готов был поклясться, что никогда не оставлю ее одинокой. Пугала мысль: а как же Катя? Силился восстановить в памяти ее лицо, голос, но вспомнились разве только шелковистые косы, как покачивались они в такт ее шагам, когда Катя в последний раз ушла от меня, ни разу не оглянувшись.

Может, все было бы иначе, наверное иначе, если бы не война. И Катя дождалась бы меня, и я сумел бы оценить ее преданность и полудетскую отвагу: «Теперь я буду ждать! ..» Все может быть. Прости меня, Катя. И ты, мама, прости...

На другой день я запретил себе думать об Эжени. Я сказал себе: опомнись, парень, неужели тебя занесло за тридевять земель для того, чтобы... Нет, ставь точку! И я был уверен, что мне удастся ее поставить.

Потом нахлынули сомнения: «Что скажу Эжени? Забудь о прошлом? Живым нужно жить? Надежда на счастье не потеряна? Настанет же на земле и тишина, забудутся тревоги, возвратится к нам способность воспринимать радость, какой она есть, без примеси горечи».

Но настанут ли такие времена и можно ли забыть то, что свято для сердца?

...У Эжени оказался Рошар. Громадная, на весь проем дверей, фигура, широкие, будто созданные для эполет, плечи, кучерявая борода, словно бы поддерживающая незажженную трубку.

Я так обрадовался этой встрече, что чуть ли не бросился в объятия, но старик ничем не выдал своей радости, был скорее хмур, и это удержало меня от проявления своих эмоций.

Эжени, прямая и тонкая, как свеча, стояла около стола. Тяжелый узел волос, скрепленный черепаховым гребешком, оттягивал ее голову назад и немного вбок, будто она к чему-то прислушивалась. Возможно, она и в самом деле слушала — из-за полуприкрытых дверей детской комнаты доносилось сонное чмоканье моих крестников.

— Здравствуй, — сказал я и осторожно притронулся ладонью к ее плечу.

На мочках белых, почти прозрачных ушей, где были серьги — крохотные, янтарные капельки, — темнели теперь дырочки. В глазах — пустота, трижды усиленная пустота, я будто наклонился над срубом и заглянул в колодец. Кто-то из малышей заплакал, и она пошла в детскую комнату, все такая же прямая, с откинутой назад головой, словно бы не в горе, а некоей гордости, и складки ее черного платья колыхались плавно и торжественно.

— Меня она стала замечать лишь на второй день, — сказал извиняющимся голосом Рошар, привычным движением пальцев стиснув незажженную трубку.

— Я принес деньги. Вот... Это зарплата Симона. Отныне ее будет получать Эжени.

Старик насупился:

— Я хотел бы забрать ее на ферму... Ей нельзя сейчас оставаться одной. А она не хочет. — Рошар набил трубку табаком и направился к лестнице, что вела на второй этаж. — Пойдем, там поговорим... А может, она просто не слышит меня. Ведь ей сейчас ни до кого и ни до чего. Это плохо, когда человек молчит...

Мама, я сделал для себя неприятное открытие. Антон Щербак, твой сын, ужасный эгоист. Я обрадовался ее упрямству, что она не соглашается ехать на ферму, как ребенок, и чуть было не выдал себя перед Рошаром. Я не знал, на что могу рассчитывать, не знал, решусь ли

вообще открыться Эжени в своих чувствах, а если осмелюсь, то как она отнесется к этому. Я просто не думал об этом. Если правда, что любовь похожа на озарение, то правда и то, что это озарение может ослепить.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

После дождя густо, будто посеянная, взошла лебеда, на склонах балок буйствовал чистотел. Арбузные плети, вплетаясь усиками в бурьяны, развесили, словно ягоды смородины, свою рыжеватую завязь на чужих стеблях.

Шуршат тяпки.

Взошло, взошло солнышко,
Вставай, моя доченька,
За рабо-оту.

Это Махтеиха. Ну и клятая баба — тут спину разогнуть невмоготу, а ее и хлебом не корми — песня за песней!

А я нагулялася,
Да нацеловалася,
Спать охо-ота...

— А что — старик твой и поныне лижется? Хи-хи... Ты бы ему бороду обкорнала!

Махтеиха останавливается, шарит руками в складках цветастой юбки, извлекает точило. Руки — полные, быстрые, как у молодицы. Жик-жик...

— Щекотки боишься?

Жик-жик... Лезвие тяпки сверкает на солнце.

Махтеиха вздыхает; смотрит куда-то вдаль, за Тобол, за камыши.

— Вот кончится война, ох и нацелуемся тогда, бабоньки...

— Если будет с кем.

— Язык бы тебе прищемило! Не ворона же ты! Каркаешь...

— А что? На все село один мужик путный, да и к тому не подступишься.

— А может, у него это...

— Да что вы — одурели! Девчат в краску вгоняете.

Надежда, обхватив ручку тяпки, склоняется ниже. По-

нимает — треплются про Цыганкова. Да, не одна вдовушка рада бы шагнуть ему навстречу.

Плывет, точно дымка, пыль, застилая низкое солнце, сочно хрустят под тяпкой корни молочая. Над речным плесом летят кряквы.

— Все, шабаш! Стадо уже погнали.

И затихли тяпки. Звонко щелкнул вдали арапник.

Пока прибились к околице, стемнело. С выгона лениво двигалось стадо, во дворах зазвенели подойники. Встряхнув ярко-красным гребнем, петух погнался за кошкой, взлетел на крыльцо и возмущенно заклокотал.

За домом кузнеца, около флигелька, Надежда увидела Станислава. Он стоял, неловко раздвинув свои обрубки, и усердно бил топором по гнилой колоде. Издали казалось, что он врос ногами в землю. Стефка сегодня работала неподалеку, на колхозном огороде, успела прибежать и, радостная, складывала поленья.

— А мы дрова рубим, — сказала она так, будто Надежда могла не заметить их работы.

В словах чувствовалась гордость за мужа, такого ладного парня, пригодного на все, даже дрова колоть, не говоря уже о том, что требуется еще от мужчины в доме.

Станислав смущенно улыбнулся и вытер рукавом пот. После госпиталя он уже загорел и окреп, перестал мучиться от сознания своего увечья, а на Стефку смотрел так, что и сам порой стыдился собственной откровенности.

«Боготворит ее, — подумала Надежда. — Счастливая».

...Цыганков сдержал свое слово — открыл столярную мастерскую, а материал привез из Кустаная. Как ему удалось выбить такой наряд, для всех оставалось тайной. Правда, на настоящую мебель распил был не пригоден, из него можно было сколотить разве табуреты, скамьи или грубые столы под скатерть. Однако Станислав был рад началу. Верстак он подогнал под свой рост, инструмент по избам насобирали, а тут еще и списанный мотор нашелся. Долго морочили над ним голову вдвоем с Махтеем, и все-таки запыхкал в конце концов мотор и завизжала в мастерской циркулярная пила...

Ветер зашелестел листьями тополей, закрутил на дороге серое веретено. А когда оно улеглось пылью, Надежда увидела деда Панаса.

Вся ее жизнь стала сплошным ожиданием, в котором боролись страх и надежда. Так в потухшем костре под темной коркой пепла рдеют невидимые искры: они не в силах уже пробиться сквозь слой тлена и все же сохраняют в себе исчезающее тепло.

Последнее письмо от Антона она получила за день до эвакуации. Письмо было довоенным, помеченным двадцатым июня, и не сразу догадаешься, почему так долго оно шло от Тирасполя до Сивачей, возможно, в поезд угодила бомба, письма разметало по степи, а со временем чья-то добрая рука подобрала их и опустила в почтовый ящик.

Теперь, измученная долгим ожиданием и неизвестностью, она искала глаза деда Панаса, чтобы по ним тут же определить, с чем он пришел. Дед Панас на этот раз не отвел взгляда и не склонил головы, он знал, какие письма страшны, научился узнавать их по внешнему виду, по почерку, по толщине, а может, и еще по каким приметам, которые известны лишь почтальонам.

Письмо было от майора Отто Вейса. Он сообщал о том, что ему удалось установить: лейтенант Антон Корнеевич Щербак командовал ротой летом сорок второго года, рота его вместе с другими подразделениями дралась в окрестностях Харькова. Дальнейшая судьба Щербака неизвестна... На отдельной страничке из школьной тетради в клеточку — каракули: «Здравствуй, мама Надя...»

Надежда заплакала. «Командовал ротой... Дальнейшая судьба... неизвестна...» Два голоса слышались ей где-то в глубине души: один добрый, даже веселый: «Командовал ротой...», а другой жесткий, с оттенком печали: «Дальнейшая судьба... неизвестна...»

Больная от дум пришла она домой. И снова застучало в груди. Такой уж, видимо, тревожный день выпал ей сегодня: на завалинке, потягивая самокрутку, сидел солдат. Подле ног — скатка шинели, вещевой мешок. Солдат сплюнул сквозь зубы, растер плевок сапогом.

— Я — Манюшин, слышали о таком?

— Иван?..

Надежда долго не могла попасть ключом в замочную скважину.

— Заходи, Иван... Не знаю, как тебя величать... Живу вот в твоей хате... временно, как эвакуированная... не сердись... Пришла только что с работы...

— Можно и не величать, — сказал Манюшин, — не привык я к величанию. А где же Антонина? Или до сих пор еще в поле?..

— Антонина?.. Да ты садись, не куда-нибудь пришел, а к себе домой... Я лампу сейчас зажгу, кстати вчера керосина достала...

Солдат был молодой; когда снял пилотку, чуб рассыпался, как у юноши.

— Что-то вы недоговариваете, тетенька... Может, что случилось с Антониной? Ну, говорите же, говорите!

И Надежда заплакала, во второй раз за этот щедрый на слезы вечер.

— Да похоронили же тебя, Ваня... Похоронили.

Манюшин, кажется, начал что-то понимать, потянулся за кисетом, долго развязывал его.

— Как это... похоронили?

— Да так. На тебя ведь пришла похоронка. «Смертью храбрых...» Дед Махтей и розы для твоей могилы выковал...

Махорка из рук Ивана посыпалась на скамейку.

— Похоронили, значит... Поторопились... выходит... Живой я еще... живой!..

У Надежды не было сил сказать ему правду про Антонину. Пусть узнает об этом не сразу, попозже и не от нее.

— Наплакалась твоя Тоня и поехала в Кустанай. А хату на меня оставила. Живите, говорит, тетя...

Иван водил глазами из угла в угол, словно проверял, все ли на месте, все ли так, как тогда, когда стоял, прощаясь, около дверей, а Антонина, повиснув у него на шее, рыдала и он взволнованно говорил: «Ну, вот снова завела свою мокрую песню. Перестань. Осенью буду дома. С орденом».

Орден был. И не один, даже три ордена. Но не было Антонины, а была жгучая пустота в груди и лютая ненависть к батальонному писарю, заспешившему со скорбной вестью. Хотя, если подумать, не мог писарь знать, что Иван Манюшин бессмертный. Его уже дважды вычеркивали из списков личного состава, но он воскресал, живучий, словно ветка вербы.

— А я горел в танке и о ней думал...

Над лампой кружила, билась в стекло ночная бабочка.

— Хочу взглянуть на свою могилу. Где она?

— Да зачем тебе могила! — крикнула в сердцах На-

дежда, пытаясь голосом отогнать от солдата горькую думу. — Садись, ужинать будем.

— Мертвые не ужинают, им полагается в земле быть...

Иван шагнул за порог как пьяный, сгорбив молодые плечи. Надежда дунула в лампу и побежала за ним. Негоже в такую минуту оставлять человека одного.

Так они и шли — Манюшин впереди, а Надежда позади — через всю Карачаевку на Верблюжий холм, заросший в низине черемухой.

— Здесь, — сказала Надежда, вздохнув.

Низко, почти над самыми прибрежными камышами, висела круглая, как хлебный каравай, луна, бросала на могилы пестрые тени. Над опутанной вьюнком полосой железа «цвели» железные розы. Иван нечаянно зацепил их локтем — и они нежно, как колокольчик на шее ягненка, звякнули. Иван пальцами прощупал на полосе вырубленные зубилом буквы.

— Да, грамотный дед, ничего не скажешь — «Манюшин И. О.». Все верно... Похоронил меня... заживо... А я вот воскрес! — Глаза Ивана болезненно заблестели. — А вам не страшно разговаривать с покойником? Не страшно?

— Хватит дурачиться! И кузнец здесь ни при чем! — нарочито грубо отрезала Надежда. — Пошли отсюда!

— Выходит, я и смерть обманул! — Манюшин засмеялся. — Как Христос... Взял да воскрес. Хочешь — живым считай, хочешь — мертвым.

И он зашелся таким хохотом, что из черемухи испуганно взметнулась сойка. Иван топтал «могилу», путаясь в стеблях вьюнка, давил каблуками железные розы и захлебывался каким-то диким, нечеловеческим смехом.

— Угомонись! — стала просить Надежда. — Грех — так вот по человеческим костям... Как-никак здесь кладбище.

— А я по своим топчусь, по своим!..

Вдруг он остановился, притих, посмотрел вокруг невидящими глазами.

— Простите... Простите меня, люди...

Надежда вела его домой, как маленького ребенка, и всю дорогу говорила и говорила, откуда только и слова брались. Они проистекали из ее одиночества, из ее боли и горя, из ее мудрости, которую она в себе даже не подозревала. Она говорила о войне так, будто не он, Манюшин, а она горела в танке и осталась в живых, чтобы

после госпиталя, получив отпуск перед отправкой на фронт, зайти в пустую отцовскую хату, посмотреть на свою «могилу» и... не сойти с ума. В гражданскую была вдвоем с Корнеем, после гибели мужа — вдвоем с сыном, а теперь одна, совсем одна, после нее не останется ни живых, ни железных роз. А мир будет стоять, и живые будут жить, в шрамах, израненные, но способные нести дальше крест своей судьбы. Лишь бы не пасть духом...

Иван молчал. Только около ворот обронил:

— Не пуля меня убила — клочок бумаги.

Ужинать отказался, тут же засобирался в дорогу.

— На станцию?

Он болезненно поморщился:

— Не бойтесь, я не к ней. На фронт. Пусть живет себе...

И Надежда поняла, что Иван знает об Антонине все, даже то, что она утаила от него.

2

Над долиной нависли горы. Скальным обветренным известняком, потрескавшимися глыбами бурого гранита, мрачной чернотой изверженных из глубин базальтов, лесной щетиной на склонах. В ущельях хозяйничают кустарники — зеленое буйство орешника среди настила давно сгнивших веток. Весной в ущельях бурлит вода, сбегает по пробитым в скалах руслам в долину Урта, а в разгар лета глубокую тишину нарушает лишь тихое журчание невидимых меж кустов слабых ручейков да треск пересохшего хвороста под копытами баранов, спускающихся сюда на водопой.

— Бежишь так, будто тебя кто-то в спину гонит, — произнес запыхавшийся Антон.

— Нужно успеть засветло в долину. Ночью здесь знаешь какая темень! — Фернан взглянул на Щербака, снял с плеча автомат. — Ладно, ты, вижу, совсем уже задыхаешься... Перекур!

Камни так накалились, что их тепло ощущалось сквозь одежду. Антон снял сапоги, попытался шевелить отекшими пальцами. Он стыдился своей усталости и завидовал Фернану, его умению передвигаться среди пойменных зарослей. Партизанские тропы не обозначены ни на одной карте, а если говорить точнее, их не существует на самом деле, есть лишь извилистые русла испарившихся ручейков по оврагам, бурьянам и кустарникам.

— Ты когда-нибудь видел степь? — спросил Щербак. Ему хотелось пусть не оправдаться, но хотя бы объяснить свою неприспособленность к горам. — Ровная, будто скатерть, и нет ей конца и края.

— Я был во Фландрии, — сказал Фернан.

— Не знаю, что там во Фландрии, а вот у нас на Украине... — Антон вздохнул. — Понимаешь, степняк я. Горы только в кино видел.

...Солнце опустилось уже за Лысую гору, когда Щербак и Фернан вышли к последнему спуску в долину. Отсюда взлобок и в самом деле казался лысым — синий лес на склонах и каменистый пик вершины. Где-то там остались Ксешинский и Франсуа Балю.

Когда Щербак спросил Балю, сколько человек в их отряде, тот сделал вид, что не понял вопроса. Это был хмурый мужчина в крестьянском канотье, какой-то квадратный, с мощной фигурой. Посланцев Дюрера он встретил неприветливо. Ноздри широкого носа вздрагивали, словно Балю все время к чему-то принюхивался. Около командира, опираясь на охотничий винчестер, стоял костлявый мужчина средних лет с черной повязкой на левом глазу и с завистью поглядывал на Антонов «шмайсер».

Предложение прибыть на совещание не вызвало у Балю энтузиазма. Приказ Дюрера он, даже не прочитав, сунул в карман. Похоже, здесь жили по своим законам.

— Тоже мне придумали... Объединяться!.. А зачем? Нам и так неплохо.

— Обычный рефрактер, — шепнул Фернан. — Собственной тени боится.

Щербак терпеливо объяснил, почему надо объединиться. И лишь тогда, когда сказал, что в Арденны прибыли карательные войска и готовятся облавы, Балю забеспокоился. Но, обведя взглядом горы, он неуверенно буркнул:

— Нас не найдут.

— А как же мы нашли? — посмотрел на него осуждающе Фернан.

Балю смерил его презрительным взглядом.

— Отсидеться хочешь, Франсуа? — спросил одноглазый. По его выговору, напевному, с несвойственным для бельгийцев нажимом на шипящие звуки, Антон сразу узнал поляка. — Сидим здесь, будто кроты.

— Не горячись, Збышек, — примирительно сказал Балю. — Обмозговать нужно.

Они сидели на поваленных сосновых комлях, пахло смолою и привядшей хвоей. В траве неистовствовали цикады.

Збышек предложил пообедать, но в глубь лагеря связных не пустили. Балю сам пошел в лес и вскоре вернулся с другой стороны, будто запутывал следы.

Ели овечий сыр и холодную баранину, запивая кислым вином.

— Вы поляк? — спросил Антон Збышека. — А я с Украины. Как вы здесь очутились?

Збышек охотно рассказал о себе.

Парикмахер Збигнев Ксешинский жил в предместье Кракова. Однажды, возвращаясь вечером с работы, он столкнулся в дверях с немецким унтер-офицером, а в комнате нашел изнасилованную жену. Збышек кинулся вслед за унтером и настиг его в глухом переулке.

— Я убил его как бешеную собаку... Когда вернулся домой, Зоси уже не было в живых, она повесилась... С того дня жизнь у меня пошла наперекос. Плохо спал, появилась трясучка в руках, ножницы не слушались. Ловил себя на мысли, что нужно не брить, а перереза́ть горло гитлеровцам. Не помню как, быть может нечаянно, порезал штурмфюреру висок. За это очутился в концлагере. Сбежал, поймали. Но судьба смилостивилась, если это можно назвать милостью: меня не расстреляли, а отправили в какую-то тюремную больницу под Гладбахом, там я стал подопытным животным... Остался без глаза, и снова концлагерь...

Пока Збышек все это рассказывал, Балю ерзал на колоде и вдруг не выдержал:

— Мне пора идти, а мы не обсудили подробности. Куда я, например, обязан явиться.

— Не злись, Франсуа, — тихо откликнулся Ксешинский. — Мы с мсье Щербаком почти земляки...

Антон не дал Балю координаты партизанской базы. Такова была установка Дюрера. Местом встречи определили заброшенный карьер неподалеку от Шанкса...

Сейчас, торопясь за проворным Фернаном, Щербак жалел, что так и не расспросил Ксешинского о Франсуа Балю. Что за человек? Не скрывается ли подвох за его подчеркнутой отчужденностью?..

Путникам открылась низина, окутанная сизой вечерней мглой. Стремительный Урт бился в подножие под-

мытого утеса и круто сворачивал вправо, ноги улавливали глухую подземную дрожь. Впереди сиял мост, освещенный огнями.

— Вот мы и дома, — облегченно вздохнул Фернан.

И именно в эту минуту из темноты по ту сторону реки на мост вышли немцы. Застучали сапоги, свет фонаря выхватил черные мундиры, заиграл на стволах автоматов.

— Проклятье! — прошептал Фернан. — Еще мгновение — и мы оба влипли!

Чтобы оказаться на виду, им оставалось спрыгнуть с уступа в осыпь щебня под скалою.

Сапоги стучали все громче, доносились приглушенные команды.

— Эсэсовцы, растак их... — зло выругался Щербак. — У меня с ними давние счеты. Что будем делать?

— Перемахнем на лодке, — сказал Фернан. — Пошли. Луна всходит.

На одной из террас они присели передохнуть, и тут Щербак похолодел.

— Комиссар!

— Что комиссар?

— Он же пошел в Аукс-Тур! Слышишь? В Аукс-Тур! И возвращаться будет через каменоломню, понимаешь?

— Да нет, едва ли. Ведь ему ближе... — начал было Фернан и замолк.

Бывают мгновения, когда слова излишни. Не сговариваясь, они побежали на другую сторону увала. Скатились в овраг, надеясь, что он выведет их снова в долину.

Они опоздали.

Когда скалы расступились и глазам открылась голубая в лунном свете дорога на каменоломню, в противоположной стороне, у моста, ночную тишину разорвал выстрел. Затем еще раз. В ответ сердито, как собака на привязи, зарычал автомат.

Антон бежал, оставив далеко позади Фернана, будто и не было долгого перехода через горы, не отекли сбитые до крови ноги, только в груди его как поселился холодок, так и не исчезал.

Припадая на левую ногу, от моста пятился комиссар, а вслед ему захлебывались автоматы. Кардашов отстреливался из пистолета и бежал ярко освещенной лунным светом дорогой, намереваясь, видимо, укрыться в каменоломне.

«Ему бы под скалы, в тень...» — успел подумать Щербак, прежде чем увидел, как комиссар вдруг покачнулся.

Кардашов падал долго, шаг за шагом все ниже склоняясь к земле...

Над вершинами От-Фаня в реденьких чистых облаках купалась полная луна. За крутым берегом шумели невидимые воды Урта.

Два гитлеровца стояли над телом комиссара, дымили сигаретами.

— Надо было брать живым. Достанется нам теперь от штурмфюрера.

— Зато мы живы. Тебя это не устраивает?

— Доложишь штурмфюреру. Он обожает остроумных мужчин.

— Ты старший, тебе и докладывать.

— Эй, что там у вас? Оглохли, что ли?

— Айн момент, герр штурмфюрер! На волка грешили, а овцу пастух съел!

Это были последние слова гитлеровца.

«Шмайсеры» ударили почти в упор...

Щербак взвалил на плечи тело комиссара, прохрипел:

— Прикрой меня, Фернан... Да прихвати автоматы...

Так они и отходили — Щербак нес тело Кардашова, а Фернан, перебегая с места на место, посылал короткие очереди в мелькающие тени фашистов.

Перед глазами Антона роились черные мухи, одна из них кольнула его в бедро. Он скрипнул зубами от боли, а мухи продолжали роиться, плыть, и вместе с ними плыл голубой свет, густой, хоть черпай его пригоршнями.

До оврага было метров триста, но когда открылась наконец его черная пасть, прошла, наверное, целая вечность...

Щербак сидел под кустом орешника распоясанный, сникший. Лицо его было таким же серым, землистым, как и у Кардашова, который лежал рядом с ним непривычно тихий, молчаливый, ко всему безразличный. Рубашка с короткими рукавами делала Николая молодым, намного моложе, чем он был на самом деле. Сквозь рубашку на груди проступал расплывчатый красный кружочек.

«В такой рубашке разве что к девчатам. А комиссару полагается кожанка и пулеметные ленты крест-на-

крест...» — так сказал однажды он Кардашову. Когда это было? Очень давно...

Подошел Фернан, снял с плеча и бросил на землю автоматы.

— Отстали, — сказал, тяжело дыша. — До рассвета не сунутся. Я там еще одному отбил охоту...

Щербак слушал, как Фернан пьет на дне оврага из ручья, и вспоминал разговор с комиссаром перед поездкою в Серен. Что он тогда говорил? Кажется, о жене. Как раз перед началом войны отвез ее в родильный дом. Ждал сына. Кто знает, возможно, и бегает сейчас где-то твой сын, Коля, да только не суждено вам теперь с ним встретиться.

— Пора, — вздохнул Фернан, а возможно, это он, Антон, сам вздохнул.

Левая нога онемела, ее будто облепили мурашки. Фернан осмотрел рану.

— Хорошо, что навылет, — сказал он, зажав в зубах бинт. — Не терпится людям на тот свет... На этом нажились, что ли? Ну, что мне теперь с тобой делать?..

— Поступай, как хочешь. Но я Николая этим гадам не оставлю.

— Не оставишь. А Фернан оставит? Эх ты...

Было уже за полночь, когда Фернан устало выдохнул:

— Вот здесь мы и попрощаемся с комиссаром.

Овраг вывел их на плато. С обеих сторон подступал синий в лунном свете лес. Стройная сосенка выбежала на край обрыва, оперлась стволом на стесанный камень.

— Ты полежи, — сказал Фернан, — отдохни...

Щербак упал в траву, и черные мухи тут же разлетелись. В груди стучал молот, а из бедра по всему телу начал растекаться огонь, он стал жечь невыносимо, будто к нему только что поднесли охапку сухого хвороста.

Фернан принялся копать могилу. Шуршал в глине нож, звенел о камни. Вокруг шумели сосны. Видимо, там, над вершинами, разгуливал неуловимый на земле ветер.

— Мы с Егором поначалу не очень тебе доверяли, — признался Щербак. Он и сам не понимал зачем. Но сказал, и стало вдруг легче. Будто долго носил в себе вину перед товарищем, и она давила, как тесный сапог.

— Я догадывался...

Нож звенел и звенел, и под этот звон и шорох в вышине Антон задремал.

Когда проснулся, то увидел склонившегося над собой Фернана. Из-под грубого, домашней вязки берета на брови свисали мокрые волосы, в уголках глаз и на впавших щеках затаилась усталость.

— Прости, — сказал Щербак. — Я долго спал?

...Луна висела над головами, словно фонарь, в ее свете все выглядело призрачным и нежным. Тени стали куцыми. И это ощущение призрачности, нереальности не покидало Антона всю дорогу, пока они спускались на другую сторону увала, в Совиное урочище.

И только когда лодка ткнулась в берег Урта и ее закачало, в голове Антона прояснилось, и все, что случилось этой ночью, встало перед глазами четко, в предельной непоправимости, и наполнило сердце болью.

Антон снова увидел, как долго, удивительно долго падал комиссар, он как бы снова нес его на плечах, засыпал его могилу пересохшими комками земли и, сцепив зубы, выцарапывал ножом на гранитной глыбе: «Николай Кардашов, Жан, партизанский комиссар. Прощай!» С порезанных пальцев капала и застывала на граните кровь...

— Дальше я пойду один, — сказал Щербак.

— А я?

— Ты предупредишь Балю. Потом отправишься в Аукс-Тур. Скажешь, что мосты перекрыты. Слышишь?

— Слышу.

— Перевезешь партизан на лодке, отведешь на базу. Я доложу Жозефу, что иного выхода не было.

— В Пульсойере боши.

— Обо мне не беспокойся. Подумай о себе. Если не успеешь, ребята погибнут, как... Жан. А нас посчитают за провокаторов. Помоги мне выбраться на берег... Да не смотри так на меня... Доберусь! А теперь плыви!

Скрипнули уключины.

— Автоматы отдай Збышеку и тому, сердитому, черт с ним... Если только донесешь.

Лодка медленно поднималась вверх, против течения. И неожиданно исчезла, растаяла во тьме — скрылась за тучу луна.

3

Сегодня ночью меня отсюда заберут. Здесь опасно. Так сказала мадам Николь. Эжени привела ее на рассвете, как раз в то время, когда я пришел в себя и размышлял, через кого бы сообщить обо всем случившемся Люну.

— Салют, — сказала Николь.

Я подумал, что эту женщину не просто вывести из равновесия. Она поздоровалась так, будто зашла на чашечку кофе.

— Погиб Жан, — произнес я. Мне показалось, что она не поняла. — Нет больше Жана, вы слышите?

— Не кричи, — сказала Николь. — Я не глухая. Показывай, что там у тебя... Ну, ну, я не девушка, нечего стесняться.

Она неторопливо извлекла из кожаной сумочки вату, бинты, йод.

— А теперь прикуси язык, герой. Или кричи про себя, не вслух...

Мне показалось, что она прикладывает к бедру раскаленное железо, я уткнулся в подушку и завыл.

— Можешь выругаться по-своему, — посоветовала Николь. — Я все равно не пойму, а тебе будет легче, я знаю. Мужчины в таких случаях всегда ругаются.

Мне и в самом деле стало легче, только к горлу подступила тошнота, а в теле появилась слабость. Николь сочувственно улыбалась. Я спросил ее, где она научилась так ловко управляться с бинтами.

— В Андалузии, — ответила Николь. На ее худощавое лицо с удлиненными скулами упала тень. — А теперь я буду тебя слушать... Да говори побыстрее, у меня нет времени...

Она слушала, спрятав глаза за тяжелыми веками, ее сухие пальцы барабанили по кожаному ридикюлю, и это раздражало меня.

— Да, жаль Жана, — вздохнула Николь. — В голове невольно выстраивается некая мрачная очередь. Пти-Базиль... Симон... Жан... Где-то там и мы... Нет, за себя я не боюсь, мне страшно увидеть там... — Она запнулась. — Антуан, у тебя есть человек, ради которого ты отдал бы свою жизнь без колебания?

Я понял ее, мама.

Я схватил ее сухонькую руку и поцеловал. Черт меня побери, никто не учил меня изысканным манерам, однако

никакие слова не смогли бы сказать больше. И я позавидовал Люну. Когда-то ты пела: «Если любишь жарко, и жизни не жалко...» Тот, кто сложил эту песню, знал цену любви. И Николь знает...

Я шел в Шанкс, а очутился в Пульсойере. Как это случилось — в памяти провал, черная дыра, через которую трудно что-либо разглядеть.

Когда лодка с Фернаном исчезла в темноте, у меня едва достало сил подняться на ноги. Я был уверен, что иду к Люну, и не мог понять, почему двери открыла мне Эжени.

Она смотрела на меня испуганно — на станции была облава, в домике Гарбо дверцы шкафов были распахнуты настежь, вещи разбросаны, пол затоптан, но я не знал об облаве и думал, что Эжени испугалась моего вида...

Инкрустированные яшмой часы на стене стучат тихо, будто шепчутся заговорщики. Я смотрю на стрелку, хочу заметить, когда она прыгнет еще на одно деление, и подсчитываю, сколько времени осталось до захода солнца. Странная штука — время. Когда нам хочется растянуть его как можно дольше — оно летит, а когда хочешь, чтоб оно летело — ползет как черепаха. Возможно, в человеческом организме есть свой ритм, зависящий только от психологического состояния, а мы, измеряя время часами, просто обманываем себя?..

«Я опоздал, я непростительно опоздал. Почему ты такой тяжелый?»

«Я мертвый, Антон, а мертвые тяжелы».

«Неправда, ведь ты разговариваешь со мною, а мертвые молчат».

«Нет, Антон, мертвые не молчат. Они говорят с живыми. Это все, что им осталось. Единственное...»

Этот сон все время преследует меня. Стоит закрыть глаза, как мои плечи сгибаются под тяжестью Николаевого тела, и мы заводим разговор без начала и конца. Я просыпаюсь, губы еще шевелятся, словно не успели всего сказать. Приходит Эжени. На ней легкое платье из черного ситца. Она осторожно держит тарелку, от супа поднимается пар, поэтому я вижу Эжени как сквозь пелену.

— Кто это там попискивает? — спрашиваю. — Шарль или же мой тезка? Никак не научусь различать их по голосам.

Дело, конечно, не в том, могу ли я отличить одного младенца от другого, меня тянет на разговор с Эжени. Но она молчит. За все эти дни я не услышал от нее и двух слов. В синих кружочках глаз захватывающая глубина. Мой взгляд предательски тянется к этой глубине — так в роковую минуту нам хочется заглянуть в пропасть!

Эжени кормит меня с ложки, поддерживая мою голову тонкой, но сильной рукою, на сгибе ее, у самого локотка, пульсирует голубая жилка. Я не такой уж и беспомощный, чтобы не удержать ложки, однако покоряюсь и, не ощущая вкуса, глотаю суп — мне радостно, что любимая рядом, можно прикоснуться щекой к ее плечу, сквозь черный ситец я вижу нежный овал и белизну кожи. Еще миг — и я переступлю ту самую черту, за которую как раз и нельзя переступать, на ней держится все, что нас связывает и разделяет.

— Хватит, спасибо, — говорю я.

Она извлекает руку из-под подушки, молча поднимается и идет к двери. Мне хочется, чтобы она обернулась, взглянула через плечо, и я мысленно умоляю: «Обернись! Обернись!» Но Эжени еще ниже опускает голову. Слышно, как шуршат по деревянным ступенькам ее мягкие шлепанцы.

Требовательно кричит один из маленьких Гарбо, и я снова следую мыслью по пятам Эжени. Вот она склоняется над кроваткой. Малыш тянется к ней ручонками, припадает губами к груди, сопит, довольный. Пройдет много лет, пока он узнает, что была война, был отец, было горе, но никогда во всей полноте и сложности не почувствует тревоги этих наших дней. Время неповторимо, и в этой неповторимости его грозное величие и его фатальное бессилие. Будет ли когда-нибудь у меня сын? Раньше я не задумывался над этим. Наверное, это здорово — иметь сына. Но почему же тогда мы, сыновья, приносим матерям так много горя? Возможно, чистая, светлая радость просто немыслима, как немыслим свет без тени, и этот парадокс лежит в основе нашей жизни? В нем полнота, предел, богатство, совершенство?..

Ночью мою каморку наполняет густой бас Егора:

— Как же ты оплошал, братишка?

Выпуклые глаза смотрят на меня укоризненно, почти нежно.

— Николай...

Егор отворачивается, идет к окну, слишком долго присматривается, нет ли где-либо в портьерах щели.

— Отвоевался наш комиссар.

Рука Егора тянется, чтобы снять фуражку, но ее нет, и пальцы теребят чуб.

Я хочу сказать, что меня мучит чувство вины, ведь если бы я вспомнил раньше... Но Егор останавливает меня жестом:

— Пушку куда спрятал?

Одной рукой он вытаскивает автомат из-под матраца, другую подставляет мне. Пищат, как всполошенные мыши, ступеньки. Внизу стоит Эжени. На ней то же черное платье, на плечах платок. Она придерживает его за концы на груди.

— Гран мерси, — выдавливаю я из себя.— О ревуар! [1]

Что-то живое, теплое мелькнуло в ее глазах. А может, мне только показалось?

...Качаются носилки, подмаргивают звезды.

Егор идет впереди, мне его не видно, я вижу только длиннорукого Мишустина. Он тяжело сопит на подъемах, что-то бормочет себе под нос. За эту привычку — разговаривать с собой — его не раз донимал остроязыкий Савдунин. В армии Мишустин был санитаром.

— Вот и пригодилась твоя профессия, Иван Семенович, — говорю я.

— Такое дело, — вздыхает он. — Такое дело. Наносился я вашего брата и туда и назад...

Я хочу спросить его, куда это — назад, но Егор сердито шипит:

— Отставить разговоры!

Мишустин втягивает голову в плечи, а я начинаю думать о тебе, мама.

Вижу наш дом на косогоре, белый, будто освещенный солнцем, зеленые наличники на окнах, крышу из красной черепицы, а на ней голубей, множество голубей. Пробую представить твое лицо, но оно расплывается...

Не меня несут, несу я Николая...

«Потерпи, — говорю я, — скоро будем дома. Я угощу тебя вишнями, которых ты сроду не ел».

«А ты не бросишь меня?»

«Ты что, Коля. Разве друзей в беде оставляют? А как бы я в глаза посмотрел?»

«Кому?»

«Земле нашей отчей, кому же еще?»

«Разве у нее есть глаза?»

---

[1] Большое спасибо. До свидания! *(франц.)*

«Конечно, есть. Она везде нас видит. И здесь, на чужбине. Каждый наш шаг».

«Это хорошо... Но почему ты остановился? Ведь так мы никогда не дойдем. Антон, Антон...»

Я стону и просыпаюсь.

— Больно? — спрашивает Егор. — Потерпи, братишка, ничего не попишешь...

— Такое дело, — говорит Мишустин. Его одутловатые щеки лоснятся от пота.

Не могу понять, почему Мишустин напоминает мне старшину Чижова. Ведь лицом они совсем не схожи.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Июль сорок третьего выдался на редкость жарким.

Хлеб в карачаевских степях созрел непривычно рано.

Андрей Иванович Цыганков исхудал, лицо у него совсем черное. В напрасных хлопотах, выпрашивая на уборку еще один комбайн, еще косилку, обивал он пороги в МТС, дошел до того, что посулил директору меда с колхозной пасеки.

Директор МТС страдал одышкой.

— Хорошая штука мед. Давно не пробовал.

Мясистая его рука повисла над телефонной трубкой.

— Ты что надумал?

— Как что? Рассчитаться хочу. Ты меня покупаешь — я тебя продаю...

— Мог бы и прямо в морду...

— Мог. В гражданскую я так и делал. — Директор вздохнул и положил трубку. — А теперь вот подтоптался. Вредны, говорят, резкие движения и быстрая ходьба.

Цыганков выскочил из кабинета директора, понося и его и себя. Кого он искушал? Старого вояку? Собственную совесть?..

Это был не просто мед, а золотой запас.

В прошлую зиму в районе вымерзли все пасеки. А дед Панас уберег. Держал ульи у себя в избе, варил пчелам какие-то сиропы из сушки, ходил на Бугрынь выменивать у проезжих сахар.

Цыганков лично следил за выдачей ежедневной нормы меда для детсадика и никогда не забывал сделать пометку в своем блокноте: сколько и кому отпущено.

В тот день, когда он вернулся из МТС, бухгалтер Каролина Иннокентьевна намекнула ему, что мед сейчас в хорошей цене, а в колхозной кассе разгуливает ветер. Цыганков заколебался было, но, вспомнив прошедшую зиму, голодный блеск в детских глазах, накричал на бухгалтера. Воспитанная Каролина оскорбленно поджала розовые губы, она не улавливала причины председательского гнева, а Цыганков не собирался давать ей отчет. Он лишь буркнул что-то неразборчивое, то ли «будет видно», то ли «занимайтесь своим делом».

А вечером ему встретился учитель Малахов. Он опирался на неразлучную палку с набалдашником в виде медвежьей морды. Его чахоточная грудь ходила ходуном от кашля.

— Прошлый год, Семен Никитич, ты вроде бы лучше кашлял, — сказал Цыганков.

— А как же, — Малахов скривился. — Вприсядку.

— Кумыс пьешь?

— Пью, если имеется.

— В санаторий бы тебе, к морю...

— Ага, в Ялту. Путевку дашь?

— Дам. Как только вышибут гитлеровцев из Крыма, поедешь.

— Нужно дожить.

— Доживешь! Детей учить кто будет?

— Детей... — лицо Малахова засветилось. — А знаешь, они отряд организовали. Имени Гавроша... Ясное дело, не патроны собирают — лекарственные травы, всякие там бессмертники. Копну целую натаскали. Отвезти бы ее, а, Андрей Иванович?

Малахов перестал кашлять, старательно протер платком запотевшие стекла очков, подслеповато жмурился от солнца. Без очков он стал похож на ребенка: усохший, небольшого роста, с наивными, узковатыми глазами.

— Отвезем, — сказал Цыганков. — Непременно. Позвоню в район, расспрошу, кто этим делом ведает, и отвезем.

— Вот и хорошо, — обрадовался Малахов.

Он надел очки и снова стал прежним Малаховым, каким его знало уже не одно поколение карачаевцев, — степенным, слегка сутуловатым, со странной привычкой сопровождать почти каждое слово взмахом костлявого указательного пальца.

— Говорю школьникам: нашей травкой бойцов будут лечить, не зря же народ назвал ее бессмертником. А они,

гаврошенята мои, такие гордые... Беги, Каролина по тебе заскучала.

— Самохин небось на проводе, — сказал Цыганков и вытащил из кармана потертый блокнотик. — Погодинка... Возьми записку. Зайдешь к кладовщику... И не вздумай отказываться, я тебя знаю. Слышишь?.. Целебная штука, сродни твоей травке.

Цыганков не очень верил в целительную силу меда перед таким недугом, как чахотка, но он не мог смотреть, как заходится от кашля Малахов. Он хотел было выписать килограмм, однако в последний миг вывел цифру «два». Не бог весть какая щедрость, а все же... Возможно, человеку хоть немного полегчает, не зря же в народе столько притчей... про мед. А с гаврошенятами надо бы встретиться, ведь они и на уборочной могут пригодиться...

— Слушаю, — сказал Цыганков.

В трубке послышался шорох, будто на том конце провода зашелестели листья.

— Все партизанишь, — начал с упрека Самохин.

— Слушаю,— повторил Цыганков. «Черт возьми, неужели директор МТС доложил?»

— Постановление об эвакуированных знаешь?

Цыганков облегченно вздохнул, искоса посмотрел на Каролину — могла бы и выйти, понимает же, что звонит первый. Слух у Каролины, что и нюх, — отменный.

— Чего молчишь?

— Я сказал: слушаю...

Цыганков отчетливо представлял себе, как дергается щека у Самохина.

— Знаю об этом постановлении, товарищ секретарь. Зачитывал его на собрании всем.

— А на деле как поступаешь?

— Как я поступаю?

— Не выкручивайся. Жалоба на тебя поступила. У меня в руках она...

Цыганков подумал, что это не листья шуршали в трубке, а, наверное, Самохин нервно расправлял бумагу.

— Донбассовцев почему не отпускаешь?

— Пусть едут, — хмуро отозвался Цыганков. — Силой никого не держу.

— Еще чего... Силою. А сам ходишь по хатам и уговариваешь подождать до осени. Так или нет?

— Плохой бы я был председатель, если бы в уборочную уговаривал людей разъезжаться.

— Значит, признаешь вину, праведник? — хрипло засмеялся Самохин. — А я думал, снова возвели на тебя поклеп. Ну вот что: прекращай эту агитацию... Нельзя! Что касается хлеба... Хлеб все равно уберем. А Донбасс кто поднимет? Мы с тобой не умеем. А те, кто могут, рвутся домой, на освобожденную землю, и удерживать их нам не разрешают. Понятно?

— Откуда мне понять? — сказал Цыганков сердито. — Я же тут у тещи живу, на блинах...

В горле застряла обида. Болела рука, но не та, что держала запотевшую телефонную трубку, — другая, которой не было.

Самохин долго сопел в ответ.

— Мне не до шуток, Андрей. Будь здоров!

Трубка заворковала, как голубь на гнезде. Цыганков положил ее на рычаг, но руки не убрал, будто ждал повторения звонка.

— Почему домой не идешь, Каролина?

Давняя неприязнь к этой женщине вызывала у Цыганкова назойливое желание сказать ей что-нибудь неприятное, едкое, но он сдерживал себя.

С тех пор как стал председателем в Карачаевке, Каролина преследует его показной влюбленностью, желанием знать каждый его шаг, быть в курсе всех его дел, особенно тех, которые далеки от служебных обязанностей. Она не навязывалась, однако молчаливая ее готовность прийти к нему по первому зову, неприкрытая жажда в маслянистых с искоркой глазах злили Цыганкова.

Если бы Каролина Иннокентьевна не была отменным бухгалтером, он бы давно уже избавился от ее услуг в правлении. Но он был по натуре воитель в отношении ко всякому злу, и уволить с работы способного специалиста, тем более женщину, лишь за то, что ей взбрело в голову одарить лаской начальника, ему было не по силам. Так он полагал, сдерживая свою ответную ненависть к этой женщине, и делал вид, что все между ними обстоит благополучно, старался не замечать ее похотливых взглядов, хотя они и были порой просто вызывающими.

— Как там Михаил, пишет?

Он слышал, что муж Каролины, карачаевский агроном, воюет на Ленинградском фронте, письма от него приходят не часто, но все же приходят.

— Кажется, вы не были знакомы?

Цыганков вышел на улицу.

Почему она так спросила?.. Может, не ладили между собой, черт им судья. Он мог не оглядываться: Каролина Иннокентьевна всегда смотрит ему вслед через окно.

Цыганкову вдруг стало жаль ее, молодую, красивую и, пожалуй, несчастную. А почему, собственно, несчастную? Телесами бог не обидел, с дипломом баба, работа хорошая, муж не забывает и на фронте... Чего еще по нашему времени надо? «Душа — не погреб», — сказал как-то Махтей. Интересный человек этот старик... А донбассовцев придется все же отпустить. Хотел как лучше — помогли бы убрать хлеб и домой уехали бы не с пустыми руками...

В конюшне позванивали уздечками лошади, где-то жалобно скрипел колодезный ворот. Сумерки были густые и синие, как вода в Тоболе.

Около хаты Манюшина, где жила Надежда Щербак, Цыганков сбавил шаг. Слабый свет падал сквозь стекла на узловатый ствол шелковицы.

Цыганков почувствовал себя вдруг ловким, бесшабашным юнцом, способным перемахнуть через забор и заглянуть в окно, чтобы увидеть Надежду, когда она сама с собой, не прячется от постороннего взгляда. Наедине человек раскован, сбрасывает с себя все наносное, как защитную маску, о которой и сам не подозревает. На него не давят условности, множество всяких условностей, порожденных жизнью, как примесь к чистоте, к первозданности. Разве не обстоятельства, не растерянность перед другими служат причиной поступкам, которых мы затем стыдимся?..

Так думал Андрей Цыганков, наблюдая, как бьются в стекло окон Надежды ночные бабочки...

Окна колхозного клуба были в резных наличниках и чем-то напоминали женские глаза, большие и лукавые, как у Стефки. Постарался Станислав...

В распахнутых настежь дверях пыхтели папиросками пареньки, приставая к разгоряченным от танцев девушкам. Разговаривали ломкими басами, а смеялись тоненько, по-детски.

«Эх вы, мужички мои, — подумал растроганно Цыганков. — Придется и вас, желторотых, сажать на косилки. Наковал уже вам, недомеркам, дед Махтей вилы каждому на вырост».

Цыганков пришел домой, в свою одинокую квартиру, и, прежде чем зажечь лампу, включил радио. Переда-

вали сообщение о жестоких танковых боях на Курской дуге. И сразу же все, чем он жил весь этот день, утратило свое значение, отошло в сторону.

Слова диктора ложились на душу сурово и тяжело, как свинец, слова эти выстраивались в батальоны и полки, шли в атаку и залегали в окопах, взрывались бомбами. Огненная трасса протянулась от Карачаевки к невидимой ему Прохоровке, стреляла из его глаз. В широком поле трещали железные косилки, крутились хедеры и колесики, ненасытно вжикали косы. И здесь и там — страда людская. Цыганков увидел ее. И ужаснулся...

2

Двое суток, которые Щербак провалялся без памяти, будто отрезанный кусок его жизни. У него было такое ощущение, словно он отстал на марше, а теперь бежал вдогонку, чтобы снова занять свое место в ряду.

Он лежал на скрипучих нарах и прислушивался к птичьему гомону за окном. Рана в бедре уже не жгла, но о том, чтобы ступить на ногу, нечего было и думать.

Часовые не заходили в инструменталку. Мишустин ее сначала торжественно объявил госпиталем, но затем спустился на ступеньку ниже и переименовал в лазарет.

Антона удивляло его умение незаметно создавать уют. Он был какой-то домашний, этот Мишустин, мягкий, покладистый, как женщина. Не суетился, не торопился, а везде успевал. В кастрюлях булькало, на сковородках шипело и, казалось, без всякого его вмешательства, даже обеды, которыми он кормил Щербака, были отнюдь не походного толка, содержали в себе невесть где добытые приправы. Мишустин сиял, наблюдая, как Щербак подчищает тарелки, да все твердил о том, что главное — это чтобы раненый ел с аппетитом, с настроением, и тогда его не подточит никакая хворь, душа человека сама знает, чего телу недостает в данный момент для исцеления... Пища лечит не меньше, чем таблетки. Такое дело...

Щербак улыбался, уничтожая баранину с чесноком, и если бы ему сказали, что это не чеснок, а какие-то журавлиные клубни, что водятся в зарослях высокогорного болота, он бы ни за что не поверил. Он не знал, что до войны Мишустин был охотником, известные ученые из Новосибирска, приезжавшие изучать флору и фауну

Алтая, здоровались с Иваном Семеновичем за руку и называли его консультантом.

В дверь просунулось рыжее, в веснушках лицо Савдунина.

— Бонжур, товарищ лейтенант! А говоря по-нашему: сами здравствуйте и мне солнца не застите!

Они обнялись.

— Руки небось не ополоснул, — проворчал Мишустин. — У человека рана.

— Вот те на! — воскликнул Савдунин. — Микробы на рыжих не водятся. Дохтур, а не знаешь!

— Да ну вас к дьяволу! — засмеялся Антон. — Сцепились уже... Рассказывай, Андрей. Где был? Что слышал?

Савдунин почесал затылок.

— Не сразу и ответишь на такой вопрос... Вспоминается разговор с женой. «Где был?» — «На базаре». — «Почему так долго?» — «Новости слушал». — «О чем же там говорили?» — «Да я далеко стоял...» Ой, дохтур, меня бьют!..

— Твой бы язык да к церковному колоколу, вместо колотушки.— Мишустин в сердцах сплюнул и вышел.

— Может, хватит? — сказал Антон.

— Хватит, товарищ лейтенант, хватит. — Савдунин с хрустом потянулся. — Эх, закурим, чтобы дома не грустили?.. Не гневайся, раньше не мог заглянуть. Работы по горло... Бараки сколачиваем, люди каждый день прибывают...

Щербак слушал с жадностью, посетовал:

— А я тут пролежни наживаю...

— Не табак, а трава, — сказал сморщившись Савдунин и выбросил окурок в полуоткрытое окно. — Махорочки бы нашей сейчас, а? Чтоб и в горле заскребло... А егерей из Ломбардии не предвидится. Не доехали! Командир сказал, что где-то по дороге перехватили их маки [1] и оставили мокрое место...

— Чертушка ты! — обрадовался Антон. — Такое известие, а говоришь, далеко стоял.

— Не все вести такие! — вздохнул Савдунин и подергал себя за бородку. — Отряд Селя немцы распушили.

— Значит, Фернан не успел?

— Фернан-то успел, да Сель его не послушался. Пока

---

[1] Французские партизаны.

то да се, нагрянули эсэсовцы... Если бы не Фернан, всем капут. Хоть половину бойцов, но увел за Лысую гору.

— А Сель?

Савдунин махнул рукой:

— С перепугу стал размахивать белой тряпкой. Свои же и пристрелили... Жалко ребят. Там какой-то поляк о тебе спрашивал.

— Ксешинский?

— Откуда я знаю. Одноглазый.

— Это хороший парень, Андрюха. Горькая судьба у него.

— У нас с тобой она сладкая?

Щербак с завистью смотрел в окно до тех пор, пока Андреева фигура не исчезла за потемневшими соснами.

Зашел Мишустин, что-то ворчал себе под нос, гремел посудой, приготавливая ужин, Щербак все лежал и думал. И чего только не взбредет в голову человеку от безделья — хорошее и плохое, успевай только отвеивать зерна от плевел...

3

Говорят: «Заживет, как на собаке». Наверное, это про меня. Как-то на рассвете, когда Мишустин еще спал, я оперся на раненую ногу и почти не почувствовал боли.

— Иван Семенович, дорогой ты мой знахарь, что ж ты натворил?

Мишустин сонно моргал глазами.

— Ох, и напугали же вы меня, товарищ лейтенант. Такой хороший сон снился, и вот на самом интересном месте...

Мы пообедали и отправились на новую партизанскую базу.

Мишустин не без жалости покидал свой лазарет, но видно было, что мое быстрое выздоровление обрадовало его.

Вокруг играло красками солнечное утро, приятно кружилась голова. Как-то незаметно, сама по себе пришла мысль: почему мы все-таки так мало обращаемся к природе, не замечаем ее, а если и замечаем, то на ходу, в спешке и суете, крадем сами у себя минуты действительного счастья. Куда пропадает с годами детское очарование окружающим миром? А прежде любопытство гнало меня даже в колодец в желании увидеть дневные звезды. Почему же мольба поэта: «Остановись, мгно-

венье, ты прекрасно!» — так редко посещает душу взрослого, вечно занятого человека?

Над соснами поднимается солнце, оно ласкает щеки, словно жар-птица, рассыпает вокруг свои золотые перья. На землю падают длинные тени, наши молчаливые двойники, верные спутники. Мы идем вдоль бледно-зеленого от ряски и пушицы болота. Земля пружинит, как толстая резина, следы заполняет ржавая топь.

Срываю чешуйчатую головку осоки, целюсь в Мишустина.

— Далеко еще?

И вдруг слышу позади угрожающее:

— Руки!

Не успеваю даже испугаться, тело мое пружинисто летит в кусты.

Мишустин хохочет.

— Збышек? Ах, пропади ты, забияка!..

— Молниеносная реакция, — говорит Збышек, захлебываясь смехом. На нем высокие болотные сапоги, за плечами «шмайсер», наискосок через лицо — полосочка из черной замши.

— Настоящий разбойник с большой дороги, — незлобиво говорю ему. — Ни дать ни взять — пират! Еще кинжал бы в зубы...

Дюрер встретил меня так, будто мы не виделись по крайней мере целый год.

— Лагерь осмотрел?

— Не успел еще.

Я обиженно думаю о том, что Дюрер мог бы спросить и о последних минутах Кардашова. Но возможно, комендант просто не хочет трогать больную струну и его природную деликатность я воспринимаю как черствость души?

Партизанский лагерь разместился среди торфяника на заросшем кустарником и отгороженном водою острове. Впрочем, островом в полном смысле слова этот кусок земли назвать нельзя, к берегу ведет узенькая, бурая, местами затянутая ряской коса. Есть еще один подход, или, скорее, выход — скрытый, на противоположную сторону, через болото.

— На всякий случай, — поясняет Жозеф.

Я отдаю должное его осмотрительности и в который уже раз убеждаюсь, что Дюрер так и останется для меня загадкой, я до сих пор ничего толком о нем не знаю.

Бараки низкие, почти с плоскими крышами. Солнце вытапливает из бревен смолу; густой запах щекочет ноздри. Крыши устланы сосновыми ветками.

Иду к ближнему бараку и в дверях сталкиваюсь с Савдуниным.

— Товарищ лейтенант! Дорогой мой... — Савдунин задыхается от волнения, рот как месяц на ущербе, веснушки полыхают. — Вот это новости так новости! Муссолини дали по шапке! Слышишь? — кричит он. — Под зад коленом!.. Одним гадом меньше...

— Да ты можешь наконец сказать по-человечески? Откуда у тебя такие сведения?

Савдунин останавливается, как конь на всем скаку, недовольный, что его дернули за удила.

— Радио! — говорит он. — Существует такая штука — радио. И оно иногда разговаривает. Когда не молчит.

Савдунин распахивает двери барака.

Вокруг дощатого стола тесно от сгрудившихся партизан. Замечаю Ивана Шульгу и Чулакина. Последний раз видел их, когда вместе «гостили» у капитана Гро. Впрочем, вот еще одно знакомое лицо — Франсуа Балю. С любопытством вытянул шею к приемнику — Балю знает английский язык. Голос диктора то усиливается, то глохнет в атмосферных разрядах.

— Немцы разбиты под Курском и Орлом...

Балю говорит еще что-то, но за столом поднимается такой шум — не разобрать ни слова. Я обнимаю Савдунина, Ивана Шульгу, Чулакина, каких-то новых, незнакомых мне людей, вижу, как растерян Балю, потрясенный новостями. Мне хочется крикнуть ему: «Эх ты, индюк!»

Черный, будто жук, бельгиец ловко подбрасывает бутылку красного рейнвейнского и так же проворно ловит ее, как настоящий жонглер. Вино булькает над дубовыми кружками.

В этот миг в барак входит Дюрер. Его колючие брови сердито подпрыгивают.

— Мсье комендант! — говорит чернявый бельгиец, вытянувшись по стойке «смирно» и прижав кружку, будто только что снятую шапку к груди на приеме у короля.— Разрешите доложить! Получили два хороших сообщения по Британскому радио: в Италии правительственный переворот, арестован Муссолини, а русские разгромили бошей под Курском и Орлом.

Я вижу, как светлеет лицо Дюрера. Он бросает взгляд на приемник, из которого льется бравурная музыка, и поднимает вверх два расставленных пальца.

— Поздравляю вас, ами! Ура!

Мы трижды кричим «Ура!», и комендант первым прикладывается к кружке с вином.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Надежда Щербак вершила скирду. Гудела молотилка, позванивали обарками лошади, шуршала солома, тучами взвивалась пыль.

Старшему из Фросиных ребят, Михасю, впервые доверили работать на волокуше. Взлохмаченный, черный, в струйках пота, он напоминал издали негритенка — такого Надежда видела как-то нарисованным в книге.

Михась счастлив. Кони послушные, достаточно тронуть повод — рвут с места, и на разворошенную гору соломы ползет огромный пук. Главное — не прозевать, когда тетя Надя подаст знак рукой. Тогда — тпру, вороные, подождите, пока Михась соскочит и отцепит трос от обарка.

Скирда высокая, бока округлые, хоть ветер подует, хоть дождь польется — не страшно. Никто в сивачевской степи не умел вершить скирды так, как это давалось Надежде Щербак.

На какой-то миг женщине показалось, что она дома, в родной степи, что нет и не было никакой войны. Кто ее выдумал? Степь как на ладони. Вдали мельтешат хедерами два комбайна, ползут косилки, арбы, вот-вот из-за лесополосы появится скрипучая телега с бочкой — и дебелые, круторогие волы закачают головами, словно раздумывая о своей нелегкой воловьей жизни. «Цоб! Цобе!» — это Антошка везет холодную, артезианскую воду. Глотнуть бы свеженькой из кружки, а остаток себе за пазуху, на разгоряченное тело, блаженно ощущая, как щекочут кожу струйки. . .

Но видение исчезает, расплывается. Надсадно гудит молотилка, видимо, Стефка перестаралась, слишком большой навильник кинула в барабан. «Что же это я? — думает Надежда. — Нашла время для воспоминаний.

Михась давно ждет сигнала. Давай, Михасик, вези солому».

И снова мелькают отполированные до блеска вилы. Белая косынка на глаза спущена, руки исцарапаны, ноют по ночам, хоть плачь. Но сейчас думать об этом некогда, ползет к самому верху скирды новый волок пахучей пшеничной соломы. И укладываются, стелются один к другому янтарные стебли, послушно покоряясь уверенным движениям Надежды. Скирда растет, сотворенная женщиной, величественная и ладная, будто степная пирамида.

Увидав Надежду на скирде впервые, Цыганков не сдержался:

— Любо глянуть на тебя, Егоровна, когда ты там...

— Только когда там? — переспросила она, тут же поймала себя на двусмысленности вопроса. И покраснела.

Цыганков отвернулся, заспешил куда-то. Надежда была благодарна ему за это, она и сама не знала, как у нее вырвалась такая глупость: «Только когда там?» Ей стало грустно и стыдно. «Запуталась ты, Надюха, горишь». Кто это сказал? Чей это был голос?..

В разгар обеда к колхозному стану подъехала запыленная «эмка» Самохина.

Секретарь щурился от солнца, он был в белой полотняной рубашке, воротник расстегнут.

— Садитесь с нами обедать, — пригласила Надежда. — Дынькой угостим.

Самохин вздохнул.

— Не соблазняйте, некогда. От водички не откажусь. Холодная?

Пил жадно — булькало в горле. Когда напился, крикнул шоферу:

— Приложись, Степан... Настоящая живая... А где же ваш председатель?

— Пасет комбайны.

— Пасет? — Самохин засмеялся, закашлялся. — Надо же, пасет. Ну и выдумщики... — Встав на подножку «эмки», поправил воротник. — Товарищи! Сегодня Совинформбюро передало важное сообщение. Битва под Курском и Орлом закончилась полной нашей победой. Фашисты отступают. Тысячи пленных, много техники взято. В Орел и Белгород вступили советские войска...

Самохин не успел вскочить в машину. Руки женщин подхватили его и подбросили в воздух.

— Я же водой переполнен! — кричал секретарь. — Не разлейте, бабоньки!

Кто-то плакал, кто-то успокаивал.

— Чего ревешь?

— От радости... Отстань, дай поплакать!

— Противно, когда ревут, хотя бы и от радости.

У Самохина дергалась щека, он тяжело дышал, жаловался:

— У меня двое детишек... Могли бы сделать их сиротами. Ох и женщины!.. Так, говорите, Андрей Иванович пасет комбайны? Значит, появилась новая профессия — комбайнопас.

Надежда принесла огромную потрескавшуюся дыню, из ее трещин сочился пахучий мед. Сняла косынку — стряхнуть пыль.

— Возьмите с собою, полакомитесь в дороге.

Самохин уставился на нее.

— Это вы? Извините, не признал сразу. Ну, как живется на белом свете? Билет получили?

Надежде хотелось показать ему свою скирду, но не осмелилась.

— Собираюсь вот домой, — сказала она, — как считаете, скоро?

Секретарь задумался.

— Херсонщина?..

Надежда удивилась: надо же, помнит.

— Думаю, осенью дома будете. Покатился Гитлер, и зацепиться не за что. Разве что за Днепр...

Самохин уехал, оставив ее под впечатлением непростого их разговора. Осенью... А уже август! Неужели она скоро упадет на колени перед родною хатой: прими меня, прими и прости. За долгую разлуку, за твое и мое одиночество, за все, что нам выпало пережить. И пойдет на могилу Корнея, хранящуюся в памяти, должно быть заросшую теперь до неузнаваемости. ЕГО могилу. Лежит он и ничего не знает ни обо мне, ни о сыне. Мертвым легко в их неведении, в вечном покое. Они переступили порог небытия... Почему становится так жутко, не по себе, когда начинаешь думать об этом? Возможно, это только я такая?.. Думают ли о смерти солдаты? Наверное, думают. А идут. В атаки. Под пули. Навстречу смерти! Выходит, есть что-то большее? Что-то высшее? Сильнее страха. Иначе как понять? Человек хочет не просто существовать. Он хочет быть счастливым. На отцовской земле, святой, политой по́том и кровью тех, кто

жил раньше, до нас и ради нас. И все сущее — это их следы, протоптанный ими путь, идти по нему — счастье, высокое и чистое, как небо. Ради этого счастья смерть — не смерть...

Солома пахла свежей мукóй, сладко, щекочуще, как на мельнице во время помола. А молотилка взвывала, лихорадочно тряслись решета, вдоль покоса, подбирая валки, ползли арбы, и все замкнулось в бесконечный круг, из которого было только два выхода: в полноправное царство Надежды, на золотую, как солнце над Тоболом, скирду, и по другую сторону молотилки, на ток, где синела у вороха зерна косынка Махтенхи.

Когда уже стемнело, в последний раз, словно нехотя, стукнул барабан, вздохнул двигатель. Еще скребли под молотилкой деревянные лопаты, гремели обарками в последнем заезде Михасевы вороные, однако уши ловили уже эти звуки сквозь оглушительную тишину, с наступлением которой на тело наваливалась усталость.

Молча плелись женщины к плакучим вербам над рекой, бросали в пышную траву одежду. С распущенными косами неторопливо входили в воду земные русалки, и тела их белели в вечерних сумерках таинственно и зовуще. Бух! — поплыли, одна засмеялась, другая вскрикнула, и покатилось над камышами эхо, качнулись на волнах звезды.

Тобол куда-то спешил. После дневной жары было так приятно стоять против течения, ощущая, как цепляются за ноги мелкие водоросли, вода щекочет живот, касается грудей. По телу разливалась истома, хотелось и вместе с тем было страшно закрыть глаза. А вдруг течение подхватит и понесет! Ну и пусть! Надежду иногда охватывало желание отдаться чьим-то властным и сильным рукам. Лишь бы руки эти были теплыми, бережливыми.

С шумом, подняв брызги выше ракит, промчалась Стефка. Остановилась на берегу, вырисовываясь на фоне неба гибким станом, начала выжимать волосы.

— Это вы?.. Хороша водичка, как в Черемоше... А я сегодня вилы в барабан нечаянно уронила, едва успела выхватить. Вот было бы мне...

Надежда распустила косы. Волосы упали на воду, поплыли, рассыпались веером, создав над плечами шелковый шатер. Надежде показалось, будто она уже под водой и голос Стефки слышит сквозь ее толщу.

— Побегу к своему дударику. Он тут рядышком, с трактористами.

Ночь над Тоболом висела синяя и густая, как дым. Звезды стали похожими на пузыри в час грозового дождя. Надежда шаркала по стерне сандалиями, направляясь к колхозному стану. За вербами еще плескались девчата, стирали просоленную пóтом одежду. Звонко взметнулась песня и тут же на высокой ноте оборвалась.

— Ату его, девчата! Лови!

— Ах ты, чертенок, надумал подглядывать!

— Ишь женишок — от земли вершок! Ха-ха-ха...

— Ну, смотри, смотри на меня, чего же убегаешь? Вот я тебе...

Топот босых ног удалялся в степь, шелестело жнивье, а на берегу еще долго, сквозь смех, звучали счастливые голоса.

Близ стана Надежде повстречался Михась.

— Вас ищу, тетя. Какая-то женщина хочет вас видеть. Там она, у дороги на Бугрынь...

— Что же ты не привел ее сюда?

— Не хочет. Пусть, говорит, придет тетка Надя, разговор к ней есть... Ну, я пошел вороных купать!

— Иди, иди. Ты и сам как вороной, весь в пыли.

— Такая работа, — совсем по-взрослому сказал Михась и вприпрыжку побежал к коням.

Надежда пошла в сторону перекрестка, удивленно раздумывая, что это за женщина, пожелавшая с ней встречи, и почему она не хочет сама к ней прийти.

— Антонина?!

— Здравствуйте... Узнали?

Антонина была одета броско, по-городскому. Платье из крепдешина, легкое, прозрачная косынка.

— Пришла в село, а вас нет.

— Ключ под камнем. Там, где и прежде оставляли. Забыла уже?

— Не забыла. Но что же я без вас, как злодейка...

— Не в чужую избу, в свою.

Антонина махнула рукой:

— Была своя, да стала чужая. И дом теперь за свою не признáет.

Всплакнула, прижав к глазам косынку.

— Чего же тогда приехала? — сухо сказала Надежда. В ее памяти всплыло лицо Ивана, дикий его пляс на заросшем вьюнком кладбище.

— Н-не знаю. Явилась вот...

«Неужели мне ее жаль? — думала Надежда. — Неужели я такая мягкосердечная, что могу простить этой женщине легкомыслие, с которым она... Легкомыслие? Да нет — измена! А Иван? Сможет ли он простить? Если, конечно, останется жив. Ведь после такого люди сами лезут в огонь».

— Иди домой, — сказала Надежда. — Выдастся свободная минута — прибегу. Тогда поговорим.

— Нет! — вскрикнула Антонина. — Сейчас! Я хочу сейчас сказать все, потом будет поздно... Приходил ко мне солдат. Из госпиталя. Увидел, плюнул под ноги и ушел. Только для того, говорит, и разыскивал... — Антонина заплакала. — Ну чего вы молчите? Скажите же...

— Ой, Тоня, ну что тебе сказать? Ты насовсем?

— А можно?

Ее глаза молили о спасении.

— Не знаю. Не судья я тебе.

— Ваня... любил меня.

— Любил, — тихо повторила Надежда. — Он был здесь, твой Иван. Горел в танке. Тебя искал. Посмотрел на свою «могилу». Похоронка была на него после твоего отъезда. Махтей розы отковал... А Иван живой... Как с того света вернулся.

Антонина шатнулась, будто ее ударило порывом ветра.

— В-вы сказали ему... обо мне?

— Он не спрашивал...

2

Встреча состоялась на ферме Ван-Бовена. Капитан Гро сделал вид, будто предложение взять к себе английских летчиков ему ни к чему. На Крафта, попытавшегося было вставить в разговор слово, накричал.

— У нас нет связи с Лондоном, — сказал Фернан.

— Вы думаете, у меня Лондон в кармане?

Гро, однако, уже прикинул, насколько подскочат его акции перед англичанами, когда он переправит-таки летчиков через Па-де-Кале. В конце концов, никогда нелишне подумать и о будущем. А оно туманное, как острова Альбиона. Знать бы, что запросят взамен коммунисты. Нечего думать, что они столь бескорыстны, как это декларируют. За новой затеей Дюрера наверняка что-то кроется.

— Покажите мне летчиков.

— Это можно, — сказал Фернан. — Они здесь, неподалеку. Мсье Довбыш надумал подкормить их завтраком. Может, мы сначала составим с вами небольшое соглашение?

На тонких губах капитана мелькнула презрительная усмешка. Вот оно, хваленое бескорыстие красных!.. Сначала гуманный жест, затем торг. Капитан ликовал от мысли, что не ошибся в своих предположениях. Что ж, он готов и к торгу.

Демонстрируя недовольство, изрек:

— Я не вступаю в дискуссию, но интересно знать, чего вы хотите: деньги или опять оружие?

— Вы дадите слово, что забудете о своих претензиях к лейтенанту Щербаку. И само собой разумеется, к остальным, кто приходил тогда за оружием.

Гро, сидевший в мягком кресле, небрежно закинув ногу на ногу, вскочил. Напоминание об операции в графском замке бесило капитана. Маленький Фернан глянул на него снизу вверх и не торопясь закурил сигарету.

— Мы взяли всего лишь маленькую толику того, что мсье Пьерло мог бы сам, по справедливости, передать нам. Разве это преступление? В конце концов, оружие обращено против нашего общего врага.

— Я не вправе судить о поступках премьер-министра, — сухо произнес капитан. — Я солдат. А этот русский... Кстати, вы тоже были с ним, — глаза Гро гневно блеснули, — русский присвоил оружие, присланное правительством для моего отряда.

— Зачем же так грубо: «присвоил», — спокойно возразил Фернан. — Скажем иначе — одолжил у друзей... Вполне приличествующее моменту, точное слово — одолжил... Никакого криминала. Не враги же мы с вами? После войны вернем, только и всего.

Капитан Гро немного остыл. В глубине души он понимал, что рассуждения этого партизана — не иначе как коммуниста! — не лишены логики, однако делал вид, что его привело сюда джентльменское желание помочь союзникам, и он пойдет на сделку только ради этого джентльменства с людьми, недостойными никакого партнерства.

— Крафт, вы что — язык проглотили? Назначаю вас своим военным советником. Ваши соображения? — крикнул Гро.

— Н-не знаю, мсье капитан. В конце концов, то оружие, которое лейтенант Щербак... которое... ну, в общем...

— Выражайтесь яснее, черт возьми! — Гро продолжал демонстрировать свой гнев.

— Я хочу сказать, что премьер-министр...

— При чем тут премьер-министр? — капитан отодвинул кресло к окну, склонился в ироничном поклоне. — Здесь мы, две договаривающиеся стороны, — он показал молочно-белые зубы, что означало дружескую улыбку. — Мы имеем честь подписать важное соглашение. Принимая во внимание, учитывая и т. д. и т. п... Вот только где взять нотариуса, чтобы скрепить печатью этот исторический документ?

— Есть такое понятие: слово офицера... Наш комендант считает, что достаточно и вашего слова, — сказал Фернан. — Он уважает офицеров, которые не капитулировали перед фашистами...

Гро хмыкнул и стал вытирать платком лицо.

— Ну и жарища, черт побери! — буркнул он. — А Довбыш у вас кто? Тот самый Гаргантюа?.. Его величество король Леопольд не отказался бы зачислить такого гренадера в личную охрану. Как вы считаете?

— У короля сейчас вполне приличная охрана. Фюрер поделился с ним своими гренадерами в гражданском...

— Оставим эти разговоры. Они мне неприятны. Я присягал...

— Хотел бы я знать, кому присягал его величество бельгийский король, — произнес Фернан. — И помнил ли он о своей присяге двадцать восьмого мая, когда отдавал приказ о капитуляции всей армии?

Гро отвернулся к окну.

— Крафт,— сказал он,— у нас найдется, чем приветить гостей?..

3

Поздно вечером Фернан и Довбыш прощались с английскими летчиками. К этому времени капитан Гро уже исчез.

Крафт старательно подливал в рюмки коньяк, летчики вскоре захмелели. Молоденький голубоглазый штурман сидел молча и все время улыбался, зато старший, раненный в плечо «кэптэн» оказался на редкость разговорчивым, слова лились из него, как вода из открытого крана. Он был в восторге от могучей фигуры Довбыша.

— Ю а биг, ай эм смол! — радостно тараторил он. — Френдшип! Э френд ин нид из э френд ин дид[1].

— Какой там дед! — хохотал Егор. — Я еще в парубках не нагулялся! Большое вам сэнк'ю!

— О, сэнк'ю, спа-си-бо... — щегольски подскочил «кэптэн». — Ка-ра-шо.

Довбыш расстегнул воротник, из-под рубашки проглянули синие полосы тельняшки. Эта тельняшка имела свою историю. Неизвестно каким способом мадам Николь узнала, что матрос грустит по тельняшке, и раздобыла ему этот подарок. С тех пор Егор не разлучался с тельняшкой, сам стирал ее, когда вешал сушить, не спускал глаз, а перед Николь чувствовал себя в вечном долгу.

Заметив на груди Довбыша тельняшку, веселый «кэптэн» закричал:

— О, флит!.. Си!..[2] Ка-ра-шо... — И, намочив палец в коньяке, начал обозначать на скатерти контуры моря вокруг темного пятна, что означало, вероятно, Британские острова.

— Нам пора, Георг, — поднялся Фернан. — Когда вы думаете их переправить? — спросил он у Крафта. — Канал надежный?

Крафт пожал плечами:

— Думаешь, я тут все знаю? Отвезем в замок, а там найдется кому отправить.

Они вышли во двор. «Кэптэн» полез обниматься.

— Митинг — йес, карашо, патин — ноу[3], некарашо, — бубнил он.

Штурман-молчун неожиданно певуче произнес:

— Р-ро-си-я... Соувьет Юньен![4]

И поднял два пальца вверх, как это делали бельгийские патриоты.

Фернан и Довбыш спускались с холма у фермы Ван-Бовена в каньон, когда их догнал запыхавшийся Крафт.

— Подождите, ребята, — сказал он. — Есть дело к вам. Вот...

Крафт держал в руке фотографию. При свете месяца можно было рассмотреть снятую в профиль молодую женщину.

---

[1] Ты — большой, я — маленький! Дружба! Друзья познаются в беде *(англ.)*.

[2] О, флот!.. Море!.. *(англ.)*

[3] Встреча — да, прощание — нет *(англ.)*.

[4] Советский Союз! *(англ.)*

— Жена? — спросил Егор.

Крафт выругался.

— Бывшая любовница Дегреля. Работает в гестапо. Мы давно засекли эту шпионку, капитан разрешил было ликвидировать ее, но потом отменил свой приказ. Страшно ругался... Кто-то там, в Брюсселе, цыкнул на него. — Крафт виновато вздохнул. — Знайте же об этой сволочи, друзья, но не выдайте меня. А фотографию возьмите, пригодится. Стерва эта находится сейчас в Комбле-о-Поне.

Он потоптался и исчез в темноте.

— Забавная история! — сказал Довбыш.

— Из этого Крафта мог бы выйти свой парень, — заметил Фернан. — Когда мы вместе с ним бастовали в Шарлеруа...

— Мозги у него набекрень, — прервал Фернана Довбыш. — А жаль.

На партизанскую базу они пришли на рассвете, а через час комендант вызвал к себе Щербака.

Дюрер сидел за дощатым столом, покрытым клеенкой в синий горошек. На столе светилась медная карбидка, похожая на сказочную лампу Аладдина, — зеленые бока ее уже давным-давно не знали суконки. Пламя карбидки горело ровно, двумя острыми язычками, и освещало карту над столом. На топчане валялась овечья шкура.

— Оцениваешь мои хоромы? — спросил Дюрер. — Взгляни-ка сюда.

Щербак увидел в руках у него фотокарточку.

— Узнаешь?

— Что-то знакомое...

— Еще бы не знакомое! — глаза коменданта стали маленькими и злыми. — Вспомни похороны Пти-Базиля... Пришел бургомистр, и это привлекло общее внимание, а ты смотрел куда-то в другую сторону, за мое плечо...

И Щербак вспомнил.

...Комбле-о-Пон. Грустный февральский день. Не спеша, будто нехотя, падают на землю снежинки. Не хочется верить, что там, в черной яме, лежит Василек, всеобщий любимец Пти-Базиль. Мерзлые комки земли глухо стучат о крышку гроба. Печально толпятся люди.

Неподалеку стоит, закутанная в теплый платок, молодая красивая женщина. Он невольно задерживает на ней

свой взгляд. Римский профиль, белые снежинки на черном платке похожи на бабочек.

Дюрер толкает его в бок:

«Бургомистр...»

Ему становится стыдно, что в такую минуту надумал любоваться женской красотой.

«Молодец бургомистр, не испугался», — говорит он и опускает глаза...

— Ну, вспомнил теперь?

— Вспомнил. Но совсем не знаю этой женщины.

— И хорошо, что не знаешь. А еще лучше, что она тебя не знает.

Дюрер вкрутил карбидку, пламя потухло.

— Придется тебе, лейтенант, познакомиться с этой красавицей. Она — гестаповка, с нею у нас давние счеты. Собирайся в дорогу. Между прочим, бургомистра немцы недавно прибрали к рукам.

4

На мне сельская одежда, канотье, внешне я похож на фермера, собравшегося в нагорные плато на поиски летнего пастбища. В одном кармане пакет для Люна, в другом — двенадцатизарядный «ЖП», подаренный Довбышем при первой встрече в доме Гарбо. Под лацканом пиджака пришит гестаповский значок. Не знаю, где раздобыл его наш комендант, значок этот жжет меня сквозь одежду, так и хочется оторвать его и вышвырнуть подальше.

День солнечный, ясный, бересклет придает предгорью лилово-синий оттенок. Неприхотливые кустарники цепляются за каждый клочок земли, нависают над кручами, гнездятся в щелях оврагов.

В сумерках я спускаюсь в Шанкс.

Люн не удивился моему появлению. Жизнь давно уже отучила его удивляться.

— Ты пришел вовремя, — говорит он. — Тарде венientибус осса [1].

— Не глуши меня латынью, — прошу я.

Пока Люн читает письмо Дюрера и рассматривает фотографию, я сижу напротив него и с досадой думаю, что парни сейчас готовятся к операции. Предстоит схватка, настал момент отомстить за Николая, за Василька,

[1] Кто приходит поздно, тому остаются одни кости *(лат.)*.

за Симона... При мысли о Симоне перед глазами встает Эжени, какой я видел ее в последний раз, когда она кормила меня с ложки. Обаятельная даже в страданиях!..

Я понимаю, что выбор коменданта пал на меня не потому, что я случайно видел в Комбле-о-Поне эту гестаповку, нет, причина в Люне. Жозеф не хочет расширять знакомства Люна — Люн связной ЦК, старый подпольщик, испытанный боец партии. У него седые волосы и суровое лицо.

Один только раз я видел Люна непривычно расслабленным, почти размякшим, непохожим на самого себя, с глазами, полными слез. Было это в день похорон Василька...

Звездные ночи Андалузии. Я читал о них в книгах, когда Люн с винтовкою в руках лежал в горах Сьерра-Невады, прислушиваясь к шорохам фалангистов за грязно-бурыми камнями...

Я говорю Люну, что Дезаре собирается пополнить свою галерею его портретом, что Дезаре Рошар большой художник и настанет время, когда народ воздаст ему должное.

Люн покачивает головой.

— Не думал, что тебя могут волновать подобные мысли... — Слова Люна звучат несколько обидно для меня. — Возможно, Рошар и в самом деле большой художник, я кое-что слышал о его галерее. Но мой портрет? Зачем? Что такое мой портрет с точки зрения вечности?

— Запечатленный момент истории! Ее неповторимый образ! — говорю я. — Человек, осознанно или совсем того не замечая за собою, жаждет оставить что-либо потомкам, если угодно — для истории. Ты любишь повторять, что все течет и все изменяется. Что ж, это диалектика жизни. Но ничто не проходит бесследно!

— Честолюбие — опасная вещь, — сухо отвечает Люн.

Кровь приливает к моему лицу; я начинаю сожалеть о том, что затеял этот разговор.

— Я не честолюбивый, — пытаюсь защитить себя, — зря ты об этом. Однако и я не хотел бы прожить жизнь впустую, не оставив о себе доброй памяти.

— Упрощаешь, Антуан, мелко берешь. Я о таких вещах не задумывался ни в королевской тюрьме в тридцать втором, ни в Испании в тридцать седьмом, и теперь не по мне эти заботы. У каждого человека свой взгляд на жизнь, он сам вершит свой суд над собою и временем.

Естественно, если он личность, а не марионетка... Я коммунист, и этим все сказано.

На столе остывал ужин. Уловив укоризненный взгляд Николь, я иду умыться с дороги.

— Я тоже коммунист. И все-таки Дезаре нарисует твой портрет. И вообще ты не можешь отрицать роль искусства в общественной жизни.

Мне почему-то хочется, чтобы последнее слово осталось за мною.

Не посоветоваться ли мне с Люном о своей беде? Партбилет для коммуниста — святыня, с ним идут на смерть. А мой остался в донецкой степи, в закопанной старшиной Чижовым гимнастерке. Что мне скажут, когда вернусь домой? Эта мысль мучит меня, не дает покоя. Я долго не решался поделиться ею с Николаем Кардашовым, тянул, пока не оказалось поздно: комиссар погиб.

...Рано утром Люн поехал в Льеж и возвратился только через два дня.

Мы снова сидим в верхней комнате за столом и ведем разговор так, будто прервали его минуту назад.

— Зовут ее Мари, — говорит Люн. — Мари Бенцель. По крайней мере под таким именем девицу эту знали в Брюсселе. Она заслана абвером в Бельгию за два месяца перед вторжением. С первых дней оккупации — агент гестапо, причем очень ловкий. На ее совести жизнь многих патриотов. В сорок первом ее разоблачили, успела исчезнуть. Партизанский суд заочно приговорил Мари Бенцель к расстрелу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1

Во время обеда привезли газеты. Надежда читала вслух сведения с фронта — это было ее партийное поручение на уборочной. Женщины пили молоко из бутылок, остуженных в луже под бочкой, и внимательно слушали. Поэтому никто из них и не заметил, как из-за скирды вышла Антонина Манюшина. Она шагнула в круг, в самую середину, словно собиралась пуститься в танец, и тут же упала на колени.

— Простите меня, люди...

Стало тихо. Слышно было, как в стерне шуршит полевая мышь.

— Виновата я перед вами. Простите...

— Бог простит,— сказала Махтеиха, едва приоткрыв сухие губы, — ему сверху виднее.

Стефка демонстративно поднялась и пошла к бочке с водою. Женщины молча принялись завязывать узелки.

Антонина заплакала навзрыд.

— Прогоните — руки на себя наложу...

— Не пугай! — гневно произнесла Махтеиха. — Какого зелья наварила, такое и хлебай. Нашла кого пугать!..

— Никто тебя не гонит, — примирительно сказала Надежда. — Становись — хоть бы и к веялке.

Антонина поклонилась и пошла на ток. Как вцепилась в ручку веялки, так и не отпускала до самой темноты. Она перехватывала презрение в глазах девушек. По вечерам они писали на фронт письма совсем незнакомым солдатам. А когда приходил ответ — столько было радости! Всю ночь не прекращался шепот: небось герой, с орденами и медалями, да еще и неженатый... А вдруг на побывку приедет?.. А рядом крутила веялку молодая женщина, и — что там ни говори — красивая, брови соболиные, будто нарисованные. И надо же, страшно подумать — сбежала от танкиста, от фронтовика, который, может, ради нее шел на смерть. Эх, Тонька, Тонька, чума — вот ты кто!..

И прилипла эта кличка к Антонине, как смола. Уткнувшись в охапку соломы, плакала каждую ночь в одиночестве, никто не хотел ложиться с ней рядом, сторонились, будто и в самом деле она чумная.

Только одна Надежда и находила для нее безобидные, врачующие слова.

Два чувства боролись в Надежде — презрение и жалость. Она не умела прощать женской легкомысленности и вместе с тем сердцем понимала, что ни Иван, ни Антонина никогда не узнают в жизни счастья, если их не помирить. Открыв для себя эту истину, принялась уговаривать Антонину написать мужу письмо.

— Покайся, Тоня, слышишь?

— Боюсь я. Может, вы словечко замолвите?

— Грех твой — тебе и каяться...

Дни бежали незаметно. Поспел хлеб и в северных районах. Из Кустаная в Джагытарскую МТС пришло распоряжение: перебросить комбайны за Аят.

Остались на карачаевских полях одни косилки, они валили пшеницу с последнего клина — от Бугрыньской степной дороги до Верблюжьего холма. Женщины перебрались на новый ток. Старенький «ХТЗ», окутываясь горячим сизым дымком, поволок молотилку ближе к покосу.

Из райцентра каждый день запрашивали данные: сколько скошено, сколько намолочено, все ли сдано государству. Собрав вечером от учетчиков сведения, Цыганков торопился в село, к телефону.

— Где тебя черти носят? — кричал в трубку охрипшим голосом Самохин. — Я не могу из-за тебя передать сведения в область.

Цыганков торопливо диктовал.

— Только бы дождь не пошел, — жаловался он. — Вчера слепой побрызгал — и то косы пошли на слом.

— Вывози скорее зерно, и веяное и невеяное.

— Мне бы еще одну полуторку. Пусть бы плохонькую...

— Плохонькая хуже, чем ничего! Волов запрягай!

— Запряг уже все, что в оглобли входит. Осталась одна свободная шея — моя собственная. Заказал уже шлею.

— Смотри мне, Цыганков!

— Смотрю, товарищ секретарь. Дождь был слепой, а я пока зрячий.

Так пререкались они, и постороннему могло бы показаться, что разговаривают между собою враги: откуда ему знать, что оба — председатель колхоза и секретарь райкома — жаловали друг друга строгой мужской любовью, на которую способны разве только опаленные огнем войны сердца воинов. В их взаимоотношениях не было ничего показного, давала себя знать суровая простота, за сказанными словами угадывались и иные, не произнесенные, однако хорошо понятные им обоим, и поэтому не было для них необходимости произносить эти слова вслух. Чему свойственна глубина — на поверхность не всплывает.

Цыганков опускал трубку и, избегая глаз Каролины с их надоевшей преданностью, спрашивал:

— Что нам нужно подписать?

Каролина, склонившись грудью над столом, подвигала одну за другой бумаги, прерывисто дышала. Цыганков чувствовал, как у него начинает стучать кровь в висках, и почти выкрикивал спасительный вопрос:

— Что там пишет Михаил?

Терновые глаза Каролины гасли, она молча шелестела бумагами, складывала их, а Цыганков вставал и шел к окну, облегченно вздыхая, как это делает человек, одержавший над собой небольшую, но важную победу. Иногда ему хотелось сказать что-нибудь такое, мужское, что навсегда положило бы конец настырным ожиданиям Каролины, но он боялся, что она разревется, а Цыганков не терпел женских слез.

— Дом рядом, а ночевать в степь? — роняла по слову Каролина.

— В копне самый сон. Лучше перины!

Он и в самом деле любил спать в поле, бросив под голову охапку дурманящего, наполненного таинственным шелестом сена, любил слушать, как фыркают кони, а в камышах спросонья шевелит крыльями потревоженная утка, вглядываться в безмерные версты глубокого ночного неба. Мир воспринимался как исполинский и вечный, во всех его возможных и непонятных измерениях, а он, Цыганков, казался в тот миг его центром, отправною точкой, куда все сходится и откуда все берет начало.

Белоголовый Юрась, внук деда Панаса, очень гордился тем, что был кучером у самого председателя колхоза. Он любил лошадей и хорошо знал их — от беззубой Граматки, которую держали в конюшне из уважения к ее прежним заслугам, до появившегося совсем недавно озорного жеребенка.

Дроги подскакивали на ухабах, скрипели давно не мазанные колеса. Кадровый пехотинец Цыганков не очень разбирался в кавалерийском снаряжении, за всю свою жизнь он раз или два поднимался в седло, однако Юрась этого не знал и расспрашивал его о трензелях и мундштуках, о чересседельниках и супони...

В полевом колхозном стане переполох. Цыганкова встретили тревожными голосами:

— Чума утопла!..

— Да не утопла — не успела...

— Забрела далеко, а там яма...

Цыганков подошел к Надежде.

— Живая, — сказала та. — Только что успели откачать.

Антонина лежала у копны, прикрытая дерюжкой, лоб и бескровные щеки застланы мокрыми волосами.

— Как же это случилось? — растерянно спросил Цыганков. — Сама придумала?.. Отвези ее домой, Егоровна. Скажи Каролине, пусть вызовет врача из района...

— Врача... — хмыкнула Махтеиха. — Совесть — не чирь...

Пока Антонину укладывали на дроги, Юрась весь съежился, заколотился как в ознобе. Цыганков хотел было сам взяться за вожжи, но потом раздумал.

— Не спускай с нее глаз, Надежда, — тихо сказал он. — Мало ли чего... Работать завтра не выходи, на скирду Стефку поставлю... А ты, Юрась, найдешь меня у трактористов, понял? — Он погладил мальчонку по голове. — Ну, будь мужчиной, ничего страшного не произошло...

Цыганков наслушался об истории Манюшиных всего и в подробностях. Как умыкнул молодой Иван жену кустанайского бухгалтера, конечно не без ее согласия, как жили они душа в душу до тех пор, пока не разлучила война. Ничто вроде не предвещало беды, и вдруг Антонина покинула Карачаевку, уехала в город то ли к первому мужу, то ли к родителям. Знал Цыганков и о досадной ошибке с похоронкой на Ивана и краткой его побывке дома. Возвращение Антонины не обрадовало сельчан, породило много толков. К ней относились как к дезертиру. Если бы не острая нехватка рабочих рук, он первый сказал бы ей: «Убегала — не советовалась?» А тут еще и Надежда, чуткая к любому горю, замолвила слово в защиту, и он махнул рукой. «Дьявол их разберет, этих женщин!»

Цыганкову никогда не приходилось встречаться с самоубийцами, и он был потрясен. Человек всегда борется за жизнь до последнего, даже на фронте. Там случается человеку попасть совсем в безвыходное положение, и нелепая ситуация, и сознательное самопожертвование, но чтобы так вот, по собственной охоте, наложить на себя руки, когда можешь этими руками — черт побери! — по крайней мере крутить веялку, а если поднять голову повыше — дышать медовыми степными запахами, можешь радоваться, что ты все-таки живешь, нужен людям! Жизнь всегда можно начать сначала — в это хорошо уверовал Цыганков. Потому и не укладывался в голове страшный поступок Антонины. Интуитивно Цыганков сознавал, что в его размышлениях есть какой-то провал, концы с концами в его теории жизни не сходятся, и это еще больше удручало его.

Сейчас надо было бы думать не об этом, а о нескошенном клине озимых, о трактористах, которым сидеть бы не за рычагами, а за школьными партами и гонять в сумерках голубей, о буртах пшеницы под открытым небом и о множестве других хозяйственных дел. От рождения он был небезразличен к чужому горю, но, пройдя в сорок первом неимоверно трудный путь от Сана до Днепра, привык измерять человеческие беды меркой фронтовой и как-то не представлял себе, что человек может оказаться на краю жизни по собственной воле, да к тому же в глубоком тылу, за тысячи километров от смерти чужой, гибельной, беспощадной.

Цыганкову не случалось еще вступать в противоборство с собственной совестью, а потому он и не знал, какой это страшный суд.

2

На инструктивном совещании руководителей ФНС — «Фламандского национального союза» и НФТС — «Немецко-фламандского трудового союза» в брюссельском отеле «Палас» генерал Фалькенхаузен выразил беспокойство актами саботажа и диверсий на угольных шахтах провинций Лимбург и Льеж, обвинив бельгийских рабочих в том, что они бездумно поддаются агитации советских военнопленных.

— Мы расцениваем это как восточное варварство, — говорил генерал, прислушиваясь к своему хорошо поставленному голосу. — Цивилизованный человек не станет умышленно ломать отбойный молоток — продукт инженерной мысли, призванный облегчить труд шахтера. Смешно думать, что изуродованный молоток или опрокинутая вагонетка с углем остановят победную поступь вермахта.

Фалькенхаузен не заметил, что противоречит сам себе. Несколько минут тому назад он ругал руководителей обоих союзов за бездеятельность, из-за чего, как выразился он, на бельгийских шахтах хозяйничают подпольщики и добыча угля резко упала.

— Господа! Фюрер, хорошо осведомленный о резервах рабочей силы в данном районе, не станет посылать боеспособных немцев на ваши шахты. Он скорее наденет на всех нас, здесь сидящих, униформу горняков и спустит под землю... — генерал элегантно вытянул указательный палец и показал им на пол, одарив присутствующих

натренированной улыбкой. — Вы, настоящие патриоты Бельгии, будьте наконец хозяевами своих предприятий. Седлайте, господа, троянского коня, втирайтесь в доверие оппозиции, сталкивайте противников нынешнего режима лбами, подкупайте, арестовывайте, вешайте непокорных. Бомба наносит наибольший вред, если она взрывается в самом центре объекта.

Фалькенхаузен выпрямил сутулую спину и, обозрев шторы на окнах, заходил по комнате. Ковры скрадывали стук подкованных каблуков его начищенных до блеска сапог.

— На прощанье хочу сообщить вам, господа, приятное известие. Операция «Вепрь» — как видите, у меня от вас нет никаких секретов — развивается успешно. В горах настигнут отряд какого-то Селя, в прошлом хорошо известного намюрского адвоката. Все уничтожены в открытом бою. В скором времени мы очистим Арденны от бандитов полностью.

Генерал самодовольно усмехнулся, наблюдая, какое впечатление произвели его слова на респектабельных господ, перед которыми он играл роль добропорядочного мецената и которых презирал за слишком безмятежную жизнь.

Гитлеровский правитель Бельгии не мог знать, что через несколько дней старший адъютант принесет ему донесение с пометкой «совершенно секретно» и он в ярости ударит кулаком об стол, узнав об уничтожении партизанами эсэсовского гарнизона на станции Ремушан.

— Только что получено сообщение по телефону: в Лёрсе взорвана электростанция, — добавит адъютант, избегая взгляда потемневшего от гнева генерала.

3

Комбле-о-Пон встретил Щербака дождем. Грозовые тучи развесили над долиной свои набрякшие влагой космы, тяжелые капли барабанили по черепичным крышам, потоки воды затопили тротуары, по улицам бежали, отыскивая низины, грязные ручьи. Какой-то зеленщик, высунув голову в окно, наблюдал, как из оторванной водосточной трубы в доме через дорогу на крыльцо бакалейки хлещет вода.

Пьер Виктóр только что возвратился с работы, но успел уже помыться, и его гладко причесанные волосы сияли, как вороново крыло. Приземистый, неуклюжий

Виктóр напоминал скорее колбасника, чем машиниста локомотива.

Щербак знал, какое горячее сердце патриота бьется в груди этого неказистого на вид человека. После диверсии около станции Риваж они уже встречались, Антон навещал его дома. Виктóр имел собственный аккуратный особнячок, возведенный еще прадедом в минувшем столетии. Единственная дочка машиниста вышла замуж за коммерсанта из Гента, и теперь Виктóр остался вдвоем с женой, такой же полноватой, но подвижной женщиной, как и он сам.

— Тебе что — жить надоело? — сердито спросил Виктóр на пороге. — Не мог дождаться ночи?

— Не мокнуть же мне до темноты под дождем? — оправдывался Щербак. — У русских есть поговорка: в плохую погоду хозяин и собаку гулять не пускает.

Виктóр сочувствующе покачал головой.

— Мать! Принеси что-нибудь сухое гостю. Пообедаем?

— Потом. — Щербак показал фотографию. — Узнаешь?

— Приметная особа... Кажется, встречались. Но не помню где. Спросим Франсуазу? У женщин глаз острее. Они знают друг о друге все плюс еще кое-что.

— А как она у тебя? — повел глазом в сторону кухни Щербак.

— Она — это я.

Через несколько минут мужчины знали, что Жаклин Бодо с прошлого года снимает комнату у вдовы Бертран, мужа которой боши убили на границе в первый день войны. Ходят слухи, что Жаклин прячется от немцев.

— Жаклин Бодо? — переспросил Щербак. — Вы уверены, что ее зовут именно Жаклин Бодо?

Он сразу же понял неуместность такого вопроса. Ясно, что Мари Бенцель изменила фамилию, а гестапо снабдило ее новыми надежными документами.

— Почему она так интересует вас, мсье Антуан? — помолчав ради приличия, пропела Франсуаза. — Славная женщина.

— Не стану отрицать! — поспешно произнес Щербак. — Не знаю только, с какой стороны к ней подступиться.

Три дня ушло на выяснения всякого рода мелочей:

куда и в какое время госпожа Бенцель уходит из дому, с кем встречается во время отлучек.

Под видом фермера с окраины, пришедшего в город за покупками, Щербак обходил ближние лавчонки. Както он даже столкнулся в дверях с толстомордым оберштурмфюрером и нечаянно задел его свертком. Немец смерил мешковатого фермера холодным взглядом, Антон извиняюще дотронулся пальцем до канотье, ощутив в эту секунду под мышкой тяжесть пистолета. С тем и расстались.

Мари Бенцель утром и вечером отправлялась на мессу. Щербак проследил ее путь от дома до церкви и убедился, что взять ее где-нибудь по дороге не удастся.

Церковь выглядела помпезной, службу здесь отправляли традиционно и торжественно. Ризница, алтарь и ступеньки к алтарю, где поблескивали в полутьме контуры огромного медного распятия, были сработаны из красного дерева. На хорах пели молоденькие, одетые под монахинь девушки. Возможно, они в самом деле были монахини. В негустом табунке их стоял певчий мальчик в роскошном кружевном стихаре. Голоса взлетали под своды церкви, тревожили душу беспредельной печалью. Свечи на алтаре вздрагивали от сильных голосов хора.

Пастор был молодой и высокий, впрочем, высоким его делал, пожалуй, длиннополый стихарь, не кружевной, как на певчем, а парчовый, расшитый золотом. В глубоко посаженных глазах пастора виделась отрешенность, будто богослужение уносило его на крыльях высоко в небо, а оттуда, с достижимой только ему высоты, земля и все земное казалось достойным лишь скорби и молитв.

Глядя на этого почти неземного юношу, Щербак засомневался в том, что он может иметь какое-то отношение к такой особе, какой была прожженная нацистка Бенцель, а к политике, к жесточайшим единоборствам, происходящим на грешной земле,— тем более! Антон поймал себя на слове «грешной» и подумал, что церковь наверняка в самом деле влияет на психику, если и он невольно начинает заимствовать библейские слова.

Ни разу Бенцель не подняла своих очаровательных глаз на пастора, ничем не выдала своей близости с ним или хотя бы знакомства. Оставаться до конца богослужения, когда люди начнут расходиться, было бы опрометчиво, поэтому Щербак, оценив по достоинству и шпионку и ее возможного партнера, вышел.

На паперти разгуливали голуби, они ничем не отличались от тех, что остались на крыше его родной хаты, будто прилетели сюда из далекой дали.

— Гули, гули, гули...

Антон пошарил в карманах, отыскивая съестное, вытряхнул на ладонь крошки табака и огорчился, словно в чем-то провинился перед голубями.

Через Франсуазу удалось выяснить, что госпожа Бертран каждую субботу ездит к сестре в Льеж и остается там целый день, возвращаясь домой лишь вечером. Щербак заподозрил было, что поездки связаны с деятельностью ее квартирантки, но тут же отбросил это подозрение. Лейтенант Бертран погиб от рук немцев, и трудно было согласиться с тем, чтобы вдова помогала убийцам мужа.

Виктóр настаивал на своем участии в операции:

— Я знаю тут каждый закуток. В случае чего мне легче будет запутать следы.

— Превосходно, Пьер! — иронически заметил Щербак. — Я тем временем вернусь в лагерь и доложу, что задание, которое было поручено мне, я передоверил тебе. «Хвалю за находчивость! — скажет комендант. — Салют, мсье Антуан, действуй и дальше таким же образом».

— По крайней мере я в состоянии подстраховать тебя, — нехотя отступил Виктóр.

— Подумай лучше о собственном алиби. Кто знает, возможно, ты уже давно у них на подозрении.

Эта мысль только сейчас пришла к Щербаку. А что, если и в самом деле за домом Виктóра установлена слежка и немцам известен каждый шаг и хозяев, и гостя? Возможно, враги не спешат с арестом по одной причине: хотят выяснить цель его появления в городе. Он ходил по пятам за мадам Бенцель, а гестаповцы за ним...

Однако не паникуй, Антон, обдумай все как следует. Эсэсовский гарнизон прибыл в Комбле-о-Пон недавно. А Мари Бенцель слишком законспирированная особа, чтобы гестапо предупредило о ее проживании здесь командование гарнизона. И если посещение церкви не прикрытие, то связь с гестапо она держит через пастора. Волк, одетый в овечью шкуру! Но, возможно, священнослужитель и не имеет никакого отношения к Бенцель и в церкви она встречается с другим агентом либо оставляет свои донесения где-нибудь в тайнике. Арестовывать бургомистра приезжали из Льежа, значит, цепочка от Бенцель может протянуться и туда...

Дом Бертран стоял на северной окраине городка. Урт делал здесь поворот. У этого поворота начиналась дорога на Комбле-о-Тур.

В субботу, когда вдова пошла на станцию, а Бенцель отправилась на вечернюю мессу, Щербак через окно пробрался к ним в дом. Жаловать таким образом в чужую квартиру было небезопасно, но ничего лучшего он не придумал.

Ждать пришлось долго. Когда сидишь один в темноте, реальное ощущение времени утрачивается.

Но вот появилась Мари Бенцель. Щелкнул выключатель, комнату залил немного приглушенный розовым абажуром свет.

— Руки! — сказал Щербак. — Руки, мадам!

Бенцель с ужасом смотрела на пистолет Антона, руки ее дрожали, у локтя покачивалась замшевая сумочка.

Антон снял сумочку, судя по тяжести, в ней ничего не было, кроме обычных женских принадлежностей. Здравый смысл подсказывал: женщину следовало обыскать, все же это была не совсем обычная женщина, однако он не решился на обыск. Смутило его то, что мадам сама проявляла некоторое желание раздеться. «Какого черта? — подумал Щербак. — Зачем Жозеф поручил мне это дело? Я совсем не знаю, как мне вести себя здесь, у этой очень непростой дамы, как начать разговор?»

Антон окинул взглядом комнату и указал пистолетом на стул.

— Садитесь.

— Спасибо! — сказала Бенцель. — Вам деньги или драгоценности?

— Сидите спокойно! — более сурово произнес Щербак.

— Что все это значит? Кто вы такой?

Антон впервые слышал ее голос. Он был хриплый, будто простуженный. Бенцель явно волновалась.

— Имею ли я в конце концов право спросить, кто вы такой? — настаивала мадам, смелея с каждой секундой.

— Спрашивать буду я. Руки можете опустить. Имя?

— Жаклин. Жаклин Бодо.

— Профессия?

— Переводчица.

— Где работаете?

«Зачем я это спрашиваю? Нет, следователь из меня не получился бы».

Бенцель оправилась от испуга, она даже пригладила волосы. На Антона смотрели глаза хорошенькой женщины, обеспокоенной вторжением в ее жилище незнакомого человека. Похоже, она не собиралась по этому поводу долго расстраиваться, убежденная в том, что произошло недоразумение, которое вскоре прояснится.

«Неужели мне придется в нее стрелять? А что, если она расплачется?»

— Видите ли, я давно уже не работаю... Родители привезли меня сюда, в глушь. Для этого были особые причины. — Бенцель очаровательно улыбнулась и опустила глаза. — Один немецкий интендант слишком настырно приставал ко мне. А у меня есть жених...

— Превосходная версия, — сказал Щербак. — И преподнесли вы ее, мадам, так искренне, что меня это тронуло. К сожалению, все это не для меня, Мари Бенцель!

Бенцель испуганно заморгала. Щербак отвернул лацкан пиджака.

— Так вы из гестапо?.. К чему в таком случае...

— Спокойно, мадам. Вы только отвечаете на мои вопросы. С какого времени вы начали служить бельгийскому подполью? Что вам поручали эти люди? Выкладывайте все по порядку.

— Да как вы смеете! — вскрикнула Бенцель. Ее красивое лицо исказилось гневом. — Я буду жаловаться!

— Кому, мадам?

Бенцель села ровнее, откинула прядку волос, сползшую на румяную от волнения щеку.

— Это грязный поклеп! Я немка! Четвертый год пропадаю в этой проклятой стране, рискую жизнью — и вот она, благодарность! За все, за все, что сделала я для фатерлянда! — Казалось, Бенцель задыхается от возмущения. — Знаете ли вы, кто послал меня в Бельгию?

— Я вас внимательно слушаю, мадам.

— Не имею права называть имя шефа, — со злостью цедила сквозь зубы Бенцель.— Ничего, вы еще пожалеете... Как только он узнает о вашем ночном вторжении...

— Ваш шеф не узнает о нашей встрече, мадам, — сказал Щербак. — Я располагал сведениями о том, что вы преданно служили гестапо, и хотел услышать подтверждение из ваших собственных уст. Спасибо! Но вы меня не поняли, мадам... Сидеть! Я как раз тот, для кого вы старательно сочиняли сказочку о побеге от нахального ухажера.

На короткое время в комнате наступила тишина.

— Проклятье! — Бенцель побледнела. — Вы... вы...

— Мари Бенцель! За кровь бельгийских патриотов, которых вы продали оккупантам в Брюсселе и здесь, в Арденнах, партизанский суд приговорил вас к высшей мере наказания.

Голос Щербака звучал сурово. Растерянность оттого, что перед ним женщина, уже прошла. Он видел перед собой жестокого врага, одного из тех, кто не останавливается ни перед какой подлостью, кто давно попрал все святое. Нет, не грехи замаливать ходила она в церковь, а беззвучно убивать новые жертвы. Это так удобно совершать под сенью креста, когда с клироса звучат голоса певчих, напоминая о бренности мирской жизни.

— Я пришел исполнить приговор.

— Нет! — закричала Бенцель. — Ради бога, вы не сделаете этого! Я хочу жить! Я так мало жила...

— Ваши жертвы тоже хотели жить.

Бенцель попыталась встать. Щербак осадил ее жестом. По бледному лицу шпионки скользнуло подобие улыбки.

— Я понимаю, что вина моя большая, — лепетала она, дрожа, — но я еще могу вам пригодиться. — Она игриво усмехнулась. — Возможно, даже вам... лично...

Щербака передернуло.

— Хватит! — крикнул он.

Бенцель скользнула рукой за пазуху и выхватила маленький, почти игрушечный, браунинг.

Но Щербак выстрелил на какой-то миг раньше.

4

— Знаешь, это совсем не то, что в бою, — сказал я. — Там кто — кого, бескомпромиссная альтернатива. А здесь... Больше не поручай мне таких вещей. Не знаю, сумею ли я еще раз...

— Лейтенант Щербак! — взорвался Дюрер.

Я вскочил на ноги.

— Жан не сказал бы: не поручай мне. Его словами были бы: самое опасное — мне! Разве не так? Иди.

Я четко повернулся через левое плечо и направился к двери.

— Подожди. — Дюрер вышел из-за стола, догнал меня. — Тебе не кажется, что воздух стал чище?

— Ветер переменился, — сказал я. — Хвоя заглушает болотный запах.

— Эх ты! В Арденнах стало меньше на одного фашиста, а ты о ветре... — Дюрер помолчал, а затем снова заговорил глухо, вполголоса: — Осенью сорокового Бенцель втерлась в доверие Артура Глетчера. Лишь двоим из двадцати членов его группы удалось избежать ареста. Именно этих двоих Бенцель не знала. За день до расстрела Артур сумел передать на волю записку... Это был мой друг. Мы вместе учились в Антверпене...

Я ушел потрясенный. Мне было стыдно за свою минутную слабость. И я еще раз поклялся себе, что не буду питать слабости к врагам. Это жестокость всегда несправедлива, а справедливость жестокой не бывает никогда.

Сквозь молочно-белую пелену облаков просвечивалось солнце. Над каньоном Ригель, который угадывался слева в безлесой долине, дрожало испарение. Четверо партизан на самодельных носилках несли раненых, сквозь бинты проступала свежая кровь. Мелькнул перед глазами озабоченный Мишустин.

— Не пустует, Иван Семенович, твой лазарет? — сказал я.

— Такое дело, — тихо произнес он, не поднимая глаз, и вдруг набросился на свою команду: — Ну кто так несет? Лошади — и те ходят в ногу!..

Когда дело касалось раненых, спокойный, уравновешенный Мишустин умел быть требовательным и даже злым.

Прошедшей ночью Дюрер нанес врагу два ощутимых удара. На станции Ремушан был полностью уничтожен эсэсовский гарнизон и взорвана плотина электростанции в Лёрсе.

...Возвратившись с заданий, партизаны устраивались на бревнах, на влажной после недавнего дождя земле — чистили оружие, разговаривали, вспоминали подробности сшибок с фашистами.

Егор вынес гитару, ударил по струнам.

Я не солдат, я не солдат,
И голова уж сива[1].
И все ж возьму я автомат —
Зовет Отчизна сына!

---

[1] Седая (*укр.*).

Эту песню сочинил Василек. Я берегу тетрадь в синей коленкоровой обложке с его стихами и песнями. Если останусь живым — привезу домой. И непременно побываю в Белоруссии. Прозвенят твои песни, Василек, в Пуще...

Пускай в бою погибнуть мне
Назначено судьбою.
Что ж, на войне как на войне —
К бою!
К бою!

Слушают партизаны. Бельгийцам непонятны слова песни, но суровая и одновременно нежная мелодия доходит и до их сердец.

Придвинулся ближе к Егору Збышек Ксешинский, пробует свой голос. У него приятный баритон.

Ты не сдавайся, ты не плачь,
Мой друг, ведь я с тобою.
Трубит расстрелянный трубач —
К бою!
К бою!

Нет уже в живых Чулакина, которому повсюду чудились донские кони. Он был кавалеристом, этот тихий, молчаливый парень. Но как любил петь! И голос у него был красивый, чистый, как утренний ветерок над весенним Доном.

Пройдут года, и эти дни
Нам вспомнятся до боли.
Набатом сердце зазвенит:
К бою!
К бою!

Нет и еще одного товарища. Совсем недавно, услышав о разгроме гитлеровцев под Курском, он угощал меня красным рейнвейнским вином из дубовой кружки. Он был черный, как жук, и удивительно подвижный, всегда улыбающийся, веселый — рабочий оружейного завода в Герштале. Я не успел познакомиться с ним, как того хотелось бы, не успел! Даже не знаю его имени... Парни говорили: автоматная очередь прошила его насквозь, когда он первым прыгнул в окно вокзала, где засели окруженные на станции Ремушан эсэсовцы.

И станет тихо на земле,
А небо будет синее.
Польется клекот журавлей
Над колыбелью сына...

...А Чулакин бросился на выручку смельчаку.

Теперь они лежат в одной могиле, как братья — бельгиец и русский. Такое братство утверждает война. Потребовались десятки лет и тысячи километров, чтобы пересеклись их пути и двое разделили поровну одну судьбу.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

1

Почти все лето над Притобольем бушевали горячие тургайские ветры. Но вот наконец повеяло долгожданной прохладой. С севера косматыми стадами поползли тучи, они непрерывно меняли цвет и облик, грозно клубились и вдруг упали на потрескавшуюся землю не дождем, а снегом.

Однажды утром Карачаевка проснулась в удивлении — деревья и кусты стояли бело-зеленые, а в огородах ярко желтели тыквы. В этом непривычном глазу сочетании зимы и лета было что-то сказочное и вызывало сомнение, казалось, что землю не снег покрыл, а какой-то всемогущий шутник припорошил ее среди ночи мелом, и хотелось притронуться к нему пальцем, убедиться, что все это обман. Но небо вскоре осознало свою оплошность, хлынул дождь.

Надежду Щербак этот дождь застал в Джагытарах, куда она приехала сниматься с партийного учета. Надежда сожалела о том, что не застала в райкоме Самохина, — ей так хотелось попрощаться с человеком, к которому она испытывала искреннее уважение.

— А вы записку оставьте, — посоветовала секретарша.

Надежда покачала головой.

— Нет, — сказала она, — передайте просто привет от меня товарищу Самохину. А записка... Не умею я писать этих записок.

Пришел Усманов. С брезентового плаща на пол струилась вода.

— О, Надия! — радостно воскликнул он. — Салям!

— Здравствуй, Ахан-ата, — улыбнулась Надежда. — Как здоровье Кыз-гюль? Твое приглашение еще в силе?

Усманов просиял.

— Твоя говорил правда?

Волнуясь, Усманов путал слова, бегал от окна к окну, что-то бормотал про небо, которое расплакалось потому, что ему, должно быть, горько расставаться с летом, ведь летом они — земля и небо — объясняются друг другу в любви, а осень — время разлук и печалей... Но он, Усманов, проведет дорогую гостью такой дорогой, где на нее не упадет ни одной грустинки... Он говорил, бросая красноречивые взгляды на зонтик секретарши, и та наконец не выдержала, прыснула в кулачок и сказала, что Усманов не только настоящий поэт, о чем он и сам не догадывается, но еще и большой хитрец.

Они шли узенькой улочкой, минуя мокрые живые изгороди и потемневшие дувалы, дождь звонко барабанил по зонтику, шелестел в кронах карагачей. Усманов, где только и слова брались, тарахтел и тарахтел, и о чем бы ни заводил речь, получалось у него так, что все в этом мире, даже война, а может быть прежде всего война, касается судьбы Кыз-гюль.

Надежда мысленно улыбнулась, а Усманов, будто уловив ее улыбку, вдруг замолчал, и только когда зашли в маленький дворик, где среди ветвистых шелковиц приютилась глинобитная хатенка, вздохнул и произнес:

— Как будут жить они?

Надежде вдруг открылась великая правда его слов. Действительно, как будут жить после войны они — Кыз-гюль, Павлик, Михась — все малаховские гаврошенята? И то, что казалось ей наивной болтовней говорливого старика, наполнилось вмиг мудрым смыслом. В ее памяти встало село под Курском, седой мальчишка с безумными глазами, глухой голос капитана: «Расскажите всем, пусть знают...» — и она поняла, что именно это навеки врезалось в память Усманова. И взглянула на него так, будто хотела увидеть или услышать подтверждение своей догадки.

Кыз-гюль была тоненькая, как былинка, и голосок у нее тоже тоненький, ну прямо не настоящий. Таким голоском произносят «мама» фабричные куклы, когда дети переворачивают их, укладывая спать.

Кыз-гюль не знала слова «мама», хотя и была в этом доме полноправной хозяйкой. Во взглядах, какими внучка обменивалась с дедом, Надежда угадывала молчаливый разговор: «Так ли я делаю, ата?» — «Все хорошо, моя веточка, все правильно». И Кыз-гюль совсем по-взрослому беспокоилась, переживала из-за того, что на столе не так уж густо, она ведь не ожидала гостей.

После ужина Усманов запел. Он сидел на ковре, подобрав под себя ноги, раскачиваясь в такт песни. Кызгюль слушала, опершись подбородком на кулачок, в ее коричневых, как спелые маслины, глазах вспыхивали хрупкие искорки. Усманов пел долго, а когда смолк, закрыл глаза и задумался.

— Я слышала песни Джамбула, — нарушила молчание Надежда. — Правда, по радио.

Усманов заворочался, поцокал языком.

— О, Джамбул! Великий акын... Давно это был. Степи и горы прислал сто сорок акынов на той [1]. Джамбул запел — ветер утих, барханы остановились, орел ягненка уронил. И сказал тогда акыны: «Когда солнце восходит, звезда не видно. Мы не станем вступать с тобой в спор, Джамбул!»

В стекла стучался дождь. Сумерки окутали хату, тенями легли на морщинистое лицо Усманова. Надежда вздохнула.

— Задождило. Ни конца ни краю.

— А я знаю стихи про дождь, — сказала Кыз-гюль. — Только они грустные-прегрустные, сразу плакать хочется...

— Ах ты ж, моя доченька! Зачем же плакать?

Надежда прижала к себе Кыз-гюль, сердце ее заныло от жалости к девочке, которая росла, не ведая материнской ласки.

Ночью Надежде приснилась степь, изрытая, как оспою, ямами. Из этих ям выскакивали солдаты в зеленых мундирах и тянули длинные руки к Кыз-гюль. А она стояла неподвижно, крепко зажмурив глаза, низко над нею плыли черные тучи. Но вдруг все развеялось, вынырнуло солнце, залило, преобразило ярким светом степь, защебетали птицы...

Птицы щебетали за окном, на шелковицах, не во сне привидевшиеся, а живые воробьи, и солнце било в окно косым слепящим лучом, примостившись на дувале, тоже будто птица, огромная, огненная, готовая вот-вот взлететь. А не взлетала лишь потому, что боялась зацепить крылом хрупкое создание, которое сидело рядом, на ограде, пронизанное насквозь лучами, и протирало кулачками заспанные глаза.

---

[1] Состязание акынов.

— Кыз-гюль!

Хрупкое создание обернулось на зов девочкой в белом платьице, а птица, будто только и ждавшая этого мгновения, оторвалась наконец от дувала и поплыла-покатилась за шелковицы в величавом, неспешном полете юным утренним солнцем.

— Ох, и заспалась же я, — сказала Надежда, направляясь к висящему на столбе рукомойнику. — А где Ахан-ата?

— Не знаю... Правда, что солнце больше земли?

— Правда.

— Такое большое, а летает. — Кыз-гюль вздохнула. — Я тоже во сне летаю, так хорошо, выше хаты. А когда проснусь, машу-машу руками и — ни с места.

— Это ты растешь, когда-то и я летала. Было то давным-давно, в раннем детстве...

Пришел забрызганный грязью Усманов, сверкнул лучистыми горошинами из прикрытых бровями щелочек.

— Дождь нет, солнце есть, машина есть, ай, карашо!

Позавтракали.

Надежда поцеловала смуглое личико Кыз-гюль, сунула ей в ладошку сережки.

— Возьми, доченька. Может, когда-нибудь вспомнишь тетю Надю.

— Ой...

Сережки — красные яхонты, будто вишенки — достались Надежде от матери, сняла их лишь в день смерти Корнея, берегла как память о молодости, о любви. Может, принесут они теперь радость иной юности, когда расцветет она, когда сердце распахнется навстречу счастью, солнцу. «Такое большое, а летает...»

Машина ревела на ухабах, из-под колес летела грязь; над горизонтом сверкал крыльями самолет, отсюда, издали, он был похож на чайку.

«Ну, кто она мне? Ведь мы чужие люди, — думала Надежда. — Как свела судьба, так и разлучила, небось и не встретимся больше. Почему же так тоскливо на сердце?»

— Говорят, ситец привезли, — нарушил молчание шофер. — Здорово, а? Фабрики все на сукно нажимали, а тут, значит, ситец... Выходит, войне скоро конец?

Надежда была поражена: люди умеют видеть связь между ситцем и войной, выискивая и в скудной жизни нынешней приметы к добрым переменам.

2

Для командира эсэсовского караульного полка, штаб которого с недавней поры разместился в магистрате городка Комбле-о-Пон, штандартенфюрера Франца Энке наступили невеселые дни.

Не успел он отправить в Брюссель донесение о диверсиях в Ремушане и Лёрсе, как позвонил адъютант правителя Бельгии генерала Фалькенхаузена и от имени шефа выразил недовольство по поводу участившихся пожаров на лесопильных заводах провинции Льеж. Арденны были основным поставщиком крепильного леса на угольные шахты Лимбурга, Льежа и Кампины.

Францу Энке очень хотелось спросить, как они там, в Брюсселе, представляют себе охрану лесопилен, разбросанных по горным плато. В конце концов, охрана этих паршивых заводиков не его забота, а местной жандармерии. Но все эти возражения остались невысказанными. По телефону тоже нужно уметь разговаривать. Отчитает шеф и успокоится. У Энке своих дел по горло.

А тут еще убийство Жаклин Бодо. Прибыл следователь из Льежа. Нагловатый, въедливый. Намного ниже чином, а ведет себя по-хамски, к каждому слову придирается. Энке решил положить конец этим унизительным допросам и придумал себе инспекционную поездку по железнодорожной магистрали.

В своем извечном стремлении к морю реки выбирают самый удобный путь для спокойного течения, нисколько не заботясь о том, что через них придется кому-то ходить, переезжать. Река и железнодорожная магистраль — два непримиримых врага. К тому же мосты надлежит беречь от паводков и диверсий.

Родившись в Высоких Арденнах, Урт и Амблев сначала раздельно, каждый сам по себе, будто соревнуясь, выписывают в горах хитроумные вензеля, а встретившись в Комбле-о-Поне, продолжают эту совместную игру до слияния с Маасом в окрестностях Льежа. Долины узкие, скалы то с левой, то с правой стороны подступают впритык к воде, создавая преграды стальным ниткам одна хитроумнее другой.

Франц Энке стоял в своем кабинете возле карты и хмуро думал о том, что для охраны всех объектов по условиям военного времени потребуется не один полк... Когда Фалькенхаузен добивался в Берлине, чтобы в Арденны перебросили несколько батальонов СС, имелось

в виду, что отборное войско это будет заниматься партизанами, а не караульной службой на мостах.

В первые же дни прибытия в Арденны Энке удалось обложить отряд Селя, размещенный в селении Аукс-Тур. Партизаны привыкли к покою в здешних местах. Дала себя знать беспечность: не выставили сторожевые посты!

О расположении отряда донесла Жаклин Бодо. Но тогда Энке ничего не знал об этой пронырливой даме. Впрочем, кто знает ее настоящее имя? Ему просто позвонили из Льежа и дали задание, указав место и время. Он удивился такой осведомленности, но тут же отправил в Аукс-Тур усиленную штурмовую группу.

Лишь часть партизан приняла бой. Отряд рассеялся в горах. Сель погиб. В Льеж и Брюссель полетели победные реляции. Справедливости ради следует сказать, что намюрский адвокат Сель не столько воевал, сколько обирал фермеров, посылал лазутчиков в магазины и на почтамты, мотивируя это необходимостью пополнения партийной кассы. В какой партии он состоял сам и состоял ли вообще, выяснить не удалось.

Франц Энке мог бы торжествовать, но дальнейшие события развеяли впечатление от его первого успеха.

Выяснилось, что партизанских отрядов в Арденнах много, не сразу и определишь, сколько именно. Действовали они всяк на свой манер и далеко не так, как люди из отряда Селя.

Наибольшую опасность представляли вооруженные формирования, руководимые коммунистами. Их тщательно подготовленные налеты на станции и мосты, на лесопильные заводы и карьеры вынуждали Энке распылять силы, метаться из конца в конец по долинам Урта и Амблева. Обещанные же егери из Ломбардии, специально обученные для облав в горах, напоролись по дороге из Италии на французских маки. Ужасали потери... Иной раз приходилось самим обороняться от нападения мелких групп, осаждавших гарнизоны. Полк постепенно утрачивал инициативу, увязал в местных сражениях. Стычкам не виделось конца. Теперь вот — мост...

Время от времени звонил телефон. Энке вызвал адъютанта и приказал все звонки переключать на начальника штаба.

— Уезжаю в Риваж! — сказал он. — При необходимости разыскивайте меня там, или же в Пульсойере, либо в Эсню.

Адъютант поднял брови.

— Могу ли я понимать ваши слова так, что я остаюсь здесь, штандартенфюрер?

Энке небрежно кивнул. Франтоватого адъютанта он невзлюбил еще в Париже, где служил до назначения на должность командира карательного полка.

Случилось так, что однажды он застал адъютанта в своем кабинете за столом с выдвинутым ящиком... Именно в этом ящике лежали кроме писем личные бумаги штандартенфюрера, и, хотя адъютант извинился, пояснив, что разыскивает служебную инструкцию, которую сегодня утром лично принес шефу, Энке лишь сделал вид, что поверил ему. С того дня его никогда не покидала мысль, что этот холеный молодчик с модными парижскими усиками — осведомитель СД. «Впрочем, на такой слежке стояла и стоять будет служба госбезопасности, — подумал он тогда, пересиливая гнев на адъютанта. — Это даже хорошо, буду теперь знать, кто моя тень в полку».

Энке на скорую руку пообедал и приказал подать черный «опель», которому он отдавал предпочтение перед всеми остальными штабными машинами за его мощный шестицилиндровый мотор.

Через несколько минут Энке был уже в пути на Риваж. Впереди и сзади «опеля», держась на нужном расстоянии, чтобы не столкнуться на бесчисленных поворотах, ехала охрана на «цундапах».

В Риваже Энке не задержался. Прихватив с собой начальника гарнизона штурмбанфюрера Гейнца, он отправился проверить посты у моста, по которому как раз в это время проходил длинный состав с люксембургской рудою. Мост этот партизаны уже взрывали однажды. Правда, не совсем удачно — основные опоры остались неповрежденными, и спешно вызванный из Голландии саперный батальон вскорости восстановил его. «Репетиция для тех и других», — пытались острить в штабе. Расследование пришло к выводу, что паровозная бригада к диверсии в Риваже непричастна.

Теперь мост охранялся. Штандартенфюрер не поленился лично обойти посты, приказал объявить тревогу и остался доволен действиями подразделения охраны.

Поздно вечером черный «опель» прибыл в Пульсойер. Недавно Энке разговаривал по телефону с начальником здешнего гарнизона гауптштурмфюрером Зильбером. Тот доложил, что на правом берегу напротив моста воз-

веден блокгауз и, как только подсохнет бетон, там будут установлены пулеметы для кругового обстрела.

— А на левом? — спросил Энке.

— На левом? — удивился Зильбер. — Но здесь же станция, гарнизон...

— Береженого и бог бережет, — раздумчиво напомнил Энке. — Надежная огневая точка никогда не бывает лишней. А у вас все под рукой для сооружения бункера: каменоломня, местное население...

— Господин штандартенфюрер, на чем возить камни и бетон?.. Вы приказали отправить все машины в Ремушан.

— Ничего не хочу знать! — повысил голос Энке. — Пусть перевозят на тачках, черт возьми, носят на руках. Что вы цацкаетесь с этими валлонами?! Пусть молятся на Лондон, а работают на Германию.

— Слушаюсь, господин штандартенфюрер. Позвольте лишь напомнить, чтобы прислали чертежи. Первый блокгауз строили на глазок. Нашелся тут фронтовик...

Энке подумал тогда, что начальство могло бы побеспокоиться если не о саперах, то по крайней мере о знающем дело инженере. Вслух сказал:

— Завозите материалы. После посмотрим.

Теперь у Энке была возможность лично убедиться, как выполняется приказ, но густой туман над Пульсойером и бутылка мартеля на столе Зильбера склонили его к мысли отложить осмотр на утро.

Зильбер облегченно вздохнул. В первый день своего пребывания на станции он потерял трех солдат из команды, и хотя в рапорте доложил, что в ночной стычке погиб некто по имени Жан, один из руководителей партизанского подполья — именно такие слухи ходили среди населения, — подтвердить эту версию документами не мог. Тело этого Жана тоже не нашли, и в штабе полка к рапорту Зильбера отнеслись с недоверием. Вот почему приезд штандартенфюрера не на шутку встревожил его.

Они сидели в хорошо обставленной гостиной дома владельца доломитного карьера Маренна, которого Зильбер «попросил» переселиться на первый полуподвальный этаж. Тучный Энке как только сел в кресло, тут же утонул в нем — кожаное сиденье под его грузным телом бесшумно опустилось, едва не коснувшись пола. Чисто выбритая голова Энке отражала приглушенный свет. Рядом с тучным штандартенфюрером Зильбер выглядел аскетом.

За коньяком Зильбер осмелел. Пожаловался, что мобилизованные каменщики ничего не смыслят в военном строительстве. Возведенный ими блокгауз напоминает больше стойло для першеронов, а не дот с бойницами.

— Фауль ди банде![1] — брезгливо процедил сквозь зубы Энке.

Зильбер пожал плечами, не решаясь оспорить любимую погудку Энке, которую он применял подчас и к своим подчиненным.

— Все эти люди из окрестных карьеров, — пытался объяснить Зильбер. — Привыкли не строить, а разрушать.

— Я заговаривал с генералом про команды Тодта, — произнес Энке. — Но он почему-то заупрямился. Для Брюсселя прежде всего Атлантический вал, все остальное мелочи!

Энке подумал, что не следовало бы говорить о своих разногласиях с генералом Зильберу, хотя тот был его земляком.

— Я не штандартенфюрер СС, а брандмайор, — раздраженно продолжал Энке, уставившись куда-то в стену повыше рюмки, слегка вздрагивающей в его вытянутой руке.— Именно так: брандмайор! И мое дело теперь — ждать сигнала о пожаре и стремглав мчаться на огонь. А очаги пожара повсюду: Комбляйн, Риваж, Лёрсе, Ремушан... Полк разбросан, обученные штурмовать высоты, мы зарылись в бункера вдоль железной дороги, вокруг мостов и блокгаузов... Мы сторожа! Вам это не кажется смешным, Зильбер?

Энке стукнул кулаком по ломберному столику, бутылка упала и покатилась по полу, из ее горлышка заструилась буроватая жидкость.

— Я тоже сторонник открытого боя! — сказал Зильбер. — А здесь... Нам нужна агентура... Эй, Руди! — позвал он денщика.

— Агентура... — скривил губы штандартенфюрер. — Эти господа из Льежа, или где они там сидят... — увидев денщика, Энке умолк.

Пока солдат убирал со стола и открывал новую бутылку, Энке вспоминал: недавно из Льежа пожаловали в Комбле-о-Пон два высокопоставленных чиновника из гестапо и устроили ему чуть ли не допрос. Оказывается, убитая партизанами девица Жаклин Бодо была не просто платным соглядатаем, а протеже самого Канариса.

---

[1] Ленивая банда! *(нем.)*

Прежде утаивали о Жаклин все, не предупредив даже, где поселилась эта птичка, а теперь, видите ли, претензии: почему не уберег?

— Еще по одной? — любезно предложил Зильбер. Лицо гауптштурмфюрера раскраснелось, острый кадык над воротником мундира забегал, сопровождая каждый глоток судорожным движением. — Черт бы побрал этих французов, но коньяк у них — прима!

— Не только коньяк! — уточнил Энке, улыбаясь своим мыслям. — Вы были в Париже?

Однако поговорить о Париже они не успели...

Бой был короткий. Основные силы партизан под командованием лейтенанта Щербака просочились в Пульсойер, переправившись на левый берег на лодках напротив Совиного урочища. Высадились на пятачок, обрамленный тальником. Тем временем группа Довбыша под прикрытием ночи окружила блокгауз на подступах к железнодорожному мосту с правого берега. Раздались взрывы гранат.

...Хмель вмиг вылетел из головы штандартенфюрера Энке. Он бежал к вокзалу, на ходу застегивая пуговицы мундира. Из домов выскакивали солдаты.

Зильбер отдал приказ занять круговую оборону. Солдаты перепрыгивали через заборы, падали на булыжники мостовой.

Энке вцепился в телефон. Штаб в Комбле-о-Поне долго не отвечал. Наконец дежурный поднял трубку.

— Где вас черти носят?! — заорал Энке. — Немедленно отправьте в Пульсойер бронепоезд! Немедленно, вы слышите меня?

— Я вас понял, герр штандартенфюрер! — отозвался дежурный офицер. В трубке было слышно, как он щелкнул каблуками. — Но разрешите доложить: бронепоезд в Гамуаре, он отрезан. Там диверсия. Снова мост... Начальник штаба уже на месте происшествия...

Мясистое лицо Энке окаменело. Он выругался и швырнул трубку. К нему подскочил Зильбер.

— Какие будут приказания, господин штандартенфюрер?

— Приказания? Вы ждете моей команды?.. Пробивайтесь к блокгаузу! За мост головой... головой... — Энке задохнулся.

— А вы? Я не могу оставить своего командира! — растерянно пробормотал Зильбер.

— Идите же! — взъярился Энке. — А впрочем, вы правы, я должен находиться у себя на командном пункте. Этого требует обстановка. — Подумал: «Какого черта я перед ним оправдываюсь!»

— Машину!

Над Пульсойером вспыхнуло зарево. Загорелся только что прибывший из Риважа эшелон с сеном. Партизаны задержали состав у въезда на станцию. Поездная бригада разбежалась. Вокруг стало светло как днем.

Вдруг раздался взрыв, под ногами качнулась земля, зазвенели в окнах стекла. Застывший у дверей гауптштурмфюрер вздрогнул, губы его нервно шевельнулись.

— М-мост...

Энке скорее догадался, чем расслышал это слово. Оба они ринулись к перрону.

В воздухе кружилась оседающая копоть. Солдаты, стреляя короткими очередями, бежали к водокачке. Около приземистых пакгаузов крутился на одной гусенице бронетранспортер. Мимо подбитой машины к вокзалу спешили какие-то люди. Энке не сразу догадался, что это партизаны. Вооруженных автоматами гражданских он видел так близко впервые. Пули, ударяясь в булыжники мостовой, высекали искры. Денщик Зильбера сидел у входа в станционное здание, схватившись обеими руками за живот. Голова его клонилась все ниже.

Заскрежетал тормозами черный «опель». Энке рванул дверцу, грузно, одним броском, привалился к сиденью. Позади, заглушая близкие выстрелы, тарахтели мотоциклы охраны. Плечистый эсэсовец, сидя в коляске, суетливо разворачивал пулемет.

Энке понимал, что нельзя уезжать, не отдав хоть каких-либо осмысленных распоряжений. Нагловатый Зильбер ждал. Однако в голове командира полка было пусто, будто с первым выстрелом партизан он утратил способность мыслить и привычно командовать.

Ни Зильбер, ни Энке не имели представления о количестве партизан, о их намерениях. Впрочем, цель ясна — железнодорожный мост через Урт. Точно так же, как и там, под Гамуаром. Но почему в таком случае они рвутся к вокзалу? Может, пронюхали, что здесь находится он, Энке?

— Действуйте по обстановке! — крикнул штандартен-

фюрер, понимая всю никчемность своего распоряжения. — Я сейчас же пришлю подкрепление.

Зильбер проводил растерянным взглядом «опель» и побежал к водокачке...

Через полчаса стрельба утихла. Остатки эсэсовского гарнизона отошли по левому берегу Урта на юг. Гауптштурмфюрер Зильбер рассудил, что расплывчатый приказ Энке развязывает ему руки.

Сено на платформах догорало, но пламя перекинулось на крытые вагоны, оттуда долетал сухой, приглушенный расстоянием треск. Цыганистое лицо Щербака было черным от сажи, в горле пересохло, нестерпимо хотелось пить.

Прибежал Савдунин. За плечами подрывника болтался пустой рюкзак.

— Товарищ лейтенант!.. — начал было он, приложив пальцы к рыжему чубу, который, казалось, тоже тлел под шерстяным беретом.

— Вольно! — весело воскликнул Щербак. — Знаю... Даже здесь земля дыбом встала. Молодец, Андрюша! П-порядочек!

Савдунин бросил пустой рюкзак под ноги, засмеялся.

— Мой старшина Уразбеков когда-то говорил: рюкзак полный — курсак пустой, курсак полный — рюкзак пустой. У меня, Антон, сейчас кругом пустота. Одна кишка другой фигу показывает.

— Где Довбыш? — перебил его Щербак.

— Шурует в блокгаузе. В каждую амбразуру по гранате и — будьте счастливы на том свете. Шестеро наповал. С нашей стороны пока без потерь. Довбыша, правда, чуток зацепило...

— Чуток?

— Ну да, самую малость...

— Не темни, Андрей!

— А я и не темню, с чего ты взял? Навылет в плечо, но ведь для нашего матроса это сам знаешь...

— Говоришь, и сейчас шурует!

— Ага!

— А я здесь маху дал. Такую птицу упустил... — Щербак со злостью сплюнул. — И сигареты где-то потерял. Дай... Понимаешь, оказывается, тут сам Энке был. К сожалению, я узнал слишком поздно. Удрал, сволочь!

— Ну, и черт с ним! Попадется в другом месте. Зато

трофеи какие! Два пулемета, представляешь? И патронов куча. Жаль, мин нет...

— В горы, всё в горы! И как можно скорее! Этот Энке не простит нам своего позора. Очухается и так попрет...

— Пусть сначала очухается, — засмеялся Савдунин. — Наперчили ему одно место... Долго будет бежать. Слушай, Антон, а почему это пульсойеряне, или как их там, будто вымерли? Никто и носа из хаты не показывает.

— А ты рассчитывал, что они «ура!» кричать будут? — хмыкнул Щербак. — Рано, друже, рано аплодисменты ждать! Мы нашумели и ушли, а им жить под фашистом еще долго... С нас невелик спрос, а любого свидетеля — к стенке!

— Доживем до полной победы, Антон?

— Доживем. Если живы будем.

3

Капитан Лигостов, с которым судьба свела меня в сорок первом под Балтою, говорил так: «Идешь в атаку — забудь про все, думай только об одном: как пересилить врага. Пуля липнет к раззявам, стоит замешкаться на секунду — она и ужалит».

Сколько раз я убеждался в правоте его слов, когда в бою припекало... О самом дорогом забываешь в минуту смертельной опасности, сам превращаешься в клубок нервов, в закрученную до предела пружину, которая словно сама чувствует, когда ей еще больше сжаться, а когда распрямиться в решительном броске.

Так было и на этот раз. Я вел своих ребят в атаку и прислушивался к грохоту пулеметов и взрывам гранат на другом берегу Урта, целился в черные фигуры эсэсовцев за пристанционными строениями и мысленно торопил Савдунина. Ничего, кроме огня, напряжения нервов да еще опасения прозевать что-нибудь важное для данного момента, что могло бы изменить ситуацию, для меня не существовало.

Но вот стрельба утихла, враг отступил, оставив на поле боя трупы своих солдат и подорванный Збышеком Ксешинским бронетранспортер. С южной окраины станции возвращались, прекратив преследование врага, партизаны; кто-то прихрамывал, опираясь на плечо товарища, кто-то размахивал руками, вспоминая, как он сце-

пился врукопашную с ротенфюрером, который выпрыгнул в окно прямо ему на голову.

— И на хрена им столько фюреров? — удивлялся партизан. — То ротен, то обер, то какой-то шар... Запутаться можно. Интересно, как они сами их различают?

— Да твой ротенфюрер всего-навсего старший ефрейтор. Ха-ха-ха...

— Ну да! А я-то думал... Чего ржешь? Все равно — фюрер! Адольф тоже ведь ходил в таком звании.

Меня мучила какая-то мысль, что-то очень важное вертелось в голове, но я никак не мог понять, что именно, и вдруг... Эжени! Она же так близко — каких-нибудь пять минут, если рвануть напрямик, через колею...

«Здравствуй, Женя! Ты не испугалась, когда мы тут подняли стрельбу?»

«Я знала, что это ты. И то, что ты придешь, знала».

«Выходит, старый Рошар не забрал тебя с собою?»

«Но ведь тогда ты... ты был бы далеко».

«Значит, ты думала обо мне? Это правда?.. Женя, скажи, ты в самом деле думала обо мне?..»

Этого разговора не было. И не могло быть. Я не имел права покидать отряд, как не имел права подвергать Эжени опасности. Поэтому-то я одновременно вел два разговора: один реальный, с Андреем Савдуниным, а другой мысленный, с нею. Слова брались откуда-то сами, пожалуй, из моей мечты, а если бы кто-нибудь спросил, есть ли у меня право так разговаривать с женой погибшего друга, я не знал бы, что на это ответить.

С вокзала прибежал Иван Шульга:

— Товарищ лейтенант! Звонит комендант станции Эсню.

— Что он хочет?

— Не знаю. Ругается...

— Пошли его ко всем чертям.

— Я не умею по-ихнему...

— А ты пошли по-нашему, он поймет.

— Есть послать по-нашему! — весело козырнул Шульга. — А можно, я чуток добавлю и от себя?

— Можно, Ваня! На полную катушку! Только не очень задерживайся.

Шульга убежал. Пусть потешит душу, не часто выпадает возможность сказать фашистскому ублюдку все, что ты о нем думаешь.

Захватив трофеи, мы покинули станцию. Внизу, в до-

лине, дымился, дотлевая, эшелон, вокруг него сгущалась предрассветная темень.

«Прощай, Женя».

«Прощай, Антуан».

«Я еще приду к тебе. Приду за тобой».

«Что означает «за тобой»?»

«То же самое, что означало испокон веков».

«И уже не оставишь меня одну?»

«Никогда».

«Но ведь твой дом там, а мой здесь».

«Мы поедем на Украину. Ты и я. И твои дети. Наши сыновья».

«А что скажет твоя мать?»

«Она скажет: «Здравствуй, доченька!»

«Ты уверен, что она скажет так?»

«Именно так. Мать все поймет. Наша мать. У нее ласковое сердце».

— Товарищ лейтенант!

«Ты никогда так не называла меня».

— Товарищ лейтенант! На берегу тихо. Лодки готовы.

— А-а, это ты, Ваня? Откуда ты взялся?

— Вы же сами посылали.

— Ах да, верно, посылал. Значит, готовы, говоришь? Савдунин!

— Я!

— В первую очередь раненых и трофеи.

— Слушаюсь.

— Ксешинский!

— Я!

— Шесть бойцов в группу прикрытия. Выполняйте.

Над Уртом, над всей долиной, что изгибалась здесь, как дуга исполинского лука, холодной утренней моросью высевался туман.

Светало.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

1

— А у меня радость, — Антонина всхлипнула. — Иван письмо прислал. Как дальше у нас пойдет — н-не знаю... Хотя бы одно слово о прощении — и сразу камень с души... А он все про танки да про товарищей...

— Значит, не пришло еще к нему это слово, потерпи.

— Да уж потерплю, все вытерплю!

На уставшем лице Антонины болезненно блестели глаза, запавшие щеки занялись румянцем. Цветастое платье, то самое, в котором она приехала из Кустаная, висело на ней, будто с чужих плеч.

— Наголодалась без меня?

— Не до еды...

— Ну и дура... Ключицы вон повылазили. К приезду Ивана из тебя весь дух вылетит.

Как привезла ее Надежда из степи, трое суток ни на шаг не отходила. Ножом разжимала сцепленные зубы, поила бульоном, пичкала порошками. Приезжал из Джагытар доктор, сухощавый старичок, известный на всю область тем, что в шестнадцатом году был в отряде знаменитого тургайского сокола Амангельды Иманова.

— Эта женщина хочет умереть, — сказал он, покачав головой.

Но Антонина не умерла, возможно благодаря стараниям Надежды Щербак. На четвертый день она открыла наконец глаза.

— Зачем... спасли?

Долго еще Надежда боялась оставить Антонину одну, уходя из дома, запирала ее на ключ, пока однажды Антонина, потупив голову, не сказала:

— Не бойтесь... Не пойду я больше топиться... Страшно...

К Надежде привязалась, будто к матери. Не благодарила, не извинялась, но ловила каждое ее слово, ибо были те слова испытанные болями сердца, простые, врачующие.

— Пропаду я здесь без вас, — сказала она с грустью.

— Думай об Иване. Жди его, жди... Это большое счастье — ждать.

— Когда уезжаете?

— Завтра. С делами уже управилась... Слышала — Мелитополь взяли наши? А это же рукою подать к моим Сивачам.

Надежда не раз любовалась гусями, летящими высоко в небе. Через горы и долины в синюю даль, в края теплые... А может, и через фронт летят, им что. «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята...» Славная детская песенка. А гуси летели и летели над Карачаевкой и, должно быть, над Сивачами. Падало на землю, будто

пожелтевшие листья с тополей, их прощальное «курлы».

Надежда пошла к Махтею попросить, чтобы отковал железную розу.

— Еду домой. А там могилка Корнея... Вы же знаете.

— Ну вот, не хватало мне еще и на Украине кладбищенской славы.

Но все же принес старик розу. Была она из двух бутонов: один — полураскрытый, другой — еще в завязи, а на черенке и листья, и колючки — ну, прямо тебе живая, настоящая!

— Вот... Себе ковал.

— Себе? Неужели и вы о смерти думаете?

Махтей подергал черную бороду, сердито кашлянул.

— А кто же о ней не думает? Только не из боязни все это. Не смерть страшна — думы о ней. А так — все по природе: и жизнь, и смерть.

...День выдался солнечный, хотя и холодный. Антонина пекла хлеб. В хате от пышущей жаром печи было душно.

И хотя на проводы пришло немного людей — Махтей с бабкой Ивгой, Стефка с мужем и Цыганков, — стол все же пришлось выдвигать из красного угла на середину избы.

Надежда — в сиреневом платье с короткими рукавами, в шелковой косынке, — выпив рюмку вина, раскраснелась.

Махтей водил по сторонам синими белками глазищ, гудел:

— Эх, Егоровна! И куда только мужики смотрят?! Не будь со мной рядом моей верной бабы-яги, не отпустил бы я тебя из Карачаевки, ни за что бы такую птаху из клетки не выпустил.

Махтеиха возмущенно замахала руками.

— Цыц, дед. Не то — бороду повыдергиваю!

— Да какой же я дед! — зашелся смехом Махтей. — Я около-дед. Разве в бороду уходит мужская сила?..

— Тьфу на тебя! — уже совсем озлясь, расходилась старая Ивга. Ее полные щеки округлились, будто дыни. — Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.

Надежда от этих слов смутилась и тайком посмотрела на Цыганкова. Тот сосредоточенно ковырялся вилкой в тарелке с квашеной капустой.

Выручил Станислав. Он извлек из кармана сопилку, подморгнул Стефке.

За горою
За крутою
Всходит ясная заря.
Ах, пленила
Полонина
Молодого овчара.

Голос у Стефки не бог весть какой, но когда он слился с нежной трелью дудочки, в хате сразу стало тихо, Махтей и тот склонил на грудь лохматую голову, заслушался. Он пыжился даже подпеть, но бабка Ивга, еще не остыв от перепалки, опять шумнула:

— Только тебя здесь и не хватало!

Так и сидели под песней, пока Юрась не подогнал к калитке подводу.

— Ну, вот и наступил час расставания, — с грустью сказал Цыганков. — Сколько врагов ты нажила здесь, у нас, за два года, Надежда Егоровна?.. Не знаешь? А я знаю — ни одного!.. А сколько друзей?.. Да все, кто тебя знает, — твои друзья! Вот и выходит, что хороший ты человек, Надежда. Очень жаль, конечно, тебя отпускать, да что поделаешь — надо. Ну, а если же глянуть пошире, не с карачаевской колокольни, то не грустить нужно, а радоваться. Недавно проводили домой донбассовцев, ты едешь уже дальше, на Херсонщину, а там, глядишь, и эта молодежь полетит на свою полонину. Давайте же выпьем за счастливое возвращение домой мужей и жен, отцов и сынoвей, братьев и сестер. За полную победу над проклятым Гитлером!..

— Ой, как хорошо вы сказали, Андрей Иванович! — вскрикнула Стефка. — Дайте я вас за это расцелую. Ну-ка, дударик, отвернись, кому говорю!

— Да, грех не выпить за такие слова, — загудел, поднимаясь, Махтей. — Налей-ка, женушка, сколько не пожалеешь. А я посмотрю, какая ты у меня щедрая.

Надежде захотелось подойти к Цыганкову и сказать ему что-нибудь ласковое, чтобы посветлели его глаза, которых она так упорно до сих пор избегала. И возможно, осмелилась бы, подошла, но он сам шагнул к ней, тихо спросил:

— Можно, я отвезу тебя на станцию?

Надежда молчала.

— Чего молчишь — боишься?

Нет, не его боялась Надежда — себя. Показалось ей в тот миг, будто в доме, кроме ее самой и его, нет больше ни души.

А потом, когда дроги выкатились на Бугрыньскую дорогу, когда исчезла вдали Карачаевка и они в самом деле остались с глазу на глаз, каждый из них ждал первого слова, а оно не рождалось почему-то.

Тем временем кони бежали и бежали, пока не привезли их, таких молчаливых, к вокзалу.

Челябинский поезд уже стоял на перроне. Цыганков сходил за билетом, и только тогда пришли наконец долгожданные слова.

— Сколько нам с тобою лет, Надя? — спросил он.

Надежда поняла и его слова, и все, что таилось за ними.

— По семнадцать, — сказала она, и вдруг какая-то неведомая сила бросила ее к нему. — Прости, прости меня...

Губы Цыганкова были обветренные, жесткие, а слезы Надежды соленые...

2

Сто двадцать партизан, скорбно склонив головы, полукругом обступили только что вырытые могилы. В лесу бушевал холодный ветер, гнал на север рваные тучи. Пахло свежеструганными сосновыми досками.

Шесть гробов стояло на краю свежих могил, шесть бойцов, товарищей по оружию, лежали в них неестественно белые, словно загримированные под цвет досок, и первый — Жозеф Дюрер, человек, которого знали все Арденны. В густых, кустистых бровях партизанского командира запуталась желтая былинка с привядшим цветком — последний дар бельгийской земли.

Смерть Дюрера свалилась на Антона Щербака неожиданно, как гром среди ясного неба.

Он привел свою группу на базу, радуясь наперед, как доложит Жозефу о разгроме эсэсовского гарнизона, об уничтожении моста и блокгауза, о трофеях. Однако докладывать было некому.

В ту ночь, когда Щербак силами интернациональной роты атаковал станцию Пульсойер, Жозеф Дюрер возглавил диверсионную операцию под Гамуаром. И здесь все удалось нападающим, партизаны уже поднимались к себе в горы, когда с левого берега, из-за моста, по ним ударили орудия бронепоезда...

Вышло так, что лейтенанту Щербаку пришлось самому принимать доклад от Фернана, если можно назвать это докладом. Фернан плакал, размазывая рукавом сле-

зы на небритых щеках, и Антону пришлось понервничать, успокаивая друга, пока услышал от него подробности...

— Прощай, ами, — тихо молвил Антон.

Шесть рыжеватых холмиков, обложенных дерном, поднялись рядком на опушке, шесть столбиков с выжженными раскаленным штыком именами прибавилось к двум прежним, вкопанным раньше, успевшим пожелтеть от солнца и ветров.

Эхо прощального салюта скатилось по горам в каньон, взметнулись в испуге над вершинами деревьев вороньи стаи.

...На базу партизаны возвращались напрямик через лес. Под ногами мягко шуршала сухая хвоя, трещал хворост. В кустах свистели дрозды.

Щербак догнал Довбыша, дотронулся до его раненого плеча:

— У Мишустина был?

— А, пустое...

— Это он так сказал?

За частоколом деревьев блеснуло болото. Партизаны один за другим ступили на кладь, вышли на остров.

— Не нравится мне настроение ребят, повесили носы, — проворчал Довбыш. — Бери-ка ты, лейтенант, вожжи в свои руки. Ты же заместитель у Жозефа...

— Одно дело заместитель, другое — командир, — после некоторого молчания произнес Щербак.

— Не вижу более подходящей кандидатуры.

— Надо обо всем доложить Центру, да вот послать к Люну некого. Нам с тобой появляться там сейчас нельзя.

Холодный ветер ерошил поверхность озера мелкой рябью. Начал накрапывать дождь. Щербак, поколебавшись, открыл двери командирского барака. В нем было все на месте, словно в ожидании хозяина. На столе лежала карта провинции Льеж, на карте — разноцветные карандаши и миллиметровая линейка. Казалось, даже овечья шкура на топчане еще хранит тепло тела Дюрера.

Щербак вздохнул.

— Давай-ка, матрос, думать, как жить дальше.

— Кликнуть Фернана?

— Нет, Фернана потом. Сначала позовем Балю.

Когда в дверях появилась тучная фигура Балю, Щербак поднялся навстречу:

— Салют, Франсуа! Помните нашу первую встречу на Лысой горе?

Широкое лицо Балю расплылось в смущенной улыбке.

— Не очень приятная была встреча.

— Да чего уж там. Вы же нас с Фернаном вином угощали.

— Верно, угощал... А сам думал: принесла их нелегкая на мою голову!

— Теперь, надеюсь, думаете иначе? Я слышал, вы служили в штабе.

— Две недели. Помначштаба одиннадцатого отдельного батальона. С четырнадцатого по двадцать восьмое мая тысяча девятьсот сорокового года.

— А потом?

— Потом армия сложила оружие и батальон перестал существовать.

— А офицер королевских войск Франсуа Балю?

Балю пожал плечами. Щербак посмотрел на Довбыша: что ты, мол, на это скажешь? Но Егор молчал, он еще не взял в толк, к чему весь этот разговор.

— Так вот, лейтенант Балю, берите бумагу и карандаш. Я продиктую, а вы запишете. Потом оформите это как приказ. Пусть это будет приказ номер один по партизанскому отряду «Урт-Амблев». Суть его такова: я, лейтенант Щербак, в связи со сложившимися обстоятельствами, временно, до получения распоряжения Центра, приступаю к командованию отрядом. Записали?.. Теперь дальше. Начальником штаба назначаю лейтенанта Балю.

Рука Балю вздрогнула.

— Меня? Но вы... вы же меня не знаете! Вы коммунист, а я социалист. Считаю своей обязанностью поставить вас в известность.

Щербак улыбнулся.

— Ну и что? До сих пор нам это не мешало воевать вместе против оккупантов. Разве не так? Пометьте себе дальше: на базе отряда формируются две боевые роты. Командир первой — Довбыш, командир второй — Ксешинский. Начальник разведки — Фернан. Хозяйственный взвод возглавит Марше, начальник медсанчасти — Мишустин. Подумайте, кому сколько надо выделить людей. Ну и все прочие формальности, вы ведь знаете, как это делается.

Окончив диктовать содержание будущего приказа, Щербак подошел к столу.

— Есть ли у начальника штаба какие-либо возражения, вопросы?

Балю оторопело переводил взгляд то на бумагу, то на Щербака.

— Возражений нет, — проговорил он наконец. — Хочу лишь повторить: для меня лично мое назначение является полной неожиданностью. И еще одно: полагалось бы позаботиться о караульной службе. Думаю, для охраны необходим специальный взвод.

— Вот теперь я вижу, что у нас есть настоящий начальник штаба, — улыбнулся Щербак. — Только не разбросайте мне строевых людей по вспомогательным службам. Главное — боевые роты. Утром зачитаете приказ перед строем отряда. Штаб, если вы не против, разместим здесь... Ну, вот, кажется, и все.

Балю поднялся, старательно сложил вчетверо лист бумаги, сунул его в карман. Вид у него был все еще растерянный.

— Значит, я пошел... за вещами?

— Идите.

Довбыш едва дождался, пока за квадратной спиной Балю закроется дверь.

— Не подложит ли он нам свинью? Не рубишь ли ты, Антон, с плеча?

— Кривую линию гнуть не дадим. А начштаба из него получится. У нас с тобой головы горячие, а он человек осторожный...

— Осторожный или трус?

— Я сам прежде так думал. Но в Ремушане он за чужую спину не прятался. Так сказал мне Фернан, а его в симпатиях к Балю не приходится подозревать.

— С приказом номер один у тебя получилось здорово, — сказал Довбыш. — Я даже рот раскрыл. Но смотри, не стань бюрократом. Начнешь строчить всякие бумажки...

— Постараюсь. Теперь слушай приказ номер два: командиру первой роты Егору Довбышу ежедневно ходить на перевязку. Если пожалуется Мишустин — спуску не дам, не посмотрю, что друг.

— Круто забираешь, мсье комендант,— хохотнул Довбыш и лукаво повел глазами.— Ладно, у тебя приказ, у меня — просьба: возьми в адъютанты Ваню Шульгу. Парень молодой, проворный, и вообще...

Щербак вспомнил, как Иван просил разрешения «до-

бавить чуток и от себя» коменданту станции Эсню. Чем-то был он похож на Василька. Своей молодостью?

— Сбегай, Егор, за Фернаном... Я буду ждать его на берегу. Балю об этом пока еще говорить не следует. Хотя он отныне и начальник штаба...

Вечером того же дня после длительного разговора с Щербаком Фернан покинул партизанскую базу, намереваясь до рассвета прибыть в Шанкс.

3

Черные круги плывут в закрытых глазах, сцепляются один с другим, мельтешат неожиданно красными точками, хотя на дворе глубокая ночь и в единственное окно барака не проникает ни капли света. Через стол напротив сопит Франсуа Балю, широкие ноздри начальника штаба раздуваются, как хорошо загерметизированный насос; ближе к дверям чмокает губами во сне Шульга, я словно вижу его по-девичьи припухлый, раскрытый в улыбке рот.

Мне не спится. Слишком много событий произошло в моей жизни за последние дни. Легко сказать: я, Антон Щербак — командир партизанского отряда. Не так просто заменить погибшего Дюрера, который был здесь поистине отцом, непререкаемым авторитетом для молодых и пожилых. Каждое слово Дюрера было законом для партизан, ему не решались перечить и самые строптивые. За командиром шли без колебаний.

Хотя Жозеф был человеком сугубо гражданским, он словно родился для схваток, в нем чувствовалась рука настоящего воина. В отряде бельгийцы и русские, французы и украинцы, поляк, трое голландцев, есть даже немец — фольксдойч из Комбле-о-Пона. Отряд похож на интернациональную бригаду. Когда-то в подобной бригаде Люн сражался с франкистскими фалангистами. Жозефу Дюреру партизаны верили. А мне? Поверят ли мне?

Меня поддерживает сознание того, что я — советский офицер. Один из тех, на кого теперь с надеждой смотрит Европа... Я полномочный представитель Красной Армии здесь, в Арденнах, и буду им, пока не упаду, как Василек, как Симон, как Николай или — Жозеф...

Мама, ты слышишь меня? Если бы кто знал, как я часто разговариваю с тобой, наверняка посмеялся бы над

моей привычкой. И зря. Ведь ты для меня не просто женщина, которая подарила мне жизнь, ты значительно больше, несравнимо больше! Ты все, что есть дорогого у меня, ради чего я живу, во что верю и чему присягаю на верность. Это и ты сама, моя ласковая, мудрая мать, и наша хата с голубями на крыше, и безмерно щедрая, родная земля, и старенькая отцовская буденовка — теперь она уже не сползла бы мне на глаза, как тогда, — помнишь? — и все, что было у меня и еще будет, все-все...

Если суждено мне встретиться с тобой, я, быть может, и не смогу, не сумею высказать всего словами, что говорю и говорю мысленно тебе сейчас... Я просто упаду к твоим ногам...

Здесь у нас вот-вот блеснет рассвет. А там, над тобой, уже светит солнце. Оно придет сюда от тебя, мама. Помнишь, у Шевченко: «Сонце йде і за собою день веде»?..

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

1

Где-то далеко, наверное у Перекопа, тяжело вздыхали пушки. Дрожал густой и сизый от осеннего тумана воздух, призрачным облачком над низиной повисли метелки камыша. Вдоль разбитой дороги стояли жилистые акации, ветер позванивал жухлыми гроздьями перезревших стручков.

Солдаты шли утомленные, неразговорчивые, скрипели колеса обозов, рычали тягачи. Их обгоняли вертлявые командирские «виллисы». Голова колонны уже вытянулась за околицу Сивачей и круто свернула влево на широкий Чумацкий шлях, а хвост ее все еще терялся в лабиринте кривых улиц.

До глаз закутанные в платки девчата стыдливо ловили взгляды молоденьких красноармейцев, а женщины жадно всматривались в лица бойцов и, наивно полагая, что в армии все знают друг друга, как в деревне, спрашивали проходивших воинов о своих мужьях и сыновьях...

— Надька!.. Побей меня бог, Надька...

— Кыля! Подруженька моя.

— Надька!.. Ой, задушишь, бес тебя побери! Откуда ты взялась?

— Да красноармейцы, спасибо им, подвезли! Не брали, не брали, а когда сказала, что домой спешу, еду из эвакуации, сразу смилостивились.

— Такая радость, кума! Вчера Федя письмо прислал, а сегодня вот ты...

— Федя?.. Дай же я тебя еще раз поцелую, на счастье. Где же он, твой Федя?

— А кто же его знает — полевая почта... Орденов, пишет, груди не хватает. А я, кума, чего только не передумала. Ведь два года ни слуху ни духу... Ты смотри! Тот самый чемодан?

— Тот самый, Кыля, бессменный...

Так они и говорили друг другу, задыхаясь от собственных слов, вперемежку о важном и о мелочах, потому что в ту минуту, освещенную радостью встречи, для них не существовало мелочей, все было значительным и каждое слово находило в душе отклик.

Тем временем из-за развалин маслобойни, что была перед войной гордостью села, показался хвост солдатской колонны в окружении крикливой детворы. Мальчишки прыгали перед бойцами, как воробьи, просили на память звездочку. Самый старший из ребятишек пристроился к солдатам и зашагал вместе с ними, стараясь идти в ногу. Солдаты смеялись...

Проскакал на коне молодцеватый офицер.

— Подтяни-и-ись!

— Идут соколики. Вот так и Федя мой... А куда идут?

— На Крым. Слышишь, как там громыхает?

— Чтоб его холера взяла, басурмана проклятого! Натерпелись мы тут, кума, от немчуры, ох и натерпелись... Когда наши пришли, каждого солдатика обцеловали. Тут такое творилось!..

— Как там хата моя? Стоит?

— Ты еще и дома не была? Цела, цела хата. Только сбежали эти басурманы — я ее на замочек. Чувствовало мое сердце, прибьешься ты к дому...

Несказанно много вмещает в себя один человеческий взгляд: давно не беленную, в дождевых подтеках, хату с почерневшей трубой над черепичной крышей, желтые пеньки среди истоптанного бурьяна, где раньше был вишневый сад, замшелый сруб колодца и пузатую кадку с поржавевшими обручами возле него, одинокую грушу

у забора, где маленький Антошка любил собирать грибы, — все это и бездну других мелочей отразил в глазах мгновенный сполох, как бывает во время грозы, в воробьиную ночь, когда небесный огонь выхватывает из мрака знакомые контуры, очень четкие и в то же время призрачные.

Она лежала, разбросав руки между опавших стеблей лебеды, вдыхая терпкий запах листвы, рассыпчатой земли и еще чего-то необъяснимого, что заполнило грудь дурманящей, щемящей болью. Где-то там, в недрах влажной земли, пульсировали невидимые токи, колотилось полное печали и радости сердце. Одно на двоих. Земля жила, что-то шептала ей, поздравляла с возвращением домой, а возможно, и жаловалась. В голове звенело тихой одинокой струной, качалось и плыло, плыло...

— Вставай, кума, с сырой землей мы еще на том свете сколько твоя душа желает наобнимаемся.

— Где же вишни, Кыля? Они снились мне...

— Вырубили твои деревца проклятые фашисты. Они людей не щадили, что им вишни.

Будто во сне переступила Надежда порог родной хаты, беспомощно оперлась плечом на облупившуюся притолоку. Из сеней дохнуло холодом и сыростью. Двери в горницу были полуоткрыты — крашеная лавка от окна до окна да тисненный медью комод, случайно когда-то купленный Корнеем на ярмарке, — вот и вся мебель. «Господский, — хвалился Корней. — Вон сколько на нем забавок!» Земляной пол истоптан, изрыт каблуками, у печи какие-то лохмотья.

«И это моя хата? — подумала с ужасом Надежда. — И они здесь топтались, ели, пили, смеялись?.. Нет, не может быть, чтобы смеялись. Смеяться умеют люди, а зверю не дано».

У спальни сохранился обжитой вид. Платяной шкаф, над этажеркой овальное зеркало с трещинкой на краю, старенький коврик с затертым до неузнаваемости узором на стене над кроватью. И сама кровать под боковым окном. Постель разобрана, как будто Надежда только что спала в ней и поленилась убрать.

— Был тут один. Плешивый такой, весь в крестах, — сказала Кылына. — Свирепый, как бешеная собака.

— Какой плешивый? — Надежда думала о своем. И вдруг ужаснулась: — Он что — спал здесь? Да как же это? Сожгу, все сожгу, чтоб и духом его не пахло!

— Чистенькой хочешь быть? — сказала Кылына. — Конечно, ты была там, в Казахстане, к тебе ничего не прилипло. Это нам, грешным, не отмыться, не отмолиться.

— Кыля...

Женщины обнялись, прижались друг к другу щеками, притихли.

— Не хотела я, Кыля. Не гневайся... Уйдем отсюда, душно здесь.

Солдатская колонна уже исчезла за селом, оседала пыль. Улица вытянулась вдоль балки по-осеннему сиротливая. Хаты, такие знакомые взгляду, то выбегали на край дороги, то прятались в огородах, и было в них что-то новое, безрадостное, тяжелая печать страданий и запустения лежала на окнах и карнизах. В окнах пятнами желтела вместо стекол фанера. Будто птица с перебитым крылом, торчал на холме полуразрушенный ветряк.

— И что же это делается на свете? — тихо произнесла Надежда. — Ехала сюда, насмотрелась на пожарища, на развалины... Истоптал, изувечил нашу землю Гитлер. А как жили мы, Кыля, до войны, как жили! Зависть взяла его, проклятого... — Надежда всхлипнула. — Не дождусь я, видать, весточки от Антона. То верю в нее, то не верю.

— Слезливая ты стала, Надька! Раньше, бывало, не разжалобишь тебя — не любила мокроглазых. Может, он не знал, где тебя искать, и теперь сюда напишет? Как Федя мой... И Никифоров сынок недавно объявился. Неподалеку проходила его часть, отпустили на день. Такой парень! Сама видела. Кому что суждено...

Голос Кылыны был таким спокойным и уверенным, что у Надежды вдруг отлегло от сердца, ей стало радостно, будто это не Никифоров сын объявился, а ее Антон. Едва ль не впервые за этот день отошла от груди щемящая боль, и все, что до сих пор казалось разрушенным, безвозвратно потерянным, обернулось вдруг к ней светлой стороной, будто она разглядела зеленый побег на пне, который будет расти и расти, пока не превратится в новое дерево, стройное и красивое, как воспоминание о былом.

— Думал, затопчет нас... А не дождется! — вскрикнула вдруг Надежда и засмеялась, радуясь обновлению в душе. — Поднимемся, как верба из поломанной ветки!

По дороге к дому Кылыны Надежда кланялась одно-

сельчанам и вся светилась от счастья при встрече с знакомыми лицами, пока Кылына не дернула ее за рукав:

— Что же ты отбиваешь поклоны, как заводная! Да ты знаешь, с кем сейчас поздоровалась?

— Уж кого-кого, а кривого Карпуху помню! Думаешь, отшибло?

— Отстала твоя память. На целых два года. Гришка, сынок Карпухи, — полицай. Таким паном ходил здесь — не подступишься.

Надежда невольно обернулась. Карпуха подслеповато щурился вслед ей из-под замызганной ушанки.

— Гришка... Вот не думала. А где же он теперь?

— Сбежал. Кому служил, с теми и смылся. Руки его в крови. Стрелял по всякому, на кого фашист пальцем укажет.

— А как же отец, мать?

— Кто их разберет! — вздохнула Кылына. — И там горячо и здесь больно.

— Дивно для меня все это, Кыля, — задумчиво произнесла Надежда. — Дивно и непонятно. В одном селе жили, в одном колхозе работали.

— То-то и оно: война просеяла через решето, отделила зерно от половы.

Хата у Кылыны — мазанка. Собирался Федор Сахно новую поставить, уже и кирпича привез, а тут война, и пошел на фронт колхозный бригадир, первый друг и бывший ординарец буденновского комэска Корнея Щербака.

Посреди хаты стояла девушка, расчесывала косы, тонкими пальцами перебирала волосы, которые словно водопад струились по плечам, обтекали бедра. Были они, как шелк, блестящие и волнистые. Это, пожалуй, от них в хате тонко пахло фиалкой.

— Я в окошко выглядала, русу косу заплетала, — лукаво, будто сама для себя, пропела Надежда.

Серые дымчатые глаза посмотрели на вошедших раз и другой то ли удивленно, то ли изучающе, недоверчиво. И вдруг упал на лавку гребень.

— Тетя Надя!..

Кылына хлопотала около печи, варила кашу из тыквы, а они сидели рядышком и вспоминали, вспоминали...

Какое это было чудесное время до войны — и хлеб был, и к хлебу, а люди жили весело, не зная горя. Гово-

рили обо всем, только об Антоне не обмолвились ни словечком.

Заплетая косы, Катя все время старалась спрятать от Надежды свои руки. Они были в шрамах, почти по локоть красные, будто меченные проказой.

— Где это ты подхватила такую пакость? — сокрушенно спросила Надежда. — Болят?

Катя молчала, пальцы ее забегали быстрее.

— В кипяток их сунула, — хмуро пробурчала от печи Кылына. — Вскипятила воду в тазу и...

— Мама! — вскрикнула Катя. — Неужели лучше бы в Германию?

Надежда погладила шероховатые ладони девушки, поцеловала ее.

— Страшно было?

— Страшно, тетя... А ехать на чужбину еще страшней.

— Я тебе гостинец привезла. От зайца...

— От косого...

— От куцего...

— От серого...

— У-ша-сто-го...

Они заулыбались, вспомнив давнюю игру.

Надежда достала из чемодана косынку, подарок Антонины. Косынка была оранжевого цвета, прозрачная, как паутинка.

— Ой, спасибо щедрому зайчику!

Катя потерлась щекой о щеку Надежды — это тоже был ритуал — и бросилась к зеркалу.

— Можно я в ней пойду? Сегодня комсомольцев собирают.

— Собрание не посиделки.

— При чем здесь посиделки? Вы, мама, как скажете!

— Да уж как умею. Надень вон теплый платок, а то из хаты не выпущу, слышишь? Небось не весна на улице...

Пока Кылына ворчала, извлекая чугунок из печи, двери, ведущие в сени, тихо закрылись, а за окном промелькнула будто цветущая шляпка подсолнуха.

— Вот так всегда. Раз-раз — и исчезла. — Кылына вздохнула, жесткие волосинки на розовой родинке под носом сердито шевельнулись, но в глазах, когда-то голубых, а теперь выцветших, как небо в жарынь, таилась усмешка. — Садись, кума, кашу есть. Все немец выгреб, а тыквы на возах не уместились.

— Это он, должно быть, не распробовал,— засмеялась Надежда.

Кашу запили узваром из кислого терна.

— Посмотри, что я привезла.

Тихий звук, будто кто-то встряхнул стеклянные палочки, трепетно поплыл в воздухе и вскоре растаял.

— Господи, что это? — испугалась Кылына.— Аж сердце зашлось.

— Розы,— сказала Надежда.— Кованые цветы для Корнея.

И вдруг она поняла, что уже никогда не вернется в Карачаевку, не увидит Стефку, Кыз-гюль, Усманова, Махтея, Цыганкова...

И на сердце стало тяжко-тяжко.

2

Небо утратило голубизну, обвисло. По террасам и каньонам в долины сползали туманы. По утрам на скалах, на отполированных ветрами валунах и развороченных камнях поблескивала седая изморозь. В воздухе все чаще кружились белые мухи. В бараках стало так холодно, что Антон Щербак приказал обшить стены досками, а нары застлать сеном.

Франсуа Балю просыпался чуть свет, ополаскивал лицо ледяной водой из кружки и с наслаждением покрякивал, растирая покрасневшую шею полотенцем.

— Вот бугай, — с завистью говорил Щербак своему адъютанту Ивану Шульге. — Егору пара, хоть в одно ярмо запрягай...

На душе у Антона было неспокойно. Прошло две недели, как Фернан вернулся от Люна, а Центр все еще молчал. Возможно, потому, что не подыскали человека, который хорошо знал бы не только Арденны, но и расстановку политических сил на атлантическом побережье, умел бы ориентироваться в сложной игре, которую ведут между собой партии, группировки и разного рода формирования.

Да, обстановочка не из простых. Придя к такому выводу, Щербак наконец успокоился и с головой ушел в свои новые — хотя бы и временные, как ему казалось — обязанности. До поздней ночи засиживались они с начальником штаба, изучали списки личного состава отряда, сколачивали боевые подразделения, подбирали бой-

цов в хозяйственный взвод, для караульной службы, в разведку и медсанчасть.

Савдунин облюбовал уютную полянку в подлеске у самого болота и так горячо доказывал, что лучшего места под партизанский арсенал не сыскать, что в конце концов и Щербак в это поверил.

Вскоре команда саперов начала строить там подземный склад.

...Разведка донесла, что в Спремо́ прячутся двенадцать беглецов из шахт Мишру — ищут связи с партизанами.

Щербак обрадовался этому известию и хотел уже было немедленно послать к ним проводника, но его остановил Балю:

— Вы знаете этих людей, командир?

— Беглецы. Такие же, как я, как вы...

— Допустим. А если среди них окажется провокатор? Энке дорого заплатил бы за то, чтобы пронюхать расположение отряда. Разрешите, я сначала сам познакомлюсь с каждым из них. Наш каптенармус родом из Мишру, приглашу его в помощники.

Щербак хотел сказать, что, пока Балю дознается, беглецов приберет к рукам «Арме Секрет», но передумал.

— Хорошо. Пусть будет так. Я только прошу вас, Франсуа, помнить: мы не должны препятствовать людям, которые вырвались на свободу, чтобы мстить своим кровным врагам. Да и нет у нас иной возможности пополнять свои ряды.

В двери вкатился коротконогий мужчина в кожушке, подпоясанном немецким ремнем с пряжкой, ловко подбросил короткие пальцы к козырьку меховой шапки.

— Мсье комендант!.. Вызывали?

Щербак повернулся к начальнику штаба:

— Полюбуйтесь на нашего командира хозяйственного взвода. Молодец! А? Картинка! Так и просится в объектив фотоаппарата или же на Северный полюс... Где это вы так основательно экипировались, Марше? И нам с начальником штаба завидно.

Марше самодовольно окинул себя взглядом.

— Подарок знакомого фермера, давнего приятеля. Сочувствует нам.

— Вот как! Значит, сочувствует и выразил это посредством кожушка для командира хозяйственного взво-

да. — Щербак побагровел. — А вы, Марше, в свою очередь не сочувствуете ли, ну, скажем, караульным? Я проверял ночью посты. Люди мерзнут, понимаете, Марше, коченеют на постах — нас с вами берегут... Одеты кто во что горазд, у одного я видел сапог с дыркой...

Пока Щербак говорил, Марше все ниже склонял голову, теряя еще недавний бравый вид.

— Даю вам три дня! Через три дня караульная служба должна быть обеспечена теплой одеждой. И имейте в виду, я привык проверять, как выполняются мои приказы.

Марше облизал пересохшие губы.

— Для этого мне необходимы полномочия.

— Полномочия? Какие именно?

— На право реквизиции.

Щербак вопросительно посмотрел на начальника штаба.

— Марше в какой-то мере прав, — рассудил Балю. — Продукты питания фермеры дают охотно, была бы расписка. Эти расписки в случае необходимости они предъявляют в свое оправдание немцам. Но вот излишка одежды у крестьян не бывает. Здесь придется потрусить лавочников.

— Ну что ж, — сказал Щербак, немного подумав. — У лавочников есть возможность доказать свой патриотизм. Подготовьте необходимые документы.

Когда Марше, взбодренный наличием предписания штаба, залихватски щелкнул каблуками и вышел, Щербак спросил Балю:

— Как вы думаете, Франсуа, я не слишком круто обошелся с ним? Парень он вообще-то находчивый — термосы раздобыл...

Они вышли из командирского барака. Тусклый, едва различимый в тучах кружок солнца был похож на золотой перстень. На опушке, в кустах вечнозеленого багульника, низко пригнувшись, перебегали партизаны. Это Довбыш проводил тактические занятия. Бойцы второй роты стремглав выскакивали из бараков по тревоге и выстраивались в шеренги. Збигнев Ксешинский переступал длинными, как у цапли, ногами и недовольно смотрел на часы.

— Другой раз просто не верится, что Ксешинский вчерашний парикмахер, — сказал Балю. — Сквозь эту его кожанку проглядывает мундир офицера.

— Кажется, раньше вы не очень ладили с ним? — не утерпел Щербак.

Балю прислушался к командам Довбыша на опушке, измерил взглядом расстояние.

— Да-а, боцманский басок, — сказал он. — Хоть на побудку, хоть на страшный суд... Что же касается Збышека, то он настаивал на активных действиях, а я... Я был тогда под влиянием капитана Гро.

— Гро?.. Вы знаете капитана Гро?

— Еще бы, — сказал Балю. — Он был моим комбатом.

Щербак не сразу собрался с мыслями.

— Почему же тогда вы не пошли с ним? — спросил он. — Разве Гро не предлагал?

— Предлагал. И очень даже настойчиво... — На квадратном лбу начальника штаба собрались морщины. — Гро — честный служака. Он привык точно выполнять распоряжения старших. В иных обстоятельствах это могло бы характеризовать его только с положительной стороны. Он не выполнил лишь один, зато очень важный приказ — приказ короля о капитуляции. Мы разошлись с ним во взглядах на будущее Бельгии...

— Интересно, — сказал Щербак.

— Интересно? — переспросил Балю. — Не думаю, чтобы это что-нибудь значило для вас.

— Почему, Франсуа?

— Рано или поздно война закончится. И вы вернетесь домой, в Советский Союз, разве не так?

— Если останусь жив.

— Все мы ходим под богом, говорила моя матушка, ревностная католичка. Вы вернетесь домой и обо всем забудете...

— Обо всем? И о том, как вместе воевали? Хоронили Жана, Жозефа?.. Что с вами, Франсуа?

— Возможно, я не совсем правильно выразился. Этого вы, конечно, не забудете. И я не забуду. Но настанет новая жизнь, у вас появятся иные заботы. А нам оставаться здесь, с глазу на глаз с нынешними врагами. Нет, давайте лучше поговорим об этом как-нибудь потом.

Начальник штаба козырнул и направился к Ксешинскому, оставив Щербака в смутных размышлениях.

Значит, лейтенант Балю и капитан Гро товарищи по службе. А не кроется ли за этим какая-либо опасность для отряда? Может, он поспешил с назначением Балю на должность начальника штаба?..

3

— Дезаре!

— Антуан!

А, черт! Жизнь иногда умеет преподносить и приятные сюрпризы.

— «Мы кузнецы, и дух наш молод...»

Улыбка Дезаре была красноречивей любых слов. В широких плечах, во всей его массивной фигуре чувствовалась неистраченная сила.

Это был он, мой названый брат. С его строгих, будто резцом очерченных губ тихо, еле слышно, слетали слова песни, которая давно стала паролем нашей дружбы и еще чем-то бóльшим, значительно бóльшим, что подвластно скорее чувству, а не разуму.

— Дезаре...

Наверное, со стороны смешно было видеть, как двое мужчин топчутся друг перед другом, словно боксеры, волтузятся, дергают за полы одежды, хохочут. Давно уже подмечено, что в радости взрослые люди похожи на детей.

...Я приказал адъютанту созвать командиров и набросился на Дезаре с расспросами:

— Скорее же, говори что-нибудь!

— О чем?

— Да обо всем! Мы так давно не виделись. С лесничеством небось покончено?

Дезаре улыбнулся:

— Лальман наконец-то сдался. Отныне я на нелегальном положении. Офицер штаба по особо важным поручениям.

— Ого! Поздравляю! Сюда дóбрался без приключений?

— У меня, друг, надежные документы. Подписанные самим начальником брюссельского СД. Действуют безотказно.

— Ты, кажется, знал Дюрера?

Дезаре склонил голову.

— Жозефа знала вся партия, — заявил он после небольшой паузы. — Лальман, услышав о его гибели, плакал, а к Диспи нельзя было подступиться... Такая потеря!

Начали сходиться командиры. Последним пришел Савдунин.

— Привет уважаемому товариществу! — весело с порога прокричал он, едва прикрыв двери, но, увидев за столом незнакомого человека, умолк и смущенно отступил за широкую спину Довбыша.

— Все, — сказал я. — Можно начинать.

Дезаре поднялся.

— Ами, — произнес он, отвинчивая каблук от ботинка. — Позвольте представиться. Мое имя Рошар. Я привёз приказ главкома Диспи. Вот мои полномочия, а вот приказ. Командиром полка назначен лейтенант Щербак.

— Полка? Вы не ошиблись? — переспросил я. Мне показалось, что в присутствии всех как-то неудобно обращаться к представителю Центра на «ты».

— Нет, не ошибся. Штаб проводит реорганизацию вооруженных сил. Армия поделена на корпусы и полки. Отныне вы — 4-й полк Льежского корпуса.

Командиры зашумели.

— Но у нас людей едва хватит на батальон! — воскликнул Балю. — О каком полке может идти речь?

Дезаре успокаивающе покачал рукой:

— Штаб формирует полки с расчетом на перспективу. К вам будет присоединен отряд Герсона, действующий на левобережье в районе Аукс-Тура. Кроме того, есть разрешение пополняться за счет рефрактеров, которых немало скрывается в окрестных лесах. Подпольным организациям на шахтах дано указание организовывать побеги военнопленных. А это готовые бойцы, закаленные, обученные и полные ненависти к врагу. Им только дай оружие...

— С оружием у нас не густо, — бросил Балю. — Что в бою добыли, тем и пользуемся.

— К сожалению, других источников нет, — сказал Дезаре. — До сих пор нас выручал завод в Герштале. Но сейчас там провал за провалом, видимо, в подполье пробрался вражеский лазутчик. Принимаем меры...

Дезаре говорил долго. О сложной обстановке в стране, о пассивной позиции «Арме Секрет», которая выполняет задания эмигрантского правительства Пьерло в Лондоне.

Я смотрел на своих товарищей по оружию, они жадно ловили каждое слово Рошара. Балю хмурился, большие, навыкате, глаза Егора Довбыша светились интересом, Марше ерзал на лавке, будто никак не мог усесться поудобней, на тонких губах Ксешинского застыла ироническая усмешка, он то и дело шептал что-то на ухо Фер-

нану, начальник караульной службы Денелон растирал пальцами виски — после ранения в Ремушане ему не давали покоя головные боли, а Савдунин выглядывал из-за спины Довбыша так, будто порывался, но никак не осмеливался о чем-то спросить Дезаре.

Я тоже не мог до конца понять всевозможные нюансы и тайные пружины запутанной политической обстановки в Бельгии, однако утешал себя мыслью, что Лальман, Диспи, Терф, Балиган не дадут себя обвести вокруг пальца различным псевдопатриотам. Я никогда не видел их, но был уверен, что это опытные сведущие политики, а главное — стойкие коммунисты, смысл жизни их — непримиримая борьба за освобождение народа.

— Советская Армия продолжает успешно наступать, — говорил тем временем Дезаре. — Освобождены Запорожье, Днепропетровск, Киев...

При этих словах нас будто подбросило — Довбыша, меня, Савдунина. Радостно замахал руками Збышек. Мы давно не получали вестей с фронта, потому что приемник бездействовал: даже проныра Марше пока не мог раздобыть батарейки взамен вышедших из строя.

— Даешь Одессу! — гаркнул Егор.

— Когда же наконец откроется второй фронт? — вырвалось у Савдунина.

Дезаре на миг задержал взгляд на богатырской фигуре Довбыша, затем повернулся к Савдунину:

— При первой же встрече с лордом Уинстоном Черчиллем я передам ему ваш вопрос.

Рошар выждал, пока утихнет смех.

— Мне поручено сказать вам, — торжественно произнес он, — что Центральный Комитет партии и штаб партизанской армии высоко оценили боевые действия отряда «Урт-Амблев». Выведя из строя железнодорожную магистраль Люксембург — Льеж, вы тем самым надолго перерезали очень важную артерию врага. Подготовлена реляция на имя будущего правительства Бельгии о награждении Жозефа Дюрера наивысшим орденом посмертно.

— Почтим его светлую память, — сказал я.

Мы поднялись и молча постояли, прислушиваясь к унылому завыванию ветра за окном.

Дезаре извлек из кармана тугой сверток и одним махом, как факир на сцене, развернул его. На стол упало шелковое полотнище.

— Ни один полк не может существовать без боевого знамени, — сказал он. — Не мы создавали эту традицию, не нам ее и нарушать.

...Всю ночь пролежали мы с Дезаре без сна. Мысли и слова тянулись как бесконечная пряжа. Франсуа Балю, поняв, видимо, что нам хочется побыть вдвоем, пошел проверять посты и не возвращался до самого рассвета.

Утро выдалось тихим и морозным, сквозь клочья туч робко проглядывало солнце. Партизаны выстроились вдоль берега. Оловянная поверхность болотного озера отсвечивала холодными мартовскими блестками.

— По-олк!.. К выносу знамени... Сми-и-рно-о!

Знамя нес плечистый Мишель Денелон в сопровождении двух бойцов караульной службы. Лица суровые, торжественные. Шелковое полотнище трепетало, переливаясь на солнце тремя цветами — белым, желтым и красным. Мой взгляд был прикован к красному. Мне казалось, что здесь частица знамени моей Родины.

От Дезаре я знал: боевой штандарт для 4-го полка вышивала Эжени...

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1

Две скифские могилы, не подвластные времени часовые давних-предавних тайн, в гордом одиночестве господствуют над степью. На их вершинах любят отдыхать ястребы и пустельга, иногда садится черный коршун.

Желтые одуванчики на покрытых дерном склонах припорошены пылью проезжей дороги, полукружьем охватившей подножье кургана. А вокруг, до самого горизонта, ровное, будто ток для обмолота, поле — зеленое руно озимых, жирная пашня, прошлогодняя пажить, усеянная цветастым разнотравьем — прозрачная даль, манящая просинью, словно распахнутая настежь. Лишь на север от одичавшей лесополосы вильнула кривая полоска рыжеватой глины в царстве чернозема, глубокая балка, старица, где мальчишки собирают весною вымытые талыми водами зубчатые наконечники стрел из сизого кремня.

Надежда Щербак стоит на вершине кургана, а степь расстилается у ее ног многоцветным ковром, который посилен лишь человеческому воображению.

Если бы ее спросили, почему эта степь, эта неоглядная даль так волнуют сердце, она, пожалуй, не смогла бы объяснить толком. Степь та же самая, что жила в ней, в ее душе, с детства и в которой жила она сама, и вместе с тем иная. Понукание скотины, бряцанье, беспорядочный скрежет и скрип наполняют полуденную тишину. Мычат в упряжках коровы, жалуясь на свою не коровью судьбу, всхлипывают женщины, гладя заскорузлыми ладонями разбитые ярмом, мокрые от пота холки буренок.

И все же нет ничего роднее этой степи, Надежда ощущает себя частью ее, именно здесь, на знакомых до боли равнинах, ее и Корнея, первого председателя колхоза, незабываемое прошлое.

Надежде вдруг вспомнился день, когда перепахивали межи, бежали вслед за трактором люди, сносили указательные колья к огромному костру, а старый Шрамко, задрав голову к небу, крестился и сипел простуженным басом:

— Что же оно будет, люди добрые, а? Какая-никакая земелька, но своя. А теперь? Куда это все пойдет?

И как тот самый Шрамко стоял у тела мертвого Корнея, сгорбив натруженные плечи, и допытывался у Надежды:

— Довгани? Ну, что ты будто окаменела? Ты же знаешь! Ты видела! Скажи, это Довгани? Эти проклятые куркули?! Оба были? Отец и сын?

А потом неизвестно куда исчез. Домой вернулся через три дня, бросил под ноги берданку, поклонился людям:

— Судите. Взял грех на душу... Застрелил обоих... как бешеных собак.

Потом, спустя годы, Шрамко стал колхозным бригадиром. А в сорок первом, перед нашествием с запада, погнал стадо к Дону в эвакуацию и погиб на переправе от бомбежки...

— Эй, Щербачиха! Ты чего там икрами светишь? В статуи записалась?

Это Оришка, дочь Шрамкова, ширококостная, как мужик. Взвалила на плечо маркер, будто крест с обломанной вершиной, ступает размашисто, туго натягивая юбку на узловатых коленях.

В колхозном стане, на краю дороги, звенят подойни-

ки, около бочки шум голосов. Надежда слышит, как клокочет горло Клима Гаевого:

— За тобою, Улька, грачи пешком ходят. Чего бы это, не знаешь?

— Приглянулась! — хохочет краснощекая Улька. — Ты слепой, а они глазастые.

— Да, они глазастые, — размахивает руками бригадир. — Им видно, как ты зерно присыпаешь, будто краковяк танцуешь. Ходят следом и склевывают кукурузу. Что же взойдет на твоих рядках? Что взойдет, спрашиваю? Бурьяны?..

Клим задыхается, простреленное горло с трудом пропускает сердитые слова.

Улька ищет глазами Оришку.

— Попробуй сам за нею угнаться — штаны упадут.

Оришка вроде и далеко была, однако же услышала.

— После обеда ты будешь таскать! — кричит она. — Посмотрим, что с тебя упадет.

Улька стоит, подбоченившись, ждет смеха. Но никто не смеется.

— Да ну вас, — машет рукою Улька и набрасывается на Оришку. — Зачем ты это надгробье на себе волочишь? Не бойся, никто не украдет.

— Стояк расшатался, — примирительно говорит Оришка.

Вдвоем они идут к возу, копаются там, отыскивая молоток. Улька оборачивается.

— Климентий! — кричит она. — Ты, между прочим, сам на грача похож, а за мною не бегаешь.

Улька хохочет, довольная, что последнее слово осталось за ней.

Надежда неохотно спускается с кургана, перескакивая на склонах через осыпавшиеся траншеи. На дне их — медные гильзы, пустые пулеметные ленты.

— Что это ты за тряпку подобрала? — спрашивает ее Кылына. Она сидит на мешке с кукурузой, ноги крест-накрест, жует черную, из высевок, лепешку с луком, густо посыпая ее зернистой сивашской солью.

— Какая же это тряпка? Пилотка.

В пилотке видна дырочка — если бы не ржа вокруг нее, можно и не заметить. За отворотом почти истлевшая иголка с остатками нитки.

— Аккуратный был мужик, — тихо говорит Надежда.

— В окопе подняла? — вздыхает Кылына. — А самого

нет?.. Могилки, говорю, нет?.. Значит, унесли. Может, и живой где-то. Садись есть.

Выдоенные коровы хрумкают молодой травой, что проткнулась меж прошлогодним жнивьем, на костлявых крупах светится под лучами бурая шерсть.

— Коров в ярмо... Как подумаю, душа разрывается, — вздыхает Кылына. — А сколько до войны было тракторов, автомашин и всякой всячины... Куда все подевалось?

— Придет время, будут и трактора, — отзывается Надежда. — А сейчас танки нужнее.

— Бабы! — хрипит Клим. — Досеем кукурузу — два дня на передых. Я щедрый!

— Ходь, щедрый, ко мне. Молочком угощу, слышишь?

Это все та же неугомонная Улька.

...Сумрачный вечер опускается на колхозный стан, огромной паутиной опутывает курганы. Дорога вдали кудрявится призрачной дымкой, словно гонят по ней отару овец. Приложив к глазам ладони, женщины всматриваются, отгадывают:

— Может, наше стадо с Дона возвращается?

— Соседнее из «Южной степи» давно уже вернулось, а наше, как погнали, да будто в яму.

Кылына собирает в подол крошки, бросает их жаворонкам на дорогу.

— Послепли вы, что ли? Это же люди.

— Господи, немцы!.. Может, фронт прорвали? Бежим!

— А ну, без паники! — кричит Клим. — Где тот фронт? Газеты надо читать. На вожжах их ведут, не видите, что ли?

И в самом деле, впереди и по бокам колонны идут с автоматами солдаты в краснозвездных пилотках, идут весело, вроде бы и не глядя на немцев, которые плетутся дорогой по четыре в ряду. Во взглядах покорность и что-то большее, чем покорность, возможно, осознание приятной мысли, что вместе с пленом для них закончилась и война, не придется больше рыть осточертевшие окопы и ежеминутно ждать смерти. По крайней мере так подумалось Надежде.

Молоденький сержант с русыми усиками сверкнул зубами.

— Смотрите, девчата, на этих вояк! Смотрите. Они теперь смирные!

— Знаем мы этих смирных, чтоб их...

— Сегодня смирные, а вчера вешали да расстреливали!.. У-у, гады ползучие!

Кто-то ругается, кто-то плачет, бросают комья земли в колонну, а Ульяна выхватила у Оришки маркер и замахнулась им на ближнего в ряду.

— Назад! — оттесняет ее конвойный. — Нельзя!

— Пусти! Я хоть одного огрею! — вопит Улька.— Ты не видел, как они здесь над нами измывались! Ты целенький еще, ни пулей ихней, ни нагайкой не меченный!

— Ко-лон-на-а-а, хальт! — командует сержант. — А ну-ка, готмитунсы[1], что скажете про Гитлера?

— Гит-лер капут! — заученно рявкнули в первых рядах.

Сержант улыбается, подмаргивает Ульяне:

— Слышали, девчата? Сами немцы говорят... Вот такая музыка... Ко-лон-на, шагом марш!

И снова зашаркали сотни ног, поднимая тяжелую пыль. Оришка будто опомнилась, протянула перед собой посиневшие жилистые руки, запричитала:

— Верните Настеньку! Куда вы дели мою доченьку, ироды?!

Колонна отдалялась, гудела по деревянному настилу над акведуком, а Оришка все бежала вслед за ней и причитала. Косынка упала с ее распатланной головы и валялась на обочине дороги, зацепившись за сухие стебельки татарника, белая и трепетная, как подстреленный лебедь.

2

Зима прошла в мелких стычках с партизанами. Штандартенфюрера Энке дважды вызывали в Брюссель, требуя от него решительных операций в горах, и каждый раз, возвратившись в Комбле-о-Пон, Энке снаряжал все новые штурмовые группы.

Неподалеку от Комбле-о-Тура эсэсовцы наткнулись на отряд Герсона, который, переправившись через Урт, шел на соединение с полком Щербака. У Герсона было с полсотни бойцов, вооруженных в основном карабинами и охотничьими ружьями.

Не выдержав натиска эсэсовцев, отряд рассеялся по отрогам.

---

[1] На пряжках солдатских ремней у немцев было выбито: «Гот мит унс» — «С нами бог».

Герсон долго блуждал по ущельям, собирая своих соратников по одному, по два. Убедившись, что его не преследуют, повел остатки отряда к Щербаку.

Многих недосчитались на перекличке. Погиб и Пьер Виктóр, посланный к Герсону проводником.

...К началу весны мосты в Шанксе и Гамуаре немцы восстановили, но поскольку главная магистраль из Люксембурга на Льеж в долине реки Амблев пока не действовала, движение поездов началось в обход, через Арлон, Сент-Ибер и дальше вдоль Урта.

Франц Энке немедленно доложил о пуске первых составов генералу Фалькенхаузену и услышал в ответ похвалу, правда, сдержанную. После гнева, обрушенного на него правителем Бельгии осенью, эта негромкая похвала звучала для Энке услаждающей слух музыкой, и он осмелился обратиться к генералу с просьбой отправить гауптштурмфюрера Зильбера на Восточный фронт.

— Причина? — спросил генерал удивленно.

— Либерал. Нянчится с валлонами. И потом — мост...

— Зильбер ваш подчиненный. Вы вправе избрать для него любую меру наказания.

— Но, господин генерал... — Энке постарался, чтобы в голосе звучало как можно больше волнения. — Он мой земляк. Мы оба из Зальцбурга.

— Рад вашей служебной принципиальности, штандартенфюрер. Жду рапорта о переводе Зильбера в другую часть, — сказал Фалькенхаузен и повесил трубку.

Энке так и не понял — искренне это было сказано или с иронией. Если говорить откровенно, Зильбер ему нравился, во всяком случае он был лишен крайностей, которые не вызывали в Энке восторга. Но штандартенфюреру хотелось избавиться от свидетеля его позора в Пульсойере, когда он так растерялся, что бросил остатки разбитого гарнизона на произвол судьбы.

Оберштурмфюрера Блауберга, чья мотомеханизированная группа вела бой с отрядом Герсона, Энке намеревался строго наказать за безынициативность. Блауберг не только не решился преследовать партизан, но попросту упустил остатки отряда из виду, дав им возможность беспрепятственно присоединиться к главным их силам в регионе.

Блауберг вернулся в Комбле-о-Пон, везя в колясках мотоциклов тела убитых партизан как доказательство своей ратной доблести.

— Вы бы еще скальпы привезли! — закричал Энке в ярости. — Что прикажете с ними делать? Устроить торжественные похороны?

— Можно повесить на площади, — вмешался штурмбанфюрер Зиц. — Поверьте моему опыту — это устрашает.

Стоявший по стойке «смирно» и бормотавший что-то о бездорожье и тумане Блауберг бросил на начальника СД благодарный взгляд.

Энке пошумел и сменил гнев на милость, подумав при этом, что таким недоумкам, как Блауберг, всегда почему-то везет. Вот и сейчас, чтобы заткнуть глотку коекому в Брюсселе, придется стычку под Комбле-о-Туром представить как значительный успех и писать реляцию о награждении Блауберга.

— Нужно объявить: родственникам бандитов разрешается забрать тела для захоронения, — сказал Зиц, уставившись голубыми глазами из-под толстых очков на Энке, которого он хоть и недолюбливал, но втайне побаивался. — Установим наблюдение. Авось кто-нибудь и клюнет на приманку.

— Вы свободны, Блауберг,— махнул рукой штандартенфюрер. — Составьте доклад. Но не вздумайте написать, что на партизан наткнулись случайно. У вас были агентурные данные, ясно? ..

Рано утром на площади, что выходила на гранитную набережную, появилась виселица. Ветер раскачивал тела со связанными за спиной руками. Словно белые фартуки, на груди повешенных болтались фанерки с надписью: «So wird mit jedem Partisane» [1].

Заплаканная Франсуаза пришла в комендатуру за разрешением похоронить тело мужа.

— Даю вам на погребение шесть часов, мадам, — сказал дежурный офицер Пробст. — Ваш муж преступник, поэтому никаких процессий и речей. Священник наверняка тоже будет ни к чему, ведь мсье Викто́р коммунист, не так ли, мадам?

---

[1] «Так будет с каждым партизаном» *(нем.)*.

У Франсуазы хватило здравого смысла промолчать в ответ.

Офицер понял, что сболтнул лишнее, и миролюбиво добавил:

— Впрочем, мы не мстим погибшим. На том свете ваш супруг может заниматься политикой сколько угодно. А на этом... на этом пока мы здесь хозяева. Так и передайте... своим.

Пробст тут же решил, что повторит эту свою остроту в кругу офицеров за бутылкой вина. Он знал, что женщину арестуют, как только она возвратится с кладбища домой, возьмут тихо среди ночи, чтобы не привлекать внимания соседей.

Пробст хотел было уже отпустить мадам Франсуазу, но вдруг его осенило. Он принялся пристально разглядывать стоящую перед ним полноватую, с осунувшимся от горя лицом женщину, внезапно вспомнив о том, что такие толстушки обычно не выдерживают пыток и вскоре «раскалываются», начинают выкладывать все, что знают, а иногда и сверх ожидаемого. Парни в СД делают свое дело как заправские специалисты.

— Примите мое сочувствие, мадам, — сказал он, сжав губы, будто скорбя. — У нас, у мужчин, сейчас одна работа — стрелять друг в друга. А где стреляют, там и падают.

Щербак не знал о подлой провокации, устроенной штурмбанфюрером Зицем, но, услышав от Герсона о гибели Виктóра, вызвал начальника разведки Фернана и приказал ему до наступления темноты вывезти Франсуазу за город.

...Переодетый агент, посланный на кладбище проследить, не придет ли кто из незнакомых мужчин прощаться с покойником, доложил начальнику СД, что мадам Виктóр до самой темноты стояла на коленях около могилы, а затем побрела домой.

Зиц выслушал агента и отправился в офицерский ресторан, приказав доложить ему, как только приведут арестованную.

Через два часа у штурмбанфюрера иссякло терпение, он сел в «фольксваген» и поехал на улицу Сен-Мари, где за буковым леском, на отшибе, стоял домик машиниста.

Ему доложили, что мадам Франсуаза не возвращалась

с погоста. Зиц сорвал злость на сидевших в засаде эсэсовцах и помчался в штаб, чтобы отдать приказ на облаву.

Переправившись на лодке через Урт у его слияния с Амблевом, Фернан всю ночь вел Франсуазу горными тропинками. Ему стоило немалых усилий убедить жену подпольщика оставить свой ненадежный очаг. И в дороге они время от времени продолжали этот неприятный для обоих разговор, начатый у хмурых ворот кладбища.

— Пьер пал в бою. Над ним надругались, даже над мертвым. Разве ты до сих пор не поняла, почему так зверствуют боши?

— Не знаю, не знаю, — отрешенно бормотала Франсуаза в каком-то отупении. — Пьера больше нет, и мне все равно...

Ей было тяжело подниматься в горы, она то и дело останавливалась, чтобы отдышаться.

— Мы поступаем сейчас так, как завещал Пьер, — сказал Фернан. — Мы должны выполнить последнюю его просьбу.

— Пьер хотел, чтобы я ушла к партизанам? — Франсуаза, пожалуй, впервые осмысленно посмотрела на Фернана. — Это правда?..

...Щербак хотел переправить Франсуазу в Гент к ее дочери, но женщина противилась, заявив, что не собирается никуда уходить. Вся ее жизнь прошла в Арденнах, а теперь, на старости лет, в чужие края?..

Дальнейшую судьбу Франсуазы решил неожиданно подвернувшийся Мишустин.

— Такое дело, товарищ лейтенант, — заговорил он, смущаясь своей неловкости, — лазарет без медсестры — не лазарет. Женские руки при уходе за ранеными ничем не заменишь. А жить у меня есть где. Тепло, тихо...

Мишустина поддержал начальник штаба, рассудив, что если уж в партизанском лагере появилась женщина, то пусть она будет где-нибудь подальше от строевиков.

Щербаку пришлось сдаться.

— Будь по-вашему, — сказал он Мишустину. — Зачисляй, такое дело, медсестру в свой штат... А адъютанта моего скоро выпишешь? Что же ты за эскулап? Раны лечишь, а от какого-то несчастного прыщика избавить человека не можешь...

В эту же ночь на базу Либерте прибыл связной из Центра с приказом. Главнокомандующий Диспи сообщал, что по решению Фронта независимости Бельгии все разрозненные партизанские отряды, в том числе «Тайной Армии», объединяются в единую ударную силу. Этим же приказом генерал Пир, руководивший подразделениями «Арме Секрет» в Высоких Арденнах, назначался командующим всей «Тайной Армией».

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

1

Майские дожди щедро напоили землю. Зазеленели, закучерявились поля. Полезло вверх сеяное и несеяное. По озимой бродили дети, с корнем выдергивали осот, молочай, сочные стебли донника, охапками выносили свои трофеи к лесополосе. На плантациях подсолнуха и кукурузы шуршали тяпки. Повитель хищными объятиями душила всходы, каждое растеньице приходилось обихаживать вручную. А солнце висело в зените немилосердно щедрое, и земля накалилась, будто жаровня, от нее поднимался густой дурманящий запах.

Звено Надежды растянулось цепочкой. Проворная Оришка вырвалась вперед. Улька как ни старается, все же отстает, останавливается на миг, плюет на ладони — и снова вдогон... Катя и свой ряд ведет, и на материн словно нечаянно заступает.

— Притомилась, Кыля?

Кылына еще круче гнется над тяпкой, под синей кофтой покачиваются тяжелые груди. Дышит с присвистом. «Да-а, сдает кума, а когда-то была девка на загляденье!» — с грустью думает Надежда.

К куреню шли молча. Хотелось скорее отобедать и упасть в холодок на измятое сено, прислушиваясь, как сладко и томно гудит тело.

Приехал на буланой кобыле Гаевой, заглянул в бочку, есть ли вода, покрутился около куреня, должно быть надеясь увидеть Ульку, — она не вышла — и рысью помчался куда-то в поле.

Надежда потрепала Ульку за розовое, обгоревшее на солнце ухо.

— Ой, больно!

— А ему не больно?

Улька надула губы:

— Пусть не думает, если Клим, то на нем сошелся клин.

— Опять поссорились?

В начале весны, когда сеяли кукурузу, не хватило вдруг зерна. Клим Гаевой схватился тогда за голову.

— Как же так? Все было рассчитано по норме. Скажут: пропил.

Улька хихикнула и притихла. Все помнили, какими правдами и неправдами доставал посевное зерно председатель колхоза Архип Бесковорайный. Закрома пусты, фашисты все вымели начисто, увезли даже семена.

— А ну-ка, сватаные-пересватаные, признавайтесь, кто воровал?! — закричала вдруг Оришка. — Посмотрите друг другу в глаза! Понемногу таскали, пока не растаскали, да?

— Ищите, у кого кур много! — робко подсказала Улька.

— При чем здесь куры?

— А вот пойду и посмотрю, чем кормите. Не святым же духом? Верно, Клим?

Поднялся шум.

— Стойте! — крикнула Надежда. — Кулаками будем правды доискиваться, что ли? Может, сеяли гуще, чем положено, разве под маркер выдержишь норму? Соберем по початку, по два в складчину и досеем.

— А он у тебя есть, скажи, есть? — затараторила Мария Карпуха. — Может, от казахов привезла?

— Ох и жадюга же ты, Маруська!.. Тьфу! — ругнулась в сердцах Кылына. — Сколько знаю тебя, все такая — никак человеком не станешь. Я и за Надежду внесу, чтоб у тебя язык отсох!

Когда возвращались в село, Гаевой догнал Надежду.

— Спасибо, выручили. И вообще... Испугался я, даже стыдно... Жаль, что я в самом деле не пьющий...

Бригадир закашлялся, в его синих глазах мелькнуло что-то далекое, строгое.

— Под Ростовом меня... Когда второй раз брали. Теперь не то что пить, разговаривать трудно.

— А ты покороче!.. Я понятливая. — Надежда приветливо улыбнулась. — Сколько тебе годков, Климентий?

— Двадцать восемь. А что?

— Двадцать восемь, а оброс на полста. Не парень, а репей колючий. И Ульяну зря обижаешь.

Гаевой провел рукою по щекам, смутился:

— Скажете тоже. Это она меня... Как не куснет, а все вроде бы голодная.

На другой день Клим вышел на работу в новой рубахе, старательно выбритый, и все вдруг сделали открытие, что он молод еще и даже красив, а сизый рубец на шее не такой и страшный, чтобы прятать его под бородой. Только на Ульку эта перемена подействовала как-то странно. Она начала сторониться бригадира, делала вид, что не замечает его присутствия. Вот и сейчас не вышла из куреня, хотя хорошо знала, что Гаевой приехал ради нее.

Женщины дремали, подложив под головы натруженные руки. Улька что-то нашептывала на ушко Кате. Сквозь щели в курене тянулись вниз золотые нити.

«Сама липла к нему, а теперь в кусты,— с непривычным раздражением думала Надежда об Ульке, растирая меж пальцев лепестки васильков.— Нет, от судьбы не убежишь... Только мне и удалось... «Сколько лет нам с тобою, Надя?» — «По семнадцать». И боль в глазах, и такие желанные жесткие губы. Ох, Андрей, почему рассудок и чувства так часто не находят общего языка?»...

Снова застучали копыта, послышалось фырканье лошади. К куреню приближались чьи-то шаги. Улька встрепенулась:

— Спим, Катя, слышишь? Мы давно спим.

Должно быть, думала, что приехал Клим. Но вместо Клима голову в курень просунул Архип Бескоровайный. Прищурился, вглядываясь в сумрак, кашлянул.

— Дремлете, матриархи?

— Сало завязываем, Архип Семенович,— за всех ответила Надежда.— Как здоровье?

— Посвистываю.

Бескоровайный снял соломенную шляпу, утерся подолом рубахи, как полотенцем.

— Ох, и хорошо здесь у вас! Зимой тепла вдосталь, летом — прохлады. Гаевой не приходил?

— К подсолнухам подался,— сказала Улька.

— А ты откуда знаешь? — подморгнул ей председатель колхоза.— Эй, сонное царство, слушайте новости! В МТС трактора прибыли — раз,— начал он загибать пальцы,— водокачка заработала — два, мыла на редиску выменял — три. Живем, а?

— Ой, Коровайчик! — вмиг подскочив, вскрикнула Оришка.— А про мыло ты не бре?

— Божиться не стану, потому как с иконами не в ладах с детства. А вот управитесь с кукурузой до воскресенья — по куску мыла получите. В виде премии.

— Смотри, меня не забудь.

— Тебя забудешь...

Бескоровайный весь сиял, радуясь удачному разговору, под конец закашлялся от радости. Его одутловатое лицо с синими морщинистыми мешками под глазами засветилось доброй улыбкой. Надежда знала: у него больное сердце, врачи запретили работать, но он махнул на все рукой и сказал, что согласен умереть где угодно, лишь бы не на печи. Мотался на бедарке по бригадам, никогда не повышал голоса, а на провинившегося смотрел ясным взглядом апостола, и этого его взгляда все боялись больше, чем крика. Когда сердце жарким комком обжигало грудь, Архип Семенович гнал коня к лесополосе, подальше от людских глаз, и отлеживался в лебеде, сцепив зубы, постанывая, как раненый медведь в берлоге.

— Свежие газеты привез, — сказал Бескоровайный. — Оно, знаете, очень даже любопытное дело — газетку почитать. Мир велик, и в нем всякое творится...

Он пошел к бедарке. Конь встретил его веселым ржанием.

— Кремень.

— Это кто кремень — дядя Архип? — усмехнулась Катя. — Да тетка Горпина плачет от этого кремня. В хате настоящий зверинец: еж, галка, заяц, даже безглазый крот — где он только его и откопал... И все калеки.

— Чудной! — прыснула Улька.

— Душа жалостливая.

— Себя пожалел бы, — подала голос Оришка.

О газетах забыли.

...Вечером снова приехал Клим Гаевой, пружинисто соскочил на землю, бросил повод на гриву буланой.

— Баштан на славу, — сказал он, лишь бы что-то сказать. — А вот подсолнухи бедноваты.

На Ульку будто и не смотрел, однако видел каждый ее шаг. А она мурлыкала себе под нос какую-то песенку, радуясь в душе, что это из-за нее бригадир дал такой крюк. От бахчи к селу была прямая дорога.

«Ну, чисто тебе дети», — подумала Надежда. Она сунула забытые газеты в кошелку, взгляд ненароком за-

цепился за набранный большими буквами заголовок: «ПИСЬМО ИЗ ГИЛЬЗЫ».

> *«Отбили четвертую атаку. Кончаются патроны. Мы окружены, отступать некуда. Прощайте, живыми фашистам не сдадимся.*
> Ст. лейтенант А. К. Щербак, М. С. Агеев, О. Б. Орбелиани».

Внизу было что-то напечатано от редакции, но глаза Надежды затянуло туманом. Смуглое лицо стало серым, как пепел, в висках застучало: «А-Ка-Щербак... А-Ка-Щербак...», ноги порывались куда-то бежать, но будто прилепились к земле, и не было сил их оторвать.

— Антон!

Ей казалось, что она вскрикнула на всю степь, и было странно, что никто не услышал этого крика. Лишь буланая на миг подняла голову от молоденькой травки и повернулась к ней. Недоуздок сполз ей на уши, и было похоже, что кобыла внимательно к чему-то прислушивается...

2

Была ночь, но в окнах редакции районной газеты «Красный Октябрь» все еще теплился свет. Помещение редакции находилось за зданием школы, окруженное кустами сирени. В воздухе висел аромат позднего цветенья.

— Я слушаю, — сказал устало редактор. Он сидел за столом, заваленным бумагами. От зеленого абажура, прикрывавшего керосиновую лампу, падала на стены тень. Над лампой бесшумно кружились ночные бабочки.

— А я вас знаю, — сказала Катя.

Редактор бросил взгляд на ее руки, лицо его посветлело.

— Катя... Сахно? — Он усмехнулся, довольный своей памятью. — Да, мы о вас писали. Ох, и попало же тогда нам от вас!

Катя смущенно опустила голову.

— А чего же вы... будто я не как все. Девчатам в глаза стыдно было глянуть. Подумаешь — руки...

— Ну, не скажите, не скажите, — покачал зажатым в руке карандашом редактор. Он встал из-за стола, приземистый как подросток, с густой шапкой будто чужих,

поседевших волос и с чужими, не свойственными его порывистой молодой натуре морщинами у глаз.

Надежда со страхом смотрела на редактора, читавшего Антоново письмо. Последнее, посмертное. Из редакционной приписки в газете она уже знала, что неподалеку от села в терновнике, за несколько дней до вступления в Сивачи советских войск, погибло трое разведчиков. Недавно дети нашли там сплющенную гильзу от ракетницы, из нее торчал кончик пожелтевшего листка бумаги.

— Зачем оно вам? — сказала Надежда так, будто продолжала ранее начатый разговор. — Отдайте мне. Вам оно ни к чему, а для меня...

Редактор удивленно, словно только сейчас заметил, что в комнате есть еще кто-то третий, повел в сторону Надежды утомленными глазами.

— Письмо от сына. Вот... в газете, — продолжала Надежда.

— Минуточку! Вы присядьте, — редактор, кажется, начинал что-то понимать. — Как ваша фамилия?

— Щербак.

Какой-то миг редактор смотрел на Надежду недоверчиво.

— Не ожидал, никак не ожидал. Ведь мы лишь вчера опубликовали. И так быстро, — бормотал он. — Да вы не волнуйтесь, сейчас налью воды.

Он хлюпнул из графина в надтреснутый стакан и выпил сам.

— Выходит, разведчик старший лейтенант Щербак погиб, освобождая родное село... В воскресном номере дадим целую полосу...

— О чем вы говорите? — вмешалась Катя. — Тетя Надя, Надежда Егоровна пришла, чтобы...

Редактор густо покраснел.

— Извините, заговорился... Вы должны рассказать мне о сыне все-все... Это богатейший материал! Говорю вам как журналист!

Он снова увлекся, начал доказывать, как важно, чтобы о героическом подвиге земляка узнали все, это воспитывает...

— А письмо отдадите?

— Письмо? — Редактор запнулся. — Видите ли, его забрали в музей. Письмо и гильзу, в которой оно находилось. Экспонат! Конечно, у этих архивариусов не так

просто вырвать, что попадает им в руки, но копию... копию снимем, это точно, я обещаю.

Он положил перед собою лист бумаги и потянулся за карандашом.

— А теперь скажите о сыне. Что-нибудь, все равно что.

Надежда вздохнула.

— Антон...

— Антон?

— Да, Антон, а что?

— Позвольте, позвольте, — всполошился редактор. — Вашего сына зовут Антоном? Но погиб ведь Анатолий... Анатолий Константинович Щербак! Откуда вы взяли, что это ваш сын? Ах да, в газете мы дали одни инициалы... Это наша ошибка.

Смысл слов редактора не сразу дошел до Кати. А когда в голове ее прояснилось, она бросилась к нему и на радостях поцеловала.

— Значит, это не он? Наш Антон жив? Слышите, тетя Надя? Жив!

Но Надежда ничего не слышала. Над ней склонился встревоженный редактор...

3

Почти два месяца, начиная с 10 апреля 1944 года, союзная авиация усиленно бомбардировала стратегические пункты Бельгии и Северной Франции. Воздушные армады миновали укрепленные районы Атлантического вала на недосягаемой для зенитной артиллерии высоте и обрушивали мощные, всесокрушающие удары по аэродромам, мостам, железнодорожным узлам и шоссейным магистралям.

Командующий группой армий «Б» генерал-фельдмаршал Роммель не без оснований считал, что за активностью союзной авиации скрывается что-то значительно большее. По секретным каналам связи с Берлином и ставкой главнокомандующего немецкими войсками на Западе генерал-фельдмаршала Рунштедта штаб Роммеля вел тревожный обмен мнениями о времени и месте возможной высадки десанта.

Начальник абвера в Бельгии полковник Гискес, ссылаясь на агентурные данные, полученные из Лондона, утверждал, что высадка десанта планируется через пролив Па-де-Кале в районе городов Булонь и Дюнкерк, ре-

зервный вариант — Антверпен, в третью очередь называлось еще устье Сены, где целью союзных войск мог быть большой и удобный порт Гавр.

Ни полковник Гискес, ни те, кому он докладывал, пока не догадывались, что они стали жертвой тонко и умело проведенной дезинформации.

В ночь на 6 июня началась операция под кодовым названием «Оверлорд». Началась она, казалось бы, вопреки здравому смыслу, через Ла-Манш, в неудобном по мнению армейских специалистов для высадки десанта месте, да еще и в неблагоприятную погоду, однако там, где ее меньше всего ожидали гитлеровцы.

Вслед за тремя воздушно-десантными дивизиями под прикрытием корабельной артиллерии и бомбовых ударов авиации на побережье Нормандии высадились части 1-й американской и 2-й английской армий.

Генерал-фельдмаршала Роммеля это известие застало далеко от фронта, у себя в доме, в Герлингене, куда он приехал отпраздновать свой день рождения. Выслушав по телефону начальника штаба генерала Шпейделя, Роммель пробормотал что-то наподобие: «Какой же я идиот!», бросил трубку и приказал срочно подать машину.

В штабе ему доложили, что морские десанты уже соединились с воздушными, создав единый по фронту плацдарм. Опорные пункты и береговая артиллерия гитлеровцев были смяты огневым валом наступающих со стороны моря.

Роммель срочно перебросил в Нормандию шесть пехотных, три танковых и одну моторизованную дивизии, приказав любой ценой отбросить десант к побережью. Позвонил Рунштедту:

— Я устрою им второй Дюнкерк!

Роммель сам не верил своему хвастовству, он понимал, что время победных походов вермахта бесповоротно ушло. Ему помнились африканские пески, на которых расцвела его военная слава, но именно в этих песках она и увяла, и чем дальше, тем больше он склонялся к мысли, что никакой славы и не было, а была огромная авантюра, за которую рано или поздно придется расплачиваться по законам неумолимой военной логики.

День 19 июня породил в душе Роммеля надежду. Сильный шторм, налетевший с Атлантики, уничтожил почти 300 десантных судов, и Роммель поспешил отправить в Берлин триумфальное донесение о небывалой в истории войн «бескровной победе».

Однако похоже было, что союзники собрали в Ла-Манше флот всего мира, — через четыре дня высадка с еще большим упорством возобновилась.

К концу месяца в Нормандии оказалось уже 25 дивизий и войска продолжали прибывать. Сдался Шербур — важный порт на полуострове Котантен.

3 июля Гитлер приказал Рунштедту сдать командование генерал-фельдмаршалу Клюге.

Роммель это известие воспринял как приближение собственной катастрофы. «Последний звонок, — подумал он. — На очереди я...»

Как только пришло сообщение о событиях в Нормандии, на подпольной квартире в одном из рабочих районов Нижнего Брюсселя на экстренное заседание собрался Центральный Комитет Бельгийской компартии. На этом заседании были выработаны тактика партии и задания партизанской армии в новых условиях. В корпусы и полки отправились проинструктированные Диспи связные.

...В середине июня в расположении 4-го партизанского полка «Урт-Амблев» появился Филипп Люн. Уже по одному тому, что в горы прибыл Люн, которому законы конспирации до сих пор запрещали это делать, Антон Щербак понял: случилось что-то чрезвычайное.

Карие глаза под густым чубом Люна светились весело и молодо.

— Ну здравствуй, здравствуй, дружище! — воскликнул он, обнимая Антона. — Давненько не виделись. Это от меня... А это от Николь... Между прочим, просится к тебе сестрой милосердия. Возьмешь?

Антон был рад неожиданной встрече с Люном, человек этот издавна вызывал в нем чувство светлой зависти и уважения.

— Знакомься, — сказал он. — Это начштаба Франсуа Балю.

— Слышал про вас, — Люн окинул Балю внимательным взглядом.

— Я о вас этого сказать не могу.

— Камушек в мой огород, не так ли, Франсуа? — улыбнулся Щербак.

Люн примирительно взял Балю под руку.

— Не гневайтесь на него, он не повинен в этом. Так надо было. А вы тут неплохо устроились! Запасной выход с острова есть?

— А как же! Иначе это была бы западня для нас самих, — усмехнулся Балю. — Дюрер все предусмотрел.

— Дюрер... Я хочу побывать на его могиле, — лицо Люна помрачнело. — Сколько еще будет таких могил...

— Ну, хватит тебе, Филипп, — тихо произнес Щербак. — Не терзай душу. Скажи лучше, с чем прибыл?

— А вы что — ничего не знаете? .. Правда, не знаете? Ну и дела... Вся Бельгия гудит об этом, а вы... В Нормандии высадились союзники!

— Наконец-то! — вырвалось у Антона.

Лицо Балю озарилось, но тут же он вскипел:

— Шкуру с этого Марше спущу! Не может раздобыть каких-то несчастных батареек... Живем как в лесу!

— Так ведь мы и живем-то в лесу! — весело воскликнул Щербак. — Оставьте, Франсуа, тут такое известие... Айда под крышу, обмозгуем это дело... Иван! У нас гость. Соображаешь?

— Так точно, товарищ лейтенант!

— Ну, и действуй соответственно...

— Есть!

Войдя в штабной барак, Антон сразу потянул Люна к карте:

— Показывай.

— А что показывать? Нормандия — вот и все. Пока никаких подробностей.

— Что на Востоке, показывай!

Люн засмеялся:

— Я знал, чего ты сразу потребуешь, поэтому разузнал, что мог. Ну, давай уж, давай свою карту. Вполне возможно, что данные устарели, но, как говорят, чем богаты, тем и рады... Так... Ставь кружочки... Одесса... Черновцы... Луцк... Гомель... Псков. Пожалуй, все, что мне известно. Эва! Чуть не забыл — Рим!

— Рим — это из другой оперы, — сказал Щербак, обводя на карте красным карандашом названные Люном советские города.

За Рим вступился Балю:

— Недооцениваете, комендант. Рим — столица, а столицы берут не каждый день.

Шульга принес бутылку коньяка.

— Давай, Ваня, разливай и о себе не забывай, — сказал весело Щербак. — Выпьем, друзья, за Нормандию, за Рим, за Псков и Гомель... Если бы здесь был сейчас Довбыш, он, конечно, выпил бы прежде всего за Одессу.

— Тельняшку свою уже до дырок заносил, — хохотнул

Шульга.— После войны, говорит, я ее в рамочку застеклю и повешу на самом видном месте.

— Смешно, да не очень,— сказал осуждающе Щербак.— У человека морская душа, Ваня. Это нужно понимать.

После инструктивного совещания с командирами подразделений Щербак и Люн пошли на партизанское кладбище.

Лесная опушка была покрыта зарослями дудника. Низенькие холмики могил утопали в густых травах, усатые побеги опутали деревянные обелиски. «Как быстро затягивает раны земля! — подумал Антон.— Могилу комиссара не просто будет и отыскать».

— Сальве, Жозеф! — тихо сказал Люн.— Дульцет декорумст про патриа мори! [1] И все же я был бы счастлив, если бы ты сейчас стоял рядом со мною.

Над зубчатым горизонтом висели кучевые, похожие на снежные шапки, облака. В кустах жимолости свистели коноплянки. Казалось, время замедлило свое течение, презрев людскую суету.

Потом они шли лесом, и небо голубело над ними маленькими озерцами. Мир отгородился от них жесткими стволами деревьев, лапчатыми ветвями, переплетением кустарников. Звонко долбили кору дятлы, в бурьянах шуршали ящерицы.

— Давно хочу спросить тебя, Филипп, откуда ты знаешь латынь? — поинтересовался Антон.

Люн проследил за черным дятлом, который безбоязненно вертел головкой в красной шапочке, разглядывая нежданных посетителей круглыми, как пуговицы, глазками.

— У нас латынь плохо ли, хорошо знает каждый гимназист,— сказал он.— А я все же как-никак лиценциат [2] филологии. Но это было давно, еще до Испании. Мертвый язык. Какая несправедливость! И неправда. Мудрая и милозвучная речь, речь Овидия, Горация, Вергилия, Ювенала... Я был просто влюблен в латынь.

Какое-то время они шли молча.

— Охотно остался бы у тебя, Антуан! Вспомнил бы

---

[1] Здравствуй, Жозеф! Приятно и почетно умереть за Родину! (*лат.*)

[2] Лиценциат — научная степень в зарубежных университетах.

прошлое... — Люн вздохнул. — Боюсь, разучился уже стрелять. Николь возьмешь?

— Ты что — серьезно?

— Просится. Женщина она боевая, но в последнее время что-то скисла.

Щербак подумал, что вдвоем с Франсуазой Николь могла бы совершить целый переворот в хозяйстве Мишустина. Но тут же вспомнил разговор с ней в Пульсойере, когда она перевязывала ему простреленную ногу, ее стремление всегда быть рядом с мужем.

— Нет,— сказал он.— Передай мадам Николь, что я отказал в ее просьбе.

Люн остановился, положив руку на плечо Щербака. Глаза у него были глубокие и темные, в уголках около носа притаились морщинки.

— Ни о чем Николь не просила. Это я прошу, неужели тебе не ясно?

— Яснее некуда, — буркнул Антон. — За тобой что — слежка?

— До этого пока еще не дошло. По крайней мере не замечал. А я воробей стреляный.

— В чем же дело?

Люн пожал плечами:

— Интуиция. Человек не может слишком долго ходить по канату. И если что... Николь тогда... Сам понимаешь.

Антон подумал об Эжени. Это, наверное, хорошо, что старый Рошар забрал ее к себе на ферму.

4

— Мсье капитан, — сказал я, — теперь, когда союзные войска наконец-то высадились в Нормандии и приближаются к бельгийской границе, думаю, настало время выработать план совместных действий.

Я старался быть протокольно вежливым и старательно подбирал слова. Гро сидел в кресле напротив, закинув ногу на ногу, и внимательно рассматривал картины на стенах гостиной, будто попал сюда впервые.

— Умирать, разумеется, никому не хочется, — произнес он не торопясь.— Но мы с вами солдаты, в конце концов, это наша профессия. Ван-Бовен сроду не держал в руках оружия. Да! Он не знал даже, черт побери, из какого конца оно стреляет! Однако мы сидим в его уют-

ном доме, а самого Ван-Бовена уже нет в живых. Парадокс!

Судьба этого фермера, которого я никогда не видел, меня мало интересовала, однако ради приличия я спросил, как это произошло.

Капитан Гро перевел взгляд на кончик своего сияющего сапога и нервно забарабанил пальцами по подлокотникам кресла.

— Его зачем-то понесло в Антверпен. То ли по делу, то ли к любовнице. Напоролся там на облаву, кто-то побежал, а застрелили его. Глупая смерть.

Я молчал.

— Вас, наверное, удивляет, почему я принимаю это близко к сердцу. Но, черт побери, он был мужем моей сестры! Извините, что я заговорил о своих семейных делах, но когда-то вы сами спрашивали: не хочется ли мне иногда снять солдатский мундир.

— У вас хорошая память, капитан, — сказал я.

— Память, память...

Он поднялся и подошел к окну. Во дворе проступали контуры деревянного флигеля, от него шла зубчатая цепочка давно не крашенного штакетника. К боковой стене строения было привалено дубовое бревно, на нем сидели Крафт и Фернан, по очереди похлебывая из кружки какую-то жидкость.

— Вы не ответили на мое предложение, — напомнил я. — Позволю себе повторить...

— Не стоит, — капитан обернулся, глаза его были иронично прищурены. — Я все помню. Это лично ваше предложение, лейтенант, или оно исходит от вашего ЦК?

— Мой ЦК в Москве, мсье капитан, — сдержанно сказал я. — И у меня, к сожалению, нет с ним связи.

Усики Гро расползлись в ухмылке:

— Вы прекрасно знаете, лейтенант, что я имел в виду другой ЦК. Ведь связь с Брюсселем, надеюсь, у вас в порядке?

Мне казалось, что он хочет поиздеваться надо мной.

— Несколько минут тому назад, — сказал спокойно я, — вы в который раз подчеркнули, что мы с вами солдаты. Я давно в Арденнах, однако не помню, чтобы ваш полк — ведь вы командуете полком, мсье капитан? — чтобы полк ваш провел хотя бы одну серьезную операцию.

Гро сделал рукою протестующий жест.

— Именно так, — продолжал я. — Вы не совершили

ни одной операции, чтобы нанести сколько-нибудь серьезный ущерб оккупантам. Бо́льшая часть ваших людей жили по домам. Учебные стрельбы в старых каменоломнях, отдельные террористические акты против отъявленных предателей да сбор сведений — вот и все, чем вы можете похвалиться. Я не знаю, откуда вы получаете приказы — из Брюсселя или из Лондона, — но по сути вы просто отсиживались до известного вам приказа Диспи, хотя вас и хорошо вооружили. Однако кто-то должен был идти навстречу пулям карателей, защищать народ, спасать его от истребления...

— Вам тоже кое-что перепало от лондонского правительства, — усмехнулся Гро.

— Крохи, — сказал я. — Да и то не по доброй воле опекунов.

Он вдруг упал в кресло и захохотал.

— А здорово вы обвели меня тогда вокруг пальца! Я был злой, как цепной пес, но, поверьте, не мог не отдать должное вашей находчивости.

— И все же настаивали на возвращении оружия?

Гро нахмурился:

— У меня тоже есть начальство.

— Готов биться об заклад, что вы никому не доложили об этом происшествии.

— Вы так думаете?.. А впрочем, вы правы, я в самом деле скрыл этот случай. Не в моих интересах было трезвонить о собственном ротозействе. К тому же, — Гро не спеша, с ленцой вытащил из кармана пачку сигарет, щелкнул зажигалкой, поднес огонек мне, затем прикурил сам, — вы сделали мне добрую услугу. Помните английских летчиков? Я переправил их домой. И премьер-министр отблагодарил меня, разумеется.

— Поздравляю, — сказал я. — Но это была не моя идея.

— Какая разница! Дюрер был по натуре дипломат, он знал, что убивает сразу двух зайцев.

— Был?

— Да, был. Вы думаете, я не знаю, что Дюрер погиб? Мне его искренне жаль.

— Я всегда говорил, что агентурные дела у вас поставлены хорошо, — сказал я. — Но это все, чего вы добились. Правда, английских летчиков у Селя вы все-таки проморгали. Так же, как и мою операцию на аэродроме.

Я намеренно уязвлял его самолюбие. Теперь уже мне хотелось вывести его из равновесия. Однако это не уда-

лось. Гро лишь насупился и замолчал. Я посмотрел на часы.

— Мсье капитан, вы уклоняетесь от разговора, ради которого мы, собственно, и находимся здесь. Зачем вы тогда согласились на встречу?

Капитан Гро снова, в который уже раз, вытащил пачку сигарет, но передумал закуривать и сунул ее в карман.

— Я не уклоняюсь, лейтенант. Но на ваше предложение мне нечего ответить. Я еще не получил на это приказа. А приехал потому, что вы мне импонируете... Не смейтесь, я говорю правду. И еще я думал, что с вами будет ваш начальник штаба, я давно не виделся с Франсуа. Он говорил вам, что мы знакомы с ним по службе в королевских войсках?

— Говорил. Однако почему...

— Почему я здесь, в Арденнах, не взял его к себе?

— Вы не взяли или он не захотел?

— О, это еще как посмотреть. Диалектика! Кажется, этой богине молятся марксисты? Впрочем, мне нет дела до марксистов, я вне партий, я солдат.

— Ну вот, и замкнулся круг, — сказал я. — Ловлю на слове. Второй раз. Вы солдат, я тоже. Так почему же нам не договориться о совместных действиях против общего врага? Тем более теперь, когда приближается время решающих боев? Нет приказа? Добивайтесь же такого приказа, капитан!

Я решил идти напролом.

Гро заговорил не то чтобы спокойно, а как-то умиротворенно:

— Не я придумал политику атантизма[1], лейтенант. Мсье Пьерло обосновал ее гуманным желанием избавить население от репрессий и лишних жертв.

Он вдруг умолк, и так, не продолжая разговора, мы просидели минуты две.

В открытое окно был слышен хрипловатый голос Крафта, сдержанный смех Фернана. Там шла своя беседа.

— Выходит, встреча наша была напрасной, — с сожалением отметил я, поднимаясь. — Странно, почему Гитлер до сих пор не ввел медаль для атантистов. Ее можно было бы назвать, скажем, так: «За равнодушие к судьбе собственного народа».

---

[1] От французского слова attendre — выжидать.

Мы вышли во двор. Черно-синюю долину на северо-западе беззвучно перечерчивали зигзаги молний. Как всегда перед грозой, в воздухе висела напряженная, готовая вот-вот взорваться, тишина.

— Один вопрос, мсье Шербак, — сказал Гро. Как и все бельгийцы, он говорил «Шербак». — Ликвидация Жаклин Бодо — дело ваших рук?

Я искоса глянул на Крафта.

— Впервые слышу. А кто это такая?

— Теперь уже не имеет значения, — капитан сделал неопределенный жест рукой. — Она получила ровно столько, сколько заслужила. Ни больше, ни меньше. Привет Франсуа! Передайте ему, что после войны я приглашаю вас обоих в гости. Надеюсь, он не забыл мой адрес.

Фернан завел мотоцикл. Я сел у него за спиной, махнул рукой Крафту и оглянулся. Капитан Гро стоял на пороге, высокий и худой, скрестив на груди руки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

1

«Здравствуйте, тетя Надя!

Я очень виновата перед вами, письмо получила — еще снег лежал, а нынче уже и жатва не за горами. Как уехали вы, все у меня из рук валилось, привыкла к вам, будто к матери. На что уж мой дударик — камень, не человек, но и он загрустил. Про камень это я так, к слову, потому что душа у него мягкая, вы же знаете. Выписали ему из области протезы, и с ними носится он, как этот самый... со ступой, на коляску и смотреть не хочет. До каких пор, говорит, возить меня будешь, будто младенца? Ходит с костылями, а без опоры — хоть плачь, не слушаются ноги. Но он добьется своего, не сомневайтесь. Я, говорит, еще и трактор буду водить. Ну, про трактор — это вилами по воде, однако я молчу, так как очень гневается, если в чем ему перечу.

А еще не дает мне прохода Антонина. О вас да о вас толкует. Ты, говорит, меня из воды вытащила, а она — из пропасти. За дедом Панасом бегает по пятам, а тот хитрющий, целуй, говорит, а то не дам Ивановой корреспонденции. И Тонька целует почтальона — помирились они с Иваном, читала мне его письма...

А зимой у нас случилось несчастье. Провалилась на Тоболе бабка Ивга, и зачем ее туда понесло, бедолагу, чуть не умерла и сейчас дюже кашляет. От Махтея только борода да глаза остались, так горе его скрутило, что и кузню было оставил. А теперь вот снова гремит, дали ему двух помощников, потому как скоро уборка. Хлеб уродил колосок к колоску, жаль, что побило градом тот клин, что за Верблюжьим горбом.

Андрей Иванович — вот мужик! — просился на собрании, чтобы отпустили из колхоза. Причины мне неизвестны, но так просился, что не знали мы, как быть с ним, потому что и его жаль, и себя тоже, где еще такого хозяина сыщешь? Приехал секретарь райкома Самохин и обругал его дезертиром, и они друг на друга кричали... Самохин кричал, и наш Цыганков тоже, а после обнялись при всем народе, и на том все кончилось. Остался Андрей Иванович по-прежнему нашим головою. Худой, правда, и какой-то невеселый, возможно болезнь у него какая, но попробуй спроси, и спросишь — не дождешься ответа.

И еще одна беда свалилась на Карачаевку. Умер учитель Семен Никитович Малахов. Хоронили его в красном гробу, приезжал из области большой начальник. Учился он в прежние годы у Семена Никитовича, а теперь очень плакал. Такой большой начальник, а плакал, как мальчонка.

Тетя Надя, не слыхать ли что-нибудь про Антона? У нас тут многие уже вернулись, все, правда, по нездоровью, война покалечила, но как бы там ни было, а дома. И муж бухгалтерши Каролины вернулся, теперь он агроном. Видать, знающий, так как Андрей Иванович очень его расхваливает, да мы и сами видим, что жадный он в работе.

Мы со Славиком домой собираемся. Потурили фашиста с берегов Черемоша, пришла свобода на полонины, только вот оттуда ни звука. Нет письма — и сердце леденеет.

Видите, сколько я вам настрочила. А когда садилась, то и не знала, с чего начать. Чудно!

Целую вас, любимая тетенька, как целовали вы меня на прощанье.

Стефка».

2

Новое мощное наступление Советской Армии и высадка союзных войск в Нормандии всколыхнули Европу. На улицах бельгийских городов рядом с приказами немецкой администрации почти каждую ночь появлялись антифашистские листовки. Жандармы не успевали их срывать. Участились массовые побеги военнопленных с шахт Лимбурга.

Активную вооруженную борьбу с оккупантами вела в этой провинции партизанская бригада «За Родину», которой командовали советский подполковник Константин Шукшин и его заместитель лейтенант Иван Дядькин. В районе Брюсселя действовал «Русский партизанский батальон» во главе с бывшим ленинградским ополченцем Тягуновым. В других провинциях, а также в окрестностях Арденн громили врага отряды: Жана Давана («Вальжан»), Григория Титова («Шеф»), Григория Кожедубова («Женька»), Луи Греланже («Демильен»), Николая Степанова («Сибиряк»), отряд 024 в районе города Шарлеруа и другие. Предгорья между реками Урт и Амблев контролировали партизаны Антона Щербака.

Чуть ли не каждый день на базу Либерте прибывало пополнение — беглецы с шахт и карьеров, рефрактеры, жители окрестных городов и сел.

К началу июля 4-й полк насчитывал почти семьсот бойцов, а люди все прибывали. Заболоченный полуостров был не в состоянии вместить такое количество партизан, пришлось спешно рыть землянки в лесу.

Франсуа Балю, созвав писарей, формировал новые подразделения с таким расчетом, чтобы в каждом было ядро из обстрелянных бойцов. Вечером, уединившись со Щербаком, он возмущался:

— Цыганский табор, а не полк. Зачем нам семьсот, если мы не в состоянии вооружить и триста? Балласт!

— Разве лучше было бы наоборот: оружия полно, а стрелять некому?

Начштаба моргал красными от переутомления глазами, страдальчески морщил широкий с залысинами лоб и упрямо отвергал доводы, высказывая опасение, что однажды все это стихийное сборище накроет хорошо обученная строевая часть немцев.

Довбыш давно носился с мыслью создать роту советских партизан.

— Понимаешь, Антон, — горячился он, убеждая Щербака, — соберемся вместе — это же сила! И знамя наше, красное... Представляешь?

— Что касается знамени, не уверен. Политика, Егор...

— И я говорю — политика, — обрадовался матрос. — Еще какая политика. «Гей, червоне знамéно, ти від партії дано!»[1] Здорово, а? Где наши-то, а здесь — мы, и все равно под одним знаменем. Высоко взметнем над Арденнами!

— Соблазнительно! — Щербак даже вздохнул. — Очень хотелось бы. Поговорю с начальником штаба.

Балю, как и предвидел Антон, мысль о выделении советских людей в отдельное подразделение встретил настороженно.

— Зачем эта автономия?

— Никакой автономии, Франсуа. Русские — солдаты воюющей страны. Однажды судьба вышибла нас из седла. Мы поднялись вновь на битву, примкнув к бельгийскому Сопротивлению. Плечо и локоть товарищей по оружию: бельгиец, русский, француз, поляк... Это здорово! Но, объединив советских партизан в одно подразделение, мы почувствуем себя действующей частицей нашей Армии. Пусть маленькая это будет частица, заброшенная за тридевять земель, но живая часть сражающейся Родины.

Балю улыбнулся, обнял Щербака.

— Да, я вас понимаю, мне тоже дорого чувство родины, иначе я не был бы с вами...

Уже через несколько дней вновь сформированная рота Довбыша отличилась.

Неподалеку от Эсню пролегал железнодорожный туннель. Краснознаменные мстители устроили перед ним завал и остановили товарняк.

Пожилой машинист вышел на зов партизан из узеньких дверей будки локомотива. Из-за его спины выглядывала перепачканная углем физиономия кочегара.

— Что произойдет, отец, если разобрать колею в туннеле и пустить туда на всей скорости поезд? — спросил машиниста Довбыш.

— Известно что, — повел плечами бельгиец. — За крушение — расстрел. Боши на расправу скорые.

---

[1] Строки из стихотворения известного украинского советского поэта Павла Тычины.

— Отпустите нас! — взмолился перепуганный кочегар.

У Довбыша было мало времени на раздумье, он опасался, что из туннеля вот-вот выскочит встречный эшелон или же подоспеет патрульная дрезина.

— Ну что ж, — сказал он, — устроим фрицам небольшой шторм в тихую погоду... Вы долго еще там, братишки?

Из туннеля прибежали партизаны с ломами.

— Готово, товарищ командир! Раскурочили, мать их...

— Куликов! — Довбыш ткнул огромный кулак под нос подрывнику. — Я кому говорил: при посторонних суши весла?!

— Так я же по-нашему...

— Я тебе дам по-нашему. Камбуз будешь драить! — Довбыш повернулся к машинисту: — Прошу, мсье. Сдайте немного назад, а потом реверс до отказа! Возьмет поезд разгон — прыгайте... А вы можете быть свободны хоть сейчас, — сказал он кочегару.

Машинист переглянулся с долговязым юношей, стоявшим сбоку с масленкой в руке. Тот, понурив голову, молчал.

— Воля ваша.— Машинист тяжело вздохнул, взглянув на паровоз, монотонно лязгающий водяным насосом. — Я на нем двенадцать лет... Отведите людей... Обнажу свод котла для взрыва.

Когда страшный грохот в туннеле, раскатившись эхом в окрестных скалах, затих, машинист обвел взглядом тучу пыли, что бесшумно оседала в долине, и повернулся к Довбышу. Лицо его было отрешенным.

— Что будет с нами?

— Курс норд-ост! — сказал Довбыш, махнув рукою в направлении гор. — Немцы конечно же узнают, что вы не погибли при катастрофе. Разумеется, если сумеют пробиться в туннель. Полагаю, это им удастся не скоро. Пойдем, отец, с нами?

Машинист, несколько помедлив, обнял за плечи молоденького кочегара.

— Что ж, — сказал он, — это, пожалуй, лучше, чем гнуть спину на бошей. Как ты считаешь, Крис?

Когда через полчаса на место диверсии прибыла немецкая патрульная дрезина, далеко в горах, над лилово-синими зарослями вереска, плыла песня:

По долинам и по взгорьям
Шла дивизия вперед...

На второй день разведчики Фернана доложили, что среди населения ходят слухи, будто диверсию устроили парашютисты, которых маршал Сталин приказал выбросить в Арденнах на помощь американцам.

Довбыш ликовал:

— Ты, Андрюха, за мостами охотишься да за плотинами,— говорил он Савдунину,— а я один раз шарахнул и заткнул туннель как пробкой. Такой кляп засадили в глотку — подавиться можно.

И как в воду глядел. Немцам так и не удалось расчистить туннель. Железнодорожное движение между Люксембургом и Льежем прекратилось до конца войны.

3

Получив донесение о диверсии в туннеле, штандартенфюрер Франц Энке заперся в своем кабинете, приказав адъютанту никого к нему не впускать. Нестерпимо жгло в затылке. Приложив мокрый платок к бугристой, чисто выбритой голове, он хмуро всматривался в блестящее пятнышко на эбонитовой поверхности телефона. Надо было позвонить в Брюссель, но звонить не хотелось.

Энке ждал экспертов. Мысли вертелись вокруг проклятого туннеля. Мосты, мосты, мосты... Почему он ни разу не вспомнил о туннеле? Может, потому, что и партизаны не проявляли интереса к этой чертовой дыре в скалах?.. И никто не предостерег, не надоумил. В конце концов, он, Энке, не в силах поспеть всюду один. Его окружают бездари вроде чванливого Зица, который корчит из себя умника, а не сумел схватить даже женщину, жену партизана. Расследование показало: это был тот самый машинист, которого бельгийская жандармерия отпустила после крушения на риважском мосту. Остолопы!.. А чего стоит начальник штаба, реквизировавший и отправивший в Тюбинген сыроварню. Ха-ха... Вульгарный мужлан с душонкой наподобие так любимого им затхлого сыра...

Адьютант доложил о прибытии экспертов. Штандартенфюрер выслушал их молча и почувствовал, что земля уходит из-под ног, хотя он, Энке, принимал официальных визитеров сидя в кресле.

Три месяца на расчистку туннеля?! Кой черт! У него нет и трех дней! Через три часа его того и гляди самого отправят расчищать злополучную дыру.

— Вы свободны, господа, — сказал Энке спокойно.

Оставшись один, он некоторое время сидел, прислушиваясь к боли в голове. Вспомнился гауптштурмфюрер Зильбер. «Куда его отослали: на Восточный или в Нормандию?»

За окном надвигалась ночь. Сквозь стекло было видно, как эсэсовец из штабной охраны ударяет ногой по педали, заводя мотоцикл. Мотор кашлянул колечком дыма и оглушительно затрещал. Может быть, поэтому никто не услышал выстрела в кабинете командира карательного полка СС штандартенфюрера Франца Энке.

На столе настырно звонил телефон, но поднять трубку было некому.

4

Приблизительно в это же время начальник караульной службы 4-го партизанского полка Мишель Денелон привел к Антону Щербаку носатого мужчину, одетого несмотря на вечернюю духоту в кожанку и краги.

— Требует свидания с вами, мсье командант,— доложил Денелон. — Задержали на опушке. Пистолет на всякий случай отобрали.

— Я отдал сам, — раздался знакомый голос в дверях.

— Крафт?

— Не ждали? — белобровый Рене Крафт переступил порог, с любопытством озираясь. — Небогато живете.

— Если сравнивать с замком графа Лануа. . .— начал было Щербак.

— Или же с фермой Ван-Бовена. . . — подхватил Крафт.

Они засмеялись, а на смуглом лице Денелона отразилось разочарование.

— Пусть возвратит пистолет, — сказал Крафт.

Денелон вопросительно взглянул на Щербака и неохотно вытащил из кармана «вальтер».

— Отличный парнишка, — сказал Щербак, когда за Денелоном закрылись двери. — Только с диверсантами ему не везет. Поужинать хотите?

Крафт поднес руку с часами к карбидке, покачал головой.

— Ушло время,— сказал он.— Должен вернуться к рассвету. Я на мотоцикле. Ехать без света — шансы свернуть шею в потемках стопроцентные. Но перейдем, мсье Щербак, к делу.

...Когда Крафт в сопровождении все еще настороженного Денелона скрылся за деревьями, Щербак послал адъютанта за начальником штаба. Тот задержался в лесу у Герсона.

— Капитан Гро просил кланяться лейтенанту Балю,— сказал Щербак, как только массивная фигура начштаба протиснулась в проем двери.— Он сожалеет, что не может исполнить этот ритуал лично.

— Я тронут вниманием капитана к моей персоне,— проворчал Балю, стаскивая грязные сапоги.— Последнее время он только то и делает, что шлет поклоны и салютует бывшим друзьям.

Щербак погасил улыбку.

— Интересные новости, Франсуа. Только что здесь был Крафт. Офицер связи — будем так считать... Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Важно другое — завтра капитан Гро покидает Арденны.

Широкие, словно щетки, брови начштаба прыгнули вверх.

— И он прислал связного, чтобы посвятить нас в свои планы?

— Отнюдь!.. Гро предлагает нам свою базу. Старинный замок благородного графа Лануа. Я был в этом замке. Впечатляет. Залы, анфилады, рапиры, мушкеты... В общем, средневековье. Капитан, видимо, поклялся сберечь замок в сохранности до возвращения графа из эмиграции. Подыскивает сторожей.

— Какое нам дело до этого вельможи? — скривился Балю.

— Думаю, предложение капитана стоит принять. Здесь нам уже сейчас тесно. А люди продолжают прибывать. В замке мы могли бы разместить часть партизан и тем самым расширить границы своего контроля. Замок стоит на гористом и труднодоступном плато Д'оннёр[1]. К слову, откуда такое название? Что, эти Лануа были поборниками рыцарской чести?

— Спросите самого графа, когда он заглянет в имение, которое сберегут для него коммунисты,— не без ехидства бросил Балю.

— Вместе с социалистами, Франсуа, — уточнил Щербак. — Однако, как говорят французы, вернемся к нашим баранам. Думаю, что подобный приказ получил не толь-

[1] Д'оннёр — честь *(фран.)*.

ко капитан Гро. «Арме Секрет» куда-то стягивает свои силы. Куда?

Начальник штаба потянулся к лампе, подкрутил, чтобы не шипела.

— Ясно куда, — произнес он нехотя, — поближе к столице. «Тайная Армия» намеревается вступить в Брюссель вместе с союзными войсками. Пьерло считает, что от этого зависит, кто станет у власти в послевоенной Бельгии.

Щербак с удивлением посмотрел на Балю:

— Вы... вы это серьезно?

Начштаба прилег на топчан, заложив под голову тяжелые руки.

— Так признавался мне когда-то в минуты откровенности сам капитан Гро. Очевидно, это и есть тот самый ре-ша-ющий момент.

— Ну и дела! — присвистнул Щербак. — Воистину: как молотить, так живот болит, а как есть, то где моя большая ложка.

— Вот поэтому и разошлись наши дорожки с уважаемым капитаном Гро, — сказал Балю. — Помните, вы меня спрашивали?..

5

На небе угасали последние звезды. Антон дернул за шнурок звонка и прислушался. За дверью было тихо. Только сейчас он вспомнил, что для связи выделены вторник и пятница, а сегодня — четверг. Значит, Люн никого не ждет и, возможно, куда-нибудь уехал по своим коммерческим делам.

Антон как-то упускал из виду, что эта лавка не только тайное прибежище. Она приносит хозяину немало хлопот. Особенно теперь, когда мадам Николь лежит в одной из льежских клиник с тяжелым заболеванием почек, по крайней мере так было сообщено всем, кто привык видеть ее за прилавком. На самом же деле вот уже несколько недель Николь вместе с Франсуазой ухаживает за ранеными в мишустинском лазарете.

К счастью, Люн был дома. И первое, что он сделал,— сурово отчитал Щербака.

Антон знал: его появление здесь не обрадует хозяина, поэтому безропотно выслушал все упреки.

— Крой мудрой латынью, Филипп,— посоветовал

он. — И улыбайся. Я буду думать, что ты говоришь мне комплименты.

Люн был вдвое старше Щербака, но так уж сложилось — они давно были на «ты», с того самого дня, когда вместе несли гроб, в котором лежал Василек.

— Что ж, этого следовало ожидать, — сказал Люн, выслушав взволнованный рассказ Антона. — Пьерло боится вернуться экс-премьером. Я не думаю, чтобы ЦК не был проинформирован. Во всяком случае, когда я доложил о твоих переговорах с капитаном Гро, Диспи не очень удивился.— Он помолчал.— Кажется, затевается крупная игра за спиной бельгийского народа. Придется мне ехать в Брюссель, притом немедленно.

Заговорили о Николь. Люн сказал: когда прощались, она была близка к истерике.

— Должно быть, правда, что у женщин чувства порой берут верх над рассудком, — смущенно пробормотал он.— Мы никогда не расставались. Лишь однажды, когда я поехал в Испанию. Но она и там меня отыскала. Это была какая-то фантасмагория: клочок неба между скал, крутая тропинка, а на ней — Николь. . .

В сумерках не было видно лица Люна, волнение выдавал голос.

Возможно, в том, что Антон повел себя дальше как мальчишка, виноват был этот разговор.

Следующей ночью он пошел на станцию Пульсойер.

Это было полным безрассудством — лезть на рожон ради того, чтобы заглянуть в пустой дом Гарбо. От Дезаре он знал, что старик Рошар забрал Эжени и ее малышей к себе на ферму. И все же пошел. Его словно вело предчувствие, одно из тех, которые не поддаются объяснению.

Эжени приехала в Пульсойер утренним поездом. На один день. Неимоверно, но они встретились.

— Вчера тебя не было еще, а завтра не было бы уже. Стоит ли удивляться, что я пришел именно сегодня?

Видимо, от неожиданной радости вид у Антона был несколько глуповат, потому что Эжени посмотрела на него широко расставленными глазами с улыбкой.

Он не видел ее год.

И тогда точно так же за окнами шумел ветер, а в доме пахло липовым цветом. Она кормила его, раненного, с ложки, и он боялся встретиться с нею взглядом. Все помнил: крохотные дырочки в прозрачных мочках ушей, черепаховый гребень в тугом узле волос, тапочки, одетые

на босую ногу, и трогательную беззащитность в глазах.

Неужели пролетел год? Сколько раз разговаривал он с ней за это время? С ней, но без нее. Тогда он был смелым, вел бесконечный диалог сам с собой. Он признавался в любви и пытался отгадать ее ответ, строил планы на будущее, ее и свое, и в эту бессловесную, выдуманную им игру мысленно вовлекал даже мать. Сама того не ведая, мать была его союзницей и главным судьей им обоим.

Куда же подевалась та смелость теперь, когда они наконец-то встретились? Нет, он не молчал и она не молчала. Но о чем говорили? .. А время шло, июльские ночи короткие, и где-то на берегу реки ждал Ваня Шульга, его адъютант.

— Я должен идти, — сказал Антон.

— Так скоро? — спросила она.

И этого было достаточно, чтобы он все понял.

— Женя!

Антон с жадностью целовал податливые горячие губы. Он никогда не видел так близко ее глаз, синих, глубоких, чистых. В них было доверие, без меры, без страха, без колебаний.

— Я знала, я давно знала, — тихо сказала она и засмеялась: — Женья... Как смешно ты сказал — Женья...

6

Когда-то давно, мальчонкой, я подслушал, как отец сказал тебе, мама: «Вишенка ты моя...»

Я был удивлен. Взрослый, суровый с виду мужчина говорил какие-то чудные, детские слова, а ты счастливо смеялась.

Сегодня эти слова сказал другой женщине я сам. И вот что удивительно: я был уверен в тот миг, что никто до меня их не произносил. Лишь потом, значительно позже, в памяти воскрес далекий отцовский голос. Я долго думал: почему? Как случилось, что я повторил его слова? .. И неожиданно понял, мама,— она похожа на тебя, моя синеглазая Женя.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

1

Пожар начался среди белого дня.

Где-то за горизонтом, в раскаленном от солнечных лучей воздухе возник смерч. Огромная юла бешено закружилась на одной ноге и поскакала по степи.

У лесополосы, в тенечке, разместился бригадный стан.

В раскрытом котле упревал борщ. Повариха пошла за солью, а когда вернулась, солить было нечего. Смерч опрокинул котел и разбросал огонь по стерне.

Надежда Щербак правила скирду. Оглушенная гулом молотилки, доносившимся с тока, она не сразу поняла, почему всполошилась бригада. Рявкнула и утихла молотилка, от косарей, спотыкаясь о валки, бежал растрепанный Гаевой.

— Где плуги? — кричал он. — Гоните к плугам коней!

Почти невидимое при дневном свете, призрачно пляшущее пламя широким веером расползалось от лагеря, ветер разбрасывал в стороны искры, в небо косо потянулся густеющий дым.

Надежда сбросила вниз вилы, сползла со скирды. Ей стало страшно. В юности, еще до замужества, она уже видела степной пожар под Сергеевкой. Тогда все сгорело дотла и люди, будто пьяные, бродили на пепелище и плакали черными от сажи слезами. . .

Плуг уже проложил темную борозду.

Огонь катился по жнивью желтой волной. Стерня трещала. Ржали, тревожно раздувая ноздри, лошади. За узкой серой полоской дороги начиналось нескошенное поле.

— Люди! — взлетел над степью полный отчаянья крик Надежды. — Родные мои, чего же мы стоим?!

В ту минуту они были похожи на солдат. Так же, как солдаты, отчаянно бежали в атаку и так же, не слыша собственного голоса, кричали. Только вместо винтовок руки сжимали лопаты, вилы, грабли и кричали они не фронтовое «ура», а что-то свое, неразборчивое, по-женски визгливое.

Вгрызались в землю и яростно швыряли ее в огонь, глушили пламя лопатами и топтали ногами. А Клим Гаевой гнал борозду за бороздою, пока не пересохло простреленное горло. Улька, насмешливая Улька вела его от плуга и шептала что-то ласковое.

. . .Надежду Щербак вынесли на руках, у нее обгорели ступни, покрылись пузырями икры. По телу растекался жар, мучила жажда. Кылына смачивала ее потрескавшиеся губы, жалобно хныкала:

— Ну что же ты, кумонька, наделала? Больше всех тебе надо? В самое пламя тебя понесло. . .

Подъехал на бедарке Карпуха, постукал кнутовищем о передок.

— Кыля!

— Чего тебе?

— Бригадир велел отвезти Щербачиху в больницу. Езжай со мной. . . Помрет еще в дороге, а Карпуха отвечай.

— Ах ты, фашистский прихвостень! — подскочила к нему Кылына. — Типун тебе на язык! . . Конечно же, поеду, тебе не доверю.

Карпуха зашаркал к скирде.

— Вот-вот. На Карпуху теперь все можно валить, он без права голоса. Скажи, что, мол, Карпуха стерню поджег — поверят. А как же? Не чей-то там отец, полицаев. . .

— Не вкусила душа чеснока — то не завоняет. Ты куда, идол, солому прешь? Не видишь, какие ноги? Сенца подай, да зелененького. . .

Скрипели, словно коростель, колеса. Рядом с возом, заглядывая через борт, шла Катя.

— Вы давно, тетя, дома не были? С воскресенья? А я вчера в райком ходила. Смотрю, на вашу хату голуби сели. Хохлатенькие. Такие у Антона были. Может, они?

— Хорошая примета, дочка! — отозвалась Кылына.— Голуби вернулись, и Антошка вернется. Слышишь, кума?

Надежда лежала на охапке сена, глядела в небо. Там, вверху, плыли прозрачные кисейные облака, сквозь них просвечивала выцветшая от жары голубизна.

«Я не испугалась, — думала Надежда. — Как это хорошо, что я не испугалась. А было страшно. . . Огонь. . . Он до сих пор еще жжет, притаился. . . в ногах. . . Ждет, когда усну. Но я не усну. . . не усну. . . Не дождешься, проклятый. . .»

2

После неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1944 года в Растенбурге по всей Германии и за ее пределами прокатилась волна арестов. Трибунал, возглавля-

емый Фрейслером, не успевал выносить приговоры. Специальная комиссия по расследованию заговора, которую возглавлял оберштурмбанфюрер СС Кизель, была наделена безграничными полномочиями. Однако иногда и она не решалась действовать привычными для нее методами — слишком высокие чины вермахта были причастны к заговору и арестовать их, избежав нежелательной огласки, было не просто.

Командующего парижским гарнизоном генерал-полковника Штюльпнагеля вызвал к себе Кейтель. Прекрасно понимая причину вызова, генерал по дороге в Германию выстрелил себе в голову, но остался жив, только повредил себе зрительный нерв. Слепого Штюльпнагеля все же привезли в Берлин и вскоре казнили.

Получил вызов от Кейтеля и командующий всеми немецко-фашистскими войсками на Западе генерал-фельдмаршал Клюге. На другой день он выехал в расположение войск, намереваясь перейти линию фронта и сдаться в плен американцам, но стал жертвой нерешительного характера. После долгих колебаний девятнадцатого августа Клюге вылетел в ставку. В самолете его снова охватили сомнения и страх. Перед посадкой в Меце генерал-фельдмаршал принял яд.

Роммеля, казалось бы, судьба щадила. Семнадцатого июля, за три дня до взрыва бомбы фон Штауффенберга[1] в Растенбурге, генерал-фельдмаршал возвращался из поездки на фронт. Неожиданно его машину атаковал истребитель. С простреленной головой и несколькими ранениями Роммеля привезли в госпиталь под Парижем, а вскоре — домой в городок Герлинген неподалеку от Ульма.

Роммель был связан с заговорщиками, хотя на убийство Гитлера согласия не давал. У него был свой план «спасения Германии», сводившийся к тому, что фюрера достаточно арестовать, после чего немедленно подписать сепаратное соглашение с союзниками на Западе.

Неизвестно, что сыграло роль — умеренная позиция фельдмаршала, прошлые заслуги перед рейхом или тяжелое ранение, а может, все вместе взятое, однако долгое время Роммеля не трогали. Но 14 октября за ним приехали из Берлина генералы Бургдорф и Майзель.

---

[1] Клаус Шенк фон Штауффенберг, полковник. Один из организаторов покушения на Гитлера.

Роммель успел шепнуть сыну, что его выдал начальник штаба группы армий «Б» Шпейдель.

Через пятнадцать минут после ухода из дому в сопровождении генералов семье сообщили, что фельдмаршал умер от кровоизлияния в мозг. На самом деле генералы учтиво передали Роммелю в машине высочайшее разрешение покончить жизнь самоубийством...

Некоторое время немецко-фашистскими войсками на Западе командовал генерал-фельдмаршал Модель. Вскоре его сменил престарелый Рунштедт, которого Гитлер то снимал с постов, то снова проникался к нему доверием. Моделю было приказано возглавить группу армий «Б».

Пока в ставке Гитлера продолжалась генеральская чехарда, действия на Западном фронте развивались своим чередом. Полуразрушенный Шербур и временные причалы в бухте Сены не успевали пропускать потоки грузов, шедших через Ла-Манш в Нормандию. Союзным войскам необходимы были порты Бретани.

Первого августа армия генерала Бредли после ожесточенных боев взяла город Авранш, размещенный на высоком взгорье у выхода в залив Сен-Мало. Открылась дорога на Бретань, по ней в глубь полуострова хлынули мотомеханизированные дивизии 8-го американского корпуса.

Немецкому командованию было уже не до Бретани. Возложив заботы о портах на местные гарнизоны, в штабе группы армий «Б» ломали голову над тем, как спасти положение на левом фланге в районе Мортена.

Седьмого августа немцы предприняли контрудар по Авраншу четырьмя дивизиями. Им удалось сковать основные силы армии Бредли, но тем временем 3-я американская армия генерала Паттона прорвала фронт севернее Майенна, заняла Ле-Ман и развернула 15-й корпус круто на север. Нависла угроза полного окружения двадцати немецких дивизий в так называемом «фалезском мешке».

Однако «мешок» этот был затянут с опозданием на целую неделю, когда немцы успели вывести из-под удара значительную часть своих войск. И все же 7-я пехотная и 5-я танковая армии оказались окруженными. Только двадцатого августа ценою больших потерь они прорвали кольцо и отошли за Сену.

В конце августа, как раз в то время, когда оперативный отдел штаба 2-й английской армии генерала

Демпси разрабатывал план форсирования Сены, разведка 30-го корпуса неожиданно доложила, что противника за рекою нет. Командир корпуса генерал Харрокс разведчикам не поверил и послал на восточный берег танковую дивизию. Вскоре выяснилось, что немцы в самом деле покинули водный рубеж и скрытно оторвались от преследования.

30-й корпус, а за ним и вся 2-я армия бросились к переправам. По холмам французской Пикардии и равнинам бельгийской Фландрии танки шли без единого выстрела триумфальным маршем. Этому способствовало успешное восстание бельгийских патриотов, которые сумели до подхода английских войск захватить важнейшие коммуникации, изгнав врага из нескольких провинций и городов.

Правительство Пьерло выступило с заявлением, в котором осудило призыв Национального комитета движения Сопротивления к восстанию. Но, поняв вскоре, что такая позиция может окончательно подорвать собственный авторитет, поспешило объявить о поддержке восставших.

Вечером третьего сентября английские войска вступили в Брюссель.

Над городом плыли черные тучи — горели баржи на каналах Шарлеруа и Виллебрук, в центре столицы дымил Дворец правосудия. Днем позже партизаны Фронта независимости заставили капитулировать немецкий гарнизон Антверпена.

Не зная, куда девать военнопленных до прихода англичан, патриоты посадили их в пустые клетки зоопарка. На клетках еще сохранились дощечки с надписями: «горилла», «гиена», «шакал». Тысячи жителей освобожденного партизанами города пришли посмотреть на присмиревших фашистов, которые около четырех лет господствовали в их древнем городе. С молниеносной быстротой по улицам разлетелась песенка неизвестного автора: «Подайте горилле банан».

На Льеж через Арденны наступала 1-я американская армия. Продвижение ее сдерживала гористая местность.

Эсэсовский полк, которым после самоубийства штандартенфюрера Франца Энке командовал бывший комендант Риважа оберштурмбанфюрер Гейнц, неожиданно снялся с квартир и, подбирая на станциях свои гарнизоны, двинулся долиной Урта в направлении Льежа. Партизаны Антона Щербака сопровождали его, устраивая в глухих ущельях засады. Эсэсовцы ожесточенно отбива-

лись. В этих боях каратели потеряли третью часть личного состава.

Потерпев неудачи на фронтах, фашисты жестоко расправлялись с бельгийскими патриотами, особенно в крупных рабочих городах. В Льеже начались массовые облавы, аресты, расстрелы. Компартия в этих условиях приняла решение вывести максимальное количество людей в горы.

В середине сентября 4-й партизанский полк насчитывал около тысячи бойцов. Из Льежа прибыло еще почти столько же. И хотя оружия, как и раньше, не хватало, это было серьезное формирование.

Комендант Щербак рассредоточил батальоны по всей округе в долинах Урта и Амблева, решив оседлать горные дороги, по которым отходили пощипанные в боях немецкие части из Южной Франции. Герсон разместился в замке Ланyа и контролировал плато Д'оннёр, Ксешинский действовал в районе Эсню и Пульсойера, батальон Денелона, «гвардия» Довбыша и сам Щербак оставались на базе Либерте. Летучие отряды подстерегали на дорогах небольшие группы и обозы врага, добывая таким путем себе оружие.

Штаб разослал по окрестным городкам, станциям и селениям воззвание, в котором сообщалось, что отныне и до конца войны власть на территории коммуны Комбле-о-Пон и окрестной местности в долине Урт-Амблев берет в руки командование 4-го полка ПА. Всем бургомистрам и населению предписывалось выполнять его приказания. Пользоваться телеграфом и междугородным телефоном без разрешения партизанского командования было строго запрещено.

...Щербак еще раз перечитал подпольно отпечатанное в Комбле-о-Поне воззвание.

— Строго запрещается, — задумчиво произнес он. — Не слишком ли? Не перегибаем?

— Власть есть власть, — сказал Балю. — К тому же военная. Речь идет о возможности пользоваться связью, а связь во время войны — это, если угодно, тоже оружие.

— Что ж, возможно, вы и правы, — согласился Щербак. — Но, для того чтобы стать реальной властью, нам необходимо спуститься в долины, к людям, разместить батальоны в населенных пунктах и помочь создать местное самоуправление. Как вы думаете, Франсуа?

Зная осторожность начальника штаба, он был готов к возражениям, однако Балю без колебаний поддержал

его, пообещав не позднее завтрашнего дня доложить план дислокации.

— Госпиталь оставим пока здесь. Безопасней. Да и руки не будут связаны.

Щербак решил наведаться к Мишустину. После недавних боев под Риважем и Эсню в помещении инструменталки, где когда-то лечился он сам, стало тесно. В распиловочном цехе остро пахло йодом и хлоркою. Между нарами шустро сновала кругленькая, как кочан капусты, Франсуаза. В черном платье, которое она носила в знак траура после смерти мужа, и высоком белом чепчике Франсуаза была похожа на монахиню.

— Бинтов маловато, — жаловался Мишустин. — Такое дело... Прикажи Марше, пусть поищет. Девчата корпию щиплют, как в первую мировую...

— Растолстел ты, Иван Семенович, ремень не сходится, — сказал Щербак. — Где Николь?

— Отдыхает после ночного дежурства, — Мишустин ласково взглянул на Франсуазу. — Трудно им, товарищ командир, с ног сбиваются... Адъютанта твоего я сегодня выписал. Такое дело, фурункулов стыдится. У людей, говорит, раны, а у меня черт знает что, после войны стыдно вспомнить будет.

— Ишь ты, — хмыкнул Щербак. — Раны ему захотелось... Успеется.

Николь прикорнула в тени под сосной. Солнце нашло щелочку между веткой и высветило раннюю седину; под глазами темные круги. Антон не решился будить Николь, оставил для нее записку от Люна и, махнув рукою Мишустину, пошел на базу...

Из Комбле-о-Пона возвратились разведчики. Фернан доложил: в городке остановилась немецкая автоколонна. Арестовали бургомистра и сорок женщин, как заложниц. Но бургомистра вскоре выпустили — некому добывать провиант для гарнизона.

Пока Балю собирал командиров на совещание, слух о взятых гитлеровцами заложниках разлетелся среди партизан.

Около штаба накапливалась толпа вооруженных людей. Бойцы взволнованно шумели: у многих в Комбле-о-Поне остались семьи...

Совещание затянулось. Довбыш и Денелон предлагали немедленно атаковать врага. Балю колебался.

— А заложники? Ведь постреляют! К тому же учтите: у бошей артиллерия... Что мы можем противопоставить ей?

Решили переправиться ночью на левый берег Урта и взять городок в кольцо. Довбыш вызвался оседлать мост через Амблев, а Герсону послали приказ обойти Комбле-о-Пон с севера. Ксешинский не мог принять участие в операции, так как его батальон все еще задерживался на станции Пульсойер.

К утру городок был окружен. Он лежал внизу, в долине, как оазис в скалах — белые прямоугольники домов, красные хребты крыш, — чистенький, ухоженный, притихший. По запруженным армейскими машинами улицам метались солдаты в зеленых мундирах.

— Хотел бы я знать: в самом деле у них есть артиллерия или разведчики перепутали дуло с дышлом? — пробормотал Антон, вглядываясь в полевой бинокль.

— У Фернана точный глаз,— возразил Балю.— Не мог он ошибиться.

Они лежали втроем у известняковой скалы, за которой начинался каменистый спуск в долину. Третьим был адъютант Иван Шульга. Иван с завистью поглядывал на бинокль. Ему казалось, что комендант и начальник штаба слишком долго раздумывают. Вместо того чтобы неожиданно атаковать, послали в осажденный город ультиматум.

Из расщелины вынырнула маленькая фигурка Фернана.

— Наконец-то! — вскочил Щербак. Как всегда перед боем, его охватывало нетерпение. — Я уж думал, что тебя тоже приобщили к заложникам.

— Дудки! — выдохнул Фернан. Черные глаза начальника разведки возбужденно блестели.— Ждал очереди на прием к бургомистру.

— Передал?

— А как же! И письмо, и на словах, как было приказано: «Вы окружены. Предлагаю отпустить заложников и сложить оружие, иначе поступим по законам военного времени... Срок — два часа». Предупредил, чтобы вручил оккупантам нашу бумагу ровно через полчаса. Пока тихо?

— Забегали! — сказал Балю, опуская бинокль.

Внизу в самом деле поднялась суматоха. Теперь и не-

вооруженным глазом было заметно, как суетились вражеские солдаты. Они группками растекались по переулкам, занимая оборону на околицах.

...В одиннадцать ноль-ноль срок ультиматума истек.

По сигналу — красная ракета — безлюдные скалы ожили. Сотни партизан появились на склонах гор и с трех сторон начали спускаться в долину. Молча, без единого выстрела, из-за скал появлялись новые и новые волны атакующих. У гитлеровского командования не выдержали нервы.

— Боши выбросили белый флаг! — закричал Балю, вытягивая руку с биноклем в сторону тополей, вдоль которых двигалась машина.

На окраину городка выскочил штабной «пикап». Высокий офицер в длиннополой шинели шагнул на обочину и замахал над головою белым платком.

Щербак дал знак своим остановиться и залечь.

— Ага, залихорадило! — весело воскликнул он. — Посмотрим, что вы теперь запоете.

Для встречи с парламентером отрядили Денелона, свободно владеющего немецким языком.

— Не трусь, Мишель! — кричал вслед ему Фернан.— На всякий случай я возьму того дылду на мушку!

Было душно. Офицер обливался потом. Во взгляде стеклянных глаз светилось откровенное презрение. Всем своим видом офицер показывал, что эта миссия ему не по душе. Он нервно мял платок, не решаясь отереть им пот с худого, до синевы выбритого лица, и смотрел куда-то в переносицу Денелона.

— Майор Штоль. С кем имею честь? .. Я уполномочен сообщить, что заложники, которых мы взяли в целях собственной безопасности, отпущены на свободу.

— Приятно слышать, — сказал Денелон. — Рассудительность никогда не бывает лишней.

— Мы перебазируемся в Германию, — продолжал после некоторой паузы майор. — И желали бы избежать кровопролития. Немецкое командование требует пропустить колонну на Льеж. Немедленно!

— Требует? Я правильно понял вас, господин майор?

Штоль побагровел.

— Если угодно: предлагает! — процедил он сквозь зубы. — Такая форма вас больше устраивает?

— Она соответствует реальной обстановке, господин майор,— усмехнулся Денелон.— Я доложу своему командованию о вашей просьбе.

Мишель небрежно козырнул и пошел вверх, очень довольный растерянностью фашиста.

Ждать гитлеровцу пришлось долго. Герсон, прибывший на командный пункт во время переговоров, колебался.

Балю был склонен выпустить немцев из западни, чтобы не рисковать жизнью своих бойцов. Да и за судьбу заложников он тоже не ручался, жестокость фашистов известна.

— Черт с ними! — гудел он, потупив глаза. — Пусть катятся на все четыре стороны!

— Франсуа, — переубеждал его Щербак, — мы не имеем права этого делать. Завтра они будут за Рейном, послезавтра их бросят на Вислу. Я — советский офицер, я не могу этого допустить. Там льется кровь моих соотечественников. За всех нас, Франсуа, и за Бельгию тоже... Феликс, почему вы молчите? Вас что — это не тревожит?

Герсон смущенно кашлянул.

— Принимайте решение. Вы командир, вам и приказывать. А я... я что ж, я выполню приказ.

— И все же я атакую врага силами хотя бы роты Довбыша,— сказал Антон.— Мы исполним свой солдатский долг. Пусть все ляжем в этом городке, зато по крайней мере...

— Я с вами, командант! — вскрикнул Фернан.— Приказывайте!

К нему присоединился Денелон:

— Балю просто струсил! Я отказываюсь его понимать!

— Ну-ну, поосторожнее! — Начальник штаба хмуро взглянул в его сторону. — Так, Мишель, можно черт знает до чего договориться. Вы что — думаете, я свою шкуру берегу?

— Зачем же вы в таком случае возражаете командиру, мсье Балю? — тихо спросил Ваня Шульга.

— В самом деле, зачем? — Балю нервно засмеялся.— Кто-то делает политику, а такие вот зеленые ребята, как вы, Жан, или вы, Мишель, могут и умирать. Каждому свое... Ну что ж, приказывайте, командант!

Парламентеры встретились снова.

На этот раз говорил только Денелон. Он сказал, что партизаны в последний раз предлагают сложить оружие и гарантируют жизнь всем солдатам и офицерам. В слу-

чае каких-либо репрессий против мирного населения командование полка отдаст приказ на полное уничтожение оккупантов при штурме городка.

Майор Штоль выслушал Денелона молча. Так же молча откозырял и зашагал к машине.

Антон Щербак тем временем отказался от мысли завязывать бой в городке и скрытно перебрасывал партизан на северную окраину, намереваясь атаковать колонну немцев, как только она минует последние дома. В какой-то степени это была уступка Балю. Опасаясь, что с юга может подойти еще какая-либо немецкая часть, он послал Фернана с группой разведчиков перерезать верхнюю дорогу на Комбле-о-Тур.

— Твое задание — во что бы то ни стало задержать врага, если он появится, — сказал Щербак Фернану. — Хотя бы ненадолго.

. . .Немцы с облегчением смотрели, как партизаны, которые, казалось, уже готовы были броситься в атаку, начали вдруг поспешно отходить назад за скалы, в заросли кустарников.

Хмурый, стриженный под ежика, полковник следил за передвижением партизан в бинокль.

— Похоже, Штоль, что франтиреры отступают. Но почему?

— Попугали — и в кусты, — сказал майор Штоль.

Полковник покачал головой.

— Нет, они что-то задумали. Распорядитесь заводить моторы! Мы выступаем.

— Сначала я сжег бы это партизанское гнездо, — зло процедил майор.

— Знаете, Штоль, — сказал полковник, не отрываясь от бинокля, — я нисколько не удивлюсь, если рано или поздно вас повесят.

— Рядом с вами, герр оберст,— майор щелкнул каблуками и осклабился, показав желтые прокуренные зубы.— Возможно, вы забыли Компен? Или Этерло? Такие, знаете ли, цветущие французские деревушки, которых раньше не было на карте, а теперь нет и на земле. . .

— Молчать! — гаркнул полковник.— Я вас арестую! . .

Колонна машин не спеша вытягивалась за окраины городка. Впереди, ощерившись турельными пулеметами, ехал пятнистый бронетранспортер. За ним двигались «даймлеры» с противотанковыми пушками на прицепах, в кузовах, обтянутых брезентом, сидели солдаты. Замыкал это шествие черный «мерседес» полковника и разно-

шерстные легковые машины офицеров, от «опеля» до «фольксвагена».

...С высоты крутого лесистого обрыва, где стоял Щербак, просматривалась дорога на Риваж, заполненная теперь вытянувшейся колонной. Сигналом для атаки должен был послужить взрыв мин под колесами передних машин.

Секунды тянулись нестерпимо долго. Щербак не знал, в каком именно месте заложены мины, и ему казалось, что машины уже проскочили опасную для них зону. Рука машинально нащупывала за поясом ракетницу.

— Ваня! Жми к Савдунину! Что там случилось?

Щербак понимал, что связной не успеет добежать до Савдунина, а если бы и успел, то чем поможет? Но слишком невыносимым, как физическая боль, было ожидание.

Солнце дробилось на стеклах кабин, на никелированных колпаках колес. Долину заволокло гарью выхлопных труб. Антон поискал было глазами начальника штаба, но вспомнил, что Балю пошел с Денелоном, сославшись на недостаток боевого опыта у молодого комбата.

Прогремел наконец первый, затем второй взрывы. Головной бронетранспортер подбросил тупую морду, качнулся и замер. Шедший впритык за ним грузовик свернул в сторону и тоже подорвался на мине. Взвизгнули тормоза командирской машины.

В один миг на дороге образовалась пробка, и, прежде чем гитлеровцы успели высыпать из кузовов и занять круговую оборону, из-за скал, где залегли партизаны, полетели гранаты.

— Ан аван, камарады! Ура-а-а! — закричал Антон и побежал, размахивая автоматом, вниз по откосу.

Партизаны скатились на врага стремительно, как горная лавина. И хотя было приказание не вступать в рукопашную, батальон Денелона с ходу врезался в колонну. Все смешалось: взрывы гранат, автоматные очереди, крики и стоны, бряцанье прикладов, команды, которых никто не мог разобрать в этой яростной свалке.

В самой гуще боя Щербак увидел приземистую фигуру Франсуа Балю. Начальник штаба потерял берет. Простоволосый, без пояса, он тащил из кабины «опеля» майора Штоля. Немец отчаянно упирался, уцепившись обеими руками за руль. Машина вдруг дернулась, рванулась с места, отбросив Балю. Щербак ударил по ней из автомата. Зазвенело стекло. «Опель» врезался в пылающий грузовик. Все произошло за несколько секунд.

— Вы ранены, Франсуа?

Балю поднялся, пошатываясь, посмотрел на окровавленную руку.

— Хотел живым его... он, гад, Жана... Шульгу. Это я виноват! Я накаркал...

В голове колонны шум боя затихал. Оттесненные партизанами Денелона к речке, немцы бросали оружие. Но на выезде из города продолжалась жестокая пальба, натужно ревели моторы. Собрав в кулак ударную группу, полковнику удалось пробиться сквозь окружение. Колонна уцелевших машин бросилась на мост через Амблев.

Настал час Довбыша.

Из-за моста послышался дружный залп. Затем партизаны вышли из укрытия.

— Вперед, братишки! За Одессу-маму! — закричал Довбыш.

Немцы, поняв, что за мостом бойцов немного, ринулись в контратаку. Рота Довбыша понесла большие потери.

С раздробленной ногой Егора вынес с поля боя Куликов.

Из двухсот машин, вышедших час тому назад из Комбле-о-Пона, на восток прорвалось меньше четверти и среди них «мерседес» полковника.

Майора Штоля судьба не пощадила. Смертельно раненного, его извлекли из пылающей машины и положили на траву. Он силился что-то сказать, на губах пузырилась кровавая пена.

— Вот мы и встретились еще раз, господин майор,— сказал Денелон.

Штоль уже не узнавал его.

Мимо шли партизаны, несли тела погибших товарищей. Мишелю казалось, что сегодня он прожил не один день, а целую жизнь. Где-то неимоверно далеко осталось все, что было доныне, теперь такое смешное и несущественное,— ревнивое пестование усиков, которые делали мужественным его юное лицо, и детская мечта поймать диверсанта на базе Либерте.

Франсуа Балю разыскал Щербака на окраине городка у Герсона. Из ущелья, которое рассекало здесь скалистую гору впритык к шоссе, заложив руки за шею, выходили последние группы гитлеровцев. Впереди, зыркая вокруг себя взглядом затравленного зверя, маленькими шажками двигался молодой офицер. Он бормотал что-то

неразборчивое и сплевывал под ноги кровь. Мундир висел на нем клочьями.

— Видели вояку? — кивнул на офицера Герсон.— Фанатик! Сам не хотел сдаваться и солдатам не позволял. Кто-то из своих же и разрисовал. . . Обыщите его, ребята!

От недавней неуверенности Герсона не осталось и следа. Он мысленно хвалил себя за то, что выполнил приказ коменданта точно и не встрял в рукопашную, как Денелон. Потерь в его батальоне было намного меньше. Широкие, кучерявые бакенбарды Герсона, делавшие его похожим на портового матроса, подпрыгивали и дергались, когда он смеялся.

— Комендант! Я преждевременно похоронил Жана,— сказал Балю.— Жив ваш адъютант. Я рад. . .

Щербак опустил руку ему на плечо.

— Вы заслужили порицание, товарищ Балю. Начальник штаба должен помогать командиру руководить боем, а не лезть, как говорят у нас на Украине, вперед батька в пекло.

— Комендант, это было просто необходимо. Для меня. Иначе. . .— Балю запнулся.

— Идите, Франсуа,— сказал Щербак.— Идите. И пришлите ко мне Савдунина. . .

3

Второй день мы стоим в Комбле-о-Поне. Это небольшой городок, расположенный как раз там, где сливаются Урт и Амблев, административный центр коммуны. Впервые за четыре с лишним года на шпиле ратуши затрепетал бельгийский флаг.

Жители встретили партизан радостными возгласами, с балкончиков частных домов под ноги бойцам женщины бросали цветы. На улицы высыпало все население — от детей до стариков. Были объятия, были и слезы.

Бургомистр, белоголовый, представительный мужчина с орлиным носом, одетый, будто дипломат, и темпераментный, как торговец, произнес речь. Людская толпа подхватила его слова:

— Да здравствует свобода!

Несколько человек бросились с топорами к виселицам. Кто-то принес канистру с бензином. На площади у набережной запылал костер.

Шестьсот пленных под конвоем прошаркали сапогами по грязным улицам, понурые, еще не привыкшие к новой

роли. Увидев гитлеровцев, горожане притихли, зашептались.

— Боятся! Долго еще будут бояться,— заметил Савдунин.— Глубоко засел в здешнем обывателе этот страх.

— Не совсем так, — возразил Антон. — Помнишь, в Пульсойере ты удивлялся, что никто и носа не показал на улицу, когда мы нагрянули. . . А сегодня? Нет, Андрей, в Арденнах уже повеяло ветром свободы!

Четким строем, как журавлиный клин, не очень высоко в густом предвечернем небе прогудела на восток девятка тяжелых бомбардировщиков.

— «Галифаксы», — определил Савдунин. — Вот была бы каша, если бы по городку сейчас врезали.

Я подумал о том, что с такой высоты, пожалуй, можно разглядеть толпу людей, но отличить партизан от немцев — вряд ли.

— Что делать с пушками? — спросил Савдунин. — Хоть музей трофеев открывай. Ни одного снаряда! Обеднели фрицы! Потому-то и не пустили пушки в дело.

— Пушки каши не просят,— сказал я.— Герсон за голову схватился: пленных-то кормить придется! И разместить их где-то надо. В графский замок отвести их, что ли?

— Я отдал Герсону две сотни «шмайсеров» и штук тридцать карабинов. На радостях. Как рыжий рыжему,— весело доложил Савдунин.— Правда, патронов кот наплакал. . . А вот он и сам! Феликс, у тебя что — зубы болят?

— Тут не только зубы. . .— Герсон сплюнул вслед колонне.— Что я — полицейский?

— Вот что, Феликс,— сказал я.— Кажется, утром вы вежливо признали во мне командира, поэтому выполняйте приказ. И не хнычьте, вам это не к лицу.

— Я подошел попрощаться, — проворчал Герсон. — Только и всего.

Возможно, не следовало вспоминать утренний инцидент. В конце концов, Феликс Герсон мог бы пересидеть войну у себя на ферме под Аукс-Туром, однако взялся за оружие. Припекло, видно, не утерпел. А слабость была минутной, даже Балю и тот. . . Слишком заманчиво было принять условие немцев — разойтись без боя, без лишней крови. Заманчиво, если думать только о себе. Но на войне думать о себе — шкурное дело. Умереть сейчас, когда гремят, возможно, едва ли не последние выстрелы в Арденнах, когда победа так близка и счет идет уже не на

годы, а на дни или часы,— и страшно и обидно. Но и жить невыносимо, сознавая, что в решающий момент не выдержал, струсил и под пулю, которая предназначалась тебе, подставил другого, а он конечно же не меньше тебя мечтал о счастливом будущем и сделал, возможно, больше тебя ради победы...

Митинг закончился. Темнело. Жители зазывали партизан к себе домой. Савдунин пошел к машинам с трофеями, ко мне протиснулся бургомистр.

Он вытер платком взмокшую шею и сказал, что магистрат хотел бы взять на себя похороны погибших героев, если, конечно, мсье комендант не принял какого-либо другого решения. На завтра все будет подготовлено к церемонии погребения. Бургомистр уверял, что по убеждениям он социалист и остается другом своему предшественнику, которого в прошлом году схватили боши и бросили в концлагерь. И что он рад приветствовать в моем лице мужественную и мудрую Советскую державу.

Мы уточнили место и порядок захоронения павших товарищей, и бургомистр откланялся.

Я вспомнил про группу Фернана и приказал Денелону послать ему смену. Юный комбат козырнул, но с места не двинулся.

— Вам что-то не ясно, Мишель?

— Комендант,— сказал Денелон.— Шульга умер. Его не довезли...

— Где он?..

Невыносимо больно было смотреть на обескровленное лицо Ивана. Больно и жутко: на нем застыло какое-то удивленное выражение, будто парня настигла внезапная радость и эта радость была последним, что он почувствовал в своей короткой жизни.

И снова — который раз! — передо мною возникла некая очередь, выстроенная в воображении Николь... Замыкал теперь эту очередь Ваня Шульга. Он мечтал о солдатской ране, бывает же такое? А она оказалась смертельной. Жестокая ирония!

Я поцеловал друга в холодные губы...

Балю занял под штаб двухэтажный дом на рю де Льос, тот самый, где прежде размещался штаб штандартенфюрера Энке. Теперь здесь расхаживал по комнатам

Франсуа, деловито распределяя их между несуществующими отделами.

— Будут,— заверил он, опережая мой вопрос. — Мы не можем больше обходиться без аппарата управления. Полк вырос, батальоны разбросаны...

— Не тесно здесь? — поинтересовался я.

Мы одновременно вспомнили наш приземистый барак на базе Либерте, покрытые овечьими шкурами топчаны, бессонные ночи у верной карбидки и улыбнулись.

— Я пытался дозвониться до Ксешинского, — сказал начштаба.— Если тамошняя телефонистка не наврала, Збышеку сейчас приходится несладко.

— Что — с Пульсойером есть связь?

Словно в подтверждение моих слов зазвонил телефон. Балю схватил трубку.

— Збышек? Как ты догадался? .. Телефонистка? Передай ей от имени командования благодарность. Как ты там?

Лицо начальника штаба то хмурилось, то прояснялось. Мне хотелось поскорее взять у него трубку.

— Рвутся к мосту? Ясное дело! .. Молодец, хвалю! У нас здесь тоже было жарко. Шестьсот пленных... Шестьсот, говорю... Спасибо. Передаю трубку коменданту.

Я слушал далекий, едва различимый голос Збигнева и вспомнил, что последний раз говорил по телефону три года назад в Тирасполе, за несколько дней до начала войны.

— Помощь не требуется? .. Для подстраховки! .. Сам справишься? Ну, смотри. Держи нас в курсе. Мост береги, теперь мы с фрицами поменялись ролями. До свиденья, комбат!

— Что я говорил?! — Балю был в восторге. — Збышек — настоящий офицер. Талант! Жаль, если после войны он снова возьмется за ножницы.

На сердце было тяжко.

— Франсуа,— сказал я. — Нет больше в живых Ивана... Не довезли до перевязочного пункта... Слишком много потерял он крови... И у Мишеля Денелона немало хлопцев полегло... Жаль ребят.

Начальник штаба дрожащей рукой стащил с головы берет и подошел к окну.

— Мальчик, совсем мальчик,— едва слышно молвил он. — Когда же это кончится?

Я вышел, оставив его в горьком раздумье. Мне не терпелось поговорить с Довбышем. Он лежал в местной клинике, которая по договоренности с магистратом стала партизанским госпиталем.

Егор встретил меня слабой улыбкой. Было непривычно видеть матроса, беспомощно распластавшегося под простыней. Густой румянец на щеках и горячий блеск в глазах выдавали жар. Правая нога напоминала деревянную колоду, которую зачем-то обмотали бинтами и подвесили на опору. Я видел его рану днем, когда комбата несли на носилках. Пули буквально прострочили голень. Залитый кровью ботинок до сих пор стоял у меня перед глазами.

— Склеили? — угрюмо спросил я.

— Ага,— улыбаясь чему-то, отозвался Егор. — Ваньку с Манькою. Для взаимной радости. Резать хотели. Ну и пришлось, значит, провести среди персонала кое-какую разъяснительную работу... Если здешний костолом завербовал тебя в союзники, считай, что твоя миссия провалилась.

Он перехватил мой взгляд, обращенный к соседней койке. Из-под простыни виднелся русый стриженый затылок, слышалось сонное посапывание.

— Куликов, — объяснил Егор. — Балаболка, каких поискать. Не мешает полюбопытствовать, не родичи ли они с Савдуниным. По линии трепа... А вообще — железный братишка, это он вытащил меня. Ну и чесануло его осколком гранаты.

В окно был виден вечнозеленый остролист. В его ветвях посвистывала синица.

— Збышек ухитрился дозвониться, — сказал я.— Ему там жарковато приходится, но моста он не уступает. Настроили фрицы блокгаузов на свою голову!

— Збышеку палец в рот не клади,— прогудел Егор и вдруг пристально посмотрел на меня:— Антон, только правду... Сколько?

— О чем ты?

— Сам знаешь.

— Двадцать шесть, — сказал я. — Как бакинских комиссаров.

— Много. — Довбыш дернулся и застонал от боли.— Дорогая цена. Небось половина моих парней. Драться могу, а чтобы малой кровью...

— Успокойся. Ты все сделал, как нужно было.

А кровь... Войны без крови не бывает. Парней, конечно, жаль. Но помнишь, у Василька:

Пускай в бою погибнуть мне
Начертано судьбою.
Что ж, на войне как на войне —
К бою!
К бою!

Егор вздохнул.

— Оправдать все можно, да только от рассуждений наших не легче. Вот я думаю: сложили головы братишки, а возвернутся из всяких там Лондонов буржуи, гарпун им в печенку, разве вспомнят о них добрым словом?

— Парни головы сложили не за буржуев, — сказал я. — За свободу.

— Чью?

— Не дергайся, вредно тебе... За нашу, конечно. И за свободу бельгийского народа... И наши хлопцы и бельгийские патриоты. Фашизм, Егор, везде фашизм, и уничтожать его надо, где бы ни завелась эта нечисть. Так диктует пролетарская солидарность... Балю допрашивал пленных. Удалось установить: часть эту перебрасывали на Восточный фронт. Понимаешь? А мы сказали: дудки, господа фрицы! Не позволим! Об этом ты не думал?

— Точно! — оживился Егор. — Не думал. Выходит, мы своим помогли! Хоть малость, а помогли. Здорово, а?

— То-то же. А говоришь: не легче.

Я не стал рассказывать ему о Ване.

Пришла медсестра, маленькая, с добрым морщинистым личиком.

— Анастази,— сказал Егор, он, видимо, успел перезнакомиться со всем персоналом госпиталя, — это наш командант Антон Щербак.

Она подняла на меня ласковые глаза.

— Я слышала о вас, товарищ. Мне рассказывал сын...

— Наш начальник разведки Фернан,— подхватил Довбыш.

— Вот как! — воскликнул я.— Приятный сюрприз, мадам. Фернан не только отважный боец, а еще и мой друг. Думаю, он скоро будет здесь, я послал людей сменить его в дозоре.

За дверями меня ждал врач, дородный мужчина с животом Ламме Гудзака.

— Мсье командант, я не ручаюсь за вашего э-э... офицера.

— То есть?

— Ему необходима срочная ампутация ступни. Если начнется гангрена, придется отрезать по колено. А он...

— Что он?

Врач испуганно посмотрел на двери, понизил голос:

— Мсье э-э... Довбыш заставил меня наложить шину, угрожая пистолетом... Это недопустимо по всем нормам. Это, наконец, возмутительно! Велите ему... Вы же командир!

Так вот какую «разъяснительную работу» провел здесь Егор! Что ж, на него это похоже.

— Командир распоряжается подчиненными, когда они в строю. Понимаете?

Толстяк обиженно покачал головой.

— Заберите у него хотя бы оружие! Надеюсь, на это у вас достаточно прав?

— Сколько угодно! — согласился я с врачом. — Но мсье Довбыш и без пистолета не даст резать ногу. Уверяю вас.

Я пошел, ощущая спиной его растерянный взгляд.

— Если появятся признаки гангрены,— сказал я уже в дверях,— пришлите за мной.

Над Арденнами нависла тьма. Дыханье ветра приносило из посадок запахи распустившейся ночной фиалки. С юга доносился глухой рокот артиллерийской канонады.

В штабе меня ждал Балю. Он сказал, что бургомистр в честь освободителей устраивает суаре (званый ужин) сан фасон (без церемоний). Мне никуда не хотелось идти, я собирался написать докладную для Люна. Да и вообще казалось кощунством садиться за праздничный стол, когда под холодными сводами морга еще лежат непохороненные тела павших друзей.

Франсуа развел руками.

— Пить не обязательно. Однако уклониться от приглашения...

Внизу меня ожидал сюрприз. У подъезда стоял трофейный «опель-капитан». За рулем молоденький француз из батальона Мишеля Денелона.

— Как вы считаете, Антуан, командир полка имеет право на персональный выезд? — торжественно спросил Балю.

Я мысленно отметил, что начальник штаба впервые назвал меня по имени.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

1

В окно видны кусты желтой акации, забор и часть заросшей спорышем улицы. Через дорогу ковыляют гуси. Лапки до колен красные, словно обожженные. Надежде кажется, что это не гуси, а она сама ступает босыми ногами в серую и горячую, будто неостывшая зола, пыль.

Когда боль становится невыносимой и голова наливается тяжестью, в сознание приходит некое видение...

У больничной ограды появляется девушка. Она всегда приходит под вечер, словно знает, что именно в это время Надежде особенно невмоготу. У девушки красивая шея, льняные волосы и большие глаза. Девушка стоит напротив окна, расчесывает волосы самодельным деревянным гребешком и пристально глядит на Надежду.

— Ты кто такая? — спрашивает Надежда.— Как тебя зовут?

Девушка лишь моргает, на миг прикрывая глаза тяжелыми ресницами, и Надежде остается думать: явь это или сон?

Вечером прибегает Катя с гостинцами в узелке, пропахшая полем, загоревшая до черноты, сверкает ослепительно белыми зубами.

— А вот и я! — весело говорит она.— Вы, наверное, ждали маму? Мама придет завтра.

Больничная палата наполняется запахами хлебов.

Катя пристраивается на краешке кровати, развязывает узелок, и начинается давняя игра.

— От зайчика...

— От серого?..

— От косого...

— Ушастого?..

Надежде приятно слушать девичий щебет.

— Повадилась ко мне гостья. Вон стоит... Ни звука с губ. Может, немая?

Катя с болью вздыхает:

— А, Галя... Не немая она, тетя, тронутая. Чем это вы ее приворожили? Сторонится она людей... Галя, есть хочешь? Убежала...

Катя закрывает ладонями продолговатое лицо и припадает к Надежде, загоревшие плечи вздрагивают в беззвучном рыдании.

— Из Отрады она... Так и ходит от села к селу, будто кого-то разыскивает. Фашисты мать убили, а ее...

Солнце давно село, в палате темно. На дворе шумно — где-то стучит повозка, гогочут потревоженные гуси.

Катя взахлеб рассказывает об уборке хлеба. Тот клин, за лесополосою, где случился пожар, обмолотили. Ток теперь за бахчой. Из МТС прислали «Коммунарчик». Плохонький, но все-таки комбайн. Бескоровайного вчера так скрутило, что думали... А он отлежался и смеется. Синий, как баклажан, а рад жизни. Ткнул в небо фигу — чья, говорит, взяла? Вот дядько!..

Надежда слушает, забывает о саднящей боли в ногах. Катя выкладывает пупырчатые огурчики.

— С вашего огорода. Ведро набрала, мамка завтра в рассол их... Попадаются и желтяки.

Она сидит лицом к окну, в темноте только и видно, что ее зубы, похожие на низочку жемчуга.

— Задумала я, тетя, на тракториста выучиться. Райком комсомольские курсы затеял. При МТС. А мама сердится. Будешь, говорит, вечно в мазуте.

— А мы вдвоем против нее, глядишь, и сдастся.

— Помните, Антон хотел на трактор? А тут служба приспела...

Помолчали. В голове Надежды смутно созревает догадка.

— Какая у вас нежная кожа...

— Была когда-то нежная...

— Нет, тетя, и сейчас нежная, тонкая... А мои рученьки...— Катя вдруг всхлипывает.— Зачем я такая... Антону?

У Надежды перехватывает дух:

— Катя!

Но Кати уже нет, она за окном. Слышно, как стучат у ворот ее туфельки.

Надежде приятно — еще одна душа болеет за Антона, верит в его возвращение. Любит... И тревожно — кого любит? Ее сына! Да где он? Четвертый год... Чудная. Был бы жив! А руки как руки, девичьи, трепетные, горячие. Лишь бы вернулся!..

Надежда засыпает далеко за полночь с мыслями об Антоне, о Кате, однако снится ей Галя. Она сидит на подоконнике и шепотом зовет: «Мама! Мама...»

Сон такой яркий, что, проснувшись утром, Надежда невольно тянется взглядом к распахнутому настежь окну. На подоконнике — пучок небесно-синих васильков.

2

В конце августа в район Урт-Амблев прорвались передовые части 1-й американской армии. Вышло так, что на окраине Комбле-о-Пона первыми встретились им бойцы из роты Довбыша.

Пока обменивались взаимными приветствиями, пока солдаты, смешавшись с партизанами, угощали их ромом и виски, кто-то пустил слух, что в городе размещены переодетые в гражданское советские парашютисты, которых маршал Джо[1] сбросил в Арденнах для выполнения секретного задания.

Спустя двадцать минут американский полковник Гордон сидел напротив Антона Щербака на рю де Льос и от души хохотал, рассуждая вслух о том, какого бы переполоху он наделал таким сообщением в штабе корпуса.

Полковник сносно владел французским, однако густо сдабривал его английскими словами. Это был великан лет за сорок с румянцем во всю щеку, без кителя и в защитной панаме, которую сразу же бросил небрежно на стол.

— Айм глэд ту мит ю! Хау эбаут э сигарэт?[2]

Щербак взял сигарету, с интересом присматриваясь к американцу. Балю курить отказался:

— Ноу, ай доунт[3].

— О! — встрепенулся полковник, разворачиваясь всем корпусом к начальнику штаба.— Ю спик инглиш? Йо пранансиэйшн из эксэлэнт![4]

Он застрочил, словно из пулемета, ошалело поводя выпуклыми, синими, как недозрелые сливы, глазами. Балю еле успевал переводить.

— Полковник высоко ценит мужество и заслуги бельгийских франтиреров. Он слышал о них, однако собственными глазами видит впервые... Особенно его удивляет присутствие здесь, в Арденнах, русских. До России так далеко. Он хотел бы побывать после войны в этой загадочной стране... Полковник говорит, что это, видимо, очень трудно — прятаться в горах, в лесах, когда кругом враги...

---

[1] Так американцы называли И. В. Сталина.

[2] Рад встретиться! Не угодно ли сигарету? *(англ.)*

[3] Я не курю *(англ.)*.

[4] Вы говорите по-английски? У вас отличное произношение! *(англ.)*.

— Пардон, господин полковник! — Щербак остановил словоохотливого американца жестом руки.— Я хотел бы уточнить важную деталь: мы не прятались в горах, а воевали с фашистами. И этот городок, жители которого так гостеприимно встретили вас сегодня, взят с боем. Кстати, господин полковник, командование партизанского полка просит вас принять шестьсот гитлеровских солдат и офицеров, взятых нами в плен.

Гордон застыл с открытым ртом, переводя взгляд со Щербака на Балю.

— Сикс хандрид? [1] — наконец выдавил он из себя.

— Именно шестьсот, господин полковник,— подтвердил Балю.— И мы не знаем, что с ними делать.

Начальника штаба явно забавляло недоверие американца.

Полковник повернулся к горбоносому адъютанту в лейтенантских погонах, который до сих пор молча сидел позади шефа, и выразительно щелкнул пальцами.

— Эрвин, э ботл ов скотч виски, плиз! [2]

Адъютант вышел к машине и вернулся с бутылкой.

— Дыа сэз! Дыа фрэндз! — Полковник торжественно поднял рюмку и, щурясь, посмотрел на нее против света.— Ай выш ту прэпоуз э тоуст. Хиаз ту зэ хэлс ов ол прэзэнт! Фо пис энд фрэндшип! [3]

Балю перевел.

— Что ж, за дружбу грех не выпить,— сказал Антон.— А до мира, к сожалению, еще далеко. Как вы считаете, господин полковник, когда все это закончится?

Полковник задумался.

— Новэмба — дисэмба,— сказал он.— Ноябрь — декабрь, не позднее. Айк в Париже, Монти [4] в Брюсселе, а кто будет в Берлине? — Он захохотал и расстегнул воротник. — Хот [5].

— Душно, как перед дождем.— Балю распахнул окно.— Небо затянуло... Так вы примете от нас пленных, господин полковник?

Гордон недовольно поморщился:

---

[1] Шестьсот? *(англ.)*

[2] Эрвин, будь добр, бутылку шотландского виски! *(англ.)*

[3] Уважаемые господа! Дорогие друзья! Я хочу предложить тост. За здоровье всех присутствующих! За мир и дружбу! *(англ.)*

[4] Айк — генерал Эйзенхауэр; Монти — фельдмаршал Монтгомери.

[5] Жарко *(англ.)*.

— Сдадите тыловикам, это их забота. Они скоро будут здесь. Тумороу монин — завтра утром.

Полковник объяснил, почему не может задерживаться: его цель — Льеж. . . Распорядился принести еще одну бутылку и собственноручно водрузил ее на стол.

— Примите это в знак уважения к вам, господа! Гуд бай, мистер Щербак, гуд бай, мистер Балю!

Американцы вежливо попрощались.

Утром Ксешинский доложил, что подразделения Гордона миновали Пульсойер, сделав привал на станции лишь на полчаса. Мост в Эсню в руках немцев. Последний мост по дороге на Льеж. Полковник опасается, как бы мост не взорвали, и просит партизан отвлечь охрану нападением с тыла.

Щербак дал согласие.

Поздно ночью Збышек еще раз вышел на связь. Заикаясь от волнения, он сказал, что звонит из Эсню. Ударом двух групп с фронта и с тыла фашисты выбиты за пределы станции, мост захвачен целым и разминирован, по нему пошли танки Гордона. Полковник восхищен и просил передать о своем удовлетворении операцией штабу партизан.

— Спасибо, Збигнев, не подвел. . .— сказал Щербак.— Но не расслабляйся. Сейчас не разберешь, кто где. После Гордона к нам здесь уже стучались эсэсовцы. Гляди в оба!

3

Фронт распался. Передовые части американской армии достигли долины реки Ведр, стремясь перерезать железнодорожную магистраль на Вервье и обойти Льеж с правого фланга,— по ночам оттуда доносилась артиллерийская канонада, а в районе Урт-Амблев все еще пробивались на восток разрозненные немецкие подразделения. Деморализованные солдаты, наткнувшись на партизан, сдавались в плен или же разбегались по окрестным лесам.

Обещанные Гордоном тыловики прибыли в Комбле-о-Пон только через неделю. Щербак настоял, чтобы они срочно забрали пленных. Американцы нехотя повели их на запад, выделив для конвоя лишь несколько солдат.

— Не боитесь, что разбегутся? — спросил Щербак.

Майор Легранн пыхнул дымом сигары.

— Не такие они дураки, — с презрением сказал он.— Война для них закончилась.

Вместе с американскими солдатами патрульную службу вдоль линии железной дороги теперь несли и партизаны батальона Мишеля Денелона. Марше, как и раньше, занимался поставкой продовольствия, воевал с лавочниками и пекарями, пользуясь поддержкой бургомистра Жюстена, который оказался весьма деловым человеком и при необходимости довольно решительным.

В лесах в одиночку и группами бродили эсэсовцы, поэтому Щербак распорядился переправить раненых с базы Либерте в Комбле-о-Пон, а Мишустина назначил начальником госпиталя.

После прихода американцев, когда прошла первая радость изгнания оккупантов, Щербака охватило беспокойство. Пока в Арденнах находился враг, пока шла ежедневная борьба и некогда было раздумывать о будущем, Антону казалось, что все идет как положено. Солдатская судьба его сложилась необычно. Нельзя сказать — счастливо, но и не так уж трагически. Он бежал из плена и опять взялся за оружие. Мало того — возглавил боевое партизанское подразделение.

Солдатом он оставался и раньше, когда, тяжело контуженный, лежал на донецком косогоре, не в силах пошевелить даже рукой, чтобы дотянуться до автомата, и там, за колючей проволокой концлагерей, где смерть как тень ходила по пятам, караулила черными зрачками автоматов, рычала в золотисто-свирепых глазах овчарок, душила голодом, бессмысленно каторжной работой и насмехалась сентиментальным пиликаньем губных гармошек... Можно было впасть в отчаяние, утратив веру в силу человеческого духа, в возможность обрести когда-нибудь свободу.

Он перехитрил смерть и выстоял. И поступал так, как полагается советскому человеку, где бы он ни был, не забывал о священном долге перед Родиной.

Жажда встречи с близкими являлась тем огоньком, что порой мерцает сквозь мрак, придавая силы истощенному путнику. Иногда эта жажда становилась невыносимой.

В бессонные ночи Антон выходил во двор, чтобы

взглянуть на восток, на зависшие над горизонтом звезды, которые наверняка видны из отцовской хаты. И ему становилось легче. Было приятно осознавать, что свет мерцающего неба простирается и там, как звездный мост, сближающий их в эту минуту, помогая, пусть мысленно, преодолеть дали...

Вдвоем с Савдуниным, который замещал раненого Довбыша, Антон составил списки советских партизан и отправился с ними к американскому коменданту.

Майор Легранн, смуглый от загара, будто житель тропиков, проявил любезное внимание.

— Я понимаю вас, мистер Щербак. Родная земля... Длительное время я жил на Гаити. Наша семья выехала туда, когда мне едва исполнилось десять лет. Затем Соединенные Штаты... Однако — верите? — и поныне снятся виноградные холмы Бургундии. Ностальгия — это в крови человека... Все же вам придется обратиться к английским властям в Брюсселе. Бельгия и все, что в ней сейчас,— их компетенция. Между прочим, сегодня я получил сообщение: немцы сдали Льеж...

...Егор Довбыш бурно одобрил намерение Щербака добиваться отправки бывших военнопленных на Родину.

— Эх, Антон, как подумаю, что скоро будем дома, дух захватывает. Но мы вернемся! А Николай?.. Василек, Ваня Шульга, казак Чулакин?.. А братишки, что недавно полегли? И земля не успела высохнуть на могилах.

Щербак проглотил горький комок.

— Мы не сложим руки, дружище, мы еще повоюем. И за парней за наших...

— Я отвоевался, — поморщился Довбыш. — Куликов говорит: была бы голова цела. Ему что? А для меня — прощай, море! Где ты видел хромого матроса?

Нога Егора, вопреки опасениям врача, заживала, но стала короче и не сгибалась в ступне.

— Комроты Довбыш! — сурово сказал Щербак.— Отставить слезы! Сейчас вся земля, как палуба, качается. Не время бросать якорь. И твой Куликов тысячу раз прав...

В тот же день, прихватив Николь и двух бойцов из охраны штаба, Антон Щербак поехал в Шанкс.

Люн, вялый, медлительный, со впалыми щеками, только что поднялся с кровати. Николь схватила его в объятья, обцеловывая морщинки на истощенном лице.

— У меня всегда было два друга,— вымученно улыбаясь, сказал Филипп,— моя Николь и улькус дуоденис[1].

— Соперница воспользовалась моим отсутствием, — улыбнулась сквозь слезы Николь. — Но теперь, когда я снова с тобой...

— На «опеле» разъезжаете, мсье Щербак, — сказал Люн. — А давно ли тайком подкрадывались к моему дому? Виктуар, Антуан!

— Виктуар, Филипп!

— Был у тебя корреспондент?

— Вандеманс? Был.

Люн развернул свежий номер брюссельской газеты «Либр бельжик».

— В таком случае послушай, что он о тебе пишет: «Вчера я вернулся из Комбле-о-Пона. Это небольшой городок, центр коммуны в долине Урт-Амблев, известный выступлениями партизан против оккупантов. Мои документы проверяли патрули в гражданском, которые разговаривали явно с иностранным акцентом. Меня провели в штаб к команданту. Этот худощавый мужчина с властным взглядом пронзительных черных глаз в общем-то не скрывал, что он советский офицер. На улицах я видел красные флаги. Как это понимать, господа? У нас, в Бельгии, в Арденнах, двоевластие?»

— Ну и сукин сын! — воскликнул Щербак. — Куда загнул! А в душу ко мне лез, сыпал комплименты, будто мак из горсти!

Люн тряхнул седым чубом.

— Красные флаги на улицах — это правда?

— На каких там улицах! На здании местной федерации Компартии — раз, около здания, где размещены советские партизаны,— два. Вот и все! Почему же Вандеманс не увидел бельгийских флагов на ратуше, на железнодорожном вокзале, наконец, над штабом полка, где мы с ним довольно подробно беседовали, в том числе и о флагах?..

— Этот бык от политики боится красного,— негодовал Люн.— Отлично знает, что врет, но шпарит без оглядки. Можешь не сомневаться: на эту «утку» клюнет немало «охотников». Такой шум поднимут — будь здоров.

Антон сказал, что намерен поехать в Брюссель.

— Подожди день-другой,— попросил Люн. — Николь

[1] Язва двенадцатиперстной *(лат.)*.

слегка подремонтирует меня, и отправимся вместе. Уж очень я ослаб.

От Люна Щербак поехал в Пульсойер в надежде повидаться с Эжени.

Домик Гарбо оказался на замке, жалюзи на окнах опущены. Жухлые листья и слой пыли на крыльце говорили о том, что нога хозяина давно здесь не ступала.

Сначала Антон почувствовал разочарование, но оно тут же уступило место тревоге. Он подумал, что ферма Рошара не столь уж безопасное пристанище. Балю получал донесения о бесчинствах эсэсовцев в маленьких горных селениях. Фермеры просили защиты. То, что люди просили защиты не у американцев, а у партизан, означало признание их законной властью. Фермеры верили: партизаны не оставят в беде мирных жителей.

Поэтому, вернувшись в Комбле-о-Пон, Щербак решительно поддержал предложение начальника штаба создать мобильные группы для прочесывания горных лесов и ущелий в треугольнике между Комбле-о-Поном, Пульсойером и Ремушаном.

С поездкой в Брюссель пришлось задержаться. В Комбле-о-Поне Щербака ждал приказ командования о присвоении армейских званий командирам 4-го полка в соответствии с занимаемыми должностями, а также распоряжение одеть партизан в обмундирование бывшей бельгийской армии, склад которого был захвачен при освобождении Льежа.

В роте Довбыша этот приказ не вызвал энтузиазма.

— Чтобы я влез в чужую шкуру?! — кричал Куликов, сердито раздувая ноздри короткого веснушчатого носа.— Да я и во сне вижу себя в красноармейской гимнастерке! В партизанах я временный, я всегда — боец Советской Армии. Мне хотя бы завалященькую форму, но свою! Правильно я говорю, ребята?

Щербак понимал Куликова, но Балигана тоже можно было понять. Штаб ПА требовал участия партизанских соединений в боевых операциях на фронте, а значит, унификация формы была просто необходимой. Смешно думать, что партизаны прибудут на передовую одетые кто во что горазд.

...В Шанкс Щербак приехал в необычной для себя военной форме с тремя золотыми звездочками на лацканах кителя.

Николь всплеснула руками, увидев Антона, а Люн иронично поклонился:

— Мон женераль!..[1]

— Полковник, мсье Люн, всего лишь полковник,— весело уточнил Щербак.— У нас говорят: снятся полковничьей шапке генеральские лампасы.

4

Бельгийская столица встретила их сентябрьской непогодой. Контуры домов и улиц терялись в промозглой, похожей на туман, мороси. «Опель» долго петлял запутанными улочками рабочего предместья Икль, миновал два или три парка в осенних красках и несколько старинных, радиальной кладки виадуков. Несмотря на слякоть, на улицах было многолюдно, мелькали плащи и зонтики, по брусчатке шелестели армейские машины, рассыпая из-под колес брызги.

Дом, где размещался штаб партизанской армии и ЦК компартии Бельгии, ничем не выделялся среди других строений в этом квартале — стрельчатые окна, цепочки дымоходов на высокой конической крыше.

Дежурный офицер проверил документы и провел прибывших в кабинет командующего.

Щербак волновался. Слава о Диспи, опытном подпольщике, организаторе вооруженной борьбы против гитлеровцев, человеке исключительной, редкой отваги, давно облетела Бельгию. Рошар и Люн говорили о нем с восторгом, а у сурового Жозефа Дюрера при одном упоминании про Диспи ласково светились глаза: их связывала многолетняя личная дружба.

Щербак переступил порог, готовясь четко, по-армейски доложить о своем прибытии, но сразу же попал в объятия и не мог понять, кто здесь есть кто, потому что в кабинете находились три человека в гражданском и каждый спешил дружески обнять Антона, а затем уже здоровались с Люном — его, как видно, хорошо здесь знали.

Двое засыпали вопросами Щербака, а третий отошел к окну и тихо разговаривал с Люном, положив ему на плечо небольшую жилистую руку.

Вскоре Антон понял, что коренастый, среднего роста мужчина в синем костюме с внимательным взглядом небольших глаз под стеклами очков — Диспи, а худой и голубоглазый, с большими залысинами на продолговатой

[1] Мой генерал!.. *(франц.)*

белокурой голове — его заместитель Рауль Балиган, известный личным участием во многих дерзких операциях. Кто был третий, занятый разговором с Люном, Антон пока не знал.

Диспи интересовала обстановка в Арденнах, настроение в подразделениях, отношение населения к партизанам, первые встречи с американскими частями. Бой под Комбле-о-Поном он расценил как очень важный, с точки зрения военных, успех. Балиган что-то записывал в карманный блокнот и изредка бросал реплики.

— Партизаны удивляются, почему им до сих пор не выделили участка фронта? Война ведь продолжается! Правда, кое-кто считает, что времена Сопротивления закончились,— сказал Антон.— Но в основном это пожилые, семейные люди.

— А как поступили бы вы насчет пожилых и уставших ходить с оружием? — тут же спросил Диспи.

— Не знаю,— сказал Антон, немного поколебавшись.— Я во всяком случае не имею ни морального права, ни полномочий задерживать их.

— Ну, об этом мы еще поговорим,— сказал Диспи. — Эдгар, у вас нет вопросов к товарищу Щербаку?

Только теперь Антон понял, что третий не кто иной, как Эдгар Лальман, о котором ему не раз приходилось слышать от Дезаре.

— Вы и так устроили ему настоящий допрос,— улыбнулся Лальман. — А я все слышал.

Быстрыми шагами он подошел к столу, сел напротив Щербака и пристально посмотрел ему в глаза — маленький, худощавый, седой. На морщинистом лице доминировал нос.

— Перед тем как вы вошли, товарищ Щербак, мы обсуждали последнюю столичную новость,— сказал Лальман.— Вместо опозорившегося перед соотечественниками короля Леопольда нация отныне осчастливлена правлением его высокородного брата. Вчера парламент назначил воспитанника английской военно-морской школы принца Шарля регентом. Бельгия, видите ли, не представляет свое будущее без короны и монаршего трона. — Лальман усмехнулся и выдернул из стопки бумаг на столе газету.— А в Комбле-о-Поне тем временем установлено двоевластие. . .

— Этот Вандеманс беспардонный лгун! — резко сказал Щербак.

— Лгун?

Лальман поднялся и, сцепив подвижные пальцы за спиной, заходил по комнате.

— Он не просто лгун, он — провокатор! Еще одно звено в цепи подлостей. Нигбел Хьюджессен[1] бесконечно нашептывает нашему премьеру о «левом ветре» в Западной Европе. Этот старый реакционер знает, в какую почву сеять ядовитые зерна. Пьерло и без того готов на все, лишь бы избавиться от партизанской армии. Ему чудится, что мы, коммунисты, подготовили заговор... Позор трусам! Давно ли народ рукоплескал премьеру в королевском театре «Монне», где он прославлял «сыновей Бельгии, отстоявших честь нации»? А теперь этих сыновей Пьерло спешит разоружить. Они ему, видите ли, как бельмо в глазу.

Лальман остановился у окна и умолк, наблюдая, как струятся по стеклу частые, мелкие капли дождя. Пальцы за спиной гневно сжались в кулаки.

Зазвонил телефон. Балиган снял трубку, тихо переговорил и, прихватив с собой Люна, вышел.

— Насколько я понял, об отправке на фронт не может быть и речи? — спросил Щербак.

Лальман рывком обернулся, неожиданно весело сверкнул глазами.

— А здорово вы их напугали, товарищ Щербак! Красные флаги в Комбле-о-Поне! Уверен, что кое-кто в Брюсселе воспринял это за чистую монету. Ха-ха...

— Надо добиться, чтобы «Либр бельжик» или какая-нибудь другая газета послала к нам еще одного корреспондента и опровергла ложь.

— Вы не знаете буржуазную прессу. И пошлют. И опровергнут Вандеманса. Однако провокация свое дело уже сделала, обыватель поджал от страха хвост.— Лальман взглянул на часы.— Рад был познакомиться с вами, товарищ Щербак. Центральный Комитет высоко оценивает ваши личные заслуги в партизанской борьбе в Арденнах. Желаю вам счастливого возвращения на Родину. Будете в Москве, сходите в Мавзолей, к Ленину... Вспомните обо мне в эти минуты... Возникнут какие-либо вопросы — заходите,— сказал он, направляясь к выходу.— Извините, мне пора.

Антон робко мял в пальцах сигарету. Диспи, молчаливо наблюдавший за их разговором, пододвинул пепельницу.

---

[1] Английский посол в Бельгии.

— Курите! Я оставил это занятие, однако люблю, когда пахнет хорошим табачком. Вас огорчила последняя новость?

Антон глубоко затянулся дымом.

— Я приехал проситься домой. Естественно, вместе с соотечественниками. Вот список... Все, кто остался в живых... Надеюсь на вашу помощь.

— Ваше желание вполне законное...— Диспи задумчиво побарабанил пальцами по столу.— К сожалению, это не так просто. Есть прецеденты. В Париже уже работает советская миссия по репатриации, а у нас пока не слышно... Подождите немного, хотя я понимаю, как вам нелегко.

— Три года! — выдохнул Антон.

— Три года, — Диспи откинулся на спинку стула, снял очки, чтобы протереть, подслеповато прищурился.— Что и говорить, срок немалый... Вас ждут дома?

— Мать.

— Война — немереное зло. Для всех. Но горе матерей... Что может сравниться с ним? — Он умолк, вспоминая о чем-то своем. Быть может, о своей матери. — Я постараюсь, чтобы эти списки попали в надежные руки. Вы бывали в Брюсселе?.. Нет?.. Тогда договоримся так: завтра придете к Балигану на инструктаж, а сегодня свободны. Расслабьтесь, походите по городу. Считайте, что штаб армии предоставил вам отдых. На целый день. Гида я дам, думаю, будете ему рады.

Диспи совсем по-мальчишески подмигнул Щербаку и снял телефонную трубку.

5

К вечеру распогодилось. Из водосточных труб еще капало, однако дождь уже выдохся. В небе высветились бледно-голубые озерца, в которые заплывал оранжевый солнечный диск.

Главнокомандующий не обманул, пообещав мне отличного гида. Он, видимо, знал о моей дружбе с Дезаре Рошаром.

Мы объездили старинные кварталы Нижнего города вокруг площади Гран-плас, осмотрели гильдейские дома, готическую ратушу, исполинский собор святого Михаила Гудулы. Нелегко было поверить, что это огромное строение со стрельчатыми воротами, узкими, как бойницы, окнами принесло свои башни и шпили из глубин раннего

средневековья. В них таилось что-то суровое и загадочное, как сама история. Казалось, вот-вот за углом раздастся звон лат, послышится грохот тяжелых шагов закованных в железо крестоносцев, приглушенные забралами голоса.

Затем Дезаре повез меня в Верхний город на Плас-де-Мартир, и мне невольно подумалось, что я сижу не в трофейном «опеле», а в фантастической машине времени, которая перенесла нас из сурового средневековья в эпоху пышного классицизма, где господствовала пластичная геометрия античного мира вперемежку с надменной помпезностью ампира. Зодчие словно соревновались здесь в выдумках, щеголяли роскошью, нисколько не заботясь о гармонии.

— Эти дворцы напоминают красивую женщину, которая, желая блеснуть перед соперницами, потеряла чувство меры,— заметил Дезаре.

Я позавидовал уверенности, с которой он вел машину, безошибочно ориентируясь в переплетении улиц.

Город веселился.

Сотни английских солдат и офицеров фланировали по тротуарам. Изредка встречались канадцы. Бесконечным потоком плыли кокарды и шляпки. Отели были забиты офицерами, в «Метрополе» разместился солдатский клуб, в переулках открылись дансинги. Отовсюду лилась музыка. Эта музыка, нестройный говор и женский смех, сирены автомобилей и пьяные голоса создавали атмосферу беззаботности, неудержимого веселья.

Кучка подвыпивших «командос» под аркой у входа в парк беспорядочно напевала «Путь лежит на Типперери». Мордатый сержант дирижировал бутылкой рома, время от времени прикладываясь к ней мокрыми губами.

— Дезаре,— сказал я,— тебе не кажется все это кощунством? Фронт — рукой подать. Там и сейчас льется кровь. . .

Рошар пожал плечами.

— Ты слишком долго жил в глуши. . . Британский солдат никогда не был аскетом. Стоит ему вылезти из окопа, как он тут же забывает все молитвы, кроме одной: «Согрешу во славу твою, господи». Говорят, написал ее какой-то ротный капеллан, сам безбожник и отчаянный гуляка. . .

Около гостиницы «Кентербери» мой гид кивком головы указал на Бернарда Монтгомери, командующего 21-й группой союзных войск. Фельдмаршал только что вышел

из машины, маленький, как подросток, бросил на руки адъютанту плащ и, оставшись в шерстяном жакете цивильного покроя, был похож на кого угодно, только не на профессионального военного. Рядом с ним стоял пожилой генерал, которого я сначала и принял за командующего.

— Бригадир Невиль, — шепнул Дезаре. — Начальник службы гражданских связей при штабе Монти. Редкостная, скажу тебе, зануда, буфер между фельдмаршалом и корреспондентской братией. . . В гостинице разместился пресс-кемп, газетчики со всего света. Читай завтрашние газеты.

Монтгомери и Невиль исчезли за массивными дверями. Адъютант посмотрел на небо, на плащ, швырнул его в свою очередь водителю и побежал догонять фельдмаршала.

— Хотел бы я услышать, о чем будет идти сегодня разговор на пресс-конференции, — произнес Дезаре. — Я знаком с помощником Невиля полковником Тафтоном. Жаль, что его сейчас нет в городе, он провел бы нас в конференц-зал.

— Ты отца давно навещал? — спросил я, надеясь, что Дезаре вспомнит об Эжени.

Он вздохнул:

— Подначивает старик. Бошей, говорит, прогнали, а что дальше? Как были буржуи при власти, так и останутся. Ничего вы не добились.— Дезаре с грустью посмотрел на меня.— Неужели старик прав? И все будет как и прежде, до войны? И наша кровь задаром? . . Между прочим, твой капитан Гро теперь полковник. Один из тех, кому поручено формировать кадровую армию. Высидел карьеру, как наседка цыпленка. . .

Об Эжени Дезаре так и не вспомнил.

Утром, получив от Балигана инструкции, я покидал Брюссель. Люн был у Лальмана, выбежал попрощаться. Просил передать Николь, что задержится на несколько дней. Если я правильно понял, решался вопрос о переезде Филиппа в Льеж, где ему предлагали ответственный партийный пост.

Тяжкие мысли обступили меня в дороге. Возвращение домой откладывалось на неопределенное время. Я представлял, как разволнуется Довбыш, и не ошибся.

Егор так хряснул костылем о кровать, что тот разлетелся вдрызг. Он закричал, как мальчишка:

— Ждать! А сколько ждать? Может, мне невмоготу больше, ни дня!

Грудь его ходила ходуном, а в глазах застыла тоска.

Прибежала Анастази. Вдвоем мы успокоили Егора. Анастази гладила ему чубатую голову, говорила какие-то ласковые, материнские слова. Довбыш долго еще шептал ругательства.

— Мне, братишка, хоть бы одним глазом глянуть на родную землю, вдохнуть ее запах, а там и умереть можно. От радости... Люди и от радости умирают. Прекрасная смерть...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Над Сивачами звенело замечтавшееся бабье лето. Деревья трепетали побуревшими листьями, опутанные паутиной травы стояли будто в росе, а с огородов пахло щедрой осенью.

Выписавшись утром из больницы, Надежда застала у себя дома Катю.

— А я вишенки поливаю,— смущенно сказала Катя.— Давно дождя не было.

С того вечера, когда в больнице Катя призналась, что любит и ждет Антона, она стала стыдиться Надежды. Не избегала, как и раньше, приходила с узелком харчей «от зайца», но и не засиживалась, находя каждый раз причину, лишь бы скорее попрощаться.

Мысленно Катя ругала себя: «Зачем проболталась? Где это видано, чтобы набиваться в невестки?» Больше не решалась заговаривать об Антоне.

Надежда тоже не касалась этой темы, однако по другим причинам. Ей было радостно, что такая видная и смышленая девушка любит ее сына. Как-то они приснились ей вдвоем — стояли, взявшись за руки, молодые и сильные, словно ждали материнского благословения.

Поддерживать в Кате огонек ожидания она не хотела. Антон молчал, а кто не знает, почему в большинстве случаев молчат солдаты, и если Надежда сберегала в себе какую-то каплю веры, что сын жив, на то она мать, ничто не может сравняться с материнским предчувствием, глубина материнской веры неизмерима. А что и капля веры тяжела, как камень,— кому об этом знать? Переклады-

вать тяжесть на хрупкие девичьи плечи она не считала себя вправе.

— А голубей уже две пары. Хотите посмотреть? Такие смешные, в колодочках. Пищат! ..

— Дети,— сказала Надежда. — Покроются перьями и полетят из гнезда в небо.

— А я у вас ночевала.

— И не боялась одна?

— Чего мне бояться? — Катя тряхнула завитками волос, стройная, голенастая. Стояла боком к утреннему, низко нависшему солнцу, лучи золотили ее брови и пушок на смуглой щеке.— У вас так хорошо. А бояться... Пусть Карпуха боится. Поймали пса шелудивого... И знаете, кто выследил? Галя.

— Галя? Да как же? ..

— Она же тронутая. Невесть когда и спит. Бродит ночами... Вот и увидела, как Гришка к отцовой хате крался.

— Разве она его помнит?

Катя сжала кулачки.

— Глаза запомнили! Сватался к ней, угрожал, а Галя плюнула ему в лицо. Он, подлый, и отомстил — немцев привел... Сбежал с ними, а теперь, видишь ли, домой захотелось. Я бы его своими руками! ..

— А что Галя?

— Выздоравливает. Что-то в ней к лучшему сдвинулось. Людей перестала сторониться, а то ведь, бывало, не подступишься. Только плачет и плачет... Родственница в Отраду увела.

Клим Гаевой ехал на бричке в поле, остановил коней у подворья.

— Здравствуйте, Надежда Егоровна!

— Здоров будь, бригадир!

— Ноги ходят?

— Обросли молодой кожей. Тесно, как в новых туфлях.

— Разносятся,— серьезно заметил он.

— На свадьбе твоей растопчу. Скоро?

Клим смутился.

— Нашли кого спрашивать, — засмеялась Катя. — Ульку спросите! Подвезешь?

— А почему это ты не в поле? — Клим обрадовался возможности переменить разговор.— Проспала? Садись.

— Тебя выглядывала. Ульяна не приревнует?

Клим щелкнул кнутом, кони рванули с места.

— Картошку не трогайте, сама выкопаю! — уже издалека, из-за тучи пыли, крикнула Катя.

Надежда подняла оброненное ведро, прихрамывая пошла на огород. После долгого пребывания в больнице кружилась голова. Привычные к физической работе мышцы будто расслабились, подошва на ногах была нежной и розовой — ступать больно.

Уродило хорошо. Между жесткими, как коровий язык, уже усохшими плетями сияли поджарыми боками тыквы, пылали на солнце красным жаром грядки помидоров, под листьями свеклы угадывались тугие клубни, фасоль топорщилась рыжими стручками, а картофельная ботва будто разлеглась на отдых. И вся эта щедрость земли играла красками зрелости, словно укоряя хозяйку за ее долгое отсутствие.

Надежда собирала в подол фасоль, сухие стручки лопались, разбрасывая крапчатые, похожие на птичьи яички зерна. Помидоры раскладывала на три кучки — к столу, на засол, на морс. Не поскупилась земля, наливая овощи соками.

В небе плыло, распустив седые косы, бабье лето, умиротворенное, в легкой печали, что рождает в человеческой душе щемящие отзвуки. Надежде стало грустно: не с кем поделиться ни тихой радостью, ни дарами земли. И так захотелось к людям, в поле, где можно спастись от докучливых дум работой до изнеможения, что она спешно переносила в хату собранные овощи и направилась в степь.

...Неизвестно кто посадил на окраине села акацию, далеко от жилищ, на потеху стихиям. Существовала легенда, что лет ей не счесть, потому что росла она около чумацкой криницы, засыпанной еще крымскими татарами. Под ее зеленым шатром и увидел Надежду Щербак председатель колхоза Архип Бескоровайный. Соскочил с бедарки, тяжелый, мешковатый.

— Покажи ноги!

Надежда машинальным движением одернула подол платья.

— Еще чего...

— Ну, ладно... Рад, если все обошлось. Садись, подвезу.

— Я в поле.

— А я куда? — Бескоровайный, выждав, пока Надежда умостилась на возу, вдруг развернул лошадей к до-

му.— Ноги как у младенца в первый день появления на свет божий, а она в поле! Не терпится?

— Соскучилась.

— Соскучилась,— подхватил Архип.— Значит, сердце хорошее, если к людям тянет. За спасенное поле колхозное тебе спасибо, Надежда, но по глупости калечить себя — извини, не позволю.

— Сам-то ты, говорили, недавно...

— Мало ли что говорили! — перебил он.— Ну, отлежался малость, не без того... Оно иногда так хочется хоть одним глазом в вечность заглянуть, после этого жизнь красивше кажется.— Бескоровайный бросил взгляд на реденькие тучки, вздохнул: — Вот если бы ты дождичка, Надежда, из больницы захватила, тогда другое дело, и с больными ногами пустил бы.

Спрыгнув около хаты с повозки, Надежда ойкнула.

— Га! Что я говорил! — упрекнул Бескоровайный.— Куда конь с копытом... Оклемайся сначала. Да и страда в поле спала.

— Архип Семенович, рекомендацию в партию дашь? Стаж кандидатский кончился. Я же там еще поступала...

— «Архип Семенович»...— передразнил Бескоровайный.— Еще бы на колени встала. Не милостыню просишь, а рекомендацию в партию.

— Не гневайся, так уж вышло.

— Ну что насупилась? Дам я тебе рекомендацию, сам дам, без твоей просьбы. Потому что знаю тебя как облупленную. И труд твой, и твое геройство во время пожара. Женщин повела за собой как коммунист. И Корнея твоего знал, тоже не щадил себя в работах... Чего уж там?

2

В сопровождении правительственного комиссара Уильяма Хаасена в Комбле-о-Пон прибыл представитель американских оккупационных властей капитан Ройс. Холодно, не подав руки, поздоровался с Щербаком, кивнул острым подбородком Балю и приказал выстроить полк.

Антон переглянулся с начальником штаба.

— Разрешите осведомиться, с какой целью?

— Вам будет зачитан правительственный приказ.

— Можно ознакомиться с ним?

— Безусловно, мсье комендант,— вмешался Хаасен — высокий, черноволосый, в гражданском костюме и длин-

нополом плаще, под которым угадывались мощные плечи и армейская выправка.— Правительство создает внутренние вооруженные силы. Мне поручено проинспектировать ваш полк.

Щербак задумался. От Балигана он получил инструкцию: если из Брюсселя последует подобная инспекция, не чинить препятствий. Однако ему виделось все это несколько иначе. Он не понимал, почему вместе с правительственным комиссаром не приехал никто из штаба партизанской армии. По крайней мере оттуда могли хотя бы позвонить.

— Хорошо,— сказал он.— Но вам придется подождать. Батальоны дислоцируются в разных коммунах.

— Сколько прикажете ждать? — немного рисуясь, уточнил Ройс.

— Два дня,— ответил Балю.— Но один из батальонов охраняет мосты в Эсню и Шанксе...

— Я договорюсь с майором Легранном о замене.

Вскоре в штаб полка приехал Легранн. Обговорив с Щербаком все, что касается передачи мостов американцам, он мимоходом обронил:

— Вы приходили ко мне со списком русских...

— Да. И вы не взяли его.

— Не взял. Но вот вам мой совет: не отдавайте списка Ройсу.

— Почему?

Легранн сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Итак, мы договорились обо всем,— сказал он.— Не забудьте сегодня же позвонить Ксешинскому.

...Полк выстроился на набережной.

Во главе батальонов стояли Мишель Денелон, Збигнев Ксешинский, Феликс Герсон... С левого фланга пристроились: полковая разведка Фернана, хозяйственная рота Марше и санитарный взвод Мишустина. В бельгийской форме, вооруженные автоматами и карабинами, партизаны имели вид хорошо обученного подразделения регулярных войск.

Капитан Ройс и правительственный комиссар Хаасен подъехали на машине. Щербак скомандовал:

— Смирно!

Минуя американца, отдал рапорт Хаасену. Вчетвером пошли вдоль шеренги.

Было пасмурно, накрапывал дождь. Гости козырнули полковому знамени. Хаасен счел нужным снять фуражку и дотронуться до полотнища губами.

Когда поравнялись с батальоном, в составе которого была рота советских партизан, ветер развернул красное знамя. Его держал Куликов, крепко прижав древко к груди. Партизан ел глазами начальство, в зрачках прыгали чертики.

Хаасен заколебался, но затем так быстро отдал честь, будто обжегся, дотронувшись пальцами до козырька фуражки, а Ройс процедил сквозь зубы:

— В батальоне два знамени?

— Отдельная ударная группа советских партизан имеет свое знамя, господин капитан,— вежливо пояснил Щербак.

— Но вы же в Бельгии!

— Точно так же, как и вы, господин капитан. Вам что-нибудь не ясно?

Уильям Хаасен произнес перед строем речь. Он не скупился на эпитеты, прославляя мужество и отвагу арденнских партизан. Полк выразил желание идти на фронт, и правительство немедленно удовлетворило бы это благородное стремление, но доблестные союзные войска продолжают так успешно наступать, что надобность в чьей-либо помощи отпала. Поэтому полк вольется в создаваемые ныне внутренние вооруженные силы Бельгии, задание которых в настоящее время сводится к войсковому обучению и гарнизонной службе.

— Естественно, это не касается русских и всех других иностранцев. Мы выразим им признательность нации и пожелаем счастливой дороги в родные края. Однако,— Хаасен прокашлялся, хотя голос его звучал чисто и звонко,— однако, если кто-либо из иностранных подданных пожелает вступить в наши вооруженные силы, правительство будет приветствовать каждого.

Вперед выступил капитан Ройс.

— Предлагаем всем небельгийским подданным, за исключением тех, кто решил добровольно продолжать армейскую службу,— капитан слегка склонил голову в сторону Хаасена,— сдать оружие и организованно прибыть в лагерь по репатриации в Монсе. Думаю, что мистер Щербак и мистер Балю передадут мне надлежащие списки. Это всего лишь формальность, однако она необходима. Все ясно?

— Нет, не все! — отозвался Савдунин.— Мы не согласны сдать оружие. Мы заплатили за него кровью!

— Администрация лагеря не принимает людей с оружием. Существует порядок. . .

— А зачем нам лагерь? — спросил Куликов и, повернувшись к партизанам, выкрикнул: — Братцы, разве мало мы с вами насиделись в лагерях?

Партизаны глухо зашумели.

— Вы не хотите возвращаться домой? — спросил капитан Ройс.— В таком случае подайте заявления, бельгийское правительство готово рассмотреть их.

— Вы нас не поняли,— сказал Савдунин.— Домой мы хотим, и как можно скорее. Мы не хотим в лагерь! В конце концов, мы партизаны, а не военнопленные американской армии!

— Господин капитан,— вмешался Щербак,— Соединенные Штаты и Советский Союз ведут войну против общего врага — фашистской Германии. Кто уполномочил вас разоружать подразделение союзной державы?

На площади повисла тишина. Ройс побагровел.

— Вы не солдаты! Приказываю сдать оружие!

Ряды партизан смешались. Кричал о чем-то, размахивая руками, юный Денелон. Франсуа Балю шагнул к капитану.

— Если вы вздумаете учинить насилие над русскими,— сказал он, раздельно выговаривая каждое слово,— будете иметь дело со всем полком. Мы воевали плечом к плечу, а это всегда что-то для нас значило.

— Это бунт! — закричал Хаасен.— Я доложу премьер-министру!

Начштаба остановил его жестом руки:

— Успокойтесь, господин Хаасен, бунта нет, и незачем его придумывать. Премьер-министру вы можете доложить, что партизанский полк «Урт-Амблев» согласен войти в штат внутренних вооруженных сил. Списки русских, о которых здесь шла речь,— Балю вежливо кивнул капитану Ройсу,— будут переданы офицеру советской миссии, как только она прибудет в Брюссель. Что касается оружия, то мы его конечно же сдадим в свое время, а пока оно нам необходимо — партизаны вылавливают в лесах эсэсовцев, которые терроризируют местных фермеров. В горах еще продолжаются схватки с бошами.

Хаасен выслушал его хмурясь.

— Вы ступили на опасный путь,— сказал он.— Прощайте!

Небрежно махнув рукой, правительственный комиссар направился к машине. Ройс задержался.

— Вы были в плену, мистер Щербак? И не боитесь?

— Что вы хотите этим сказать?

— Хорошенько подумайте, прежде чем принять решение о выезде в Россию. Там вас всех ждет один путь — в Сибирь! Не торопитесь опровергать меня, я знаю: вы скажете, что это ложь, что вы франтирер, что вы искупили вину, у вас боевые заслуги, однако все это эмоции, а у меня — факты. Мне жаль, что мы здесь немного... погорячились. В конце концов, это тоже эмоции. Честь имею!

Антон проводил американца взглядом, и, хотя он не поверил ни единому его слову, на сердце стало тоскливо.

Хаасен уже собрался было сесть в машину, но в последнюю минуту передумал:

— Я хотел бы продолжить нашу беседу с господином Балю тет-а-тет,— сказал он Ройсу.— Мсье Балю!

Начальник штаба неохотно подошел. После всего, что произошло, у него не было ни малейшего желания разговаривать с нагловатым комиссаром в отсутствие коменданта Щербака.

— Мсье Балю,— сказал Хаасен,— вы бельгиец и, насколько я знаю, кадровый офицер королевской армии.

— Бывшей.

— Пусть так. И вы считаете себя свободным от присяги?

— Кому? Королю Леопольду? Или же регенту Шарлю?

Хаасен поморщился:

— Не придирайтесь к словам. Мы присягаем королю, но служим родине. Вы так же, как я, социалист, но почему-то защищаете коммунистов.

— При чем здесь коммунисты?

— А кто же тогда Щербак и остальные русские в полку? Я не отнесся бы к вам с такой доверительностью, если бы не рекомендация полковника Гро. Он сказал, что вы образованный офицер, патриот, социалист по убеждению и что вам можно полностью довериться.

— Благодарю Гро за блестящую характеристику,— сухо произнес Балю.— Но он, видимо, забыл сообщить еще об одной непременной черте моего характера — при всех моих убеждениях я никогда не забываю о честности.

— Честность превыше политики?

— Лучше скажем так: честность в политике.

— Боюсь, именно эта особенность вашей натуры испортит вам военную карьеру, — сказал Хаасен. — Не странно ли: мы принадлежим к одной партии, а понять друг друга не можем. Что, собственно, изменилось?

— Что же здесь странного, мсье Хаасен... Вы где были после двадцать восьмого мая?

— Где-то был, разумеется... Предположим, в Лондоне.

— Вот-вот. А я оставался здесь! И воевал рядом с русскими! Вместе с ними хоронил наших общих боевых товарищей — бельгийцев, французов, русских. Вам это ни о чем не говорит? .. Вы спрашиваете, разве что-нибудь изменилось? Только слепой может не заметить перемен. Прежде всего изменились мы с вами. За четыре года каждый из нас чему-то научился.

— Все это весьма даже любопытно. Однако подискуссируем в другой раз, в более подходящей обстановке.

Даже не попрощавшись, Хаасен круто повернулся, сел в машину и громко хлопнул дверцей.

3

Вечером Щербака пригласил к себе Легранн. Он был в подпитии и прятал глаза.

— Что-нибудь случилось, Анри?

С Легранном у Антона с самого начала сложились почти приятельские отношения. Смуглый, похожий на метиса майор вызывал у него симпатию, возможно, своей прямотой, бесхитростностью, а скорее тем, что не строил из себя большое начальство, с солдатами вел себя запросто, а к партизанам относился с уважением. В длинных речах своих майор выражался витиевато. Столь же затейливой, узорной была его брань в адрес противников. Умением обложить крепким словцом не понравившегося ему человека он мог посостязаться с боцманами каботажных судов.

Прошла не одна минута, пока лихое красноречие Легранна исчерпалось. Он грохнул о стол начатой бутылкой виски, но наполнить рюмки не спешил, уставившись на бутылку свирепым взглядом, будто именно в ней крылась причина его гнева.

— Ультиматум, — сказал Легранн неожиданно тихо.

— Кому?

— Тебе! Неужели не ясно? — сорвался снова на крик

Легранн. — Я получил приказ содействовать бельгийским властям в разоружении 4-го полка.

— Капитан Ройс говорил только о русских.

— Они там, — Легранн сделал невыразительный жест рукой, — приняли новое решение.

— Но я такого приказа не получал.

— Колеса правительственных машин крутятся побыстрее... Только и всего. Завтра получишь.

Антон недоуменно передернул плечами.

— Что будешь делать? — спросил Легранн.

— А ты?

— Я? — Майор приложился к бутылке, вытер губы ладонью и вымученно усмехнулся. — Сначала напьюсь. Напьюсь в дымину. Какого дьявола! Я не хочу, чтобы на меня указывали пальцем. «Майор Легранн?.. Какой майор Легранн? Ах, это тот, что разоружал франтиреров в Арденнах?..»

От Легранна Антон направился в госпиталь. Из головы не выходили последние слова Ройса, и, хотя он не сомневался, что это провокация, злое желание отравить ему душу, посеять неуверенность в будущем, на сердце было тоскливо, будто заныла старая рана, о которой он успел забыть.

С Егором поговорить Щербаку не удалось, на полдороге перехватил посыльный из штаба.

На рю де Льос его ждали Франсуа Балю и Филипп Люн, только что прибывший из Льежа. Начальник штаба нервно потирал руки. На сухощавом лице Люна была заметна усталость.

— Вот она благодарность, командант... Полк разоружают!

— Знаю, Франсуа, — сказал Щербак. — Прибыл ультиматум?

Люн поднял выгоревшие брови:

— Знаешь? Откуда такие сведения?

— От Легранна. Американец получил приказ из штаба корпуса: содействовать бельгийским властям.

— Содействовать, — повторил Люн. — Иезуитская формулировка... И как же он содействует?

— Напился, ругается. Не понимаю, почему наш полк стал им поперек горла?

— Полк? Копай глубже. Речь идет обо всей партизанской армии. Твой Легранн что-то напутал, у меня иные сведения. Нынешние недруги наши не такие уж и дураки, чтобы начинать с ультиматумов. Вам будет предложено

сдать оружие под предлогом замены его отечественным. Один наш полк уже попался на эту удочку. Старое оружие сдали, а нового не дождались, и уже не дождутся.

— И хитрость-то невелика, а результат тот же — разоружение, — с горечью подытожил Балю.

Люн перешел к делу.

— На двадцать пятое октября назначена общая демонстрация протеста в Брюсселе. Нам необходимо прибыть в столицу днем раньше. Всем полком, кроме русских. Лальман считает, что русских не следует впутывать в эту историю.

— А я? — выкрикнул Щербак, багровея от возмущения. — Тоже посторонний?

Люн улыбнулся, глядя вприщур:

— Думаю, для командира можно сделать исключение. При условии, что он не попадется там на глаза своему другу полковнику Гро.

— Хотел бы я с ним еще разик повидаться, — успокаиваясь, проворчал Щербак.

— Демонстрация мирная, оружие оставите здесь. Это распоряжение Диспи.

Щербак позвонил Легранну:

— Получен приказ командования прибыть в Брюссель всем полком.

— Передислокация? — откровенно обрадовался Легранн.

— Не знаю, — скрыл правду Щербак. — Мое дело выполнять приказ. Мы едем без оружия. У вас не будет возражений?

— Мы не вмешиваемся во внутренние дела бельгийцев, — поспешил заверить майор. — Но почему без оружия?

Легранн, видимо, был не против избавиться от всего сразу.

— Наверное, там получим новое. Курс на унификацию.

— Прекрасно! Я рад за вас, — весело произнес майор, хотя в голосе его проскальзывало беспокойство. — Могу выделить несколько «студебеккеров».

Щербак почувствовал большое искушение прибыть на демонстрацию на американских машинах.

— Благодарю, Анри, — сказал он. — Мы уж как-нибудь сами.

4

Эжени смотрит на меня испуганно.

— Святая Мария,— шепчет она.— На тебе нет живого места...

— Пустяки,— бодро отвечаю я.— Свалился с мотоцикла. Заживет... На мне, сама знаешь, все быстро заживает.

Я целую ее влажные глаза, ощущая на губах соленый привкус.

— Главное — ты вернулась. Я уже боялся, что ты навсегда осталась у стариков. Забыла меня...

— Забыла? И ты мог такое подумать? Болел Шарль.

— Женя, любимая моя...

Ноют ссадины. Кожу на скулах стянуло, нельзя улыбаться. Я ждал этой встречи, но радость омрачена, она какая-то ущербная.

Мысленно я еще там, на улицах Брюсселя, в колонне демонстрантов. От топота ног гудит брусчатка мостовой. День пасмурный, холодный. Серый день поздней фландрской осени. Острия готических шпилей тонут в низко нависших тучах. Ночью прошел дождь, дома и деревья влажные, асфальт свинцово-сизый, в багряных пятнах увядших листьев. Над каналами завис молочный туман...

— Ты меня не слушаешь?

— Что ты, Женя! Я слышу каждое твое слово. Просто устал... Ты говори, говори...

Какой разительный контраст! Еще недавно я видел эти улицы пестрыми от множества людей, а сейчас лишь патрули да одинокие прохожие. На рельсах замерли оставленные кондукторами трамваи — работники местного транспорта влились в колонны бастующих...

— Дедушка не хотел меня отпускать. Но я знала, что ты ждешь. Я не ошиблась? Ты ждал меня, Антуан?

— Я думал о тебе каждый день...

Английские солдаты обуты в желтые ботинки на толстенных подошвах. Они напоминают мне почему-то гусей, которые топают лапчатыми ногами через лужи. Патрули косо смотрят на демонстрантов. Ветер треплет увлажненные непогодой знамена, они гудят как паруса.

— Камарад! — Мишель Денелон подбегает к патрулю, показывает рукой на транспарант. — Ты прочти, слышишь? Прочти! «Мы не против союзников, мы против разоружения патриотов!» Понял? «Долой правительство

Пьерло!» Это наш премьер... Хотя какое тебе дело до нашего премьера, правда?

У солдата широкое крестьянское лицо, жесткая кожа. С опаской глянув на стоящего неподалеку сержанта, он молча шагает мимо...

— Отпусти, говорит, ее, Жан-Батист. Сколько может стоять дом на замке? Еще разворуют.

— Какой Жан-Батист?

— Дедушка, кто же еще? Поворчал он себе под нос и пошел запрягать лошадей...

Впервые слышу, что старого Рошара зовут Жан-Батист. Смешно. У мамы был батистовый платок...

В одиннадцать направляемся в центр столицы. Я знаю, что демонстранты вышли одновременно из всех рабочих предместий — Икля и Андерлехта, Вилворда и Схарбека, Тюбиза и Одергема. Появился и тут же слился с демонстрантами Дезаре. Кто-то принес известие: у вокзала Гардемиди колонну рабочих разогнали.

— Как это разогнали? — У моего славного начальника разведки вид обиженного ребенка. — Почему? Мы же без оружия, мирно!

— Эх, парень, мало тебя учил Савдунин классовой науке...

— Ты голодный, а я кормлю тебя разговорами, — произносит Фернан голосом Эжени. Заросшей щеки касается нежная ладонь, от этого прикосновения кружится голова, хочется обо всем забыть...

Путь на площадь Гран-плас перекрыли жандармы. Стоят как стена, за плечами карабины, в руках полицейские дубинки. Тучный офицер хрипло кричит:

— Н-на-зад!

— Проклятые фараоны! — цедит сквозь зубы Денелон. — Где их столько набрали.

На какое-то время я утрачиваю чувство реальности. Выкрики жандармов, взмахи дубинок, стон и ругань, топот ног — это же давнее прошлое, история, литературный сюжет! Я изучал это в школе, смотрел в кино. А может, это сон? На меня надвигается перекошенное злобою усатое лицо, остекленевшие глаза. Едва успеваю подставить руки под удар прикладом карабина...

— Ужин на столе, господин комендант!

Эжени прекрасна, как богиня, излучает свет и тепло. Я смотрю в ее неправдоподобно синие глаза и улавливаю, будто подсказку, далекий полузабытый голос: «Ой, очи-очи, очи девичьи, кто научил вас сводить с ума?»...

— У тебя и пальцы изувечены!

— За землю хватался, — говорю я. — Когда падаешь, всегда хватаешься за землю. Для надежности...

Жандармский заслон прорван, человеческое море заполонило Гран-плас. Стиснутая со всех сторон хмурыми готическими строениями, площадь похожа на каменный мешок. Огромные, как ворота крепости, двери ратуши закрыты изнутри. Все живое притаилось, смолкло за дверями, за решетками окон — мрачная пустота.

Из радиальных улиц на площадь выходят и разворачиваются в каре бельгийские карабинеры.

На крыльцо ратуши взбегает Дезаре:

— Товарищи, без паники! Они не посмеют! Мы пришли, чтобы заявить протест...

— Что с тобой, Антуан? Ты почему не ешь?

Вишенка ты моя, зачем тебе знать, что творится в моей душе? До еды ли мне сейчас? На тебя посмотреть, встрече порадоваться, надышаться тобой, отогреть сердце твоей нежностью... Однако перед глазами...

Сквозь толпу протискивается Франсуа Балю. У него рассечена бровь, левый глаз заплыл кровью. Накрапывает дождь — мелкий, въедливый. На крыльцо ратуши один за другим выходят ораторы.

— Долой Пьерло! Он предал интересы народа...

— Не позволим издеваться над патриотами!..

— Да здравствует свобода!..

Солдаты стреляют выше голов. Пока еще выше... Над ратушей, над собором Гудулы взлетают всполошившиеся голуби.

— Предлагаю разойтись! — кричит в мегафон жандармский офицер.

Но толпа движется вперед, солдаты пятятся. Стволы карабинов опускаются все ниже.

— Слушай мою команду-у!

К солдатам бежит офицер. Что-то знакомое бросается мне в глаза в его фигуре, в длинных не по росту руках.

— Не стреляйте!.. Я знаю их, это арденнские партизаны! Слышите!.. Они громили бошей...

— Крафт!

Ноги Фернана скользят по мокрой брусчатке.

— Это я, Фернан! Вот мы и встретились... Здравствуй, Рене!

Они успевают обняться.

Поздно.

— Пли! — орет мегафон...

Я никак не могу прикурить сигарету, пальцы дрожат.

— Не сердись, — говорю я. — Поужинаю потом... Немного покурю и возьмусь за еду. И расскажу тебе кое о чем после... Где сыновья, Женя?

— У деда... Я не решилась взять их, не знала, как здесь...

— Не отдавай, Женя, сыновей в солдаты. Пусть пашут землю, строят дома, что-нибудь изобретают для людей. Будь моя воля...

Ей приятен разговор о детях. Она улыбается.

— А сам ты кто?

— Я — другое дело. Нашему поколению выпало такое время. Жестокое. Это последняя война. Земля захлебнулась кровью. Дальше некуда. Твои сыновья... Наши сыновья, Женя, будут жить иначе.

— Наши?

— Наши, Женя, наши... Что с тобой? Почему ты такая...

— Какая? — спрашивает она, поднимается и идет ко мне.

Нас разделяет только маленький кухонный столик, однако идет она долго, слишком долго, будто, кроме расстояния, существует еще какая-то преграда.

Взгляд синих, широко поставленных глаз завораживает... Легкая рука на моем плече...

Ночью я просыпаюсь от шума за окном. Дождь хлещет в стекла, шелестит в виноградных лозах. Эжени сладко спит. Боюсь пошевелиться. В сумерках белеют округлые плечи, губы полуоткрыты, волосы рассыпались по подушке.

Наверное, я слишком пристально смотрю на нее, потому что она открывает глаза и сонно улыбается, протягивая ко мне руки.

— Ты не спишь?

— Я смотрю на тебя и не верю.

— Люблю, — говорит она тихо-тихо, будто нас может кто-нибудь услышать. — Я не говорила этого слова даже Симону.

Руки ее горячие, щекочущие.

— Почему?

— Не знаю. Мне казалось, что такие слова только в книгах. А сейчас сами срываются с губ. Ты говорил их кому-нибудь?

— Нет, не говорил, Женя. Не успел.

— А мне?

— Только тебе... Вишенка ты моя...

— Как хорошо... Скажи еще.

Утром я избегаю просительного взгляда синих глаз. Боюсь, что, встретившись с ними, не смогу уйти.

— Один день, только один день, Антуан!

— Не могу, любимая, я должен ехать... Ты же не хочешь, чтобы мои друзья плохо думали обо мне?

Она вздыхает и идет к гардеробу.

— На улице дождь. Возьми вот...

Зеленоватый плащ с островерхим капюшоном. Я видел его на Симоне. Невыразимое чувство вины угнетает мое сердце. Перед мертвыми мы всегда виноваты. Они стоят в памяти, как обелиски. И смотрят на нас. Осуждающими глазами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

1

«Здравствуй, Тоня!

Если бы ты знала, как я обрадовалась твоему письму! Много раз перечитывала каждую строчку, будто снова побывала в Карачаевке и всех повидала. А больше всего рада за тебя. Иван вернулся, и все у вас идет теперь в любви да в согласии. Иван прошел через такой огонь, который иного превратил бы в пепел, если не тело, то душу, а он все перенес и к тебе вернулся. Береги свое счастье, искупи вину лаской и нежностью, твой танкист заслужил их, ох как заслужил...

Спрашиваешь, как живу. Сказала бы — молитвами, да не верю в бога, скорее надеждами, хотя и не знаю, на что уже мне надеяться. Не откликается Антон, давно, должно быть, земля легла ему на грудь, гоню от себя эту страшную мысль, а она преследует неотступно.

Колхоз наш поднялся на ноги. Получаем и технику, возвращаются мужики с фронта. А совсем недавно были у земли только бабы да коровы. Запрягаешь в ярмо буренку, а она так жалостливо смотрит, чуть не плачет.

На днях был суд. Поймали предателя, был при немцах полицаем, много горя принес людям. Наш, сивачевский, с моим Антоном в школе учился, представляешь? И как он удался таким?..

Отец на колени падал: поручитесь, люди, что угодно, лишь бы не смерть, один он у меня... А куда же ты смотрел раньше, родитель-неудаха? За кого просишь поручиться? Убивать не станет? Не будет вешать? Не будет, привязав к столбу, обливать на морозе, как это сделал со своим ровесником Жорой Яценко? А кто смоет кровь невинных с его палаческих рук?..

Когда зачитывали на суде все его злодеяния, волосы дыбом... Вы там, в Карачаевке, и не представляете, что творилось, когда фашисты и эти наймиты пановали на нашей земле... Повесили предателя на площади.

Выпадет случай увидеть товарища Самохина, скажи ему, что меня приняли в партию, и прибавь: пусть не сомневается, краснеть за меня не придется. Поручили мне быть женорганизатором в бригаде.

Приведется быть в Джагытарах — низкий поклон Ахану Усманову и его внучке. Много горя выпало ему, а радость одна — Кыз-гюль. Мне бы такую девочку при моем одиночестве на утеху.

Вот и все, Тоня, о моем житье-бытье в Сивачах. Сколько мы не виделись — год? Время летит как на крыльях!

Кланяйся деду Махтею, скажи — звенят его розы. Ходила вчера вечером на могилу Корнея, и стало мне грустно-печально, будто одна я осталась на свете, все меня забыли, не до меня в заботах. Конечно, неправда это — вокруг люди хорошие, работящие, и не чуждаются меня. В общем, минутная слабость, и поддаваться ей никак нельзя — заест. Вот пришла домой — письмо от тебя, и радость опять нахлынула в душу.

Верховодит ли у вас еще Андрей Иванович?

Надежда Щербак».

2

Фернан тупо разглядывал большие свои ладони.

— Он умер на моих руках... Кричу: «Рене! Рене!» — а он обмяк и падает, падает... Подскочил жандарм с дубинкой. Добивай, говорю, сволочь, чего вытаращился?

В который уже раз Фернан рассказывает, как он понес тяжелое тело Крафта прямо на карабинеров, и они расступились... Думал, живого нес, а вышло — убитого.

— Что ты расхныкался! — разозлился Денелон.— Кто такой в конце концов Крафт?

— Не смей! Мы вместе бастовали в Шарлеруа! Он был нашим человеком, рабочим. Ему свернули мозги, а ты... Крафт кричал: «Не стреляйте!»

— Не надо ссориться, братишки,— примирительно загудел Егор. — Эх, жаль, меня там не было!

— И твоих костылей, — добавил вполголоса Савдунин.

Довбыш шумно засопел.

— Это жестоко, Андрей, — сказал Щербак.

Партизанские командиры обсуждали последние события в Брюсселе и без конца чадили сигаретами. Облако дыма плыло из окна, как из трубы.

— Дьявол вас забери! — Герсон закашлялся. — Установили бы очередь, что ли... Задохнуться можно.

— Ты, Феликс, дыши через бакенбарды, они фильтруют, — посоветовал Савдунин.

Пришел начальник штаба. Левая рука на бинте, щека заклеена пластырем.

— С наградами вас, Франсуа! — с горечью усмехнулся Щербак. — Правительство поскупилось, зато жандармы оказались щедрыми... Боксом увлекались в детстве?

— Был грех. А что?

— Видел, как на Гран-плас вы послали одного в нокаут.

— Было время понаблюдать?

— К сожалению, нет, Франсуа, — признался Антон. — По мне как раз топтались чьи-то сапоги.

Балю извлек из кармана лист бумаги.

— Камарады! Правительство Пьерло, наверное, захочет утаить от народа правду о демонстрации в Брюсселе. Наш долг сказать эту правду во весь голос. Подготовлен текст листовки. Если не удастся напечатать здесь, передадим в «Драпо руж» [1]. Прочитайте, Фернан...

Фернан выбросил сигарету, прокашлялся в кулак.

— «Всем! Всем! Всем!

25 октября 1944 года Брюссель снова услышал стрельбу. Кто стрелял и в кого стрелял? Притихшая Бельгия ждет ответа.

А стреляли жандармы, стреляли в народ, в безоружных участников мирной демонстрации. Тридцать восемь раненых, четверо убитых — таков итог «военной операции» мясника Пьерло.

Правительство кровавого диктатора и его послушных

---

[1] Газета, орган Бельгийской компартии.

министров жестоко расправилось с участниками движения Сопротивления, которые четыре года вели мужественную борьбу против немецко-фашистских захватчиков и кровью лучших сыновей отстояли честь и свободу Бельгии.

Господин Пьерло этого не видел, он отсиживался в Лондоне. Сегодня премьер цинично заявляет, что вернулся со штыками и с их помощью останется у власти... Что ж, возможно, впервые он сказал правду.

Но кровь невинных патриотов, пролитая на улицах Брюсселя, не забудется. На жандармскую голову предателя Пьерло падет народное проклятие!»

Некоторое время все молчали, вновь и вновь обращаясь мысленно к недавним событиям в столице.

— Поправки будут? — спросил Балю.

— Все сказано верно,— произнес Герсон.— А не накличем ли мы этой листовкой еще какой беды?

— Мало тебя тыкали носом в брусчатку! — взорвался Денелон. — Поменьше бы оглядывался.

— Я не оглядываюсь, я смотрю вперед!

— Спокойно! — прикрикнул Балю.— Галльские петухи... Вперед и полагается смотреть. Феликс прав, именно поэтому мы и предлагаем напечатать листовку. Арденны должны знать правду.

3

7 ноября 1944 года Антон Щербак выстроил бойцов на площади городка Комбле-о-Пон. Он специально выбрал этот день. Ему хотелось хотя бы таким способом отметить праздник Великого Октября.

Стояла на редкость ясная погода, небо глубокое, чистое, покрытые багрянцем деревья замерли, освещенные прохладным солнцем, повисшим над отрогами далекого От-Фаня. Батальоны стояли спиной к солнцу, тени падали вперед, словно частокол. Антон почему-то обходил их поодаль, словно опасаясь коснуться ногами. Глухо бился в берега переполненный дождевыми водами Урт.

— Ами! Дорогие друзья по оружию! — голос Щербака взлетел над площадью взволнованно, звонко. — Мы честно и мужественно боролись с вами за свободу плененной нацистами Бельгии, за всеобщую победу над врагом. Настал час расставанья. Национальный Совет движения Сопротивления по требованию правительства решил распустить партизанскую армию. Что ж, мы выпол-

ним приказ. Но я уверен, что каждый из вас, вернувшись домой, останется преданным тем высоким гражданским идеалам, во имя которых мы проливали кровь в горах. Мы не спрашивали, кто ты: бельгиец, русский, француз, поляк? У нас была одна цель — громить ненавистного врага. Мы были братьями и останемся ими, где бы ни были и как бы ни сложилась у каждого из нас судьба. Да здравствует интернациональное братство!

После митинга батальоны торжественным маршем прошли по улицам Комбле-о-Пона. Жители бросали под ноги партизан цветы, американские солдаты отдавали честь.

Вечером в ресторане «Арденнский вепрь» собрались офицеры расформированного партизанского полка. Не было только Феликса Герсона, он сразу после парада отбыл в Аукс-Тур к больной жене.

Хозяин ресторана, близкий друг бургомистра Жюстена, не поскупился, столы ломились от бутылок и закусок.

Довбыш провозгласил себя дегустатором, снимал пробу чуть не из каждой бутылки, то кривился, то причмокивал, в выпуклых глазах его играла задиристая бесшабашность, и, возможно, только Антон знал: за этой бесшабашностью кроется безысходная тоска, потому что расставанье с боевыми друзьями Егор переживал болезненно, как ребенок.

Круглолицый Марше после первого же глотка вина вцепился в Савдунина.

— Посоветуй, Андре, что делать. Она — венчаться, и только, а меня тошнит от церкви.

Савдунин мастер на советы:

— Есть такой анекдот. Надумал один парень жениться, а невеста, значит, говорит ему...

Фернан, перегнувшись через стол, убеждал Денелона:

— Ты не бойся, Мишель, не святые горшки обжигают. Была бы шея, а хомут... Вот я, к примеру, кто такой я?..

Бургомистра тоже пригласили на ужин. Прослышав о том, что партизанский врач заядлый охотник, он подсел к Мишустину. За два года Иван Семенович так и не смог овладеть французским, плохо разбирал, когда частят словами. Темпераментный Жюстен, войдя в раж, забывался, строчил будто из пулемета. Мишустину оставалось лишь вставлять по слову:

— Такое дело... да, конечно... да, понял, понял...

Франсуа Балю сидел, склонив голову на ладони, словно бы задремал, на самом же деле чутко прислушивался к нестройным голосам за столом.

— О чем задумался, начштаба? — спросил Щербак, легонько тормоша друга за плечо.

— Бывший... Теперь, командант, добавляйте: бывший.

— Пусть так, — согласился Антон. — Но ведь и я экс-командант, иными словами — бывший.

Балю усмехнулся одними глазами.

— Меня всегда удивляло, как примитивно и грубо человек подчиняет почти все священные ритуалы на потеху собственной утробе. Именины — за стол, свадьба — за стол, поминки — опять за стол...

— Так ведь на том свете не дадут! — весело откликнулся Егор. — Там все будет иначе. Ни тебе ложки, ни рюмки... Вечный пост!

— Социально-бытовой атавизм, — голосом дельфийского оракула произнес Савдунин и театрально ткнул пальцем в Жюстена и Мишустина: — Вот виновники! Когда их предки впервые убили мамонта, они сообразили, что съесть его можно только сообща. Потом мамонты перевелись, а коллективное застолье процветает и поныне.

Неожиданно, рванув воротник, вскочил Денелон:

— Прекратите! Я больше не могу, я не верю вам! Вы только делаете вид, что вам весело, а на самом деле... — Голос Мишеля упал до шепота. — Мы же в последний раз...

За столом стало тихо.

— Ч-чертов хлопец, — слегка заикаясь, прогудел Довбыш. — А ведь он ухватил-таки истинную правду за хвост! Разве не так, братишки?

— Факт, — промямлил с полным ртом Савдунин. — Но я до сих пор не знал, что у правды имеется хвост.

Никто не засмеялся.

— Прошу налить! — произнес Балю.

— Все-таки налить?

— Вот именно. — Начштаба поднялся, расправил в тесном кителе плечи. — За Жозефа Дюрера, камарады!

— И за комиссара Жана! — добавил Фернан.

— И за Жана. Жаль, что я не знал его. За всех, кто не дожил до победы...

Просидели почти до рассвета. Вспоминали боевые эпизоды, последние бои под Комбле-о-Поном и Айваем, обменивались адресами, сувенирами, пели солдатскую песню Василька.

— Пти-Базиль, — задумчиво молвил Жюстен. — Помню, как хоронили его. Это был почти мальчик... Гравер так и выбил: «Пти-Базиль». А фамилию почему-то забыл.

Щербак растерянно взглянул на Довбыша:

— Ты знаешь фамилию Василька?

— Фамилию? Знал комиссар. Для меня он был просто Василек.

— Вот она, солдатская судьба, — сказал Антон тихо. — Как же я разыщу теперь его мать?

Настроение испортилось. «Мы же в последний раз...» Пусть в последний. Завтра, нет, уже сегодня все разъедутся кто куда. Франсуа — в Брюгге, у него там семья — родители, жена, сын. Мишель — в Льеж, надо его попросить, чтобы разыскал Люна. Марше — на ферму под Ремушаном, в примаки к молодице, на которую он засматривался во время своих интендантских вылазок. Феликс уже наверняка дома. Только Фернан остается в Комбле-о-Поне работать в типографии. Зная неусидчивую натуру сына, Анастази решила не отпускать его далеко от себя... Но ведь кроме них есть еще Довбыш, Савдунин, Ксешинский, есть полсотни ребят, готовых идти за ним, за Антоном, хоть на край света. Когда же наконец прибудет в Брюссель советская миссия? Как хочется увидеть хотя бы одного человека оттуда, с Родины!

От выпитого вина шумело в голове. Щербак вышел проводить бургомистра.

— Я слышал, вы будете работать в Федеральном комитете фронта независимости? — спросил Жюстен.

— Где-то и мне надо добывать свой кусок хлеба...

— Магистрат решил взять русских на содержание до самого вашего отъезда домой.

— Спасибо, Жюстен, вы настоящий друг, — поблагодарил Щербак. — Скажите честно: вам попало за ту листовку?

— В черный список занесли наверняка.

— Это опасно для вас?

Жюстен зябко повел плечами:

— Поживем — увидим. Чувствуете, как похолодало?

В тумане призрачно, будто привидения, вырисовывались контуры зданий и деревьев. Все поседело за одну ночь — на землю упал первый серебристо-серый иней.

4

Если бы не Фернан, я не нашел бы дороги. Собственно, никакой дороги здесь нет.

Тогда, в день гибели комиссара, мы шли вслепую, доверившись заросшему кустарником оврагу, шли из последних сил после жестокой схватки с эсэсовцами напротив моста через Урт. Я был ранен, ныло простреленное бедро, и каждый шаг был пыткой. Казалось, овраг никогда не кончится, над нами топорщились глыбы острых камней, вверху виднелась глубокая, как горная пропасть, полоска ночного неба. Фернан шел впереди, мертвое тело комиссара соединяло нас от плеча к плечу, как мост. Он был двужильный, этот маленький Фернан, упорно нащупывал ногой, куда ступить, подбадривал, будто знал, что стоит на мгновение остановиться — и я упаду, потому что передвигаюсь за ним разве что по инерции — уж больно шаткая опора страшного моста.

— Брось автоматы.

— Без них мы не бойцы, — хрипел Фернан.

Кажется, в тот миг, когда я почувствовал, что неодолимая усталость сковала мои движения и я уже не в силах сделать хотя бы шаг, он тихо произнес:

— Вот здесь мы и похороним нашего комиссара...

В Арденнах в то время стояло лето. Опьяняюще пахли травы, лес, залитый лунным светом, был неестественно синий.

Сейчас в горах поздняя осень. Уныло шумят сосны. Далеко внизу, за каскадом неприветливо серых террас, извивается пойма реки, за нею, по другую сторону, напротив Совиного урочища, горы расступаются, оскалив зубастую пасть хмурого, с отвесными стенами, каньона.

— Узнаешь? — спрашивает Фернан.

Вот она, плоская глыба под сосною, на краю обрыва. Молчаливый камень, равнодушный ко всему живому, — страж. Потемнели выцарапанные ножом, стертые ветром и дождем слова эпитафии. На сухом холмике — пучок порыжевших сосновых ветвей...

«Здравствуй, Коля... Прости меня».

«За что?»

«За то, что живой. За то, что ухожу домой, а ты остаешься здесь... Навсегда».

«Могло быть наоборот».

«Могло. Но случилось так, как случилось. Если бы я

вспомнил раньше, что ты будешь возвращаться из Аукс-Тура...»

«Не мучай себя угрызениями совести».

«В неоплатном я долгу перед тобой. Пепел Клааса стучится в мое сердце. Пока живу...»

«Не надо клятв. Ты просто помни. Нам, мертвым, немного надо — чтобы нас не забывали. В памяти живых наша вторая жизнь».

Сосны шумят то сильнее, то тише, будто напевают какую-то мелодию.

— Лежит наш комиссар, — голос Фернана отрывистый, гортанный, как орлиный клекот. — Ничего не знает.

— Неправда, — говорю я. — Он знает все. Мертвые становятся частицей нас самих и идут с нами дальше.

— Мы поставим здесь обелиск. Чтобы место это было видно отовсюду! Если у него есть сын, он захочет побывать на отцовской могиле. Обещай, что приведешь его сюда. Слышишь? Непременно.

Фернан откручивает пробку с обшитой потертой фланелькой солдатской фляжки.

Мы глотаем по очереди жгучую жидкость, взгляды прикованы к черной, в коричневых прожилках, каменной глыбе.

Эхо дробит звуки прощальных выстрелов в скалах, рокочуще перекатывается в ущельях и угасает в лесу.

Мы спускаемся вниз, идем по крутым отвалам с террасы на террасу к Совиному урочищу. Я оглядываюсь назад. Уже не видно ни каменной глыбы, ни стройной сосны над нею, а я все оглядываюсь.

— Смотри под ноги, — бормочет Фернан. — Здесь катиться далеко.

Славный парень этот Фернан, стыдно вспомнить, что было время, когда мы с Егором не доверяли ему.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

1

Стучал с сухим шелестом по стеклам снег, в трубах завывал ветер, под его порывами мелко подрагивала в сенях щеколда. В хате было тепло и тихо, не верилось, что на улице лютый холод и, наверное, понаметало сугробы, все стоит белое — хаты, деревья, заборы, а скирды соломы надели пушистые шапки.

Уже сквозь сон Надежде почудилось, что в окно постучали. Прислушалась: может, ветер швырнул в окно охапку снега? Нет, все-таки стучат.

— Антон!..

То ли подумала об этом, то ли вскрикнула вслух. Вскочила с кровати, простоволосая, в одной рубашке, неверными от волнения руками нащупывала двери — в горницу, в сени.

Из черно-серого мрака шагнул через порог весь в снегу мужчина, слишком высокий, чтобы быть Антоном. Он что-то сказал, но ветер заглушил слова, сыпанул в сени облако жесткой ледяной крупы.

— Кто это?

Мужчина закрыл двери и совсем растворился в темноте.

— Не узнаешь?

— Андрей...

За краткий миг, когда она, ойкнув, припала к заснеженному полушубку, Цыганков успел поцеловать ее, губы ткнулись куда-то в подбородок, горячий, не остывший после постели, и нашел в себе силы отстранить Надежду.

— Простудишься...

— Откуда ты взялся?

Все время, пока Цыганков стряхивал снег в сенях, а она, на ощупь натянув на себя одежду, искала спички, чтобы зажечь лампу, и никак не могла их найти, хотя лежали они, как всегда, на припечке, все время счастливо повторяла:

— Откуда ты взялся?

— Говори уж до конца, — подхватил Цыганков, улыбаясь. — Взялся на мою голову.

Цыганков ехал с твердым намерением сказать Надежде, что так больше не может продолжаться, в конце концов, они давно не дети и если была необходимость проверить себя и свои чувства, то времени прошло уже предостаточно, он не мыслит жизни без нее, а вот что тут делается с ней...

Надежда чиркала спичку за спичкой, они ломались, а руки дрожали. Не было мысли о том, что скажет он и что ответит она. Главное — он оказался здесь, не забыл ее. Приехал неожиданно, нежданно. Впрочем, неожиданно — это правда, а сказать, чтобы совсем не ждала — зачем кривить душой: целый год прошел, как вернулась из Карачаевки, ждала его, не признаваясь в том даже себе,

потому-то и не написала ни одного письма Цыганкову, хотя было расставание на Бугрыни, теперь уже далекое, когда ее, да и его тоже, будто подхватила и понесла весенняя круговерть.

Свет ослепил их.

— Ну, здравствуй, — произнесла Надежда, ступая непослушными ногами навстречу Цыганкову.

— Здравствуй, Надя. — Цыганков потер знакомым жестом горбинку на носу и широко улыбнулся.— А ты смелая. Двери открываешь, не спрашивая, кто за ними.

— Со сна показалось, что Антон,— призналась она.— Бегает, бывало, допоздна, а затем трогает окошко... Тихонько. Словно кошка лапой.

— Не подает голоса?

Заметил, как Надежда будто увяла на глазах, и смутился сам, понимая, что нечаянно коснулся живой раны.

— Попались мне как-то в газете стихи, — сказал Цыганков, упрекая себя мысленно за неосторожность. — Давно... Последние строчки врезались в память: «Как я выжил, будем знать только мы с тобой — просто ты умела ждать, как никто другой...» Не про тебя ли написаны?

Надежда грустно покачала головой.

— Нет... Так о жене пишут, о любимых... О материнском ожидании еще не сложили стихов.

Помолчали, пристально вглядываясь друг в друга, отыскивая следы перемен, происшедших за месяцы разлуки.

— Что же ты не написала? — выдохнул упрек Цыганков.

— Не смогла... А ты?

— Не знал куда. Казнился... Хотел бросить все и ехать к тебе, но Самохин, ты же знаешь, железный. Обозвал дезертиром... Спасибо Антонине, подбросила твой адрес.

— Подбросила? Ох, Тонька!

— Ты не рада?

Так они говорили, и каждое слово, каждый жест и взгляд были исполнены значения. Разговаривая, Надежда доставала из печи чугунок, протирала тарелки. Цыганков плескался у рукомойника, однако что-то уже изменилось: между ними, как не раз уже случалось прежде, возник третий, и этот третий слушал их беседу, сам невидимый и бессловесный, однако сковывал обоих своим тихим присутствием.

Цыганков хлебнул несколько ложек пахучего, настоянного в заустье борща, похвалил его, варево и в самом деле было вкусным. Надежда покраснела — какая хозяйка не радуется, когда хвалят приготовленную ею снедь. Сидела напротив, подперев обеими руками подбородок, счастливая оттого, что Андрей Иванович так аппетитно ест, расспрашивала о Карачаевке, рассказывала о себе, жадно вглядывалась в обветренное мужественное лицо Цыганкова, и чем больше вглядывалась, тем большая нежность охватывала ее. К нежности примешивался страх, однако был он, этот страх, каким-то удивительным, будто не она сама, а кто-то другой переживал за нее, предостерегал, а Надежда умоляла простить за счастье, которое переполняло ее и от которого она так долго и упорно убегала.

— Седеешь, Андрей.

— По всем законам природы.

Отложил ложку, потянулся за папиросой. Надежда поднесла ему огня и, когда Цыганков прикурил, повернула горящую спичку перед собой как свечу.

— Потуши.

— Я?

Цыганков дунул, наблюдая, как угасают огоньки в карих глазах Надежды, будто подул не на спичку, а на те огоньки, что вспыхнули в ее зрачках, засмеялся.

— Гадаешь?

— Примета.

— И о чем же она говорит?

— Не скажу... Померз в дороге?

— Наоборот, взопрел. Пешком шпарил со станции. Ни машины, ни подводы. А ждать до утра невмоготу.

Надежда словно ребенок всплеснула в ладони.

— В пургу! — Она даже поежилась от страха. — А заблудился бы?

— Я же к тебе шел...

Цыганков уже совсем было отважился начать разговор, ради которого и забрался в такую даль, чтобы раз и навсегда положить конец неясности в их отношениях, но Надежда, будто поняв его намерение, вскочила, тряхнула волосами, повязанными наспех синей ленточкой.

— Ой, что же это я? У тебя глаза сами закрываются! Наговоримся завтра. Пешком... Столько километров!.. Постелю тебе на печи, к утру отогреешься.

Цыганков порывался сказать, что не хочет спать, что глаза — это так, просто сомлел в тепле после четырех ча-

сов стужи, после миски горячего борща, но что-то в голосе Надежды было, а может, казалось, неестественным, и он подумал, что радости ее хватило ненадолго. Она лишь делает вид, что рада его приезду, иначе почему бы не написать ему хоть строчку? Конечно, рассуждал он, глядя, как она суетится, втаскивая на печь матрац и подушку, не выгонять же хозяйке гостя ночью в метель! Если ждала, то подошла бы и приветила по-родному, а не так — нечаянно прильнула. Минутный порыв, как и тогда, в Бугрыни, только там на прощанье, а здесь при встрече, и ничего особенного в том нет.

Радостное настроение, которым жил Андрей Цыганков с тех пор, как увидел у себя в правлении на столе конверт с адресом Надежды, растворилось в тревожном сомнении, почти уверенности, что чувства ее к нему — выдумка охотного к фантазиям одиночества. Старался не смотреть, как стелет Надежда ему постель, взобравшись на стульчик, иначе не достать обмазанного желтой глиной ложа печи, а глаза украдкой ловили каждое ее движение. Она почему-то замолчала, и это молчание было для него невыносимым. Мелькнула мысль, что Надежда просто боится его, потому и оборвала разговор, поспешив скорее отослать гостя в закуток печи, подальше от себя.

— Где у тебя вода? — спросил Цыганков, чтобы хоть как-то нарушить тягостную тишину.

— В сенях. Если не замерзла. . .

Ледяная вода остудила грудь, стало легче дышать и думать. Цыганков постоял немного во тьме, прислушался к гулу ветра во дворе и почти спокойный вернулся в горницу.

Надежда уже стояла в проеме двери в спальню, собственно, никакой двери не было, а был узенький, двоим не разойтись, проход, без притолоки.

— Напился?

— Наелся, напился, лег спать и укрылся, — сказал, усмехаясь, Цыганков. — Так говорил отец в бытность мою маленьким босяком.

— Маленьким? — переспросила Надежда так удивленно и искренне, будто и в самом деле не верила, что этот нынешний здоровяк когда-то был ребенком. — Ну, спи, маленький, скоро рассвет. . .

В стекла сыпал и сыпал снег, его шелест был похож на неразличимый шепот, в котором можно было уловить какие угодно слова, в зависимости от настроения, доста-

точно лишь прислушаться — потянутся беспрерывной цепочкой одно за другим, иногда призрачные и несуразные.

Надежде хотелось заснуть, но сон не приходил. «Сказал бы — люблю, но разве ты поверишь седому, подтоптанному?.. Я много думал... И судьбы наши схожи...» Как это было давно! Не ответила тогда и одним словом не обмолвилась. Желанным было его признание, но слишком внезапным, породившим испуг. А потом полетели день за днем, и никто из них не отважился переступить запретную черту. Разве что на перроне, в последнюю минуту, когда она вдруг поняла: можно так и потерять Андрея навсегда... Но вот он снова рядом, и опять между ними черта, кто-то таинственно неясный... Не Антон ли из своей неизвестности?

И страшно Надежде. «Не суди меня, сынок, строго. Ведь я слабое существо, пребывающее в вечном трепете из-за своего одиночества, я всего лишь женщина, которой — чего там скрывать! — хочется обыкновенного человеческого счастья».

Надежда слышала, как переворачивается с боку на бок за стеной Цыганков. Вот он тихо, чтобы не разбудить ее, слез с печи, порылся в карманах, разыскивая папиросы. Горький запах табачного дыма дошел и до нее, щекотал ноздри, а снег за окном продолжал нашептывать неясные слова.

Босиком, неслышно Надежда подошла к дверному проему, не позвала, а скорее вздохнула:

— Андрей...

Если бы он не подбежал и не поддержал ее, она наверняка упала бы, так неожиданно обмякли ноги.

— Ты чего ревешь? — растерялся Цыганков. — Я чем-то обидел? Не надо было приезжать?

— Само плачется... Я слишком долго тебя мучила. И себя тоже... Помнишь, ты спросил на станции: сколько нам лет? Я, дурочка, ответила: семнадцать... А сейчас мне и в самом деле будто семнадцать. Девчонка я, глупая совсем... не знаю, что со мной происходит...

— Ты и есть девчонка, для меня конечно. Не плачь, пожалуйста, — все еще растерянно говорил он. — И люблю я тебя еще больше за то, что ты... Словом, все понимаю. Я так много хотел тебе сказать, чего только не передумал в дороге, а порог переступил — мысли смешались. Боюсь я тебя снова, робею.

Надежда притихла, прижавшись к его груди, будто искала защиты от того, что творилось сейчас в ней са-

мой, от давно забытого женского счастья, которому она так долго противилась. Цыганков подхватил ее, была она легкая и гибкая, словно и в самом деле девчонка.

И уже не было между ними третьего, он отступил в ослепительно яркую темноту...

Сивачевские петухи известили о приходе нового дня, молочный свет цедился в зашторенные изморозью окна. Все еще буйствовал приазовский ветер, кружила поземка. День пришел и ушел, удивительно короткий, и снова настала ночь, принеся наконец-то тишину, неправдоподобно звонкую, когда слышны чьи-то шаги в конце улицы и с деревьев и крыш падают в сугробы лишние комья снега.

— Ну, почему, почему? — в который раз в отчаянье допытывался Цыганков. — До сих пор я тебя понимал, два года жил надеждой... Слышишь? — Он вымученно улыбнулся. — На-деж-дой... Выходит, тобою жил. А теперь, когда мы вместе, когда ты — моя жена, разве не так? — ты снова откладываешь.

— Еще там, в Карачаевке, я хотела от тебя сына, — тихо говорила она. — Не решилась. Я ужасная трусиха... Ты мне снился неотступно, были минуты, когда впадала в отчаяние. И всякий раз меня что-то сдерживало. Не сердись, может, я сама тебя позову, непременно позову, только подожди... Я рада, что ты приехал, я счастлива, поверь, но дай мне еще раз разобраться в себе, потерпи, прошу тебя, Андрей...

Цыганков курил папиросу за папиросой, подставив лицо потоку струившегося из открытой форточки холодного воздуха.

— Разобраться, — глухо говорил он. — Что же тебе еще неясно?

— Что неясно? — удивлялась теперь Надежда. — Я самой себе неясна, во мне что-то неясно... Не готова я... Ну, ладно... Отойди от окна, простудишься.

— Спасибо за заботу, — жадно глотал дым Цыганков. — Ты ничего не пожалела для меня. А мне все мало, я, видите ли, захотел большего, думал: навсегда это у нас.

Она вздохнула:

— Ты не понял, Андрей, а я не знаю, как объяснить. Да и можно ли объяснить, если я сама... сама... Ну, что же ты там стоишь?

В полумраке под тонкой полотняной рубашкой призрачно белели ее плечи. Беспредельную, колдовскую власть имела над ним эта женщина.

2

В начале декабря 1944 года на Западном фронте установилось затишье. Немецко-фашистские войска занимали оборону по линии Зигфрида, а союзники разрабатывали планы, как ее преодолеть.

Убежденные, что немцы сейчас озабочены состоянием укрепрайона, который они в свое время сильно ослабили, перебрасывая на побережье все, что можно было снять с прежних рубежей, американцы вели себя в Арденнах довольно беспечно. В пивных и кафе не закрывались двери, заокеанские солдаты завидовали англичанам и расхваливали Монтгомери за зимние отпуска для фронтовиков, офицеры разыгрывали в карты право попасть в число счастливчиков, для кого уготованы праздничные казино на рождество в Париже.

По горным долинам от Вервье до Спа и до Ставло и дальше на север и запад брели освобожденные из фашистского рабства бельгийцы и французы. Никто не знал, что в их среде десятки вражеских агентов.

Союзникам было известно о передвижении двух танковых армий за линией фронта, однако ждали они их севернее от Ахена, памятуя, что Гитлер поклялся отбить этот город любой ценой. Фашистский глава тем временем вынашивал планы несравненно большей операции, чем захват небольшого, пусть даже и важного в стратегическом отношении города. Потеряв надежду сдержать победную поступь советских войск на Востоке, он лелеял надежду проучить самоуверенных американцев и при удаче навязать им сепаратные переговоры с далеко идущими целями.

Воспользовавшись туманом, помешавшим союзникам вести воздушную разведку, генерал-фельдмаршал Рунштедт скрытно перебросил 5-ю и 6-ю танковые армии СС на юг, в предгорья Арденн.

На рассвете шестнадцатого декабря гитлеровские войска прорвали оборону американцев на участке корпуса генерала Миддльтона. Танковые колонны хлынули в прорыв по горным дорогам на Вервье, Маршен и Бастонь, намереваясь выйти к Льежу, Намюру, а затем к

Антверпену и таким образом отрезать английские войска в северной Бельгии и Голландии.

Сброшенные в тыл парашютисты захватывали мосты и важные населенные пункты, переодетые в американскую форму эсэсовцы известного головореза подполковника Отто Скорцени охотились на штабы и отдельных офицеров, сея в горах панику.

Удар был неожиданный и весьма болезненный для союзников. 19 декабря танкистам Рунштедта оставалось до Льежа каких-то сорок километров. Там их ожидали огромные склады горючего, оттуда открывался прямой путь на Антверпен.

Головные силы 5-й танковой армии стремительно продвигались к берегам Мааса. В районе Намюра они встретили сильный отпор и, не принимая боя, повернули на Динан и Живе, откуда уже было рукой подать до французской границы.

Немецкий клин рассек 1-ю американскую армию пополам. 8-я пехотная и 7-я танковая дивизии в Сен-Вите, 101-я парашютная и 10-я танковая дивизии в Бастоне попали в окружение и заняли круговую оборону.

Прошло несколько дней, прежде чем 9-я армия генерала Симпсона развернулась южнее Льежа, а 3-я армия Паттона начала наступление навстречу ей на север, имея на острие отдельный корпус генерала Коллинза. В район Динана из Англии на транспортных самолетах срочно прибыла 6-я парашютная дивизия с заданием не допустить переправы немцев на левый берег Мааса.

Чтобы перекрыть врагу путь на Льеж с юга, американцы возводили укрепления в долине Урт-Амблев. Дороги заваливали гранитными глыбами и бревнами, в скалах оборудовали пулеметные гнезда, устанавливали скорострельные пушки Бофорса, подвозили тягачами на выбранные позиции гаубицы.

3

Майора Легранна отозвали в штаб корпуса еще перед немецким наступлением. Командование гарнизоном в Комбле-о-Поне возглавлял полковник Блек, сухощавый техасец с двенадцатизарядным кольтом за поясом. Этот кольт он носил почему-то без кобуры и потому напоминал ковбоя.

Антон Щербак, работавший в это время в комитете Фронта независимости, пришел в американский штаб с

просьбой выделить в системе обороны города участок для русских партизан.

— Мы могли бы и отсидеться эти дни, — объяснял он причину своего появления здесь. — Кому хочется нарываться на опасность, когда вот-вот домой. Однако обстановка тревожная, а мы — солдаты. Дайте нам оружие и отведите участок фронта.

— Не имею права, — сказал Блек. — А, собственно, что вы хотите защищать? Эту сотню вшивых строений? На черта он мне самому сдался, этот Комбле-о-Пон! Получу приказ и — дальше... как велит генерал. — Он небрежно кивнул на радиопередатчик.

— А если прикажет защищать? Позади Льеж!

Блек стряхнул щелчком столбик пепла с сигареты, окорячил низенький столик у стены.

— Если мы все же станем защищать эту проклятую дыру в горах, возможно, я вас использую... Держитесь в пределах видимости.

Сославшись на неотложные дела, Антон откланялся. Однако не успел он пройти и сотни шагов, как его вернули назад. Полковник Блек мрачно взирал на радиопередатчик.

— Получили приказ?

Толстый капитан в золотых очках, который служил им за переводчика, опередил шефа:

— Полковник интересуется, не укажете ли вы поблизости подходящее место, где можно посадить без риска самолет? Самолет связи «Л-5», совсем крохотный, можно сказать беби, но все же — самолет.

Щербак сказал, что он никогда не видел «Л-5», но знает посадочную площадку в горах неподалеку от замка Лануа.

— А дорога туда есть? — оживился полковник.

— Только до замка. А там... Если потребуется, пришлю вам проводника.

Проводником поехал Савдунин.

В тот же день в Комбле-о-Пон прибыл генерал. Самолет благополучно приземлился у подножья известняковой куэсты на площадке, которую когда-то расчистили партизаны Щербака, пребывая «на службе» у капитана Гро.

Генерал был плотный старичок в подбитой оленьим мехом шинели, шумливый и не по годам юркий. До наступления темноты он объехал окрестные укрепления, остался недовольным, приказал вывести противотанко-

вую батарею на южную окраину Комбле-о-Тура, вдоль дорог заложить взрывчатку, чтобы в случае необходимости устроить завалы, и вообще наделал немало переполоху, после чего полковник Блек понял, что ему придется-таки защищать «эту проклятую дыру в горах».

...Савдунин расхваливал американского летчика:

— Ох, и посадил же, черт этакий! Высший класс! Помнишь пропасть за кустарником? В двух шагах притерся к полосе! Я даже глаза зажмурил... Мы с ним потом перекинулись словцом. Парень ничего, все понял.

— Так уж и все? — удивился Щербак.

— На пальцах объяснялись.

— А-а, тогда другое дело, на пальцах ты горазд... Генерал-то, видать, не из последних, — заметил Щербак уважительно. — Дело знает... И вообще, Андрей, пахнет жареным.

Они шли на улицу Сен-Мари к Франсуазе, где поселился выписавшийся из госпиталя Довбыш.

Егор уже отбросил костыли, если говорить точнее, то не отбросил, а разбил в щепки и сжег их во дворе, причем проделал это с наслаждением при свидетелях, будто исполнял какой-то священный ритуал: ходил вокруг костра, припадая на одну ногу, да все шутил, что не помешало бы укоротить и другую, чтобы навсегда избавиться от хромоты.

Изморозь лежала, как пушистый мох, туман скрадывал контуры домов, острия заборов и телеграфные столбы выплывали из мрака внезапно, в горах слышался неясный грохот — где-то проходила танковая колонна.

— Пахнет, говоришь, жареным? — сказал Савдунин. — Мда, ни конца войне, ни края.

— Полковник Гордон уверял, что война закончится до Нового года. И ошибся. Судьба войны, Андрей, решается там, на Востоке. Гитлер будет метаться, пока его не загонит в конуру Советская Армия. И мы теперь очутились, как говорят футболисты, в офсайде. Горько. Звонил Балигану... — Антон споткнулся о примерзшую жестянку, в сердцах подцепил ее ногой и, следя, как покатилась она со звоном, оставляя на белой брусчатке след, закончил: — Потерпите, говорит, пока прибудет советская миссия... Терпение кончилось. Завтра пойду к Блеку, пусть дает оружие...

Оружие Блек не дал.

— Посмотрим, как будут разворачиваться события, —

неопределенно промычал он.— Пока еще мы второй — ба! — даже третий эшелон, возможно, до нас не дойдет очередь вступать в бой.

События на фронте развивались тем временем стремительно.

22 декабря 3-я американская армия генерала Паттона нанесла контрудар по арденнскому клину с юга и в результате упорных пятидневных боев достигла Бастони, соединившись с окруженными там дивизиями.

23 декабря горизонт наконец-то прояснился, туман осел, выпал инеем на деревья и травянистый сухостой на горных плато. Арденны содрогнулись от рева сотен самолетов. Союзники бросили в небо авиацию, как спасательный круг, надеясь ухватиться за него и овладеть инициативой. Истребители и штурмовики беспрерывно носились вдоль долин и горных магистралей, заставляя врага прятаться в лесах.

В ночь на первое января 1945 года, чтобы помешать союзникам сосредоточить войска в Арденнах, гитлеровцы начали вспомогательное наступление в Эльзасе, в лесистых Вогезах. За три дня они продвинулись на тридцать километров, впервые за всю кампанию активизировалась немецкая авиация, восемьсот самолетов на широком фронте от Голландии до Саара ударили по аэродромам и складам союзников. «Юнкерсы» пикировали на Брюссель среди белого дня, «мессершмитты» обстреливали улицы городов и сел, гонялись за машинами на дорогах. На Англию с новой силой обрушились самолеты-снаряды «ФАУ-1» и ракеты «ФАУ-2».

Шестого января премьер-министр Великобритании Черчилль обратился к Сталину с просьбой ускорить начало наступления на Восточном фронте. Верная своим союзническим обязательствам Советская Армия перешла в наступление от Балтийского моря до Карпат значительно раньше намеченного срока.

Гитлер вынужден был спешно перебрасывать войска на восток. Уже к 20 января десять эсэсовских дивизий покинули Арденны. Вслед за ними отступила и 5-я танковая армия. В горах остались так называемые гренадеры и штурмовики — рекруты последней сверхтотальной мобилизации. Фашистское командование сознательно и безжалостно приносило их в жертву, а чтобы они не разбегались или не вздумали сдаваться в плен, эсэсов-

ским заслонам было приказано «поддерживать дух гренадеров».

Выпал снег, ударили необычно сильные для Арденн морозы. Дороги стали труднопроходимыми. Тысячи трупов, сотни орудий и танков без горючего остались в горах под снегом.

В конце января немцы, ослабленные уходом на Восточный фронт лучших, боеспособных дивизий, откатились на линию Зигфрида. Операция, на которую гитлеровское командование и сам фюрер возлагали большие надежды, закончилась провалом.

Начальник разведки 21-й группы армий фельдмаршала Монтгомери, бригадный генерал Вильямс, на пресс-конференции в Брюсселе сказал журналистам:

— Немецкий танковый кулак, занесенный над американскими войсками, отвели русские.

17 января 1945 года Черчилль писал Сталину в Москву:

«От имени Правительства его Величества и от всей души я хочу выразить Вам нашу благодарность и поздравления по случаю того гигантского наступления, которое Вы начали на Восточном фронте. . .»

Свое восхищение героизмом советских воинов выразил в послании к Сталину и президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт.

Мир салютовал Советской Армии, отдавая должное ее подвигу.

До окончательной победы над фашизмом оставалось меньше четырех месяцев. Однако об этом тогда никто еще не знал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

1

Как сошел в ростепель первый снег еще под Новый год, так больше его и не видели. Земля лежала блекло-черной, обнаженной, словно обиженная за сиротливое обхождение с нею, стылая от пронизывающего ветра из Приазовья.

Не раз выезжал Архип Бескоровайный взглянуть на озимые, выкапывал стебельки всходов вместе с промерз-

шей землей, отогревал в хате в тревожном ожидании: проснутся ли от сна хилые побеги?

Надежда водила женщин в поле вязать снопы для снегозадержания — из хвороста, нарезанного в лесополосе, из стеблей подсолнуха. Оришка хукала на пальцы, ворчала:

— Снегом и не пахнет.

— Ничего, — говорила Надежда, складывая в вязанку шуршащие прутья. — Работой дело поправим.

— Дураков работа любит... А я на гулянку прибежала? Эх ты, женорг!

С недавних пор в хате Оришки поселилась радость. Вернулась из Германии дочка Настя. Худая как щепка, остриженная после тифа. От бывшей Насти остались только брови, сросшиеся на переносье в одну линию, да руки — длинные, ко всему приученные сызмальства.

— Смеется, — жаловалась Оришка. — Что ни скажу — в смех, что ни увидит — улыбка на лице. А мне в голос реветь хочется... Что-то сделали изверги с моей доченькой. Рехнулась, что ли?

— Это у нее от счастья, что к дому прибилась, — успокаивала Надежда. — Натерпелась на чужбине, погасили там ее улыбку.

— Им бы такого счастья! — смотрела на запад Оришка. — Ихних бы дочерей в рабыни, чтоб сердце сохло.

Надежда шла полем, прикрывшись от ветра вязанкой хвороста. В памяти всплыл разговор Отто Вейса с Цыганковым:

«Думать надо и о будущем Германии».

«Как-как ты сказал? Думать о будущем Германии? Значит, сами кровью захлебываемся, а думать должны о будущем Германии?»

«Неужели ты не понимаешь, что мы сильны верой в завтрашний день».

— Забрали бы их девчат в неволю, — сказала Надежда Оришке, — и были бы мы тоже вроде них, одним словом — фашистами. Страшно подумать... А мы же совсем другие!

Оришка в сердцах бросила вязанку на землю.

— Нет им, антихристам, прощенья и никогда не будет! Слышишь? Не прощу им этого страшного смеха моей дочери...

...Снег таки выпал, не зря женщины старались. Но хотя все вокруг побелело и зима наконец-то взяла свое, чувствовалось приближение весны. Ветры сдались, а снег

шел мягкий, пушистый, и там, вверху, откуда он падал, воздух был уже наполнен озоном, предвестником будущих гроз...

Бескоровайный пластом лежал у себя дома у окна, дышал с трудом, хрипло, лицо багрово-синее, мешки под глазами набрякли, оставив узкие щелочки. Однако в глазах не было видно ни отчаянья, ни унынья, светились они лукаво, порой весело.

— А, пришла! — сказал Архип. — Не наступи на ежика. Спал, спал, соня, потом пробудился, забегал, хлещет молочко, бесенок... Весну небось чует... Такая информация.

Горпина чистила картошку; бросив нож на стол, вытерла руки влажным фартуком.

— Проходи. Хоть бы ты вразумила моего дурня. Не хочет в больницу — и все тут!

— Не ругайся, жена, — сказал Бескоровайный. — Ну что мне больница? Садись, Егоровна. Новое сердце не вставят. Да и не отдал бы я старое — привыкли мы друг к другу... Старенькое, а свое. Сто раз отлеживался, отлежусь и сто первый. Снежок на славу... Я помирать не собираюсь, — строго, как заклинание, произнес он. — Меня и палкой не прогонишь с этого света. Доживу до победы, там посмотрим. Да и колхоз не на кого оставить. Разве что Климку Гаевому? Как ты думаешь, Егоровна, потянет?.. Эх, жаль, не погуляю на его свадьбе... Когда они там затевают?

— Сегодня.

— Видишь, сегодня. А я лежу... Скажи и за меня словечко, от доброго сердца. Оно хоть и больное, а живет...

На Ульянину свадьбу Надежда оделась в лучшее платье, туфельки — под мышку: без валенок по снегу не побежишь. Принесла пару сизых голубей и выпустила прямо в Климовой хате. Голуби уселись на печи, зыркая на гостей крохотными, с чечевицу, глазенками.

— Дарю вам, молодые, пример на любовь, на верность, — сказала Надежда. — Вон тот, с хохолком, это ты, Клим, а причесанная, смирненькая...

Договорить ей не дали.

— Это кто смирненькая? Наша Улька?

Невеста залилась краской и, может, сказала бы острое словцо, но гармонист рванул мехи:

Сказал голубь голубице:
«Здравствуй, милая девица!
Мы под солнцем и луной
Будем мужем и женой».

Надежда вволю натанцевалась и одна, и в паре. Когда пошли вдвоем с Климом, гости расступились. Надежда плыла лебедем, выстукивала каблучками, то плечом поведет, то взмахнет косынкой, голова откинута назад, словно оттянута узлом черных волос, на лице румянец и едва заметная улыбка. Плыла Надежда, и все вокруг нее тоже плыло, как когда-то в молодости на лугу под Гуляйполем. Была она тогда невестой Корнея. Буденновцы просили: «Повесели душу, Наденька».

А почему было и не повеселить, когда сердце у самой поет, а под дубом сидит Корней, не сводит с нее глаз. И это было счастье: тихий вечер у костра, от которого тянуло горьким дымком, макушки деревьев, что будто кружились в небе вместе с ней, хриплые вздохи видавшей виды гармошки, провожания до села напрямик через лесок, горячие поцелуи, пожалуй, даже зависть, с какою молодые буденновцы посматривали на Корнея, — все было счастьем.

И теперь в ней воскрешалось то далекое и невозвратное. Цыганков не пришел на ум, вспомнился Корней, может, потому, что юность неповторима и все, что случается потом, каким бы оно ни было значительным и даже решающим в человеческой судьбе, не в силах вытеснить из памяти первые, самые светлые, самые святые впечатления и чувства, захватывающие душу так надолго и так крепко, что не хватает жизни, чтобы их забыть.

А в сенях, уткнувшись матери в плечо, тихо плакала Катя:

— Зачем, ну зачем она отдала голубей? Это же Антоновы. . .

2

Улица де Фанс, где советская миссия занимала трехэтажный дом, окруженный черными липами и кустами жасмина, оказалась необычно тихой для столицы, по ней не ходил даже местный транспорт.

Как заколдованный смотрел Антон Щербак на красное знамя над входом, на часового, круглолицего и веснушчатого, так удивительно похожего на Петра Куликова, что можно было подумать, будто это сам Куликов переоделся наконец-то в красноармейскую форму: серая шинель и пушистая ушанка с красной пятиконечной звездочкой... Щербак почувствовал гулкие удары сердца, взглянув на эту скромную одежду незнакомого парня, быть может земляка.

И все, что произошло дальше, было как во сне. Будто не он, Антон, а кто-то иной поднимался по ступенькам на второй этаж, четко чеканя шаг, заходил в комнату с высокими, обитыми черной кожей, дверями.

— Товарищ полковник! Лейтенант Щербак прибыл в ваше распоряжение для дальнейшего прохождения службы!

Плотно сложенный мужчина в полковничьих погонах поднял голову от бумаг, встал и привычным жестом подкинул руку к козырьку.

Какой-то миг они стояли, приглядываясь друг к другу: Антону казалось, что его сердце громыхает на всю комнату. Будто в зеркале увидел он себя глазами полковника — серая кепка из гентского фетра, макинтош с плеча Пьера (подарок Франсуазы), старательно зашнурованные туфли — и покраснел, стыдясь своего уж слишком гражданского вида, никак не подходящего, на его взгляд, для такой торжественной минуты, которую столько раз он рисовал в своем воображении.

— Вольно! — У полковника был густой бас и строгий взгляд. — Так вот ты какой, комендант Щербак! Ну, здравствуй, здравствуй! Давай-ка по нашему, по русскому обычаю... Ого, брат, да твой мотор дает перебои! Ты почему так побледнел?

Щербак неуверенным шагом подошел к столу, плеснул из графина воды в стакан, зубы его стучали. Ему все еще не верилось, что перед ним человек оттуда, с Родины, которая днем представлялась ему, Антону, зеленой сивачевской улицей, бежавшей в бесконечную даль, за горизонт, пока не вливалась, как речка в море, в широкую, окаймленную кремлевскими башнями Красную площадь, а по ночам снилась матерью с поднятой для благословения натруженной рукой.

— Товарищ полковник... как там... у нас... дома?

Если чего-то и не хватало в Антоновых словах, то во взгляде, каким он посмотрел на полковника Свиридова,

во влажных цыгановатых глазах, в их глубине было сказанное и несказанное, все, что он пережил и передумал.

Полковник понял состояние Щербака, участливо положил руку на его плечо и повел к дивану.

— Раздевайся, посидим, у меня есть немного времени, — сказал он. — Дома все хорошо. Мы, как видишь, уже в Европе. София, Белград, Варшава, Будапешт... А был другой отсчет: Москва, Сталинград, Курск...

— И маленький городок Изюм, — глухо добавил Антон. — И донецкая степь, откуда дорога может увести в Арденны... По крайней мере, меня она привела туда.

— Все было, — согласился полковник. — И дорог выпало много. Всяких... И все же мы вышли на главную дорогу — к победе.

Похлебывая из чашечки кофе, Антон понемногу разговорился и постепенно выложил всю свою историю.

Свиридов слушал внимательно, не перебивал, и лишь когда разговор зашел о сложной политической обстановке в Бельгии во время оккупации, еще больше усложнившейся теперь, после прихода союзников, заметил:

— Располагаю сведениями, что шахтеров, вывезенных немцами из Донбасса, под разными предлогами не отпускают домой.

— Меня тоже отговаривали,— подтвердил Щербак.— Сибирью пугали.

— Кто?

— Капитан американской армии Ройс. Приезжал с правительственным комиссаром Хаасеном в Комбле-о-Пон. Позднее я узнал, что служит в Си-Ай-Си.

— Ройс. Что ж, не лишне запомнить это имя, — нахмурился Свиридов. — Надеюсь, ты не поверил его болтовне? ..

— Как видите: я здесь, с вами.

— Хочешь со мною работать, лейтенант?

— С вами? .. — удивился Антон.— Но...

— Знаю, рвешься домой. А кто не хочет? Мне очень нужны люди, разбирающиеся в здешней обстановке. Не скрываю, ты для меня просто находка.

Щербак растерялся.

— А как же мои ребята? Они меня ждут не дождутся.

— Ребят всех по домам! — сказал Свиридов. — Раньше тебя там окажутся.

— Товарищ полковник, вы коммунист?

— Что за вопрос?

— Мой партбилет... остался там, в донецкой степи... Когда лежал я контуженный в окружении, старшина Чижов закопал его, чтобы немцам не достался. А теперь... Как теперь-то быть, товарищ полковник? — Антон с надеждой посмотрел на Свиридова. — Восстановят меня в партии? Поверят?

— Оставь эту заботу на будущее, — сказал Свиридов. — Главное, Антон Корнеевич, — жить и действовать, как коммунисту положено. А билет будет. Хотя и сам переживал бы. И еще как!

От Свиридова Щербак вышел лишь вечером. Трамвай привез его в Схарбек, один из старейших железнодорожный районов бельгийской столицы, где неподалеку от Северного вокзала снимал комнату Рошар.

Антон взбежал на шестой этаж, едва дождался, пока Дезаре откроет двери.

— Друже мой... Я счастлив!.. Ты только послушай!..

3

Человеческая жизнь не проходит бесследно, она стремится пустить корни везде, где только существует благодатная почва. Здесь мы беспощадно сражались с ненавистным врагом, здесь похоронили партизанского поэта Василька — нашего любимца Пти-Базиля, моего юного адъютанта Ваню Шульгу, бойцов Довбыша, которые погибли в последнем для нас бою. Сюда мы вступили как победители.

Прощай, Комбле-о-Пон! Ты обозначен не на всех картах, но наиважнейшая карта — наша память, на ней совсем другие измерения — живые. Там все помечено — улицы и тропинки, старинный замок Лануа и сосновые леса, болота партизанской базы Либерте и даже маленький, всегда влажный грот в скалах под Пульсойером, где я прятал оружие, возвращаясь на подпольную квартиру.

Так я думал, не в силах преодолеть волнение. Довбыш душил меня своими ручищами и приглашал после войны в Днепропетровск.

— А как же Одесса, Егор?

— Одессу не трогай, Одесса вот здесь у меня. — Довбыш бил себя кулаком в грудь. — И рада бы душа в рай, да нога не пускает.

— А ты, Иван Семенович, не приглашаешь на Ал-

тай? — спросил я Мишустина, который топтался рядом, стараясь вставить словечко.

— Почему же, буду рад... такое дело... На дичь... И мсье Жюстен соглашается.

Я засмеялся:

— Жюстен, вы собираетесь опробовать свою двустволку на Алтае?

— Ничего смешного! — Жюстен шумно втянул воздух орлиным носом, выпрямился. — Весной пахнет... Не вечно мне быть бургомистром! Уйду на пенсию и ударюсь в путешествия. И вообще, разве мы не основали братство?

— Знаешь, кого я сейчас хотел бы повидать? — сказал Ксешинский. — На Лысой горе мы с Франсуа были как кошка с собакой, а потом... Удивительным образом иногда складывается дружба. Он приглашал к себе в Брюгге, да забоялся я: поеду, а вы в это время...

— Прощай, Збышек, — сказал я. — Доведется ли еще встретиться?

Ксешинский часто заморгал единственным глазом, будто влетела в него соринка.

— Понадоблюсь — зови, приползу и на коленях, — произнес он тихо как клятву.

Я понимал: эти слова — порыв души в минуту расставания, и он тоже это понимал. Неизвестно еще, как рассудит неверная судьба и где мы вскоре окажемся. Но оба мы чувствовали готовность в трудный час броситься на помощь друг другу. А это главное...

В Пульсойере меня встретило ослепительное мартовское солнце.

Эжени повисла на шее и укололась о звездочки на погонах.

— Ой, что это?

— Разрешите, мадам, представиться, — я галантно поклонился и щелкнул каблуками новых сапог. — Лейтенант Советской Армии Антон Щербак к вашим услугам!

— Какой ты красивый! — восторженно прошептала она. — Таким я тебя еще никогда не видела.

— Форма украшает мужчину. Ох эти женщины! Влюбляются не в офицера, а в его мундир.

Она приложила палец к губам:

— Не кричи, разбудишь детей. Еле успокоила.

— Прости, не знал, что они здесь. Можно взглянуть?

— Сначала разденься, товарищ офицер.

Эжени счастливо засмеялась и, взяв меня за руку, повела на цыпочках в детскую комнату. Мальчишки сопели в кроватке, разрумянившиеся, черноволосые, чмокали во сне пухлыми губами.

— Ого! — сказал я шепотом. — Скоро коней будут седлать. Кто здесь кто?

— Это Шарль, а вон тот Антуан. Крикливый...

— Намек на мои недостатки?

— Нет, на достоинства... Командир должен обладать зычным голосом. Между прочим, пора бы тебе и самому...

— Женя, я научусь различать их, дай только время, — взмолился я.

— Научишься? — Она вздохнула. — Надолго приехал?

— Да, родная, на целый день. И он весь впереди.

— Вот видишь — на день. Всего лишь на день.

Мы все так же на цыпочках вышли из спальни.

— И куда завтра?

— В Брюссель. Я теперь там работаю. Понимаешь, зачислили в штат советской военной миссии.

Она вдруг побледнела:

— Это конец.

— Что конец? Какой конец, Женя? О чем ты?

Эжени избегала моего взгляда.

— Я знала, что так будет. Рано или поздно это должно было случиться. — Она горько улыбнулась. — Человеку не дается счастье навсегда. Попользовался — передай другому. Иначе на всех не хватит.

— Да что с тобой, Женя? Я спешил поделиться радостью, а ты... Плохой сон приснился?

— Нет, сон был до сих пор, да я принимала его за действительность,— прерывающимся шепотом сказала она.— Впрочем, неправда, я понимала, что это сон, но боялась разрушить его. Он был слишком хороший.

— Родная моя, разве что-нибудь изменилось? Скажи мне — что?

Я целовал мою маленькую Эжени, а она плакала.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

1

После колхозного собрания расходились неохотно. Мужчины толпились у крыльца правления, обсуждая последние известия с фронта. Известия были приятные, советские войска готовились к штурму Берлина, никто не сомневался в падении фашистской столицы, прикидывали, сколько на это понадобится дней. В центре внимания были, естественно, недавние фронтовики.

— Разбогатели Сивачи на мужика, — сказала Кылына. — А то было куда ни глянь — баба, будто свет перевернулся.

Оттого, что конец войны не за горами — подумать только: наши у Берлина!— а завтра Первомайский праздник, и дела колхозные пошли на поправку, яровые посеяли, как раз перед дождями, да и озимые выдержали холода, Архип Бескоровайный не мог сегодня на собрании нахвалиться и для женщин не поскупился на доброе слово, назвав их фронтовичками, — на сердце было хорошо.

— Чего это твоя Катя избегает меня?

— А когда же ей? Около «хатэзэ» днюет и ночует. Обвели меня вдвоем вокруг пальца. Не женское это дело — трактор.

— Почему же не женское, Кыля? Нет такого дела, чтобы бабе не по силам. Себя вспомни. Откуда тебя Федор привез в Сивачи? Разве не ты ходила вместе с буденновцами в атаку? Сама рубила беляков! Это ли женское дело!

— Время было иное, — вздохнула Кылына. — Буря по земле катилась и меня подхватила.

Они шли домой скользкой после дождя улицей, минуя цветущие на подворьях сады. Кылына знала, почему дочка перестала наведываться к тетке Наде, молодым только кажется, что они умеют хранить тайны, может, и умеют, но не от матери. И плакала Катя не о голубях, которых Надежда подарила на счастье молодоженам Гаевым, на свадьбе вдруг подумалось ей, что хранит она верность человеку, которого, очень даже возможно, давно нет в живых, а тут еще голуби, единственное, что осталось от Антона, и свадьба, где все словно забыли, что вокруг столько горя, и прежде всего Надежда, возбужденная и красивая в танце, сама выглядела невестой,

тоже забыв о своем сыне... Все, выходит, забыли... Обиделась на Надежду Катя.

— Кыля, дай руку.

— Зачем тебе моя рука? Гадать темно, да и гадалка из тебя неважная.

— Положи сюда. Слышишь?

— Надька, что за шутки?

— Какие шутки? Слышишь?

— Слышу-то, слышу, но... Не рехнулась ли ты? Как же это случилось?

— Как случилось... — повторила Надежда. — Не спеши причитать и плохого не думай. По доброй воле случилось... Люблю я его.

— Кого же?

— Ты не знаешь. Помнишь первую пургу? Приезжал он тогда... Пойдем, подруженька, в хату, исповедуюсь в своих грехах. Может, что присоветуешь, потому как одолевают меня сомнения, ох и мучаюсь!..

Кылына слушала об Андрее Цыганкове, о сомнениях Надежды в Карачаевке, как расставались на станции и как уже здесь, дома, когда недоставало сил, ходила она на Корнееву могилу, слушала звон железных роз, желая таким способом остановить позднюю любовь. А Цыганков не выдержал ее молчания, сам приехал — и вот...

— Я не жалею, Кыля, нет, я рада. Андрей такой... не знаю, как тебе и сказать. Его нельзя не любить.

У Кылыны по-девичьи заблестели глаза.

— Ох, Надька! Боюсь я за тебя! А потом что — рассорились? Ты здесь, он там...

— Не ссорились мы. Приспеет время — сама позову, так и ему сказала. Совесть гложет. От сына ни звука, а я в любовь ударилась... Имею ли право на счастье?

— Вот дура! Безбатченко в подоле?.. Лучше будет? И слава по селу о нашем женорге. Ты этого хочешь? — Кылына раскраснелась, руки в боки. — За гриву не удержалась, то нечего хвататься за хвост. А ну-ка садись, пиши при мне.

— Кыля!

— Не кылькай, пиши. Не думала, что ты такая скрытная. От кого таилась? От меня?

Накричавшись, Кылына притихла. Положив голову на мозолистые ладони, слушала, как скрипит перо. Надька... Кто бы мог подумать? Не зря говорят: в тихом омуте черти водятся. Любовь! Сладкое самозабвение... Вспомнилось, как в бою под Барвенковом закрыла собой

Федора от выстрела беляка. Не думала о себе, только бы спасти его, любимого... К счастью, конь встал на дыбы и принял пулю на себя. Непостижимая это штука — любовь! Красивая и сильная. Ох, Надька! И тебя она скрутила.

— Написала? Давай сюда. Да не стану я читать, не бойся. Отнесу твои вздохи на почту.

— Сама отнесу утром.

— Ну да! Опущу — и душа моя успокоится. А теперь ложись спать и совесть эту свою под подушку. Дай червячку в душе волю — все яблоко продырявит.

2

Почти два месяца мотался Антон Щербак по Бельгии. Чем дальше продвигались союзные войска на территорию Германии, тем больше прибывало оттуда освобожденных из фашистского рабства «остарбайтеров» и военнопленных. Союзники отправляли их на запад — в Голландию, Бельгию, Северную Францию. Приходилось следить, чтобы никого не пропустили в списках по репатриации, выискивать одежду и питание, читать тысячи заявлений...

Случилось так, что, когда Антон вырвался наконец в Комбле-о-Пон, Довбыша и его товарищей там уже не оказалось, они отбыли в Остенде, а оттуда морем на Родину.

В Брюссель, на рю де Фанс, Щербак вернулся расстроенным.

— Юрий Лукич, неужели не могли предупредить меня? Я же обещал парням... Скажут: забыл командир, обрадовался, что надел погоны.

Свиридов только что прилетел из Парижа от генерала Драгуна, который возглавлял там советскую военную миссию.

— Меня же не было, — устало ответил полковник. — А Ивакин не в курсе, да и торопился. Твоим ребятам повезло: в Остенде зашел наш пароход.

— Так-то оно так...

— А коли так, то перетакивать не будем... — Свиридов похлопал Антона по плечу. — Завидуешь, лейтенант? А что я говорил?

Зазвонил телефон. Полковник взял трубку.

— Немедленно заявите от моего имени протест! — крикнул он. — Вы слышите? Что хотите, то и делайте,

хоть на рельсы ложитесь, а эшелон задержите до моего прибытия. Все!

Свиридов бросил трубку.

— Обедал?

— Не успел. А что случилось?

— Потом. Тут напротив бакалейка, возьми что-нибудь погрызть в дороге.

...Остроглазый сержант с цепкими шоферскими руками, видимо, хорошо знал маршрут. «Виллис» обогнул Нижний город, проскочил несколько виадуков слева от Южного вокзала, чугунный мост через канал Шарлеруа и взял курс на запад от столицы. По этому шоссе вдоль железной дороги Щербак сегодня утром возвращался из Ангена и теперь терялся в догадках, что могло произойти в тихом провинциальном городке за последние несколько часов. Но Анген, а затем и Ат проехали, не останавливаясь.

— Куда мы, Юрий Лукич, все же едем?

В ответ полковник разразился бранью...

Щербак с трудом разобрал, что торопятся они в Турне, точнее, на пограничную станцию за этим городом, откуда позвонил капитан Ивакин. Там стоит готовый к отправке в Гавр эшелон с советскими военнопленными, прибывший вчера из Германии.

— Четыреста человек в Канаду! Союзная администрация уверяет, что едут добровольно.

— Не верю! — твердо сказал Щербак. — Чтобы наши люди по собственной воле на чужбину? Провокация!

— Вот я и хочу разобраться, кто там баламутит воду, — уже успокоившись, пробормотал полковник.

Поезд стоял перед открытым семафором. Толпа людей окружила капитана Ивакина, который выполнил приказ полковника в буквальном смысле: лег на рельсы перед паровозом, уцепившись обеими руками за костыль.

— Довольно с ним валандаться! — орал какой-то бородач. — В морду — и айда!

Его оттолкнули.

— Ну-ну, размахался клешнями... А вдруг человек дело говорит?

Свиридов выскочил из машины на щебенку, стройный, солидный, в полковничьей папахе, надвинутой до самых бровей. Козырнул.

— Здравствуйте, товарищи! Начальник советской во-

енной миссии полковник Свиридов... В чем дело? Что тут происходит? Капитан Ивакин, объясните!

Ивакин поднялся, серый, как помятая шинель, и стал нервно обтряхивать полы. От таможни, пустовавшей уже пятый год, быстрым шагом подошел американский майор с франтоватыми усиками на моложавом лице.

— Наконец-то! — воскликнул он, приветливо улыбаясь. — Как хорошо, что вы приехали, господин полковник! Ваш офицер явно превысил свои права, я не хотел вмешиваться, но...

— С кем имею честь?

— Майор Ройс из службы ШЭЙФ[1] по репатриации!

— Поздравляю вас с повышением в звании, — вмешался Щербак.

— О, и вы здесь! — в глазах Ройса сверкнули злые огоньки. — А вас, выходит, разжаловали? Насколько я помню, в Комбле-о-Поне у вас был более высокий чин!

— После этого многое изменилось. Вы, майор, тогда делали вид, будто не знаете русского языка.

— Я вижу, вы старые знакомые, — сдерживая улыбку, сказал Свиридов. — Но перейдем к главному. Так в чем дело? Кто хочет сказать?

— Разрешите все-таки мне. — Ройс галантно склонил голову. — Эти люди пожелали уехать в Канаду. Добровольно. Они вам об этом сейчас скажут. А ваш офицер связи...

— Минуточку. Товарищи, это правда? А почему не домой? Вас ждут матери, жены, дети, родная земля, Родина, а вы в Канаду? Не понимаю...

— А что здесь непонятно? — выкрикнул кто-то от вагона. — Мы в Сибирь не желаем! Живой думает о жизни.

Свиридов бросил взгляд на Щербака.

— А кто вам сказал, что вас пошлют в Сибирь? Даю слово, что это неправда. Наш закон преследует только изменников. Я не знаю ни одного случая, когда солдата отправили в суд только за то, что он попал в плен. Перед вами лейтенант Щербак. Он тоже был в плену, а сейчас, как видите, офицер советской военной миссии.

Щербак сделал шаг вперед.

— Товарищи, я действительно был в плену, прошел через концлагеря. Сбежал, партизанил в Арденнах. Я был не один — Егор Довбыш, Андрей Савдунин, Иван Мишустин — почти шестьдесят человек. Недавно все они

[1] ШЭЙФ — Верховный штаб англо-американских войск в Европе.

отправились на Родину, а я остался служить... Меня тоже пугали, еще прошлой осенью. Господин Ройс говорил: отсюда вам одна дорога — в Сибирь! Разве не так, господин майор?

Ройс отвел взгляд. Но молчать он, видимо, тоже не собирался.

— Говорил, ну и что? Ходили такие слухи, я решил проинформировать вас. Искренне.

— Вот-вот, искренне. А теперь давайте выясним, кто пустил этот слух среди вас.

— Не хотите ли вы сказать, что это сделал я? — взорвался Ройс. — Господин полковник, я протестую! Это оскорбительно!

Свиридов жестом руки остановил американца:

— Разберемся. Вы не против, товарищи, чтобы еще раз подумать? На миру, всем вместе.

Он почувствовал на себе взволнованные взгляды. В них не было вражды, наоборот — была надежда, что он и в самом деле разберется в их беде и возвратит веру в будущее, которую не мудрено было и потерять за годы рабства в фашистском плену.

Толпа заколыхалась, негодуя, и вытолкнула вперед бородатого мужчину в засаленном плаще, того самого, что накинулся с угрозами на капитана Ивакина.

— Говори, Семенов.

— Что говорить? Кому нужно, я все сказал. — Бородач рванул воротник сорочки, обнажая волосатую, в синих прожилках шею. — Не верите — пропадайте на Колыме, а с меня довольно! Я уже побывал там однажды! Руку покалечили, гады! Чуть жизни не лишили!

«Где я его видел? Эти прямоугольные плечи, круглые, маслянистые глаза, — лихорадочно напрягая память, думал тем временем Щербак. — Семенов... Семенов... В моей роте был Семенов, дружил с Забаштанским, но тот был худой и выше ростом».

— Вы в каком концлагере были? — спросил Щербак.

«И все-таки где-то я видел его... Может... тогда он ходил без бороды?»

— Спросите лучше, где я не был. — Семенов сплюнул сквозь зубы. — Бросала меня судьба из огня да в полымя.

И тут Щербак вспомнил.

— Сохатый! — крикнул он.

Бородач вздрогнул.

— Никакой ты не Семенов! Ты — Сохатый! Житомир помнишь?

— Какой Житомир? При чем тут Житомир? Я не позволю...

— Не позволишь?.. Товарищ полковник! Товарищи! — Антона била лихорадка. — Кому вы поверили? В сорок втором в житомирском пересыльном лагере этот провокатор подбил меня и еще троих пленных на побег, а затем выдал охране! Мы чудом спаслись от расстрела! А рука уже тогда была на подвеске. Но ты же говорил нам, что ранен на фронте...

— Неправда! Я не знаю никакого Житомира и тебя впервой вижу! Братцы, придумал этот лейтенант все! Он из ентих... из энкавэдэшников, верьте мне!

— Ах ты, сволочь! Да у тебя и борода в крови!

— Сколько заплатили долларами? Признавайся!

— Бей продажную шкуру!

— Господин майор! Что же это такое? Вы же обещали...

Голос Сохатого потонул в реве негодующих людей.

— Тихо! — крикнул Свиридов. — Прекратите, товарищи! Предателя будет судить наш советский суд. Господин майор, от имени моего правительства я требую немедленной выдачи военного преступника Сохатого в руки правосудия!

Свиридов круто обернулся к американцу, однако Ройса уже не было. Никто не заметил, как он исчез за зданием таможни.

Полковник понимающе кивнул головой и приказал Ивакину выстроить людей. Связанный Сохатый катался по земле и грязно матерился.

— Эй ты, заткни глотку! Ты меня знаешь?

Сохатый притих.

— Наслушались мы тебя до рвоты! — Невероятно худой мужчина со скуластым, будто вытесанным из грубого камня, лицом рубанул себя по жилистому горлу ладонью и неожиданно рухнул перед Свиридовым на колени. — Простите, товарищ полковник, виноваты мы...

— Встаньте! Отвыкайте от раболепия! — сурово сказал Свиридов. — Вы же солдат! Может, еще придется и с винтовкой в руках...

— Перед немцами я на колени не становился, а перед вами... Стыдно в глаза посмотреть. Поймите!

На лицах людей в толпе полковник увидел слезы.

— Ну вот и побратались! — тихо сказал он дрогнувшим голосом. — Сколько пережито народом! И на фронте, и здесь... А что, Антон Корнеевич, хорошее дело мы

сегодня успели сделать. Сотни четыре соотечественников избавили от нового для них рабства.

Военнопленных выстроили вдоль насыпи. Капитан Ивакин деловито прохаживался перед ними, делая перекличку.

— Ради такой минуты стоило жизнь прожить,— взволнованно произнес Щербак.

3

Мама, ты не отвечаешь на мои письма. Где они? Затерялись? Плывут морями, едут почтовыми вагонами или, может, не нашли адресата, потому что тебя нет в Сивачах?

Я подхожу к карте, измеряю на глазок расстояние от Брюсселя до Сивачей, которые не обозначены даже крохотной точечкой. А я обозначил, для себя. Достаточно взглянуть в то место — и вот они, удивительно близкие, не верится, сколько тысяч километров, вспаханных солдатскими лопатами, вместилось на этом бумажном пространстве.

Ты молчишь, а мне сейчас так трудно.

Неделю назад я ездил к Эжени в Пульсойер. Мне нравилось появляться у нее именно так, без предупреждения, хотя Эжени и уверяла, что нет такого дня, когда она не поджидала бы меня.

Приехал и, как говорят в таких случаях, поцеловал замок...

— Мсье Щербак?

Передо мной стояла незнакомая женщина.

— Не удивляйтесь, вы меня не знаете. Я живу напротив. Эжени оставила для вас письмо.

Я растерянно смотрел на конверт.

— Письмо? Что за письмо? А где она... она сама?

— Не знаю, мсье. Возможно, у деда. Дня три, как уехала...

Не помню, как я очутился в Серене.

— Мог бы и на день раньше заскочить, — с обидой проворчал Дезаре. — Я ждал тебя вчера до последней минуты. Эх, Антуан! Художники народ честолюбивый.

Только теперь я вспомнил, что обещал приехать на открытие выставки портретной галереи Рошара «Пепел Клааса...»

— Прости, — сказал я. — Замотался.

На самом же деле я забыл. В последнее время полковник Свиридов не давал передохнуть, работы было по

горло. И все же вчера я мог бы приехать в Серен, если бы не повлекло к Эжени.

Мы прошли в библиотеку. В ней за эти годы ничего не изменилось — точно так же беспорядочно заставлены книгами полки во всю стену, на письменном столе литографии, возле стола два кожаных кресла... Мольберт Дезаре поспешно задвинул в темный угол, чтобы освободить для меня проход.

— Нехорошо прятать работу от друзей, — заметил я.

Дезаре сделал вид, что не расслышал.

— А знаешь, посетители толпились около твоего портрета. Что-то удалось мне там поймать такое... такое... — он щелкнул пальцами.

— Мой друг Андрей Савдунин уверяет, что пальцами можно сказать больше, чем словами.

— А что! Твой друг прав. Он не художник? — Дезаре порылся на полке, бросил на стол тяжелый фолиант. — Грегуар Клей, «Эмоция жеста». Капитальный труд! Жест — это динамика, а без нее рисунок мертв. Если хочешь знать, то в твоем лице...

Дезаре развивал мысль о гармонии движения, всегда изменчивой, а потому почти неуловимой, а я смотрел на подрамник — сквозь полотно смутно просвечивались контуры женской головы.

— Сюзи? — спросил я.

И снова он уклонился от ответа.

— Филипп подал гениальную идею. А впрочем, эта идея, кажется, принадлежит Николь. За аренду павильона с меня запросили такую цену, что через три дня я вылетел бы в трубу. А хозяева кинотеатров — наперебой. Им реклама, мне фойе... Совсем бесплатно... Есть хочешь?..

Есть? .. За целый день я не держал и крошки во рту, но голода не испытывал. Я даже не знал, зачем приехал в Серен к Дезаре, потому что о выставке забыл, а в Брюсселе мы виделись часто.

Прочитав письмо Эжени, я усаживался на мотоцикл в каком-то отупении, возможно, колеса сами покатились в Серен? Наверное, в трудную минуту мы инстинктивно тянемся к близким, тем близким, которые еще не утрачены.

«Не ищи меня, если не хочешь сделать больно. Я много думала. Это неправда, что женщина живет только чувством. Иногда мы бросаемся на зов сердца воистину как в водоворот, и тогда нас ничто не удержит даже от глупостей. Пусть судит тот, кто имеет на это право. Но кто же? ..»

— Я напишу ее портрет. Непременно!
— Чей?
Дезаре удивленно посмотрел на меня:
— Сюзи.
— Извини, я задремал.

«...Но приходит время, когда здравый рассудок берет свое. Я женщина, но я мать, и у меня два сына, которых ты просил не отдавать в солдаты. Не знаю, кем они станут, но ходить им по родной земле. Точно так же как и тебе. Может, на этой земле еще не все ладно, как хотелось бы нам с тобой, однако это не причина, чтобы отрекаться от нее. Верю: мои сыновья когда-нибудь станут под знамя, которое я вышивала для тебя. Разве ты этого не хочешь? ..»

— Ты в самом деле скис. Пошли, я тебя немного накормлю и уложу.

Ах, дружище, ничего ты не понимаешь! Я не сплю, я кричу, а ты почему-то не слышишь моего крика, ты слишком занят своей выставкой, влюблен в неоконченный портрет Сюзи. Гибель Сюзи — твоя рана, которую не в силах залечить даже время, но я не знаю, чтó легче — похоронить любовь или отказаться от нее.

«...Ты сам меня учил: потеряв чувство долга, человек теряет все. Возможно, я была плохой ученицей, но это усвоила. Я не только пишу, а уже вижу, как ты читаешь мое письмо, и без конца повторяю: так надо. Твержу тебе, а еще больше самой себе. О, если бы можно было заглянуть в будущее! Если бы можно было. Но этого человеку не дано...».

— Люн хлопочет, чтобы меня отпустили из Брюсселя, — задумчиво говорит Дезаре. — Он хочет, чтобы я возглавил коммунистов «Шато де Серен». Там я работал до войны, компания приглашает меня на прежнее место... Ты будешь в конце концов есть? Все остыло.

Я что-то нацеплял на вилку, заталкивал в рот, не ощущая вкуса, перед глазами стояло крохотное окошко, черная точка на белом фоне, и чей-то голос нашептывал, что это и есть окно в будущее, достаточно прислониться к нему — все станет известно и не надо мучиться.

А Дезаре, отвернувшись тем временем от реального окна, из которого лились лучи майского солнца, продолжал говорить:

— Наступило время некоего благодушия, будто мы достигли всего, чего хотели. На самом же деле, кроме то-

го, что прогнали бошей, ничего не изменилось. И здесь мой старикан тысячу раз прав! Даже администрация осталась та же самая, что служила гитлеровцам и еще будет служить кому угодно. Закончились бои на фронте, надо готовиться к классовым боям... — Стукнув кулаком о колено, Дезаре задорно взглянул на меня голубыми глазами. — Давай нашу! А потом — на выставку. Потешь авторское самолюбие, смилостивься! — И, не ожидая согласия, затянул густым баритоном: — «Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы счастия ключи...»

Мне хотелось рассказать об Эжени, человеку в горе необходимы если не помощь, то хотя бы сочувствие. Кто знает, как бы все обернулось, если бы я заговорил. Возможно, мой «БМВ» помчал бы нас не в Льеж, на площадь Вер, а на ферму Жан-Батиста Рошара и все сложилось бы иначе? Может быть. Однако момент был упущен...

4

Бывают минуты, когда человек едва не сходит с ума от радости, от счастья, все иное забывается, все отступает, как мелочное, пустячное, хотя на самом деле оно и не мелочное, и не пустячное, потому что из мелочей в конце концов складывается жизнь, и потом все займет свои надлежащие места, в твоих делах и помыслах, в твоей судьбе. Однако в тот неповторимый миг его нет, оно растворяется в бесшабашном буйстве всего живого, что только есть в тебе, в экстазе чувств, которых не выразить словами.

Победа...

Какой дорогой ценой оплачена эта минута! Как долго шли мы к ней! Сердца наши в шрамах...

Накануне радио сообщило: подписано соглашение о капитуляции немецко-фашистских войск. На улицах Брюсселя творилось невероятное — люди смеялись, плакали, женщины без стесненья целовали мужчин. Стихийно возникали митинги, над городом катилось эхо выстрелов, стреляли из автоматов и орудий, из офицерских пистолетов и охотничьих ружей, стреляли из всего, что только могло стрелять, а из окон, с балконов обильным дождем сыпались ранние майские цветы.

Этот вихрь завертел и нас, сотрудников советской военной миссии на тихой рю де Фанс, которая сразу же стала бурной, словно река в весеннее половодье; толпы жителей столицы заполнили улицу на целый день.

Но мы не понимали, почему молчит Москва. Неужели капитуляция односторонняя, только на Западе, а на Востоке все еще идет война? Может, это тот самый сепаратный мир, что снился немецким генералам?

И вот наконец-то сообщение из Москвы! Фашизм стал на колени перед Советской Армией, перед советскими людьми, обреченными на гибель четыре года тому назад.

Я не знаю, как все происходило там, в Карлхорсте.

Перед глазами встают надменные гитлеровские генералы. Они идут, склонив головы, к столу, уже не надменные, подавленные, но злые от стыда и унижения, гневно зыркая на меня исподлобья, и я, Антон Щербак, волею моего народа наделенный безграничными полномочиями, презрительно говорю: «Вот здесь, бывшие господа нибелунги, ставьте свои закорючки. Ставьте для истории! Чтобы увидел весь мир! Чтобы было неповадно другим».

Из приемника гремела музыка, в распахнутое окно было видно, как сияет в небе солнце, трепетно-веселое, а само небо было прозрачно-синее, без единого облачка; музыка казалась оглушительной тишиной, потому что ее мажорные ритмы звучали в унисон с тем, что творилось в душе («И станет тихо на земле, а небо будет синее. . .» Кто это? Василек? Наш юный, незабываемый Пти-Базиль. . .).

Мы кричали до хрипоты, не слыша друг друга.

И еще до того как на столе полковника Свиридова, затисканного и зацелованного, откуда-то появились бутылки вина и в потолок полетели пробки, мы были пьяны от счастья.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

1

В субботу, едва Надежда пришла с поля, почтальон принес телеграмму: «Самохин уступил. Передаю дела. Буду Сивачах через неделю. Целую. Андрей».

Побежала к Кылыне похвастаться:

— Читай!

— Зачем мне бумага, когда все на лице пропечатано, — заулыбалась Кылына. Телеграмму все же пробежала глазами, смакуя каждое слово. — Вот и слава богу, пришел конец твоему одиночеству. — Вздохнула: — Федор мой в Дрездене. Далеко забрался. Катя показывала на карте. Ой как далеко!

— Конечно, не близко. Была там Оришкина Настенька. Город, говорит, огромный, старинный. И где только наши люди не побывали! По всей Европе!

— Что верно, то верно, — Кылына вздохнула снова. — Разбросала война. Насмотрятся мужички, чего и не снилось. И все-таки дома лучше, родную хату Европами не заменишь. Ты это... не поднимай тяжелого, слышишь? Видала, как с мешком к мельнице топала. Лошадь не могла у Клима попросить?

Надежда покраснела.

— Брыкается?

— Такой забияка! Гвозди забивает...

...На рассвете Надежде приснились голуби. Много голубей. Кружили они над крышей тучей, хлопали крыльями, роняя на землю сизые перья, и все никак не отваживались сесть.

Было воскресенье, женщины высыпали на огороды.

Кылына пришла помочь Надежде. Про сон сказала:

— Забудь. Иногда такое представится, что прости господи.

— Ох, возьмусь я за тебя, Кыля! Что ни слово, то «господи».

Кылына засмеялась.

— Федор говорил: «Повешу на язык пломбу». Но я же без умысла! Бабская привычка. А икон у меня сроду в хате не водилось.

Огороды тянулись вверх по склону балки зелеными прямоугольниками. За ними в зарослях дерезы прятались глинища, а еще дальше, по гребню Отрадовского холма, пролегла дорога; самой дороги не разглядеть издали, она лишь угадывалась между двумя рядами молодых кленов.

— Архип сбежал из больницы. Вылез через окно. Я, говорит, свое соцобязательство выполнил, до победы дожил, а теперь и вообще умирать раздумал.

— Кремень, — сказала Надежда. — Не на китах земля держится, а на таких людях, как Архип.

— Отдохнем, подруженька, спина ноет. — Кылына выпрямилась, опершись на тяпку. — Гляди-ка! Еще один солдатик домой поспешает! Чей же это?

Надежда приложила ладонь козырьком ко лбу, всматриваясь в далекую фигурку за кучерявыми кленами, вздохнула:

— В чью-то хату радость.

— Тетя-я На-дя!

По тропинке бежала девушка. Босые ноги мелькали, будто колесные спицы, вся она светилась майским солнцем, может, потому, что было на ней кремовое платье и оранжевая, подаренная Надеждой, косынка.

— Катька! — удивилась Кылына. — Видишь, а ты говорила...

— Тетя Надя! — еще издалека закричала, задыхаясь, Катя. — Родная моя, если бы вы знали, как я вас люблю! Ой, сердце выпрыгнет... Письмо! Я же помню его почерк! Не изменился нисколечко... Письмо от него, от Антона...

2

Свежее, словно омытое водами, солнце выплывало из Азовского моря, огромное — не обхватить, налитое вишневым соком; отсюда моря не было видно, но когда-то в детстве Антон был в Юзкуях, маленьком селе на берегу древнего Меотия, и видел, как огненный шар поднимается прямо из воды...

Рождался новый день. Начинался он солнцем, терпким запахом росы, настоянной на дикой мяте, на ромашках, что нашли приют в лесополосе, сбочь которой до самого горизонта зеленело пшеничное поле.

На разбитой колеями дороге стоял мотоцикл. Чубатый паренек в сбитом набок картузе нажимал со злостью на педаль и тихонько поругивался от досады.

— Не заводится?

— Ага.

— Садись-ка за руль, а я толкну его с горки. Вот так... Сбрось газ! П-порядок! Может, и меня прихватишь?

Дорога была в заскорузлых выбоинах, мотоцикл отчаянно дребезжал, угрожая рассыпаться на части.

— Как зовут тебя? — спросил Антон.

— Иван. У нас все Иваны: я Иван, отец Иван, дед тоже, — парнишка бросил искоса взгляд на грудь Антона. — У моего отца три ордена Славы. Кавалер!

— Герой твой отец, — сказал Антон. — А ты, значит, оседлал немецкую технику?

— Была немецкой, стала ничьей, — рассудительно произнес Иван. — Отец сам его... из кусков... За оврагом их страх сколько наколошматили. А вы домой?

— Домой, Ваня, домой...

Мотоцикл выскочил на Отрадовскую горку. Собственно, горки как таковой не было, поднимался обыч-

ный холм, отделявший Антонову улицу от заболоченной по весне пади, однако так уж повелось издавна называть этот холм горкой, потому что иной возвышенности в Сивачах не существовало.

— Стоп, Иван, дальше я на своих двоих, — сказал Антон, чувствуя, как его уже захлестнула волна нетерпения. — До войны у меня была стайка голубей, приезжай, подарю на развод, если сбереглось что-нибудь.

Так говорил Антон, а ногам уже передалось нетерпение, глаза разбежались в ненасытном желании вобрать в себя все вокруг.

Внизу, на склонах балки, лежала улица, на которой прошло его детство, стояла его хата. . .

Взгляд прояснился. Хата прижималась к кривобоким акациям какая-то осиротевшая, неузнаваемая. Он не сразу понял, что не хватает вишневого сада — отцовской гордости, впрочем, вишни были, только почему-то маленькие, хилые, на тонких ножках, как дети после тяжелой болезни.

Все это промелькнуло перед глазами и тут же развеялось, потому что в это мгновение Антон увидел мать.

Она стояла на огороде с тяпкой в руке и — он мог поклясться — смотрела на него. А около нее — конечно же тетка Кылына. Кто еще может подпирать вот так щеку указательным пальцем. Поблескивая на солнце смуглыми икрами, к ним спешила девушка.

И вмиг мысли унесли его в далекий Пульсойер. «О, если бы можно было заглянуть в будущее! Если бы можно было. Но этого человеку не дано».

Посреди улицы покачивал длинной шеей колодезный журавль. Оттуда доносился ломкий, почти детский голосок:

Гыля, гыля, гусоньки,
Свет-воды испить.
А ко мне мой миленький
Перестал ходить.

Гыля, гыля, гусоньки,
Нам пора домой.
Над водой тропиночка
Заросла травой...

Несказанно родным повеяло на Антона от этой песни, не раз слышанной в вечерних сумерках давным-давно, наверное сто лет назад, когда он был еще юным и безусым и не имел понятия, что такое война, а о любви лишь слышал от старших.

Тогда эта песня не хватала его за душу, слова пролетали мимо, за ними не виделась тропинка ни из дома, ни к дому. Ничего еще не было тогда. Разве что начало чему-то диковинному, непонятному по имени жизнь.

Антон побежал напрямик.

Наверное, не было на свете силы, которая могла бы остановить его в ту минуту. Дереза — сладкие ягоды детства — цеплялась колючками за одежду, заматеревший курай трещал под ногами, как соль.

Тысячи километров, помноженных на тысячи жестоких дней, отделяли его от матери, от родного дома, но здесь в один миг слились и время, и пространство.

Хотелось закричать: «Мама! Это я, Антон, твой сын! Я вернулся!» Но язык словно онемел, так бывает во сне — кричишь, а голоса нет.

Пьянящий воздух струился вокруг него невидимыми испарениями, вбирая в себя запахи ликующей земли. И эта земля, и высокое небо над нею, быть может, храня в памяти бесчисленное множество промчавшихся между ними ураганов, взывали к жизни.

Все позади: надежды и сомнения, горькие странствия вдали от отчего порога, не знающая пощады война. Нет ее, не-е-ет! Остались лишь следы: полузасыпанные окопы, рваные воронки — шрамы на теле земли...

ОНА лежала долго, слишком долго в ожидании своего часа. Днище проржавело, покрылось рыжей чешуей. В ее отверстиях поселились золотистые божьи коровки. Полевые мыши свили гнездо под металлическим бугорком в ковре зеленого дерна. Нежно-синие, как девичьи очи, колокольчики спрятали ее в своих зарослях...

Антону показалось, что под ногами внезапно расцвел подсолнух. Такой огромный, что не охватить его и распростертыми руками. Огненные лепестки развернулись веером, дохнули в лицо жаром.

Оглушительный взрыв расколол небо, голубая, вдруг помутневшая высь содрогнулась, качнулась, подернулась туманной дымкой и стремительно, набирая скорость, рухнула на землю...

3

Мама...

Пламя в степи

Повесть

ЛЕНИНСКОМУ КОМСОМОЛУ
ПОСВЯЩАЮ

Автор

1

Ночью прошел дождь, омыл околичную степь — ровную даль в морщинах неглубоких балок. Мокрые травы сверкали, переливаясь красками под майским солнцем. А оно выкатилось со стороны удаленного отсюда Азовского моря огромным багряным шаром, слегка мерцая по краям, будто дрожа от утренней прохлады.

Широким шляхом, что берет свое начало где-то под Мелитополем и бежит на юг в степную синь до Перекопа, шел мужчина в потрепанной шинели и разбитых кирзовых сапогах, с небольшой котомкой за плечами. Путник смахивал бы на солдата, который возвращается после долгой службы домой, если бы не гражданская фуражка, из-под которой уже густо серебрилась седина. Да и время для таких возвращений неподходящее — на земле шла война.

По дороге ползли немецкие фургоны, урчали на выбоинах, разбрызгивали грязь. На жестких прицепах покачивали короткими хоботами полевые пушки. Борты машин пестрели размытыми дождем надписями: «Nach Krim!»

Мужчина в шинели, сойдя на обочину, обозревал колонну усталым взглядом.

Последний фургон неожиданно затормозил, из кабины выглянуло угрюмое лицо унтер-офицера.

— Рус, ком гер! Ком сюда!

Лишь на мгновение в глазах путника мелькнула тревога, вскоре он уже стоял рядом с унтером. Тот потребовал документы, долго листал бумажки, читая вслух, до неузнаваемости коверкал украинские слова.

Документы, выписанные на Гната Петровича Бугрова, оказались в порядке. Немец, сверкнув стеклами очков, резко подбросил руки вверх.

— Хенде хох? Га-га! — удовлетворенно захохотал. — Добрый воля плен? Ты ест молодец!

Унтер подморгнул, хлопнул дверцей и, похоже, тут же забыл о пленном.

Какое-то время Бугров смотрел вслед машине, затем сердито сплюнул и порывисто бросил котомку за плечи.

Кое-где сбочь дороги зеленели посевы, но большей частью поля лежали запущенные, в молодом бурьяне проглядывали желтизной остатки прошлогоднего жнивья.

Два высоких кургана зажали между собой дорогу, образовав нечто похожее на седло. На вершине одного кургана возвышалась толстая, грубо вытесанная неведомыми предками каменная баба. Бугров остановился, с интересом разглядывая это творение человеческих рук.

Сколько тебе лет, баба? Наверняка много ты повидала на своем немереном веку. Помнишь свист скифских стрел, слышала звон кривых татарских сабель. А теперь ты исклевана осколками снарядов...

У самых ног каменной бабы проходила линия траншей, изгибаясь через вершины обоих курганов. Должно быть, прошлой осенью здесь гремели огненные схватки. Земля была густо усеяна позеленевшими гильзами, ржавыми обоймами. А вот расщепленный на куски приклад винтовки, видимо, ячейку бойца накрыла мина.

Гнат Петрович снял фуражку, чуть постоял в задумчивости и зашагал дальше.

Сразу же за курганами от шляха отделялась взрезанная колесами степная колея, сворачивала налево к балке, в которой виднелись черепичные крыши селения Черная Криница. Говорят, в далекие времена здесь бурлила речка, теперь же вдоль ее высохшего русла гнездились укрытые вишневыми садами хаты. Зеленые тополя высились вдоль улиц вперемежку с приземистыми нарядными акациями, ветер раскачивал их верхушки.

Балка ниспадала к широкой пади, село, разрастаясь, ползло во все стороны, словно радуясь, что вырвалось из тесной старицы на простор. На улицах тарахтели машины, заезжали во дворы, слышалась немецкая речь.

Бугров догадался, что это та самая колонна, которая обогнала его в степи, за курганами, и сбавил шаг — встречаться с любознательным унтером еще раз не хотелось. Однако улица здесь, на краю села, была единственной, а сворачивать куда-нибудь было уже поздно.

2

Грицко Калина так и рвался из хаты, чтобы самому глянуть, что это за люди — фашисты, но мать каждый раз слабым стоном удерживала его вблизи. Грицко вспомнил отцов наказ, и сердце его наполнилось необычной отвагой, такой неуемной храбростью, что он готов был сразиться с целым миром, лишь бы отец не упрекнул при встрече привычно знакомым: «Эх ты!»

Почувствовав, что проголодался, отрезал краюху хлеба, растер на корке дольку чеснока, густо посолил и, примостившись на лавке у окна, принялся жевать. Раздумывал: откуда они взялись, фашисты? И почему они разгуливают на свободе? Грицко был уверен: фашистов держали в клетке, а потом они сорвались с цепи, как в прошлом году волкодав у дядьки Прохора.

— Пить... — застонала мать.

Воды в хате не оказалось. Зазвенев ведром, Грицко выскочил за порог, радуясь возможности побывать на улице.

Низко над селом клубился дым. Где-то буйствовал пожар. В воздухе кружилась копоть. В другой раз Грицко оставил бы все и побежал взглянуть на огонь, но сейчас было не до этого.

Он выскочил за ворота и отшатнулся. Неподалеку от колодца посреди улицы выстроились в ряд пестро окрашенные грузовики. Все они были в каких-то пятнах, будто лягушки. Передняя машина почти уперлась в сруб, из радиатора прямо в воду свисал шланг. Казалось, некое чудовище уткнулось хоботом в колодец и пьет жадно, ненасытно. Пожилой немец в белой рубашке, с голубыми подтяжками размахивал руками, как гусак крыльями, о чем-то гоготал товарищу. На открытых дверцах кабины висел зеленый мундир с серебряными нашивками на рукавах.

Грицко прижался к воротам, с жгучим любопытством наблюдая за чужеземцами. До сих пор немцы редко останавливались в селе, так близко он видел их впервые. Вот они какие, проклятые фашисты! Это из-за них идет война, умирают люди, а отец ушел на восток, оставив больную маму и его.

Машины одна за другой, чихнув удушливой гарью, отъезжали. Грицко выждал, пока удалилась последняя, и, боязливо оглядываясь, кинулся к колодцу.

Высоко в небо поднялся журавль, на нижнем утолщенном его конце висела тяжелая железка. Чтобы опустить ведро в колодец, Грицку пришлось повиснуть на цепке. Он долго сопел, пока принудил гордого журавля склонить голову над срубом. И не заметил, как во двор к ним заехала крытая брезентом машина. Грицку наконец-то удалось зачерпнуть воды. Теперь он не мешал журавлю выпрямиться, даже понемногу сдерживал его непокорную силу.

Пятнистый фургон стоял в саду между вишнями, сломанная ветка покачивалась на полоске содранной коры. Около машины с трубкой в зубах стоял тот самый немец в голубых подтяжках. Грицко хотел было сказать, что ломать деревья нехорошо, но побоялся. «Ирод!» — произнес он мысленно слово, которое в устах матери означало наивысшую меру осуждения.

Он уже протянул руку к щеколде калитки, как вдруг двери распахнулись и из сеней шастнул невысокий солдат. От неожиданности Грицко упустил ведро, вода мягко заструилась, окатив сапоги немца. Солдат посмотрел на свои сапоги, ленивым движением ноги поддел ведро.

— Туда никс ходить! — визгливо крикнул он. — Не мошна, квартира офицер...

— Там моя мама, она больная, — пояснил Грицко, опуская руку на щеколду.

— Но, но! Матка — там. Пошоль!..

Солдат отбросил его руку со щеколды и подтолкнул в спину, показывая пальцем на сарай за садом.

Еще не веря тому, что произошло, Грицко схватил ведро с остатками воды и метнулся к распахнутой двери сарая. Он не плакал, не кричал — испуганной птицей забилась мысль об отце. И в один миг улетучилось из головы все нынешнее, что его окружало. Черная Криница, вишневый сад, такое родное синее небо — все ушло от него. И земля, по которой ступали его босые ноги, существовала сейчас лишь потому, что на ней стоял этот заброшенный сарай.

3

Мать не стонала, не двигалась, лежала вверх лицом на каком-то тряпье. Грицко припал к ней, и словно что-то оборвалось внутри — так безудержно полились слезы. Было в них все: и гнев, и жалость, и бессилье. Как молчаливый упрек стояло перед глазами прощанье с отцом.

«Эх ты!..— скажет он, когда вернется.— Не уберег... Зря я доверил тебе маму, сынок...»

Грицко терзался недетской мыслью о том, что несчастье произошло по его вине. Немец не выгнал бы мать из хаты, не посмел, если бы не отлучился он, не ушел за водой.

Но что это? Не слезами ли помог? Мать еле слышно вздохнула, дрогнули ресницы. Грицко обхватил ее за голову, прижался к щеке.

Вспомнил...

Взрывы гремели беспрерывно. Прошло уже больше часа, как красноармейцы отступили за околицу Черной Криницы, а враг все еще не решался войти в село, потому что две атаки на рассвете обошлись ему очень дорого. За Коровьим седлом — огромным двухгорбым курганом — тяжело вздыхали орудия. Над хатой стонало небо: невидимые человеческому глазу, неслись встречь друг другу в обе стороны снаряды. Иногда за огородами так грохотало, словно кто колотил кувалдой по железным корытам, слышался пронзительный свист и совсем неподалеку воздух разрывался в клочья: хрясь! Будто из маминого буфета упали разом штук десять тарелок и разлетелись вдребезги. Грицко знал: это стреляют немцы из минометов.

Отец тяжело шаркал сапогами по хате, молча курил папиросу за папиросой. На высокой деревянной кровати из-под простыни виднелось полотняно-белое лицо больной матери. Она шевелила спекшимися губами, что-то неразборчиво шептала. С каждым взрывом тревожно звенели стекла, раскачивалась подвешенная к потолку лампа.

Грицку хотелось посмотреть, что там происходит за селом. Не каждый день выпадает случай увидеть настоящий бой. Сидя на лавке, он потихоньку двигался поближе к двери. Уж совсем было собрался незаметно улизнуть, но как раз в эту минуту мать подняла голову и впервые за последние сутки раскрыла большие, густосиние очи. Сейчас они были неузнаваемы — столько тоски в них собралось, столько боли...

— Тихон! — позвала мать дрогнувшим голосом.

Отец бросился к ней, опустился на колени.

Грицко не поверил глазам, заморгал от удивления и тут же забыл о своем желании ускользнуть на улицу: его отец, большой и сильный, плакал. Он прижался к ма-

тери и нежно гладил мозолистыми руками ее черные, почти синие, свившиеся на подушке пряди волос.

— Иди, Тихон, — прошептала мать. — Спасайся...

Поблизости грохотнуло, и взрыв этот будто стал сигналом: отец сразу же выпрямился, торопливо извлек из-под печки приготовленную котомку, впихнул туда пару нижнего белья, ковригу, завернутый в газету кусок сала... И снова замер перед кроватью.

— Прости, Варя, что покидаю тебя в такой горький час... Прости и пойми...

Припал к губам жены и словно застыдился, поспешно натянул на голову фуражку.

Только теперь Грицко догадался, что отец уходит на войну. Прыгнул с лавки, уцепился обеими руками за штанину.

— Сынок! — голос отца задрожал. — Отныне хозяином в доме ты. Я не могу больше здесь оставаться... А тебя прошу: побереги мать. Занедужила наша мама...

Отец говорил серьезно, как со взрослым, прямо глядел в глаза, и Грицко почувствовал, что его подхватила какая-то могучая сила, подхватила и несет... И не было уже Грицка, десятилетнего мальчишки с черной, давно не стриженной головой. На его месте стоял крепкий парняга, который никому не даст мать в обиду. И все это произошло с ним потому, что так велел отец...

Минуло полгода, как ушел с красноармейцами отец. С тех пор не знал Грицко покоя, отрекся от детских забав, а мать все не поднималась с постели. Смотрела на клочок весеннего неба за окном, и в синих глазах ее никогда не отражалось солнце.

Грицко кормил мать, как мог, спасибо добрым людям — не забывали. Она, опершись на локоть, кое-как ела, глотала через силу, нехотя, но старалась, видно, очень хотела выжить. Как-то произнесла:

— Не видеть мне света белого. И может, не противилась бы уже судьбе... Как хотелось бы дождаться тебя, Тихон!.. Взглянуть хоть раз на тебя, коснуться... А потом уже и помереть...

Грицко разозлился на мать за эти страшные слова, заревел, просил не говорить так больше...

И вот теперь мать едва жива, лежит в сарае, потому что не смог он, не сумел уберечь.

— Позови Марусю, — прошептала мать. — Скорее, сынок.

— Сейчас, мама, я мигом. А вы водички попейте. Вот. . .

Во двор въезжало еще одно накрытое брезентом чудовище, а немец в голубых подтяжках, присев на корточки, стучал топором по стволу вишни, пропуская машину в глубь сада. Вишня содрогалась всем телом, до самых верхних веточек, крупные капли дождя, притаившиеся в листьях с ночи, падали от этих ударов будто слезы.

Грицко закрыл глаза, отвернулся, не хотел видеть, когда упадет дерево: сначала оно будет понемногу наклоняться, затем затрещит на сгибе и рухнет бессильно на землю, прощально прошелестев ветвями, а нежно-розовые лепестки подхватит ветер.

Грицко всхлипнул и перевалился через соседский забор.

4

Маруся Тютюнник сидела на треногом табурете. Руки ее уверенно вращали крылатое веретено, подергивали из кудели шерсть. Делала она это машинально, не подымая глаз, и одновременно разговаривала с незнакомым мужчиной в гимнастерке с расстегнутым воротником, из-под которого выглядывала крепкая, жилистая шея. Мужчина сидел на лавке у окна и ловко забивал деревянные гвозди в оторванные подошвы хозяйкиных сапог.

Возникший у порога Грицко сказал, зачем пришел. Маруся быстро смотала пряжу, швырнула на кровать, принялась натягивать на ноги старенькие туфли. Во дворе тоскливо завыла собака.

Маруся, продолжая ранее начатый разговор, сказала:

— В войну, Гнат Петрович, не только люди поумнели. Понаблюдайте за моим Шариком. Совсем уж вознамерилась сдать на мыло. Какой-то дедок открыл частную живодерню. . . А пес, будто кто ему на ухо шепнул, целыми днями воет под окном, просит пощады. . .

— Зачем вы его? Неужто не жалко?

Маруся обернулась уже на пороге.

— Вы что — с неба свалились, Гнат Петрович? Забыли о собачьем налоге?

Бугров растерянно поднял брови.

— Слишком дорого обходится этот Шарик. — Маруся вздохнула. — Вот и избавляются от собак люди. Глядишь: кусок мыла будет. . .

Грицко поплелся за соседкой, у крыльца остановился. Сзади двора простирался пустырь. На нем росло лишь несколько акаций. Пустырь пересекала неглубокая балка. Весной талые воды заливали ее, подмывая глинистый косогор, поэтому вблизи балки никто не решался селиться. В тени акаций стояли машины, солдаты сбрасывали на землю толстые резиновые круги. Грицко понятия не имел, что это такое. Карие глазенки искрились от любопытства.

Скрипнули двери. Бугров встал за его спиной, кашлянул.

— Чудо-юдо, хлопец?

Положил руку на плечо Грицка.

— Дядя, а что это там у них? Сроду такого не видел.

Гнат Петрович наморщил смуглый лоб, щурясь сурово, смотрел на зеленые фургоны, на суетившихся солдат.

— Понтоны, хлопец. На них кладут доски и — айда через реку. Футбол гонял? Вот так и «колбасы» эти накачивают воздухом, да так, что не тонут на воде, хоть машину по ним пусти, хоть пушку. Видишь — мокрые еще. Наверное, с Днепра сняли, а теперь в Крым или еще куда перебрасывают... Без них через воду техника не перейдет. Словом, плавучий мост, вот что это такое.

Грицко вспомнил, что обещал матери обернуться мигом, заторопился, уже на бегу спросил:

— Значит, воздухом? Как футбол? А если... — испуганно замолчал. И уже не так уверенно закончил: — Если случайно проколются, будет пшик?

Гнат Петрович усмехнулся, почесал затылок.

— Да как тебе сказать, казаче... Наверняка пшик! Но если и в живот штыком пырнут, тоже выйдет пшик. А уж на такие дела фашисты мастера.

Хотел еще что-то добавить, но мальчонку будто ветром сдуло.

5

Вечерело. Ветер разносил по улицам пуховую метелицу. Немецкие солдаты потрошили кур, уток, в каждом дворе пылали костры. Наколов общипанную птицу на шомполы, смолили добычу над огнем, переговаривались, дымили сигаретами.

Гнат Петрович все еще стоял на крыльце Марусиной хаты. Ему хорошо были видны забитые машинами дворы, кучки суетившихся солдат около костров, слышны их разговоры.

Сначала он не понял, почему немцы оставили без внимания Марусин двор, потом догадался: двор-то голый, два кустика сирени у забора не в счет. И хотя костры жгли под открытым небом, машины были надежно упрятаны под деревьями, а кое-где даже укрыты сверху зелеными ветками. Таков, должно быть, приказ.

Бугров потому и зашел в Марусин двор, что здесь не было немцев. Казнил себя. Полез на рожон, а ведь ясно было, что колонна свернула в село. Документы, правда, у него — не придерешься: военнопленный, сдался добровольно, разрешено поселиться в одном из районов Таврии. Однако мозолить глаза оккупантам едва ли разумно: загребут на хозяйственные нужды...

В комнате уютно, аккуратно, со вкусом прибрано, видны заботливые руки хозяйки. С портрета на стене на Гната Петровича смотрел чернявый военный с двумя треугольниками в петлицах.

— Муж?

— Да уж не отец крестный!

Ответ показался грубоватым. Но не обидным.

— Спрятала бы подальше от греха. Еще прицепится кто-нибудь.

— Дуракам закон не писан, — ответила Маруся опять сердито.

— Дураков не сеют и не жнут — сами родятся. А кроме дураков есть еще и враги.

Маруся посмотрела на Бугрова так пристально, словно спросила: а ты кто будешь? Сказала твердо:

— Портрет моего Миколы будет висеть. И не подумаю снимать. А если не нравится...

Не договорила, но все и без слов было ясно. Бугров поднялся, взял в руки котомку, поискал глазами шинель.

— Эх, дочка, дочка... Думал определиться к тебе на постой, да видно, не ко двору... Зря ты так на старого солдата.

— Солдата?..

Маруся произнесла это слово с такой насмешкой, что кровь бросилась в лицо Бугрова. Едва стерпел.

Маруся обернулась от печи, раскрасневшаяся от огня, а может, и от разговора. Мысленно отметила, что захожий и в самом деле не молод. Не только виски, а и борода, даже брови седые. Сник, будто от удара. А ведь ударила-таки, больно припечатала, и стало ей жаль человека, потерпевшего на войне. Еще неизвестно, как он там и в плен попал. Разве признается?

— Ну, ладно, — произнесла извинительно. — Погорячилась я. Обиделась за Миколу. Оставайтесь, и мне не так боязно будет. Одна я сейчас, как былинка...

Неожиданно для себя всхлипнула.

Гнат Петрович снял с плеча котомку, хотя и чувствовал себя неловко. Что мог он сказать жене красного бойца, который наверняка и сейчас где-нибудь под вражескими пулями? Если, конечно, жив. Обманывать не хотелось, а говорить ей все не имел права.

Затолкал котомку под лавку, сел. Слово за словом — разговорились в лад, по-доброму. А когда Бугров, заметив на хозяйкиных сапогах дырки, отыскал под печью консервную банку с березовыми щепками, просмолил дратву, попросил шило и цыганскую иглу — в хате и совсем распогодилось. Марусе вспомнилась смешная история с Гансом, денщиком немецкого коменданта гауптмана Альсена.

И денщик, и сам комендант обожают «коктейль-шнапс». Приготавливают они его по собственному рецепту: сахар, яйца и... водка.

— Ну, что за вкус у людей? — удивлялась Маруся. — Дед Крыхта, который сторожем сейчас, а до войны был колхозным шорником, сбрую ремонтировал, не безразличный к чарке, решил как-то попробовать этого зелья. Намешал, глотнул и до сих пор плюется. Какие, говорит, сами, такое и пойло их поганое. Только харч переводят.

На плите что-то зашипело. Маруся бросилась к чугунку, обожглась, проворно окунула палец в блюдце с маслом.

— Однако речь моя не о Крыхте, пусть ему сладко икнется, а о Гансе, денщике, значит, комендантовом. Каждое воскресенье Ганс опускает в карман пузырек с сахарином, берет в руки по корзине и шастает по дворам — меняет сахарин на яйца. Капитан Альсен, видите ли, корчит из себя справедливого человека, не разрешает денщику брать безвозмездно, поэтому тот и определил плату: за крохотную таблетку сахарина — два

яйца. Другая хозяйка, глядишь, рада: где сейчас сладость добудешь?.. Так вот, двинулся Ганс в очередной обход. Притопал к Супрунам, а ихняя усадьба, к слову сказать, обнесена высокой оградой. Только к хате, а из-за хлева таким, знаете, басом: «Гав!»

Как ни старалась Маруся удержаться, зашлась смехом, даже слезы на глазах выступили. «Нет, брат, шалишь, — думал, глядя на нее, Гнат Петрович, — пока жив человек, не убить в нем чувство юмора. А человек, умеющий смеяться даже в горе, — силен духом. Право же, она молодец, эта женщина. Да и ее Микола, даже по фотографии видать, мужик что надо... Счастливая была пара, и хороши оба, очень хороши...»

Маруся тем временем, промокнув глаза уголком фартука, продолжала:

— Мама родная! Как крутанется Ганс на одной ноге назад к калитке: дерг, дерг! С перепугу не сообразил, что надо сначала щеколду откинуть. А Букет тут как тут. Бросил Ганс корзины, сиганул через ограду и — штанами зацепился. Одна нога, значит, на улице, а другой пес играется. Пока Супрун не прибежал на шум да из беды не вызволил.

— Досталось старику?

— Вызывали в комендатуру. Супрун уже и крест на себе поставил, есть там такие, что жизни лишат запросто. Но вот под вечер объявляется. «Обошлось, говорит, приказали отхожее место соорудить во дворе комендатуры. А мне-то что? Эта штука ох как бывает нужна!»

Теперь уже смеялся и Гнат Петрович.

После этого разговора как-то теплее взгляд стал у Маруси. Не корила уже едким словом Бугрова.

Гнату Петровичу предстояло разыскать человека по фамилии Маковей, но спешить с этим делом ему было не с руки. Завтра пойдет сначала к старосте, зарегистрируется. Марусе будет спокойнее, да и ему нет нужды рисковать. Поначалу нелишне осмотреться.

6

Умерла...

На полке чадила сальная свеча. Молча хлопотала Маруся, по небеленым стенам сарая метались неспокойные тени. Грицко застыл у порога, боялся подойти к матери.

Умерла...

Заплакать бы. Куда девались слезы? Лишь тяжелый, горячий комок сдавил дыхание, застрял в горле и не хочет вырваться наружу. А может, это сердце рвется из груди?

Умерла...

«Где ты, отец? Почему не спешишь домой? Ты же обещал! Зря на меня надеялся, не сберег я маму, не сберег...»

Широко открытыми глазами бессмысленно глядел в темный угол, страшно было посмотреть в ту сторону, где лежала мать, и все же краешком ока видел что-то белое, неподвижное.

— Ты, мальчик, беги в мою хату, — ласково молвила Маруся. — Иди, а я позову женщин.

...Глухая ночь лежала над Черной Криницей. Небо, наверное, укрыли густые тучи, потому что не было видно ни одной звездочки. Солдаты утихомирились, ни шума, ни ругани. Лишь в одном дворе тарахтел двигатель да моргал круглым глазом фонарь.

Грицку не раз приходилось играть в «белых» и «красных». Разделятся, бывало, с ребятами на две кучки и ведут бои. Ходил в ночную разведку, ползал по-пластунски, как делали это в кино красноармейцы, бежал в атаку. Случалось после таких «жестоких боев» приносить домой и синяки. Царапина, синяк — не беда. Плохо, если навалятся двое или трое, скрутят руки и скажут: в плен взяли... У ребят нет большего позора.

Тайком пробирался Грицко и сейчас, как прежде в игре. Впрочем, не совсем так, ведь это не игра и вокруг не ребята с сельской улицы, а настоящие враги, фашисты. Те, кто довели до смерти мать, кто вызвал на бой отца...

Вот и пустырь. Небольшой ров с топким днищем, а за ним длинный ряд понтонов. Подполз совсем близко и тут же испуганно отдернул руку. Показалось, что коснулся лягушки, холодной и мокрой. Пересилив страх, навалился животом на резину и замер, потому что качнулась она и зашуршала, как живая.

Часовой у машины то ли шум уловил, то ли просто так скользнул лучом фонарика вдоль понтонов.

— Вер ист дорт?

Сердце колотилось гулко. Грицко лежал, притаившись, пока не наступила опять тишина. Тогда крепче

сжал в руках шило и изо всех сил загнал его чудищу в бок, в податливо-мягкое тело. Переползал от понтона к понтону, колол, ковырял, поддевал острием, пока не устали руки. Пожалуй, еще никогда, ни в одной своей ребячьей затее так не старался.

«Это вам за маму! За маму», — мысленно приговаривал Грицко, чуть не плача...

На рассвете немецкие понтонеры шумно засобирались в дорогу, грузили просохшие резиновые «колбасы», бранились спросонья. Из курятника вылез все тот же немец в голубых подтяжках, деловито покопался в кабине своей машины и принялся выкладывать из карманов яйца в чемоданчик. Несколько штук не поместилось, он покрутил их в руках, о чем-то раздумывая, потряс возле уха и, ловко стукая о подножку, одно за другим отправил в рот.

С первыми лучами солнца немцы покинули Черную Криницу. Машины выстроились в длинную колонну и взяли курс на перекопский шлях.

Хозяйки облегченно вздохнули.

Во дворе умершей Варвары Калины хлопотали женщины, а в вишневом садике прятался десятилетний мальчик, поглядывая вслед удаляющейся колонне карими глазенками, полными слез и ненависти.

7

— Могу ли я видеть Петра Николаевича Маковея?

— Не можете, его нет.

— Жаль. Очень мне нужен... А когда вернется?

— Он не вернется. Полгода как погиб.

— Как это — погиб?

— Не знаете, как погибают люди?..

Сколько раз Гнат Петрович рисовал в своем воображении встречу с Маковеем, знал наизусть каждое слово пароля, но ему и в голову не приходило, что все может обернуться таким вот исходом. Лететь через фронт, прыгать ночью с парашютом, угодить в ледяную воду Молочной, добраться с таким трудом сюда, чтобы услышать о гибели человека, с которым надлежало рядом жить и умереть, если придется! Было от чего впасть в отчаяние. Бугрова, конечно, ждали не только в Черной Кринице, но начинать намечалось отсюда. Чувствуя, что

молчание слишком затянулось, спросил, лишь бы что сказать:

— А ты, юноша, кем Петру Николаевичу доводишься?

— Сын, Василь, — ответил парень, а сам смотрел на гостя таким взглядом, будто боролся с желанием тоже о чем-то спросить.

Бугров, видимо, понял это, зажег трубку, пыхнул дымком, а когда сизое облачко поплыло от лица, сдержанно сказал:

— Были мы когда-то знакомы с Петром Николаевичем. В далекой юности. Забрел вот в ваши края, дай, думаю, загляну...

Поговорили о том о сем. Гнат Петрович попрощался и ушел. Парень стоял у окна, задумчиво смотрел гостю вслед.

Вечером, когда стемнело, Василь вышел из дома. Пробирался огородами, чтобы не попасть на глаза патрулям. В последнее время полицаи лезли из шкуры, выслуживаясь перед оккупантами, наверное, потому, что фронт откатывался все дальше на восток. Уже не слышно, как грохочут в Крыму орудия, и от этой зловещей тишины все больше угасала надежда. Отступают наши... До каких пор?

Василь прилег на тропинке, долго прислушивался. Бывало, гудит земля, еле уловимо вздрагивает — и на душе легче: значит, бьются, и еще неизвестно, чья возьмет, может, свои вернутся. А сейчас тихо. Ни звука, ни огонька, лишь звезды мерцают вверху, разливая над Черной Криницей холодный свет. Нет им никакого дела до земных забот.

С такими невеселыми мыслями Василь обогнул скирду соломы, прошел мимо колодца и почти на ощупь проник в небольшой палисадник, огороженный, будто частоколом, подстриженным кустарником желтой акации. Прислушался, постучал в окно.

В хате ждали его. У стола с мандолиной в руках сидел Ваня Климчук, смуглый, похожий на китайца, парень. Таким он казался из-за узких с косой прорезью глаз. Склонив голову набок, Ваня наигрывал грустную мелодию из «Наталки-Полтавки», мурлыча себе под нос «Солнце низенько, вечер близенько...».

Около печи на табурете примостился Матюша Супрун, ближайший друг Василя. Когда-то был вьюн, а не парень, но перед самой войной случилось несчастье: заснул в поле под копенкой ночью и проходивший трактор отдавил ногу. Помаялся Матюша по больницам, жить не хотел. Но война приглушила боль, большая беда растворила в себе маленькую. Однако «вьюна» больше не стало, ходил на деревяшке, не по годам горбился и все молчал. Только светились болезненным блеском еще больше потемневшие глаза. Вот и сейчас Матюша сидел, упершись локтями в колени, а ладонями — в подбородок, и трудно было понять: слушает он Климчука или же думает о своем. На лоб свалился клок русых волос.

На кровати по-домашнему разместились две девушки. Маруся Тютюнник, у которой поселился Гнат Петрович, только что открыла Василю двери и, пока он вытирал в сенях сапоги, успела снова забраться с ногами на кровать и смеясь что-то рассказывала шепотом подруге на ухо. У нее были пышные волосы, цвет их можно было сравнить и с золотом, и с лепестками подсолнуха, а брови, будто для того чтобы подчеркнуть белизну лица, угольно-черные.

Подруга ее ловкими движениями тонких пальцев теребила кончик косы. Когда Василь переступил порог, она бросила на него взгляд украдкой, зарделась, на щеках при этом обозначились ямочки.

Маруся сердито мотнула головкой-подсолнухом, всплеснула руками:

— Таня, ты же меня совсем не слушаешь! Говорю, говорю...

— Ну что ты, Маруся, я ведь слышу, — смутилась Таня. — Знаешь, давай лучше поможем Ивану, а то он скоро шапку пустит по кругу: «Подайте Христа ради...»

В мягкий юношеский басок, почти затихающий на низких нотах, вплелись звонкие девичьи голоса. В комнате сразу будто посветлее стало, повеяло весенним ветерком, только Матюша вроде и не слышал песни, сидел, погруженный в свои раздумья.

Лица озарились, глаза заблестели, взволнованно бились сердца. Перед глазами проплывали безграничные просторы Родины, по которым «от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей» шагают они, ровесники из Черной Криницы, друзья.

Ваня Климчук перебирал струны мандолины и видел себя в неприступных горах Сибири с рюкзаком за пле-

чами и геологическим молотком в руках. Давняя мечта, с детства. Сбудется ли она теперь? А если да, то когда? Кто может сказать что-нибудь определенно?

Василь тем временем думал о другом. Ему не давал покоя разговор с безвестным другом отца. Кто он такой? Может, это и есть тот самый человек, о котором вспомнил перед смертью отец? Как проверить? В душу не заглянешь...

Несколько минут молчали под впечатлением песни, потом заговорили, засмеялись все разом.

— Вы не знаете, девчата, кто первым сказал, что песня — это крылья?

Ваня осекся под тяжелым взглядом пронзительных глаз Матюши.

— Довольно! — выкрикнул Матвей. Вскочил с места, да так проворно, что табурет кувырком отлетел к печи. — Хватит, говорю! До каких пор будем бренчать, песенками забавляться?

В хате повисла гнетущая тишина, лишь безучастные ко всему постукивали на стене ходики.

— Песню ты, Матюша, не трогай, — сказал Василь. — Ваня верно говорит, песня — это крылья...

— Ну и лети на этих крыльях под окно к Альсену щебетать романсы! — гневно закричал Матюша. — А с меня хватит, напелся вот так! Мне бы гранату в руки — и в самую гущу, в кубло ихнее швырнуть! Чтобы знали гады...

Скрежетнул зубами и, тяжело стуча деревяшкой, направился к дверям.

— Стой! — сурово приказал Василь. — Дело есть, да и о дисциплине не забывай. Без нее нельзя сейчас.

— Дисциплина, — насмешливо процедил Матюша. — Она существует не для того, чтобы принуждать человека песни петь, когда ему плакать хочется.

— Остынь... Именно для того и существует, товарищ Супрун. По крайней мере, может сложиться и такая ситуация.

Василь обнял друга за плечи, усадил опять на табурет и надолго умолк. Чувствовал в гневе Матвея правду. На сердце уже так наболело — кусок хлеба в горло не лезет. Бросить бы все и податься на восток, вдогонку фронту. Шел бы ночами, не спал, не ел, на четвереньках передвигался, лишь бы своих догнать. А тогда... тогда уже ничего не страшно. Плечом к плечу. В руках оружие. Любое... Хоть на смерть... А здесь? Да, Матюша говорит

правду, кулаки сжимаются сами собой, когда видишь, как в Черной Кринице хозяйничают чужеземцы. Надменные, самоуверенные. Что хотят, то и делают. Сцепишь зубы и молчишь. До поры...

Таврия! Сивашские степи... Равнина — негде спрятаться. Не зря немцы так спокойно чувствуют себя здесь. Разве что в плавни к Логвиненко податься? А может, в Крым?..

Василь вздохнул. Понимал, что и Ваню Климчука, и девушек гложут сомнения, и сердился на них: почему молчат, будто воды в рот понабирали? Иван перекладывает в руках мандолину так, словно это горячий утюг, в больших Таниных глазах — молчаливый упрек, не поймешь, кто перед нею виноват: Матвей или он, Василь. Впрочем, Таня вообще неразговорчивая, отроду такая. Но Маруся, почему эта сорока умолкла? Разглядывает Матюшу, будто впервые увидела.

Василь сдернул с головы кепку, ударил в сердцах о лавку. Волосы его вздыбились причудливым нагромождением, и Маруся, не удержавшись, взорвалась смехом. Это было так непонятно и неожиданно, что поразило не меньше, чем Матвеева вспышка.

Василь растерялся. Почему она хохочет? Какой недалекий у нас руководитель? Это хочет сказать Маруся? Если так, пусть выбирают другого, он снимет с себя обязанности секретаря подпольного райкома комсомола. Подняли на смех — дальше ехать некуда... И Таня, и Климчук, Матюша и тот улыбается, а Маруся...

Взгляд Василя упал на зеркало, висевшее над этажеркой. А будьте вы неладны! Расчесал пятерней на голове петушиный хвост и так громко вздохнул, будто сбросил тяжелый мешок с плеч.

— Докладываю райкому, — сказал Иван, и все притихли. Климчук умел находить момент, когда к месту было вставить и свое слово. — Вчера был на водокачке. Дальше медлить нельзя, зерно мокрое, прорастает.

— Раздать многодетным, — предложил Василь. — Разве не для этого прятали? К Первому мая подарок от советской власти. Кому пуд, кому два...

Мысль всем понравилась, девушки были в восторге. Комендантский взвод гауптмана Альсена будто веником повыметал все сусеки, мало кому удалось что-нибудь припрятать. В Черной Кринице щелкал зубами голод. А тут такая радость, да еще на праздник!

Набросали список вдов и солдаток, лишь вокруг одной фамилии разгорелся спор. До войны в Чернокриничанской МТС работал инженером-механиком коммунист Павел Иванович Литке, из немцев-колонистов. Машины не успели вывезти в тыл, пришлось сжечь. Кое-кто из бывших колонистов подался на службу к пришельцам из фатерлянда, а Литке уже полгода прячется. Альсен обещает ему помилование и прибыльную должность, но Павел Иванович не откликается ни на посулы, ни на угрозы. Ходят слухи, что комендант намерен в отместку расправиться с семьей Литке.

Матюша хмурил брови и упорно не соглашался с товарищами.

— Фриц он и есть фриц, хоть спереди на него взгляни, хоть сзади. Прикинет, что к чему, и прибежит к Альсену за подачкой.

— Ну, знаешь! — возмущенно заморгала пушистыми ресницами Таня. — Тельман тоже немец.

Матюша растерялся:

— Так это же Тельман!

— Кондратова расстреляли, — сообщил Василь. — Позавчера на глинищах. Приезжал какой-то высокий чин из Азовска, думали, с собой заберет. Обычно они всех туда сперва волокут, но на этот раз...

— Антона Семеновича? Откуда ты взял? Он же успел эвакуироваться.

— Не успел. С самой осени прятался, изредка домой заходил. Какая-то сволочь выследила.

Антона Кондратова знали все. Несколько лет он руководил сельскими комсомольцами, в канун войны взяли его инструктором в райком партии. Сельчане любили Кондратова за отзывчивую душу, за справедливость, случалось, и суровую, но всегда честную.

— Вот видишь! — опять вскипел Матюша. — Пока мы сидим на печи, фашисты бьют без промаха. Такого человека... А Яхненко? А Свириков? Ковальчук?.. Сколько хороших людей замучили, постреляли. К мести! К мести они взывают!

И снова застучал деревяшкой по хате.

8

Расходились по одному далеко за полночь. София Климчук, мать Ивана, в чьей хате собиралась молодежь, тревожно отодвигала занавеску в темной спаленке, при-

слонившись лбом к холодному оконному стеклу, глядела, как ныряют припозднившиеся гости в густой мрак, словно в замутненную воду. Тревожно крестилась: «Господи, не ровен час. . .»

Василь шепнул Матюше:

— Подожди под вербами, есть разговор.

Сам задержался, чтобы проводить Таню. Было тихо. Сон, казалось, сморил всех: и людей, и животных, задремал даже ветер, запутавшись в кронах деревьев. Замерли в неподвижности тополя, стояли будто веники, опрокинутые ручками в землю. Верхушки еле заметны в небе. Тьма спорила с тишиной — кто сейчас из них хозяин? — потушила и солнце, и луну, задула огни земные, недостало силы погасить лишь звезды.

Разговаривали шепотом. Василь держал девушку за руку, ощущал ее тепло и от этого еще больше волновался.

— Должно быть, это плохо, Таня, эгоистично, но я страшно хочу дожить до победы, — говорил Василь. — Однако ты не бойся, за чужие спины прятаться я не собираюсь. Веришь?

Странное дело: достаточно Василю стать рядом, как Таня чувствует себя маленькой, беззащитной девчонкой. Пусть бы взял на руки и понес. Куда? Разве не все равно? Лишь бы нес. Обвила бы руками загоревшую шею, закрыла глаза, чтобы забыться в тихом полете. . . Было в ее грезах что-то от детства, как воспоминание о бережных отцовских руках, было и новое, еще неизведанное чувство, звучавшее в ней, как песня — сладкая, чарующая, а слов не разобрать. . .

Матюша продрог под вербами, которые темным шатром оторочили старую криницу за околицей. Сидел на толстой колоде, неизвестно когда и кем завезенной сюда. Сколько помнит себя Матвей, столько и лежит комель дуба на этом месте, необтесанный, в потрескавшейся коре. Верх бревна, правда, пообтерли штанами и юбками влюбленные, и он стал будто полированный. Сюда собирались на посиделки с гармонистом. А пожилые люди рассказывают: лет пятнадцать тому назад утопил в этой кринице сын куркуля красивую девушку из бедных, потому что не приняла она его ухаживаний. Длительное время криница была заброшенной, но потом история с девушкой забылась, только блуждала из уст

в уста легенда. Перестали уже люди и брезговать родниковой водой, да и текла она, как встарь, чистой, будто слеза.

Матюша порылся в карманах, разыскивая табак, но там было пусто, мысленно отругал Василя: нашел когда возжаться с девкой. И хотя Василя он поругивал, у самого перед глазами стояли огненные завитки. Ни одному человеку ни за что не сказал бы он о своей любви. Пусть и Маруся не ведает, что носит Матвей в своем сердце. Зачем он ей нужен — одноногий? Разве что пожалеет... Но жалости к себе Матюша не терпел, считал ее наибольшим оскорблением. Ох, Маруся... Да и ушедшего на фронт Миколу, бывшего тракториста, знал Матюша очень даже хорошо, сколько колхозных полей вместе вспахано! Веселый, никогда не унывающий был парень этот Микола и за товарища в нужную минуту умел постоять. Нет, не зря Маруся выбрала именно его, хотя многие заглядывались на рыжеволосую певунью...

Небо на востоке уже начало светлеть, сметая звездный песок. Проснулись петухи. И хотя было их мало, наполнили они предрассветную тишину иллюзией мирной жизни, тишина и тьма расступились, отложив спор между собой на будущее.

...Зашелестела трава, наконец-то пришел Василь.

— Извини, — бросил коротко, присаживаясь на колоде рядом.

— Говори, зачем задержал.

Василь достал самосад, скрутил цигарку, передал кисет Матюше. Лишь после этого горячо зашептал:

— Тебе не терпится! А меня, по-твоему, отец с матерью из глины вылепили? У самого руки по настоящему делу чешутся... Я открою тебе большую тайну, потому что верю тебе, Матвей, как себе. Нет больше сил молчать...

9

Тот сентябрьский день Василь не забудет до самой смерти. Таких дней в жизни выпадает немного.

Фронт рассек Черную Криницу надвое. Бой шел на улицах. Стрельба накатывалась волнами, то стихала, то вспыхивала опять. Звонко лопались мины, в землю били могучие молоты. С потолков сыпалась глина, в хлевах перепуганно ревел скот.

Звякнуло стекло, и отец как сидел на диване, так и повалился молча на бок.

— Батя, что с тобой? Батя!..

Кровавое пятно проступило на груди сквозь рубашку, а глаза отца вмиг стали глубокими, болезненно заблестели.

Василь перевязал рану, как умел, подложил под голову подушку. На беду, матери в хате не было, пошла в хлев покороче привязать корову и задержалась там.

Отец безмолвно уставился на него, похоже, хотел что-то сказать. И выдавил все-таки с превеликим трудом:

— Сынок, запомни хорошо, что говорить стану... Тайна... Есть у меня дело одно... такое...

— Какая тайна! О чем ты, батя? Сейчас мама вернется и я сбегаю за врачом!

— Нельзя ждать, сынок... И врач уже не нужен.— Голос отца с каждым словом слабел.— Слушай и запоминай: придет связной, пароль... Наклонись ко мне... Понял? Слушайся его так, будто я тебе говорю. Повтори...

Какое-то время отец еще шевелил запекшимися от крови губами, затем умолк. Василь безумно глядел в его застывшие глаза. Хотелось кричать, позвать когонибудь — и не мог, онемел от ужаса. Не верилось в эту нелепую смерть.

Несколько дней тому назад он спрашивал отца:

— Ты разве не пойдешь на восток?

Отец не сразу ответил:

— Стар я, чтобы в дальнюю дорогу пускаться.

И будто не договорил чего-то, виновато отвел глаза.

Так вот почему он не ушел с другими! Теперь становилось понятным его поведение в последние дни, несвойственная нервозность, сдержанность даже в разговорах с домашними. Отец боялся, что сын в душе не оправдывает его решение, а объяснить ничего толком не мог.

Не знал Василь Маковей, как мучился отец перед смертью, колебался: имеет ли он право открыться даже сыну. Старшие над ним подробно говорили о том, что должен он делать. А вот насчет смерти... Быть может, полагается все унести с собой, чтобы неосторожные слова на прощанье не повлекли за собой новые жертвы. Но ведь сын — не ребенок. Так или иначе его все равно пришлось бы со временем вовлекать в опасные дела... Сын-то — комсомолец!..

Как завороженный слушал Матюша Супрун рассказ Василя. Схватил за руку, до боли сжал.

— И ты молчал! До сих пор молчал!

— А ты? Ходил бы, трепался повсюду?

— Почему же сейчас?

— На это, Матюша, есть причина.

И Василь тут же рассказал другу о неожиданном визите Бугрова.

— Что, если это тот самый человек, которого должен был дождаться батя? Почему бы — нет?.. Но вдруг провокатор? Как проверить?

Матюша подскочил, стукнул деревяшкой.

— Поручи мне! — зашептал горячо. — Ведь ты же друг, Василь, скажи — друг?

10

В неглубокой ложбине по другую сторону Перекопского тракта буйно разрослась лебеда. Лыска хрумкала травой и, не поднимая головы, шаг за шагом продвигалась дальше.

Грицко босиком, в длинных из чертовой кожи портках, белой, только вчера выстиранной Марусей рубашке лежал на косогоре в пахучем бурьяне, жевал молодые стебельки кашки. Не сказать, чтобы вкусна была травка, зато ее вдоволь. Весь косогор, словно гречневым цветом, укрыт кашкой вперемежку с лебедой и калачиками. Среди этой зелени то там, то здесь поднимают белые головки рано расцветшие ромашки, желтые шляпки одуванчиков напоминают маленькие солнца. До самого горизонта степь выткана шелками живых цветов.

На едва заметной тропинке между бурьянами прыгает острочубый жаворонок. Птичка старательно чистит клювик, трет его о землю то одной стороной, то другой, прихорашиваясь; крохотные, как зернышки, зеленоватые глазенки время от времени затягиваются влажной поволокой. Но едва Грицко пошевелил затекшей рукой, как жаворонок вспорхнул.

В траве ползают вереницы божьих коровок в ярких сарафанах, снуют жучки, муравьи, для которых трава эта поистине дремучий лес. Грицко смастерил крохотную тележку из листа щавеля, запряг в нее сизого жука. Жук поначалу прикинулся мертвым, затем принялся возмущенно гудеть.

— Ишь ты! — удивился Грицко. — Мотор завел, а работать не хочешь?

Жук не шевелился. Наконец Грицко понял, что это гудят в небе моторы. Гул нарастал, шел валом и вдруг словно провалился в яму.

Еще не увидев самолетов, Грицко определил, что их не меньше двух. В небе затрещало, будто в облаках вращали трещотку, которой Грицко сам, бывало, распугивал в подсолнухах воробьев.

Однажды он уже видел воздушный бой. Тогда наши ястребки кружились вокруг большого роя немецких бомбардировщиков. А сейчас над головой было только два истребителя. Они мчались друг другу навстречу, вот-вот столкнутся! Грицку стало так страшно, что глаза его сами по себе закрылись. Но сквозь смеженные ресницы он видел: едва не столкнувшись, самолеты задрали носы и покарабкались еще выше. На стеклах кабин ярко блеснуло солнце. Грицко разглядел на крыле одного красные звезды, а у другого, с длинным, хищным носом, — черный крест.

Истребители зашли со стороны солнца и помчались друг за другом низко над землей. Перепуганная Лыска заревела и неуклюжим галопом рванула в степь. Грицко едва догнал ее близ мостика через овраг.

Когда он снова посмотрел вверх, краснозвездный ястребок неистово бросался из стороны в сторону, охваченный огнем. Длинноносый наседал сверху, как коршун.

Горячие капли обожгли щеки. Грицко поднял кулаки, что-то закричал в небо сквозь слезы, и краснозвездный, словно услышав его, рванулся вдруг вверх и огненным клубком свалился на врага.

Грицко упал на землю вниз лицом, обхватил голову руками, лишь бы ничего больше не видеть и не слышать. И все же услышал. Вскоре что-то грохнуло, да так сильно, что вздрогнула земля. Грицко вскрикнул: за лесополосой в полнеба полыхало. Там что-то трещало, фыркало, вздымалось клубами черного дыма.

Хоть и страшно было, а любопытство пересилило — добежал до самой гряды кустарника, осторожно раздвинул ветви. Горели оба самолета, уже и не разобрать, где какой. В огне, в дыму — куча обломков. И тут Грицко внезапно услышал стон. За кустом терновника лежал летчик. Лежал он вверх лицом, будто вглядывался в проплывающие в небе перистые облака, от одежды подни-

мались седые струйки — тлел наполовину расстегнутый комбинезон. В петлицах у летчика с каждой стороны было по два небольших кубика.

— Дядя, вы живой?

— Живой, сынок... Похоже, что живой, — хрипло отозвался летчик и закашлялся. — Живой-то живой, да вот нога у меня... Помоги-ка, браток, комбинезон сдернуть... Вот так... Еще немножко... Ну, вот и хорошо. Чей будешь?

— Пионер я, — представился Грицко. — А отец мой в Красной Армии.

— Пионер — это замечательно, — похвалил его летчик. — Только дела мои, браток, все равно плохи. Не смогу я идти, а идти нужно. Скоро за мной прибегут фашисты.

— Я спрячу вас!

— Хорошо бы. Сначала хотя бы в лесополосу... Полиция в селе есть?.. А немцы?.. Вот видишь! — Летчик повел грустными глазами вокруг себя. — Степь, голая степь... Эх, наш бы брянский лес сюда...

— Это кажется, что голая, — сказал Грицко. — А я уж знаю куда... Пошли.

Лейтенант в последний раз посмотрел на гигантский костер, в котором догорали его серебристые крылья, прошептал: «Прощай, друг!» — и заковылял, опираясь на худенькое мальчишечье плечо. Его влекло все время в балку, размытую весенними водами, но Грицко рассуждал по-иному:

— Следы оставим! Лучше по траве.

— Ого! На тебя, парень, и в самом деле можно положиться. Соображаешь!

Грицко покраснел от похвалы.

Летчик не шел, а скакал, будто подраненная птица, волок поломанную ногу, скрипя зубами от боли.

Вскоре им удалось добраться до прошлогодней скирды соломы — она возвышалась у дальнего края лесополосы. Грицко разгреб слежавшуюся солому — открылась дыра. Шмыгнул в нее на четвереньках.

— Сюда, дядя. Здесь просторно.

Летчик огляделся. В середине скирды было обширное логово. Видно, здесь не раз собиралась детвора, а возможно, и кто из взрослых находил приют в непогоду.

Лейтенант заполз на локтях из последних сил, он тя-

жело дышал, со стоном схватился за неестественно вывернутую ногу. Заговорил, однако, бодро:

— Хорош у тебя тайник! Только дали мы с тобой, парень, маху! Парашют не сожгли. Найдут его рано или поздно. Тогда и мне каюк.

— А где он, этот парашют?

— Там остался, в лесопосадке... Не смог я его снять... И ты не сможешь. — Летчик помолчал, колеблясь. — Вот что, браток, помоги-ка ты мне еще раз, а? Беги к парашюту! Пучок соломы зажги и сунь под купол... Вспыхнет — и делу конец! Ну как? Сможешь?

Грицко молча кивнул и нырнул в отверстие, как суслик в нору. Но через какой-то миг голова его показалась снова.

— Должно быть, вы голодный! Так у меня есть.

Вытащил из кармана завернутую в чистую тряпицу скибку ячменного хлеба, большую, потрескавшуюся картофелину.

— Это вам... не стесняйтесь! Я уже ел.

Грицко с утра не держал во рту крошки хлеба. Травку жевал, а хлеб на потом берег. Будто знал, что пригодится.

Летчик все понял, подивился ребячьей выносливости, на миг прижал к себе нестриженую голову паренька.

— Ты настоящий партизан, браток! Спасибо... Беги, а то ведь можно и не успеть.

Пулей летел Грицко вдоль лесополосы по узенькой тропинке между молодых кленов и абрикосов. Ноги будто сами несли его. Еще бы — такое поручение... Конечно, в другой раз он ни за что не расстался бы с настоящим парашютом. Но нельзя, никак нельзя...

Парашют вспыхнул еще ярче, чем солома. Грицко не стал ждать, когда дотлеет ткань, кинулся к самолетам.

Огонь утих, все, что прежде полыхало, сейчас лишь чадило. В разбитой кабине фашистского самолета валялось обугленное тело пилота. Покоробленные трубы, глазастые, без стекол, приборы с неподвижными стрелками, потрескавшаяся, в пузырях, обшивка. И — не это ли настойчиво искал его взгляд? — за поясом немца обгоревшая кобура.

Через минуту Грицко уже держал в руках пистолет — черный, как крыло ворона, шершавый, вертел его и так и этак, не веря сам себе. Было отчего голове закружиться. У него, у Грицка Калины, — собственный пистолет. Не какой-то там самопал, а настоящий пистолет!

От села послышался гул мотора. К лесополосе мчался грузовик, заполненный вооруженными людьми. Грицко опустился на корточки, пополз в посадку. А там, за грядой кустарника, недалеко и мостик, где пасется Лысуха...

Переждав под мостиком, пока проедет машина, Грицко выбрался с другой стороны и побрел за коровой. Он видел, как полицаи окружили место пожара и принялись растаскивать остатки самолетов.

— Гей, Лыска, гей! Ну что же ты едва плетешься? Не наелась, что ли? Тебе что? Тебе лишь бы трава послаже, а чем люди занимаются — все равно. Ничего ты не понимаешь, Лыска. Ничегошеньки! А голова вон какая большая...

11

Матюша долго ломал голову над тем, как испытать Бугрова. Дымил цигарками, прокуривая хату, а когда наконец придумал кое-что путное, оказалось, что его старания уже ни к чему.

...На склоне дня в окно постучали.

— А-а, это ты, Грицык? Заходи, хлопче, не стой на пороге.

Матюша приходился Грицку дальним родственником — пятая вода на киселе, однако любил его как родного. Забрать к себе ладился, жаль сироту, да мать не позволила. Пусть, мол, у Маруси живет, за хатой будет глаз, ведь время такое, что и разворуют.

Переступив порог, Грицко сразу же напустил на себя таинственный вид.

— Матвей, дай слово, что никому ни гугу! Если не дашь, то я...

— Погоди, погоди. Какое тебе еще слово? Для какой такой надобности?

Грицко насупился:

— Сначала слово дай, иначе не столкуемся.

— Хорошо, — улыбнулся Матюша. — Слово тракториста — устраивает?

— Вот так бы сразу. — Грицко вздохнул облегченно. — А теперь слушай. Я спрятал раненого лейтенанта, летчика...

— Тс-с, — подскочил Матюша, косясь на дверь в другую комнату, где находилась мать. — Какого еще лейтенанта? Ты, братан, случаем не того?..

— Не веришь? Эх ты! Полиция шастает по степи, ищут... Пойдем, покажу что-то.

Матюша и верил и не верил, но все же пошел за Грицком. Расспрашивать остерегался, на улице и пес подставит ухо.

Грицко привел его в коровник, залез по лестнице под самую крышу, где висело ржавое ведро.

— Подержи-ка! Да смотри не урони! — наставлял Грицко, опуская в руки Матвея ведро с парой белых голубят. Покопавшись в ведре под гнездом, добыл что-то завернутое в тряпицу и только потом пристроил гнездо на место.

— Ну, что скажешь?

В сумерках тускло блеснул ствол пистолета.

— Ух ты! — восхитился Матюша. — Откуда он у тебя?

В глазах Грицка запрыгали ликующие огоньки.

— Из голубиных яичек вылупился, разве не видишь?

Пистолету Матвей очень обрадовался, но забава эта совсем не детская, пареньку полагалось подкрутить хвост, чтобы не совался куда не следует.

— Не голова у тебя, а макитра[1] для вареников, — сердито сказал Матюша. — А если б полицаи увидели? Тогда что? Вояка... Был бы отец дома, спустил бы штаны и почесал там, где не свербит... Давай сюда!

— Думал, похвалишь, а ты... — Грицко обиженно шмыгнул носом. — Тебе же принес!

Матюша смягчился.

— Да уж не себе. Смотри, чтоб ни одна живая душа...

— Что я — лопух? У меня и лимонки есть, настоящие! С осени прячу. Нужны?

— Ого, братан, да у тебя целый арсенал! — обрадовался Матюша. — Что ж, пригодятся и лимонки, еще как пригодятся. А теперь выкладывай про своего лейтенанта...

Спустя час Ма́твей Супрун сидел на колоде у криницы и потягивал из рукава козью ножку. Страшно завидовал Василю, которого Грицко повел в степь. Где-то там, в скирде, если верить этому чертенку, их ожидал раненый летчик. Надо было срочно переправить его в село — скирда место ненадежное. Полицаи в конце концов

---

[1] М а к и т р а — горшок (*укр.*).

могут разнюхать... Гневно стукнул деревяшкой по колоде. «Ногу бы мне, ногу! Не сидел бы за сторожа!»

Между ветвями плакучих верб мерцали звезды. Вскрикнула спросонья птица, потом две лягушки завели концерт. Вперемежку — одна умолкнет, другая начинает. Матюша хотел было швырнуть в них комом глины, да черт их разберет, где они изводятся. Прислушался: не слышно ли шагов, хлопцам с лейтенантом пора бы подойти. Из села доносился приглушенный шум, люди еще не улеглись на отдых, а здесь только легкий ветерок шуршал в листве.

Осторожно достал из кармана завернутую в бумагу фотографию. Никто не знал о ней, даже она, Маруся. Украл из альбома. Носил всегда при себе. И вот сейчас неудержимо потянуло взглянуть. В темноте скорее угадывал, чем видел: девушка опустила голову на ладони, а глаза такие насмешливые, словно говорят: «А мы знаем твою тайну, знаем...» — «Нет, не знаете, — мысленно ответил Матвей. — И никогда не узнаете, никогда».

Под шелест верб замечтался Матюша. И вдруг словно треснула ночь вокруг.

— Стой! Кто идет?

И сразу же прокатилось эхом: ба-бах! ба-бах!

Матюша вскочил, напряг зрение, но в темноте не так просто что-либо разглядеть. Неужто хлопцы влипли? Эх, напрасно отдал пистолет Василю.

— Эй, кто там прячется в дерезе, отзовись, а то прикончу, как воробья!

По голосу Матюша узнал Михайла Смолу из районной шуцманки. Он тут же упал в канаву и пополз в заросли дерезы. Мешала деревяшка, оборвал ремни, бросил ее. И снова — ба-бах! А над головой — цвик-цвик!

Матюша выругался и изо всех сил закричал:

— Куда стреляешь, сволочь! Не видишь, это я, Матвей Супрун, чтоб тебе повылазило!

— Кто бы ты ни был, подь сюда! — злобно потребовал Смола. — Да подними руки вверх, а то и свинчатку проглотишь! Мне пули не жалко!

— Не могу, пан полицай, деревяшку потерял, вот и кукарекаю в канаве, — слезливо заныл Матюша. — Помогите подняться!

Слышно было, как полицаи совещаются.

— Кажется, в самом деле одноногий... Где ты есть? Подай голос!

Полицаи приближались осторожно, с винтовками наперевес.

— Да вот я! Туточки! — крикнул Матюша. — Что вы, паны полицаи, калеки испугались? Понаставляли свои пугала, еще бабахнет какое.

— Побалакай мне! — оборвал его Смола. — Болтаешься по ночам, комендантского приказа не знаешь? На ведьмовский шабаш летал, уродина? А где помело оставил?

Довольный своей остротой, Смола захохотал. Другой полицай повел лучом фонарика по канаве.

— Вон твое помело валяется! Пристегивай! Не мог, говоришь, найти? — подозрительно зыркнул он на Матвея. — А не дурачишь ли ты нас, парень?

— В комендатуре разберутся! — гаркнул Смола, боясь, как бы напарник не перехватил у него первенства в этом ночном поиске. Уж очень ему хотелось самому доложить о нарушителе приказа гауптману Альсену. Понимал: на задержании безногого Супруна славы не заработаешь, но какой ни есть, а все же повод доказать свое старание. В комендатуре определят, зачем одноногий ползает в запрещенный час по околице. Тем паче что при Советах этот нарушитель порядка числился в комсомольцах.

— Я отведу, а ты смотри мне здесь, — на правах старшего распорядился Смола. Толкнул Матвея: — Двигай, да побыстрее! С тобой и до рассвета не доплетешься!

— Идти так идти, — согласился охотно Матюша. — На то вы власть, наше дело подчиняться.

— Давно бы так, — захохотал Смола. — Вижу, ты не совсем дурак. Шагом марш!..

...Именно в эту минуту Василь Маковей помогал раненому лейтенанту перебраться через загату[1]. Вслед за ними ящерицей полз Грицко. Под кустом сирени прилегли отдохнуть. Летчик едва сдерживал стон.

— Не могу, ребята, — виновато шептал он. — Нога огнем горит.

Василь тоже выбился из сил, он всю дорогу нес лейтенанта на себе, тяжело дышал.

— Калинка, где мы?

— Марусин двор, Тютюнничихи...

---

[1] Загата — невысокий заборчик в огороде из сухого курая вперемешку с коровьим навозом.

— В самом деле! — повеселел Василь. — Зови Марусю. Только тихо.

— Что за человек задержал полицаев? — спросил лейтенант.

— Дружок мой, Матвей. Не растерялся. Кабы не он, пожалуй влипли бы.

В том самом сарайчике, на той же постели, где умерла мать Грицка, положили лейтенанта. Едва раздели, как он впал в беспамятство, никого не узнавал, бредил, выкрикивал невнятные команды, скрежетал зубами.

Василь, отправив мальчонку в хату, старательно зашторил единственное оконце, чтобы с надворья не был виден огонек коптилки. Вдвоем с Марусей перенесли кровать в дальний угол, отгороженный по каким-то хозяйственным надобностям досками, подход замаскировали рассохшейся бочкой, набросав на нее для верности кучу тряпья.

...Маруся старалась изо всех сил. Смачивала лоб лейтенанту мокрым полотенцем, а оно тут же высыхало, как на печи. Василь Маковей с грустью смотрел на ее суету. Велика ли помощь — полотенце? Разве для того спасали летчика, чтобы он умер здесь, в этой каморке? Летел за сотни километров, наверняка выполнял какое-то важное задание. А как дрался! Грицко рассказывал: уже обреченный, в пламени, повел крылатую машину на таран, а для этого не у каждого смелости хватит. Теперь отважный сокол в кругу друзей, но они бессильны помочь ему. Хотели рискнуть — обратиться с бедой своей к старенькому местному лекарю Викентию Остаповичу, а он возьми да и уедь в Сергеевку — кто-то там из его родственников тяжело заболел.

— Что делать? Где взять врача? Умрет ведь... — то ли подумал, то ли сказал вслух Василь. Наверное, сказал, потому что Маруся подняла на него заплаканные глаза и тут же, будто вспомнив что-то, вышла из сарая.

Василь сидел около дверей, на обломке камня, думал. Вот лейтенант... Суждено ли ему снова встать на ноги? Но он хоть в настоящем бою получил эту гибельную рану. Может, и не выживет, зато фашистского стервятника гробанул напоследок! А мы? Что сделали? Матвей говорит правду: чего ждем? Конечно, не легко действовать, когда вокруг степь. В лесополосе даже зайцу мудрено спрятаться. Настоящие партизаны только в днепровских плавнях... К ним пробираться? Или совсем

сложить руки? Ждать, пока вернутся наши и спросят: как жилось, ребята, как сиделось около мамы? Не исхудали от переживаний?

Скрипнули двери. Василь вскочил, рука скользнула в карман за пистолетом. Рядом с Марусей стоял какой-то мужчина.

— Вот... Гнат Петрович... Когда-то был ветеринаром. Вдруг сумеет помочь?

Василь не знал, что сказать. Даже мороз пробежал по коже. С ума сошла Маруся, что ли? Кого привела? Да знает ли она, что за человек этот Бугров? Чем дышит — не отравой ли для раненого?

Бугров будто и не заметил тревоги Василя, хмуро пробормотал:

— Привела — показывай.

Чего только не передумал Василь Маковей, пока Гнат Петрович осматривал раненого! Маруся сновала между сараем и хатой, носила горячую воду, рвала простыню на полоски. Летчик стонал.

— Ну, вот и все. Терпи, казак, да поменьше брыкайся. Пей молочко, глядишь — и крылья расправятся, а то и новые отрастут.

Гнат Петрович вышел из тайника повеселевшим.

— Будет жить твой лейтенант. По правде сказать, и с меньшей потерей крови люди умирают. Думал, только нога перебита, а у него еще и грудь навылет... Ногу удалось скрепить шиной, а вот с грудью... Настоящего врача бы ему... Нет такого на примете? Чтобы умел язык держать за зубами?

Василь молчал. Все еще раздумывал, как ему повести себя с этим загадочным человеком. Второй раз пересекаются дорожки, а ясности ни малейшей.

— Рассветает. Идите, Маруся, я догоню.

Теперь молчали вдвоем.

— Курящий? Давай подымим... Такое дело доверяешь незнакомому человеку. Не одобряю.

Бугров говорил изучающе. В глазах теплинка.

— Не я — Маруся вас позвала, — напомнил Василь, качнувшись, будто отстраняясь от Бугрова. — Помогли — поставлю свечку, а нет — спасибо и на том. Но предупреждаю...

— Не горячись, Маковей. Да и руку вынь из кармана, я не из пугливых... Между прочим, фиалка пахнет ночью.

Василь вздрогнул, будто молния блеснула перед ним. Так вот зачем этот человек разыскивал отца! Хотелось ответить спокойно, но голос предательски задрожал:

— Очень пахнет... особенно... на рассвете.

Они улыбнулись и протянули друг другу руки.

12

Колодец покинутой водокачки дохнул из глубины таинственной тишиной, запахами прелого зерна и плесени. Ржавые ступеньки вели вглубь, к едва различимой в полумраке нише, где стоял двигатель, разобранный любопытной ребятней по гайке. Исчезли также трубы. Сиротливо чернел засаленной крышкой пустой ящик для инструментов.

В сентябре сорок первого советские части, отступая за Перекоп, подожгли бурт пшеницы под крытым навесом. Сгорел, однако, лишь верхний слой. Василь Маковей в то время уже собирал вокруг себя молодежь. Возникла мысль — припрятать хоть немного зерна про черный день. Вот тут и пригодилась заброшенная водокачка километрах в десяти от села. Когда-то вблизи нее находилась колхозная бахча, а теперь колодец совсем затерялся в бурьянах.

С потолка на цементный пол гулко упала капля. Маруся чуть не уронила свечку.

— Трусишь? — засмеялся Климчук.

Маруся смутилась.

— Да ну тебя! Потише не можешь?

— На десять верст ни души. Чего бояться?

— Чего, чего... Нет у нас права рисковать — вот чего. Сами-то выкрутимся, если кто застанет: мол, для себя спрятали. А задание?

— Ох, и умница же ты, моя разумница, — иронически откликнулся Ваня. — Все предвидела. А впрочем, ты права. Давай помолчим.

Климчук насыпа́л в мешки зерно «пуда по два», как наказывал Василь, Маруся пристроила на ржавом вентиле свечу. Огромная Иванова тень металась по заплесневевшим цементным стенам.

Когда выбрались наконец с клунками наверх, облегченно вздохнули. Вокруг, сколько хватает глаз, простиралась безлюдная степь. Предмайское солнце повисло

над горизонтом, замерло, будто не желая опускаться ниже. В небе свирепствовал ястреб, гоняя стаю голубей.

Пригибаясь в бурьянах, шли к лесополосе. Кусты маслины, дикие абрикосы, молоденькие клены и белая акация хотя и не успели еще покрыться буйной зеленью, однако уже надежно скрывали от постороннего взгляда. А Ивану и Марусе было видно все: и степную колею, что разрезала поле напрямик до Черной Криницы, и шоссе на Каховку.

В поле не заметно было весеннего оживления, не слышался привычный гул моторов. Лишь кое-где зазеленели посевы. На току одиноко стояла будка трактористов, ее называли здесь матросским словом «палуба».

Когда уже приблизились к селу, увидели две пары круторогих волов, запряженных в скоропашку. За нею шел, лениво помахивая кнутом, Матюшин отец. Женщины с лопатами и тяпками плелись следом, копали ямки, заравнивая в них кукурузные зерна.

— Как при царе Горохе, — печально усмехнулся Иван. — Возвращаемся в средневековье.

В конце гона старый Супрун распряг волов, не снимая ярма, пустил на выпас. Сам оседлал скоропашку и полез в карман за кисетом. Женщины тоже присели рядом, извлекли из узелков ячменные коржики, запивали кто молоком, кто свекольным квасом.

— Раньше только в книгах читал о такой сельской жизни, — продолжал тем временем Климчук. — Волы, тяпки, сею-вею-повеваю... Теперь своими глазами довелось увидеть.

Маруся ничего не ответила, шла за Иваном протоптанной в лесополосе тропинкой, а в мыслях была далеко-далеко.

...Звенит над головой жаворонок, дыханье ветерка доносит из-за холма хриплое урчание тракторов. Там, на паровом клине, ее Микола. А здесь, куда ни глянь, белое как снег поле. Из распахнувшихся коробочек рвется на свободу хлопок. Разбрелись в межрядьях девчата, проворно подхватывают мягкое как пух волокно, набивают этим добром фартуки. А впереди она, Маруся Тютюнник, известная на всю Херсонщину звеньевая.

Посреди поля — огромный курень, неподалеку от него старательно обмазанная глиной площадка. На ней гора хлопка, а девчата все несут и несут наполненные фарту-

ки, мешки, растет белая гора. Но как ни стараются, однако далеко им до Маруси.

От жары прятались в курене; пили прямо из бутылок молоко, извлекали из лужи под телегой водовоза манящие сладостной прохладой арбузы.

Вечером девчата идут с поля и поют так, что катится по степи эхо. Идут будто с прогулки, а не с работы. Маруся выводит старательно, звонко, чтобы услышал на бригадном стане любимый. И если Миколе не заступать в ночную, седлает свой мотоцикл и мчит вдогонку за певуньями.

Девчата хохочут, не пускают его к Марусе, глядишь — так разойдутся, что и в пыли вываляют. Микола никогда на то не гневался. Подождет, пока уймутся насмешницы, подхватит ее на руки и — к мотоциклу.

Встречный ветер срывает с Марусиной головы косынку, играет золотыми волосами, остужает ноги, а она крепко держится за широкие плечи Миколы, щекочет горячим дыханием его смуглую шею...

Тревожный голос Вани Климчука будто отрубил сладкие воспоминания:

— Смотри, кого несет сатана! Да присядь!.. Кому сказано?!

Из села мчалась тачанка. Кучер только помахивал над головой кнутом, пара вороных куцехвостых лошадей сама неслась резвой рысью, оставляя за собой клубящуюся пыль. Откинувшись на кожаную спинку, в тачанке сидели два немца. Один, приставив к глазам бинокль, издали разглядывал сеятелей.

— Сам гауптман Альсен, — сказал Иван. — Сельскохозяйственный комендант района. Лопнет от злости, что наши сидят обедают. Сволочь, новоявленный рабовладелец...

Тачанка остановилась, гауптман спрыгнул на землю, заорал, взмахнул нагайкой. Женщины бросились врассыпную, один лишь Супрун как сидел на скоропашке, так и остался недвижим. Дымил самокруткой, хмуро поглядывая на немца.

А комендант уже стоял на тачанке, похлопывал нагайкой по лоснящимся голенищам и, показывая на солнце, что-то выкрикивал.

— Зашло бы оно для тебя навеки, — прошептала Маруся. — До каких же пор это будет продолжаться, Ваня? Нет больше терпения...

13

Впечатление было такое, что ночь, как темная тарелка водой, всклень наполнена прозрачной тишиной. Но вот тишина переливается через край, и тогда где-то далеко слышны глухие раскаты грома.

Таня замерла, прислушиваясь. Когда уже загремит и над Черной Криницей? Когда очищающая от скверны гроза промчится над степями Таврии, смоет зеленую саранчу, что заполонила родную землю и пожирает ее плоды и ее душу?

Стежка вела через огороды. Сколько раз Таня ходила по ней в школу, знала ее так, что хоть глаза закрывай и иди, а нынче все пугало: то колючка неожиданно уцепится за юбку, то мелькнет за деревьями неясная тень.

Вдали, похоже над станцией, полыхали зарницы зенитных взрывов, удивительно легко и не спеша плыли вверх разноцветные строчки трассирующих пуль. Где-то там, в той стороне, Василь.

Таня прислушивалась к окружающим звукам и расклеивала на заборах, на стенах хат листовки. Старалась не думать о том, что произойдет, если из темноты вынырнет полицейский патруль. Василю еще труднее: станция забита войсками, каждую минуту можно попасть в руки врага. Была горда, что Маковей выбрал себе самое опасное задание. «Смелый он у меня, — подумала и улыбнулась: — У меня. . .»

Вспомнился далекий зимний вечер под Новый год. На занятиях школьного литературного кружка Василь Маковей читал свои стихи. Возможно, были они и «не на высоте», как сказал руководитель кружка Кирилл Сергеевич, но читал их Василь с чувством, в хорошем настроении. Ему аплодировали, просили прочесть еще что-нибудь. Не больше ли остальных хлопала в ладоши она, а потом поднялась, сказала об одной оплошности, еще об одной и так увлеклась, что от стихов Василя не оставила камня на камне. А закончила тем, что не знает, мол, выйдет ли из Маковея поэт, зато декламатор — наверняка.

— Разрешите, Кирилл Сергеич, задать товарищу Гречко всего лишь один вопрос, — поднял руку Василь. — Сложила ли она сама хоть несколько стихотворных строк? Интересно бы послушать.

— А я готовлюсь в критики. Критикам не обязательно сочинять. . . Или, по-твоему, нельзя критиковать других, если у самого не получается?

Маковей покраснел. Остаток вечера просидел тихо, украдкой поглядывая на нее, а когда расходились, предложил проводить домой.

Говорили о кружке, о поэзии, о том, как возвышает порой душу одна лишь гениальная строка. И не сразу разглядишь, где кроется «секрет» самых обычных слов, поставленных рядом... Потом беседа приняла совсем неожиданное направление.

— Вчера было холодно, а сегодня вроде бы теплее.

— Да. Я тоже заметила.

— Лютый[1] не оправдывает своего имени.

— Лютый? Ах, вон ты о чем! А я и не задумывалась над этим никогда.

— Над чем?

— Что лютый — это злой или что-то вроде.

— А квитэнь[2] — квиты...

— А травэнь[3] — травы...

Перебрали весь календарь, смеялись...

Дома она наспех поужинала, бросилась в кровать, охватила обеими руками подушку и принялась перебирать в памяти весь вечер, до мелочей. О чем говорили... В самом деле, о чем? Бог знает о чем. Несла глупости и не замечала. Наверное, потому он и смеялся. Какой позор! А впрочем, почему это меня так беспокоит?..

Через день они встретились снова. И Василь, радуясь, что на морозе не видно, как он краснеет, прочитал стихи, посвященные ей, Тане. Мало сказать, что стихи понравились, она чувствовала себя в ту минуту счастливой, это так возвышало ее в собственных глазах... Стихи для нее!.. Это же нужно сидеть, придумывать... Чувствовать нужно!

В тот вечер они впервые поцеловались.

Сейчас Василь Маковей точно так же, как она, крадется темными улицами. Страшно. Однако надо. Даже необходимо! Потому что завтра Первое мая...

А Марусе Тютюнник выпало на эту ночь иное. Восемь мешков, восемь тревожных маршрутов по селу согласно списку, составленному на заседании райкома. Чуть не нарвалась на полицаев. Сначала на одного, затем на другого. Посветлело на горизонте, когда вернулась домой и забылась неглубоким, клочковатым сном.

---

[1] Лютый — февраль (*укр.*).
[2] Квитэнь — апрель, квиты — цветы (*укр.*).
[3] Травэнь — май (*укр.*).

Старые люди помнили: когда-то, еще при царе, это слово произносили шепотом. Расплата ждала каждого, кто имел к нему хоть какое-нибудь отношение. А потом, при советской власти, его начали забывать, сдали в архив как принадлежность истории.

И вот оно родилось снова и взорвалось как бомба. Листовки!..

Черная Криница загудела.

Было солнечное первомайское утро, и, хотя по улицам не шли пестрые колонны демонстрантов, а над крышами не развевались праздничные флаги, село охватило торжество: тихо, украдкой вымолвленными поздравлениями, воскресной одеждой, молчаливым крепким рукопожатием и этим таинственным словом «листовки». Прилепились они белыми голубями на стенах и заборах, на телеграфных столбах. Толпились люди, жадно читали пылкие, гневные слова, с которыми впервые за долгие дни оккупации к ним обращались непокоренные, свои.

«...Приближается время, когда Красная Армия вышвырнет захватчиков с родной земли. Оккупанты будут биты еще не раз, как были они биты под Москвой...»

Листовки остро высмеивали германских курощупов, суля им за подвиги по ограблению населения деревянные кресты, каких немало уже стоит на полях Украины и Белоруссии, взывали к мести душегубам... Под листовками подпись: «Районный комитет».

В тот день сельский староста Ковбык с самого рассвета сидел в управе и ковырялся в бумагах. Три недели назад его вызвал к себе гауптман Бруно Альсен на разговор, после которого Ковбыка до сих пор трясла лихорадка.

...Комендант сидел за столом и собственноручно готовил коктейль-шнапс. Перед ним стояла корзина с яйцами, бутылки с водкой, одна пустая посудина и ваза с сахаром.

— А-а, господин Ковбык! Ласкаво просымо в гости! — весело крикнул он. Гауптман знал украинский язык, не русский, а именно украинский, и этим бравировал.

До прихода нацистов к власти Бруно Альсен успешно закончил курс филологии в Геттингене и специализировался на славянских языках, не предполагая притом, что

через десяток лет будет практиковаться непосредственно с аборигенами Украины. По меньшей мере именно это любил он подчеркивать в разговорах с друзьями. Но бывшие мечты о карьере ученого ушли в сферу воспоминаний. Альсен теперь относился к ним с нескрываемой иронией.

— Як ся маетэ?[1] — прищурил Альсен глаз. Руки тем временем быстро работали: стукнет яйцом о пресс-папье, разломает скорлупу и аккуратно — белок в тарелку, желток в водку.

— Живу вашей лаской, господин комендант, — учтиво произнес Ковбык, теребя в руках фуражку. — Велено прийти?

— Велено, велено, — удовлетворенно повторил Альсен. — Хорошо звучит это слово. Как музыка! Мне оно нравится больше, чем немецкое «befahl».

Он набирал ложечкой сахар и тоненькой струйкой сыпал в бутылку.

— Скажите-ка, господин Ковбык, прежде чем нести хлеб ко рту, что полагается сделать?

Староста наморщил лоб, белые щеточки бровей сбежались подковкой к переносице.

— Нарезать скибками? — попытался он угадать.

Комендант скривился.

— Вероятно, все же полагается хлеб сначала испечь, а чтобы испечь — сжать, а чтобы сжать — посеять. Разве не так?

— Истинно так, — качнул головой Ковбык, поняв уже, куда клонит Альсен.

Гауптман посмотрел на бутылку против света, заткнул пробкой и принялся взбалтывать.

— «Истинно так», — передразнил он старосту. Серые глаза Альсена снова прищурились, стали колючими. — Почему же вы так нерадиво сеете? Может, есть не хотите?

Ковбык сник под его взглядом, вобрал голову в плечи.

— На мне пот не высыхает, господин комендант. Святой крест! — Староста для верности махнул пальцами со лба к плечу.

Альсен всхохотнул.

— Что я вижу? Господин Ковбык — верует! Ха-ха! — вдруг оборвал смех и вкрадчиво спросил: — А в три-

---

[1] Как себя чувствуете? *(укр.)*

дцать первом вы умели креститься? Ну, в той поре, когда священника отправили к праотцам, а он, не будь дураком, воскрес и указал на вас пальцем?

«Знает, все знает чертов немец, — перепуганно подумал Ковбык. — Откуда? Не иначе кто-то копает под меня... Но кто?»

— Так ведь тот попик оказался красным агитатором! Другие попы были как попы, а этот закатывал с амвона такие речи — большевикам на зависть!

— За это вы с ним и схлестнулись?

— Ну да! А люди не верили, трепали языками о сундуке с золотом.

В глазах Альсена сверкнула заинтересованность.

— Сколько же вы загребли?

— Загреб? — Ковбык зло скривился. — Попик совсем голым оказался — ни алтына в запасе... Ряса в латках! Десять лет — вот что я получил за большевистского законослужителя!

Гауптман опять зашелся смехом.

— Развеселили вы меня, староста. Значит, комиссары упекли вас в Сибирь за попа?

— Так и вышло! Говорят: поп не поп, а убивать не положено. При Советах насчет этого было строго... Накануне войны и выпустили.

— Строго, говорите? — переспросил Альсен. — Так, так... Вот что, господин верующий староста... Если за три недели не будет засеяна вся вспаханная площадь, быть вам опять в лагере, только на этот раз в немецком. А оттуда, сообщаю для сведения, нет возврата.

От такого поворота в разговоре Ковбык опешил. Одутловатое лицо его сначала побледнело, затем на нем обозначились бурые пятна.

— Как можно, господин комендант! — дрожащим голосом начал он. — В колхозе было столько машин, а сейчас не то что трактора — лошади захудалой не найдешь. Ярма на коров надеваем.

Альсен опустил бутылку на подставочку у стола, обозрел свое изделие и тут же наполнил стакан.

— До ваших трудностей мне нет дела. Большевики не думали о вашем будущем, когда вывозили и жгли технику, на них теперь и жалуйтесь... Помощь крестьянам фюрер обещает только при уборке урожая. Вскоре пустим завод в Мелитополе — косилки получим, из обоза подбросят лошадей.

«Поможешь ли собрать — неизвестно, а забрать — факт, — думал, слушая коменданта, Ковбык. — Однако немец крепко себя чувствует, если завод пускает».

— Чем засевать-то? Осенью фронт стоял здесь, не до посевной было, остались без озимых, а яровой пшеницы кот наплакал... Разве что кукурузой? Да и то поздновато, кочан не успеет вызреть.

Альсен опорожнил стакан, причмокнул языком.

— Сейте что заблагорассудится. В хозяйстве фюрера все пригодится. Ясно? Будет в чем задержка или мешать станут — докладывайте.

Глаза гауптмана смотрели почти весело, однако Ковбык чувствовал, что никогда ни перед кем он не выглядел так ничтожно...

После встречи с комендантом Ковбык целыми днями мотался по полям общины, как назывался теперь колхоз, лез из шкуры, лишь бы хоть частично осеменить пашню.

Сегодня отведенный для посевов срок истекал, старосту трясло с рассвета.

Проснулся — побежал в управу. Сидя будто на иголках, подсчитывал, чего, где и сколько посеяно, округлял цифры в надежде, что Альсен поверит на слово. Наконец сложил бумаги в папку, напялил на лысую голову фуражку и вышел на крыльцо.

Уже на пороге что-то заставило его насторожиться. Заметил, что людей на улицах непривычно много и все они выглядят как-то иначе, чем в другие дни. За боковой стеной управы, разместившейся в бывшем здании сельпо, у доски объявлений и приказов табунились старые и малые.

«На что они там глазеют? — встревожился староста. — Приказ коменданта? А может, мой? Что же это я такое интересное написал? Подавиться мне вареником, если помню».

Приосанившись, Ковбык направился к толпе. К нему подскочил Смола:

— Господин Ковбык! Свирид Михайлович! Засвидетельствуйте, что я первый. Никто из наших еще не видел, а я сразу заметил, первым обнаружил...

— Что ты обнаружил?

— Да вот — большевистская листовка! — ткнул в руки старосте Смола мятый листок. — Иду по улице, а она прямо на столбу, у всех, значит, на виду...

Староста почувствовал, что под фуражкой у него зашевелились волосы, да так ощутимо, словно на лысой голове вмиг выросла густая шевелюра. Вспомнил мысленно недобрым словом матерь божью и уставился в поданный ему листок.

— Да вот на ваших дверях еще одна! — ахнул полицай. — Прямо обнаглели. А вы с ними все уговорами да лаской!..

Ковбык оглянулся. На дверях управы белела еще одна такая же листовка.

— Засвидетельствуйте, господин староста, я первый... — напомнил Смола.

— Это же... черт знает что! — выкрикнул опешивший Ковбык и вдруг заорал на полицая: — Первый, первый! Разболтался! Ну и что с того? Дурак ты первый, вот кто ты! Надо было ночью ворон не ловить. Где был, когда по селу листовки эти расклеивали? У самогонщицы под юбкой блох ловил? Так и доложу, что ты первый блохолов!.. А люди чего собрались?

— Читают, господин староста.

— Что читают?

— Да прокламацию же... Ту самую, что у вас в руках.

Ковбык гневно глянул на полицая желтыми глазами:

— А ты, прохвост, рот раззявил? Гони их сейчас же, чтобы и духа не было!

— Приказывал разойтись — не слушаются. Вот разве что вы накричите, — угодливо сказал Смола, стараясь утаить обиду на старосту.

Ковбык начал вежливо, издалека:

— А чего это вы, люди добрые, базарите? Ну-ка по домам!.. Ай-я-яй! Читать большевистские листовки запрещено законом.

Задние чуть отступили, но никто не уходил.

— Оглохли вы, что ли? — насупился Ковбык. — Какой-то выродок нацарапал черт знает что, а вы и прилипли, как мухи к меду. Марш по домам!

Ближе других к листовке стоял коренастый дедок с лохматыми бровями, что будто стрехи нависали над его по-стариковски запавшими глазами. Дедок обернулся, подморгнул соседу, прокашлялся. Ковбык узнал Крыхту, каверзного мужичонку, не раз уже изводившего его хитроумными насмешками.

— А кого это вы, староста, выродком обзываете? — спросил Крыхта. — Разве не видите: читаем приказ господина Альсена?

— Что-о? Какой там еще приказ?

Ковбык протиснулся к доске объявлений. Рядом с листовкой действительно прилепился приказ коменданта, где сообщалось, что до конца месяца «каждый владелец коровы обязан сдать три килограмма масла на бутерброды немецким солдатам-фронтовикам». Так и было написано: «на бутерброды».

Староста растерянно заморгал и, услышав за спиной сдержанный смех, наконец понял, как ему следует поступить. Гневно впился ногтями в листовку, содрал ее, шикнул на толпу:

— Вот теперь и читайте приказ сколько влезет!

— А мы уже выучили на память, — сказали за спиной. — Можно и по домам.

Люди стали расходиться, только Крыхта топтался на месте, задумчиво почесывая затылок.

— А ты что торчишь, философ? — заорал Ковбык. — Ишь, размечтался!

— Как же не задуматься, господин староста... Его германское благородие пишут: гони по три кила на бутерброды. Оно бы ничего, конечно, хлебец намазать пожирнее. Я и сам не против. Да как быть, если, к примеру, у меня во дворе не корова, а коза? С козиного молока...

— Да ты что? — взъярился Ковбык. — Над властью насмехаешься? Я т-те-бе покажу!

— Какой смех, господин староста? Тут слезы, если разобраться. Сто солдат фюрера получат бутерброды, а сто первый только оближется. И все через эту чертову козу.

— Молчать! Смола, отведи его в управу, пусть там помечтает в темном закутке.

Смола резво подскочил, положил руку на плечо старику:

— Топай, дед, в северном направлении!

Крыхта шевельнул плечом, сбрасывая руку.

— Убери! Сам дорогу знаю! А что, господин староста, может, уборную приспело время копать? Которая Супрунова — уже полная?

— Могилу себе выкопаешь, — пробормотал Ковбык и, взглянув на часы, заспешил к комендатуре.

Неизвестно, о чем шел разговор у Ковбыка с гауптманом Альсеном, однако вернулся он в управу побледневший, с трясущимися губами и тут же пригласил к себе начальника полиции Шефнера. Шефнер не очень-то уважал старосту, но в этот раз прибыл без промедления, понимая, что сейчас не время делить власть с Ковбыком. Не дай бог, комендант узнает, что начальник полиции смотрел в эту ночь с его машинисткой приятные сны, опростав перед тем бутылку самогона. Именно тогда, когда «комитетчики» расклеивали большевистские листовки, ему было особенно приятно зоревать с заезжей блудницей.

Черную Криницу заполонили полицейские патрули.

В тот же день произошло еще одно событие, незаметное для постороннего глаза. Соседка Тани, Ольга Ивченко, муж которой находился в Красной Армии, обнаружила утром под дверями мешок с пшеницей. В мешке листовка и коротенькая записка: «Примите, Ольга Михайловна, небольшую помощь от советской власти. Районный комитет».

Ольга разволновалась, заплакала. Тоненькие, как стебельки, руки дочки копались в зерне, а старший, пятилетний Саша, лепетал:

— Ма! Хочу пирожков! Это папка хлебушка прислал, правда, папка?

— Да, сынок, папка, — ласково погладила Ольга мальчика. — Только об этом нельзя никому говорить. Никому-никому!

Слезы капали на пшеницу. Значит, жива наша власть, здесь она, среди людей, и о том помнит, что в ее хате и крошки не осталось. Вчера из высевок пекла коржики, а они разваливаются еще на сковороде...

Такие же подарки под своими дверями нашли еще семеро криничан. И только старый портной Фалько, который жил под одной крышей с многодетной невесткой, посчитал приблудившееся зерно за чей-то подвох и хотел было спровадить даровой харч в управу.

— А что, дочка, если это уловка? Они, фашисты, мастера на выдумки. Сегодня принесли, а завтра скажут: расплачивайся... Тебе же и придется топать на каторгу за эту пшеницу.

Но невестка так горячо уверяла, что подарок из чистых рук, что его прислал в самом деле «районный комитет», а на деда смотрело столько голодных глаз, что он в конце концов махнул рукой.

15

Оккупанты облепили криничанские улицы воззваниями, в которых сообщалось, что никакого, мол, «районного комитета» не существует, а прокламации распространили двое присланных большевиками комиссаров, один из которых уже арестован, а другой разыскивается. Населению приказывалось всеми способами помогать властям «установить твердый порядок без провокаций и паники». Тем, кто станет читать большевистские листовки, угрожали страшными карами, в том числе и конфискацией имущества.

Выходившая время от времени в Азовске газетенка оккупантов «Приморский вестник» поместила снимки ленинградских улиц, «по которым недавно торжественно прошли немецкие войска».

Бугров только что разжился на почте свежим номером «Вестника», просмотрел на скорую руку колонку объявлений и, сложив газету вчетверо, сунул в карман. Нужного объявления снова не было. Это начинало беспокоить Гната Петровича. Пора уже, давно пора. Не произошло ли чего непредвиденного? Пока не будет сигнала, нельзя ему появляться в Азовске. А как же тогда с элеватором?

Отступая осенью сорок первого года, наши саперы должны были взорвать элеватор на станции Ксеевка. Однако заряд сработал неравномерно и гигантское сооружение было только повреждено, немцы теперь спешно заканчивали его ремонт. Среди других заданий Гната Петровича было и такое: исправить ошибку саперов. Сам он, естественно, сделать этого не мог, потому и ждал с нетерпением обусловленного сигнала местного подполья.

Ветер принес волну запахов разомлевшей на солнце сирени, затих, снова подул, защекотал ноздри, будто где-то поблизости брызнули из флакона одеколоном. Гнат Петрович проследил глазами, откуда несет эту парфюмерию. Сирень поднялась вдоль забора кипами ветвистых побегов, увенчанных пышными гроздьями звездчатых лепестков. За сиренью стояла яблоня в цвету. Старый ствол кто-то срубил, но яблоня не смирилась, пустила ростки, выбросила над пеньком пучок новых веточек и теперь расцветает...

Неожиданно подумалось: вот у кого надо учиться стойкости! Природа не сдает однажды завоеванных по-

зиций. Невидимые человеческому глазу, спрятавшиеся в недрах земли соки дают жизнь растению. И яблоня жадно пьет, стремясь жить, да и не просто жить, а цвести, чтобы дать плоды — подняться еще на одну ступеньку к будущему. Законы бессмертия... А мы? Кто мы? Разве не часть природы? Не за это стремление к будущему кладем голову?..

Гнат Петрович вздохнул. Достав из кармана листок бумаги, он еще раз перечитал официальный вызов в комендатуру.

Мысли были тревожные: «Каким образом я попал на глаза этой арийской оглобле — Альсену? И что он от меня хочет? На арест не похоже, в таких случаях не вызывают. Очень неприятное знакомство, но ничего не поделаешь, придется идти».

Отряхнув выгоревшую на солнце гимнастерку, Бугров направился к помещению комендатуры.

Гауптман Бруно Альсен занимал здание бывших детских яслей — небольшое, чистенькое, недавно побеленное. Одна половина, выходящая на улицу, была рабочим кабинетом, комнаты другой, окнами в сад, служили ему жильем. В дальнем углу огороженного забором двора, где прежде была кухня, разместился комендантский взвод.

Часовой у калитки, которому Гнат Петрович показал повестку, вызвал молоденького унтер-офицера, одетого так, будто он готовился к параду. Унтер пробежал глазами по листку бумаги, пробормотал: «Следуйте за мной!» — и повел Бугрова по выложенной кирпичом тропинке в сад.

Гнат Петрович и раньше слыхал, что Альсен не только сам знает украинский язык, а, к большому неудовольствию всего комендантского взвода, и подчиненных заставляет изучать «местный язык». «Крепко берется за свое дело немчук, — рассудил Бугров. — Надолго оседает здесь, если в изучение языка ударился... Нет, не серенькая птичка залетела в таврийские края».

Гауптман стоял под вишней без мундира, в расстегнутой рубашке, в одной руке держал ведро, в другой — щетку и старательно белил ствол известью. Бугров был удивлен: не белоручка, не брезгует сам взяться за щетку. Откуда было знать Гнату Петровичу, что Бруно Альсен сделал это специально для него, уж очень он любил произвести впечатление на посетителя. Вызовет, бывало, кого-нибудь к себе, а сам — за молоток и постукивает.

Смотри, мол, какой я простак, не только командую, но и мозоли натираю. Начальству Альсен объяснял свои привычки так, что это, дескать, сближает его с «туземцами».

И сейчас Альсен строил из себя вконец захваченного работой. Не сразу обернулся на стук каблуков унтера. И, лишь услышав доклад помощника, отставил ведро в сторону, не торопясь положил сверху щетку и повернулся к Бугрову. Вид у него был недовольный, будто в самом деле оторвали от очень увлекательного занятия.

Унтер-офицер подал повестку, еще раз щелкнул каблуками и, поймав жест коменданта, оставил их наедине.

— Имею к вам разговор, господин Бугров, — сухо начал гауптман. — Вам известно, ради чего гауляйтер Украины разрешил многим русским военнопленным свободно поселиться в Таврии? Причем немецкие власти закрыли глаза на тот немаловажный факт, что вы служили в большевистской армии и наверняка убивали наших соотечественников.

— Мне пока ничего неизвестно, — спокойно ответил Гнат Петрович. — Как вы сами понимаете, господин гауляйтер лично мне ничего о своих целях не сообщал.

— В этом нет никакого секрета. — Альсен прищурился. — Таврия должна кормить армию фюрера. Ваше дело — растить хлеб: сеять, жать, молотить... Мне доложили, что вы отказались выйти в поле. Выходит, вы не хотите помогать армии фюрера?

— Как можно, господин комендант! — с притворным испугом воскликнул Бугров. — Это было бы неблагодарностью немецкой армии, которая даровала мне жизнь, отпустив из концлагеря. Однако по профессии я столяр, ко мне часто обращаются с просьбами помочь по дому. Те же сеятели просят, кто выходит в поле. Кому стол, кому табурет...

— Мне, господин Бугров, нужен хлеб, а не табуреты. Зарубите это себе на носу. А еще хочу вам напомнить: немецкие власти умеют не только миловать за прежние грехи, но и наказать, если необходимо.

— Власть — палка о двух концах, — как бы рассуждая вслух, сказал Гнат Петрович, понимающе покачав головой. — Гуманность необходима, а необходимость гуманна. Такие вот дела... Но при освобождении из лагеря мне сказали, что я могу поселиться в любом рай-

оне Херсонщины, на выбор. К сожалению, в Черной Кринице мне не понравилось, да и нет у меня здесь родственников... Придется искать другое место.

Комендант нахмурился.

— Много позволяете себе, господин Бугров! Несмотря на дарованную вам свободу, вы остаетесь военнопленным. Мне тоже нужна рабочая сила. Понимаете? Ра-бо-ча-я си-ла! А если вы и дальше будете отлынивать от полевых работ, придется вам кое о чем напомнить. — Альсен сделал неопределенный жест пальцами.

«Ого, господин фельдкомендант, или как там ты называешься, ненадолго тебя хватило, ненадолго, — усмехнулся мысленно Гнат Петрович. — Куда и девалась твоя маска вежливости. На простачков рассчитываешь». Умышленно не торопясь, Бугров извлек из кармана листок бумаги с гербовой печатью, подал Альсену.

— Подписано господином Эрлихом, — сказал Бугров. — Вам, возможно, знакомо это имя?

Имя Эрлиха конечно же было известно Альсену, он тут же сменил гнев на милость. Знал, что оберштурмбанфюрер СС Эрлих за спасибо таких документов не раздает.

— О, господин Эрлих! Это совсем другой разговор! Совсем-совсем другой. Какое имеете задание?.. Впрочем, можете не говорить. Я понимаю, я все понимаю.

Гауптман похлопал Гната Петровича по плечу, перевел разговор на вишни, которые обещают хороший урожай, сорт, мол, чудесный, у себя дома, в Тюрингии, он такого не знал.

— Как там у вашего Шевченко: «Садок вишневый коло хаты, хрущи над вишнями гудут...»

Гната Петровича передернуло, он едва сдержался, чтобы не бросить в лицо коменданта что-то гневное, такое, чтобы судорогой свело его холеное лицо, окончательно сорвало напускную маску. «Шевченко, гад, трогает! Да он бы тебя...» Сцепил зубы, промолчал.

Выйдя из комендатуры, Бугров напряженно обдумывал свой разговор с Альсеном, припоминал каждое слово. Не переиграл ли? Этот гауптман — штучка, пальца в рот не клади.

Большие капли дождя падали в пыль, подпрыгивали шариками ртути. Радостно зашелестели деревья, травы, за один миг обновились заборы, будто окропил их дождь свежей краской.

Спрятавшись под крышу разваленной хаты, Бугров корил себя на все лады. Ну почему, почему ни разу не вышел в поле? Вот и получай теперь! Вел бы себя как все, не потребовалась бы эта встреча. Документы сделаны на совесть, и все же козырять ими без крайней нужды не полагается. Вряд ли этой жерди взбредет в голову послать запрос к Эрлиху, которого, к слову сказать, Гнат Петрович и в глаза не видел. Побоится. А если не пересилит любопытства?.. Как бы то ни было, надолго задерживаться в Черной Кринице опасно.

16

Грицко запер хату на замок и совсем переселился в сарай. Так посоветовала Маруся. Будет там — и у нее причина почаще наведываться. Да и лейтенанту пособит мальчонка.

Раненый быстро набирал силы. Крепким оказался человек! Не тело — ствол дерева, мышцы на руках выпирают узлами. Глядя на него, Маруся не раз вспоминала и своего Миколу: шутя крестился двухпудовой гирей. Надо же — и этого зовут Миколой. Или, может, все Миколы похожи друг на друга? Только характер у этого оказался на редкость мягкий, покладистый, не в пример мужу. Грицка и того слушается, будто взрослого!

Гнат Петрович больше не появлялся, зато Маковей забегал часто, подолгу сидел, расспрашивал.

Вот и сегодня пришел.

Достал из кармана кисет, послюнив клочок газеты, скрутил козью ножку.

— Курнем, Коля?

— Не уважаю. Не глянулось мне как-то курево, не соблазнился, да и вред от этого зелья нашему брату летчику.

Сидели в темноте. Лишь самокрутка мерцала.

— Скоро ноги на плечи?

— Терпения нет! Бока отлежал... Всю ночь глазами хлопаю — ребята из эскадрильи мерещатся. Где они сейчас? Кто патрулирует над аэродромом, кто на дальнем задании, кому ждать приказа... Меня, наверное, в списки погибших занесли, упаду им как снег на голову: «Здорово, орлы!» Случалось и такое у нас.

Николай сладко потянулся.

— Эх, завидую тем, кто в небе! — пробормотал Маковей. — Там все ясно: впереди цель, силуэт вражеского самолета. А здесь... Только и дела, что жди!

— А ты и жди, если так приказано, — осуждающе сказал лейтенант. — Помнишь, Суворов говорил: научись подчиняться, прежде чем повелевать другими... Если ты и перед своими товарищами вот так, извини за крутое слово, хнычешь...

Василь затянулся дымом, проговорил глухо, обрывая фразы:

— С товарищами я — как ты вот со мной. А самого тем временем червь подтачивает. Может, прав Матюшка? Оружие добыли бы. Кое-что и сейчас имеется. Собираем понемногу. В самый раз пора настала соли на хвост фашистам подсыпать. Да холуев ихних к праотцам в гости... Этих тварей я не меньше, чем немцев, ненавижу. Бил бы смертным боем!

— Понимаю тебя, парень, ох как понимаю, — почти с нежностью сказал лейтенант. — Всем сердцем. А башка, — постучал кулаком себя по голове, — башка остепеняет: стой, браток, не туда правишь. Дай сердцу волю — заведет в неволю. Присказку эту здесь услышал, умно, между прочим, сказано.

Надолго замолчали. Во дворе бесновался ветер, пошумывал в саду листьями. Навалился посреди улицы на колодезный журавль, раскачивал его, тот скрипел пересохшей уключиной, бряцал цепью по срубу.

— Ждать, Вася, полагается. Вот и я жду своего часа. Сяду за штурвал, тогда мы с ними и потолкуем на равных. Отомщу гадам и за ястребка своего, и за тех, кто в неволе.

Маковей горько улыбнулся.

— Знаешь, есть такая присказка: труднее всего ждать да догонять, старый дом плотить, отца с матерью кормить. Что касается отца с матерью, здесь явный перебор, устарела присказка, а остальное очень даже в точку.

В уголке на старом матраце посапывал сонный Грицко.

17

Когда Гнат Петрович сказал Ковбыку, что в Черной Кринице ему работа не с руки, плата — на еду не хватает, староста расшумелся:

— А ты что — мармеладов захотел? Цацкаются с вашим братом! Вон видишь сук? — ткнул пальцем в окно. — Как раз для тебя. Оставили живым освободители — искупи свою вину, потрудись на великую Германию, а ты еще и носом воротишь — скудны заработки.

Ковбык, покрасневший до шеи, бегал по комнате и, гневно посматривая на Бугрова, продолжал выкрикивать угрозы. А тот стоял, седоволосый, в вылинявшей гимнастерке, комкал в руках фуражку и с презрением думал: «Откуда берется такая сволочь? Притаились, отсиживались, выжидали, и вот теперь... В половодье, ясное дело, всякое дерьмо всплывает. Всплыли и ковбыки».

— Мармелада не употребляю, — сказал Бугров. — Слишком сладок. Пойду в Булатовку, на свежую копейку.

— Не дам аусвайса! На косилку некого сажать, а он, видишь ли, бурлачить надумал.

Гнат Петрович намекнул, что комендант в курсе дела и не возбраняет ему передвижения, куда захочет.

Ковбык потер двумя пальцами сизый нос, что-то обдумывал, возможно, засомневался — верить или не верить этому бродяге. Ведет себя слишком независимо: то отказался выйти в поле, а теперь и вовсе надумал в отход.

— Ты, мужик, случаем, не того? Ну, в самом деле, с господином Альсеном объяснение имел?

— И не того, господин староста, и в самом деле.

Ковбык сел за стол, заглянул в ящик, все еще колеблясь.

— Говоришь, не возражает? Садись, чего стоишь... А я разве возражаю? Да боже упаси! Я только о том, что и в Черной Кринице можно жить припеваючи. Обосновал бы собственную мастерскую, патент на руки и — греби денежки... В конце концов, столяры нам тоже нужны. Жаль отпускать специалиста, да что поделаешь, — затарахтел Ковбык, подавая подписанный документ. — Если бы моя воля...

— Да уж как-нибудь обойдетесь, — не сдержал иронии Гнат Петрович. — Будьте здоровы, господин староста. Возможно, когда-нибудь еще и встретимся.

На улице темнело. Солнце давно уже нырнуло за горизонт, только реденькие кисейные облачка в высоком небе светились его отражением. У околицы кто-то отчаянно наигрывал на гармошке, горланил пьяным голосом частушки.

Гнат Петрович шел к Маковею. Сегодня наконец-то прочел в «Вестнике» долгожданное объявление. Настал и его час. За время пребывания в Черной Кринице успел привыкнуть к ее кривым, но просторным улицам, которые в мае утопали в вишневом цвету, а сейчас стояли наполненные белой пеной акаций. Поймал себя на мысли, что не хочется покидать тихое село. Стареешь, Гнат, стареешь. Тишина, глубокий тыл... Ничего, скоро зашевелится и этот тыл — уборочная, хлеб! А в чьи закрома?..

— Ты понимаешь меня? В чьи закрома — вот как стоит вопрос, парень, — говорил Гнат Петрович Василю Маковею, когда спустя полчаса они лежали под яблоней, вдыхая терпкий запах разомлевшего за день от солнца разнотравья.

— Хотя и сеяли дедовским способом, а уродило, — хмуро ответил Василь. — Весною мы агитировали против посевной, однако мало кто нас поддержал. Крестьянин не любит пустующей пашни. Да ведь и надеются люди на освобождение.

— Не поддержали потому, что вы, ребята, палку перегнули. Чего захотели — не сеять! Врагу не отдать хлеб — это одно. А самим-то тоже есть нужно! Детворы сколько. Людей уберечь надо от голода, товарищ секретарь. Это все наши советские люди! Ну, затесался среди овса овсюг — ничего, прополется...

— Гнат Петрович, может, в хату или в сарай перейдем? Безопасней...

— Наоборот. Здесь нас никто не подслушает. Кто идет — издалека увидим... Весной тебя не поддержали, и это понятно. А крикни сейчас: поменьше хлеба немцам, прячьте на току, в ямы, в степи!.. Для Красной Армии запасайте хлеб, — ого сколько найдется понятливых! Только делать это надо осторожно, с обдумкой, а то и делу не поможешь, и себя и других погубишь... Я сегодня покидаю Черную Криницу. Получил уже и разрешение.

— Гнат Петрович! — растерянно вскрикнул Маковей. — А как же мы?

— Неужто тебе показалось, что я в приймы сюда пришел? И так слишком задержался. — Бугров усмехнулся. — Знаешь такую присказку: в первый день гость — золото, на другой день — медь, а настал третий — домой едь. Это, конечно, шутка, но если серьезно, то... «Приморский вестник» читаешь?

Маковей сплюнул.

— Помойка!

— Там у нас свой человек. Слушай, что нам приказано...

18

С фотографии на нее смотрели немного лукавые глаза Миколы. Левая бровь приподнята вверх. На щеке такая знакомая черная родинка — сколько раз нежно касалась ее губами!

— Прости, Коля, прости, — шептала Маруся. — Живой ли ты, а возможно, и нет уже на свете, все равно прости. Сама не знаю, что со мной сталось...

Упала на подушки, горько заплакала.

Сегодня, поздно вечером, покинул свое убежище лейтенант Николай Кремчук. Выздоровел, набрался сил. Нарядили его под сельчанина, положили в котомку еды — ушел искать дорогу через фронт. А где он, тот фронт? Дойдет ли?

Прощались по одному. Василь, Матюша...

Так уж получилось, что остались они вдвоем... Она беспокоилась, что малый Калина где-то запропастился. Прибежит — захнычет, обидится.

Моргала коптилка, тускло, подслеповато, в сарае плыл запах горелого масла. Все приличествующие в таком случае слова были уже сказаны, пора трогаться, но Кремчук стоял около дверей, будто не хватало сил отлепиться от косяка.

— Мария! Вы так много для меня сделали... Я никогда вас не забуду.

Взял за локоть, несмело придвинул к себе.

И она не сопротивлялась, сама обняла его, сама целовала, так целовала, будто был это совсем другой Микола. Пригрезилось такое на минуту — словно позвал из небытия — или властно заявило о себе женское одиночество, но только, мама родная...

Хорошо, что Грицко прибежал и своевременно положил конец этому сумасшествию.

Уже стихли шаги лейтенанта, ночь проглотила его ладную фигуру, а она стояла около сарая, прислушиваясь к взволнованному стуку сердца. Еле разобрала, о чем спрашивает мальчик.

— Подоила, Грицык, подоила... Вон там в горшочке, свеженькое...

В хате опустилась на колени перед портретом Миколы, виновато смотрела ему в глаза, в крепко сжатые губы, будто ждала, что они скажут ей какое-то слово. Не сердись, Коля, на того лейтенанта, не виноват он, что похож на тебя, это я бестолковая, нашло что-то на меня, примутило разум...

На другой день Маруся пришла к Маковею. Пока в хате сновала по домашним заботам мать, говорили о том о сем, едва ушла — Василь подскочил к ней:

— Что случилось? Я запретил приходить без вызова...

Она потупилась.

— Ничего не случилось, не волнуйся. Я, может, тоже, как Танька, соскучилась по тебе. Этого конспирация не запрещает?

— Оставь шутки! — еще больше нахмурился Маковей. — Говори быстро!

— Ну, замужняя я, так что — не живая? Уже и влюбиться не могу?

Василь растерянно смотрел на нее.

— Какой комар тебя укусил?

— Дай задание... трудное... наитяжелейшее. И не расспрашивай, прошу тебя как друга. Можешь сейчас же поручить мне самое-пресамое?

Под глазами круги, не спала или плакала — не разберешь. Никогда еще Василь не видел ее такой.

— За нарушение правил конспирации объявляю выговор. Вот так... А задание есть, Маруся, и очень сложное. Сам хотел идти к тебе...

19

Стоял июнь 1942 года. По селу ползли слухи, как огромные тени от туч.

— Немцы на Кубани...

— Немцы подошли к Волге...

— Окружен Ленинград...

Супрун замесил глину, давно надо было подправить глухую стену — зацепило еще осенью снарядом. Однако, услышав такие вести, махнул рукой. Матюша сам взялся за мастерок, но отец выхватил из рук, швырнул в чертополох.

— Пусть она совсем развалится! — закричал гневно. — Судьба народа решается, а мы халупой занялись! На черта тебе эта мазанка, когда целые города ворог рушит под корень.

Матюша слушал эти слова, почти проклятия, и протестовать не хотелось. Жаль только было своего же труда — пропадает замес.

— Рано, отец, веру теряете, — сказал Матюша. — Помните снимки ленинградских улиц? По ним, мол, прошли солдаты фюрера. А вышло: сплошное вранье. Сами рассудите: два месяца тому назад захватили, а теперь, видите ли, окружили. Не сходятся концы с концами!

Матюша шумно засопел, затем поплелся в чертополох, вернулся с мастерком.

— Куда ни посмотри, — забормотал отец, теребя черную бороду, — все Кутузовы, все заманивают в глубь страны. Сколько можно заманивать?

— Кто вам сказал, что заманивают? — удивился Матюша.

— Ктокало! Вот был бы ты генералом, тоже не сказал бы — отступаю, а сказал бы — выбираю лучшую позицию. Дай мастерок!

— Спрячете теперь?

— Это уже мое дело, тебя не спрошу... Так говоришь, концы с концами не сходятся? А что, может, и врут. От кого ждать правды? И все же не слышно «грому», значит, фронт далеко уже. Раньше хоть самолеты объявлялись, теперь и их не слышно. — Отец вздохнул. — И в Крыму не гремит...

— Утихло, — с горечью согласился Матвей.

— И те, что листовки на праздник... притихли. Всего на один раз пороха... Эхе-хе, только на это и хватило чернил?..

Матюша искоса посмотрел на отца. Неужели догадывается? А попал точно в глаз. Да, слишком они засиделись в девках.

20

У шлагбаума, на повороте грейдерной дороги из Азовска в Черную Криницу, прислонившись плечом к полосатому столбу, стояла девушка. В руках сплетенная из лозы кошелка. Жара стучала в висках молоточками, по смуглому лицу струйками катился пот. Налетал горячий, как из печи, ветер, крутил у ног сугробики серой пыли.

Часовой, совсем еще юный немчик, сидел в душной будке, с любопытством поглядывал на девушку. Она ему приглянулась — стройная, золотоволосая, с крылатыми бровями. Вспомнилось: давным-давно, когда еще и в мыслях не было, что существует на свете какая-то там Украина, приснилась ему такая вот степная царевна, красивая, будто из сказки...

Немчику очень хотелось подойти к девушке. От старших слышал, что особенно церемониться в таких случаях нечего. Почти влюбленными глазами вглядывался он в загоревшие икры, красивые, обнаженные до плеч руки. Хорошо бы похвастаться потом перед солдатами, как обнимался в будке с золотоволосой степнячкой, пусть бы завидовали, расспрашивали, а он горделиво отмалчивался.

Эта мысль так понравилась, что, преодолев нерешительность, немчик выбрался из будки, бросил за плечо карабин и направился к девушке.

Но пока он раздумывал, как лучше объясниться с красавицей, взять страхом или уговором, к шлагбауму подкатил грузовик, и девушка, будто его только и ждала, подбежала к кабине.

— О, яйка, гут, гут! — услышал немчик.

Мордастый фельдфебель осторожно принял из рук девушки сверток, начал шарить глазами, куда бы его пристроить.

Не успел часовой и глазом моргнуть, как златокудрая уже сидела в кузове и улыбалась оттуда так мило и ласково, словно благодарила за содействие.

Фельдфебель требовательно просигналил раз, второй, и часовому ничего не оставалось делать, как поднять шлагбаум.

Военный немецкий грузовик мчался по пыльной дороге к Черной Кринице. Зажав коленями корзину, в нем сидела Маруся Тютюнник, сидела ни жива ни мертва — дало себя знать напряжение долгого, нелегкого пути. Да и этот у шлагбаума с его похотливой улыбочкой.

Остановилась Маруся вблизи поста, потому что очень устала, не было сил сдвинуться с места, хотя знала: часовые обыскивают проходящих через большак, задерживают при малейшем подозрении. Хорошо, что грузовик подоспел. Жаль, думала теперь она, что не все немцы такие наивные, как этот. Рот разинул на нее, вместо того чтобы проявить бдительность да заглянуть в корзину.

Зябко вздрогнула от мысли: она, комсомолка, возвращается с задания на фашистской машине. Шофер, проклятый враг, за десяток яиц везет ее, подпольщицу. Знал бы он!

...В нескольких километрах от Черной Криницы Маруся постучала в окошко.

— Мне сюда, — показала на колею, ведущую в Калиновку.

— Момент! — выскочил из кабины фельдфебель и потянулся рукой к корзине. — Их помогайт.

— Нет, нет! — испугалась Маруся. — Я сама! Она совсем легкая. Была вот у родственников, угостили рыбкой... Не беспокойтесь!

Фельдфебель сверкнул зубами, достал из кармана словарик.

— Фрейлейн, ви ест красавиц! Я-я, красавиц...

Маруся вышла на калиновскую дорогу, шла, боясь оглянуться, — чего доброго прицепится со своими любезностями. Лишь когда машина исчезла за поворотом, вздохнула облегченно и напрямик, степью, повернула к Черной Кринице...

В тот же день, едва стемнело, в Марусиной хате собрались члены комитета. Приходили тайком по одному. Иван, как всегда, с мандолиной — желтый, похудевший до неузнаваемости, целый месяц трясла малярия, уже и надежду было потерял на спасение, но, видимо, нашлись еще силы в молодом теле, выкарабкался, можно сказать, из пропасти.

— Ничего, — шутил, — костей меньше не стало! Была бы арматура цела!..

— На эту арматуру, — съязвил Матюша, — сала бы хоть с палец...

Пришла Таня, повисла у Маруси на шее.

— Где ты пропадала? Я и вчера и позавчера... Спрашиваю Грицка — отвечает: сам Лыску дою, жду тетю не дождусь.

— Расскажу, расскажу, — отбивалась Маруся. — Подождем Василя.

— При чем здесь Василь? Пусть уж мама, а то и ты... — обиделась Таня.

— Ох, глупенькая, — засмеялась Маруся, — да я же совсем не об этом. Потерпи малость.

Наконец показался Маковей, с порога стал оправдываться:

— На патруль напоролся. Пришлось в кустах отсиживаться... Заждались? Ну, давай, Маруся, выкладывай! Как там?

— Рассказывать не велено.

— Даже так? Не доверяют, или что?

— Почему не доверяют? Если бы не доверяли...

— А ты ее в Азовск посылал, нам ни слова,— вмешался Матюша.— Можно подумать, тоже не доверял?

— Ну, знаешь! — вспыхнул Василь.

— Да хватит вам,— остепенил дружков Иван Климчук.— Чего не поделили? В конце концов, осторожность в таком деле никому не вредила.

— Слишком вы все осторожные! — не утерпела Таня.— А Маруся больше других.

— Ну уж если и Маруся...— иронически бросил Матюша.

Маруся сердито топнула ногой.

— Вы что — на ссору собрались? Посмотрите лучше, какой я рыбки привезла! Таня, тащи сюда корзину, под печью она, самую большую в миску клади. На всех хватит.

Матвей наклонился над корзиной, взвесил на ладони плоскую камбалу.

— На сковородку просится. Однако не за этим уловом посылал тебя Маковей.

— Не за этим Матюшенька, не за этим,— засмеялась Маруся, перекладывая ловкими движениями рыбу в миску.

На дне корзины лежал сверток с типографским шрифтом и резиновый валик, от которого несло запахом незнакомой краски.

— Это и все? — разочарованно пробубнил Матюша.

— А ты хотел бомбу? — въедливо спросил Маковей.— Да это, если хочешь знать, пострашнее бомбы. Ясное дело, в умелых руках. Знать бы, как этой штукой пользоваться?

— Я знаю! — вскочил Климчук.— У меня товарищ работал в типографии, Котька. Показывал, не сложно это. Станок нужен, но его и самим посильно сделать. Поручите мне!

Маковей взмахнул рукой, призывая к спокойствию.

— Тихо! Чего раскричался? А говорил еще об осторожности... Давайте, товарищи, решим, где обосновать типографию. Предлагаю на старой водокачке. Там, где зерно прятали. Согласны?.. Ответственный Климчук.

Разберись, Ваня, что к чему. И чтобы завтра этого подарка у тебя в доме уже не было. Это приказ. Вопросы есть? Расходимся по одному.

Таня осталась ночевать у подруги.

— Скажи, Маруся, тебе страшно было?

— Не стану обманывать, Таня, так страшно, что сейчас и не верится, что это я там была. Особенно в дороге...

Подруги легли в постель, обнялись, и Маруся начала вспоминать, как шла из Азовска, ожидая каждую минуту окрика, как спаслась, благодаря недальновидному фельдфебелю, от обыска. Передразнила: «Фрейлейн, ви ест красавиц».

— Ой, Маруся, я бы умерла там! — всплеснула в ладони Таня. — Это только ты можешь, честное слово!

Маруся покачала головой, сказала непривычно строго:

— И ты сможешь, если надо будет. Какие же мы тогда комсомольцы?

21

Два дня Грицко Калина был занят довольно-таки скучным делом. Шастал по дворам в поисках проволоки. Нашел у себя за сараем два прута — бывшее свое «охотничье» оружие — да у Михая Опришко стащил такие же самые. Упругие, стальные, с крепко привернутыми гайками на концах. С ними ребята зимой ходили на зайцев. Весной отправлялись в мокрую падь, где водилось множество бекасов. Надо было только умело метнуть прут, чуть повыше птицы. Глупый бекас, почувствовав опасность, тут же взлетает вверх — и попадает под звенящую сталь.

А летом, в косовицу, — перепелиный сезон. Перепелки в это время тяжелые, заплывшие жиром. Выпархивают из-под хедера комбайна, бегут по жнивью, потому что поднять себя на крыло не могут. Тут и начинается ребячья охота. Всего в ней предостаточно: и наивной радости, и неосознанной жестокости.

А после пылает в степи костер. Дичь жарится, нанизанная на прут, как есть. Перья сгорят, а внутренности — вот где хлопот! — можно и потом выбросить. Мясо перепелки вкусное и нежное. Плывут над костром соблазнительные запахи, падает капельками на хворост, шипит птичий жир...

Давно не хаживал по степи с железным прутиком Грицко. Не те у него теперь заботы.

Вот и сегодня — надо нарубить проволоки, целую вязанку, так велел Матюша.

— Зачем тебе столько?

— А борода у тебя растет?

— Еще чего выдумал!

Все-таки, будто нечаянно, пощупал рукой подбородок.

— Стало быть, пойдет в рост! — весело пообещал Матюша. — Раз хочется тебе так много знать. Соображаешь?.. Между прочим, то, что ты делаешь, — тайна. Кроме нас, никому не положено знать.

Тайна? О, это другой разговор. Тайны Грицко обожает.

Пересчитал нарубленную в сарае проволоку. Мало. Матюша сказал: вязанку. А сколько это — вязанка?.. Бросил на полку отцово зубило, молоток, отодвинул в угол железную болванку, побежал к кузнице.

В глубине души Грицко считал себя обиженным.

Кто спрятал в скирде раненого летчика? Он, Грицко. Кто подарил Матюше пистолет и две гранаты? Снова-таки он. А Матюша, видишь ли, и словом не обмолвился, что в ту субботнюю ночь лейтенант покидает Черную Криницу. Не появись он, Грицко, случайно в последнюю минуту, так и ушел бы летчик, даже не попрощавшись. А ведь договаривались с ним во время болезни о том, чтобы вместе перейти линию фронта. Надеялся: едва они перешагнут через эту загадочную линию, первым на той стороне, у наших, их встретит отец. Сколько раз торопил лейтенанта. Но тот успокаивал: успеется. Он и котомку приготовил: сухари, кусок старого, уже пожелтевшего сала, соли в узелок насыпал. Когда-то в эту котомку мать укладывала ему харчишки на пастьбу. Нет теперь матери, засыпали ее глинистой землей, нет со вчерашнего дня и Лыски — увели немцы, чтобы их, иродов, самих водило-переводило!

Ушел и лейтенант, ушел один. Развеялись мечты о встрече с отцом.

Котомку он, впрочем, бережет: как поспеют яблоки, пустится в путь-дорогу в одиночку. Почему именно тогда, как поспеют яблоки, и сам не знал. Может, потому, что яблоками из садов можно кормиться, не прося подаяния, не заходя ни к кому в дом. Жаль, правда, что

без компаса придется, а у летчика был компас, сам видел, когда шли они к скирде...

Около кузни Грицку повезло, вернулся с проволокой. Была она старая, почти красная от ржавчины, но Матвей сказывал, что ржавчина не помеха.

Снова откатил из угла на середину сарая болванку, взял в руки зубило, молоток. Зубило обернул тряпкой, чтобы не очень звенело, а болтанку закопал, сровнял с полом.

Грицко рубил проволоку, а мысли улетали далеко, шли вслед за лейтенантом к фронту. И напрасно фашисты пытались выстрелами из орудий остановить его мечты. Летели они прямо к отцу.

Грицко задумался, ударил по пальцам, брызнули слезы из глаз.

— Вот тебе на!

В дверях сарая стоял, улыбаясь, Матюша.

22

— Я верю в такой день. И хочу, чтобы в тот день было много солнца. И цветов... Чтобы люди смеялись и пели песни... А небо голубое-голубое и чисто подметенное...

— Ой, Вася, как ты смешно говоришь! Подметенное небо... Ха-ха!

— Тебе только бы насмехаться. А чистоту все любят. И небо тоже! Ветер его подметает. Скажи-ка лучше, кого позовем на тот наш праздник?

— Всю Криницу! Я буду такая счастливая!.. Пусть каждому достанется хоть капелька моего счастья.

— Только когда же это будет, а, Таня? Когда?

Оба вздохнули, умолкли.

Вздыхают и сумерки, грустно шепчутся в верхушках деревьев. В конце улицы клубится под копытами пыль. Мчится наметом верховой. Наверное, кто-то из полицаев. Носятся, как черти. Напрямик через огороды возвращаются из степи криничане, утомленные, загоревшие до черноты. В поле сейчас не легче, чем во времена барщины, о чем молодежь знает только по книжкам. То Ковбык вертится, лает, как собака, то из стаи Шефнера торчит надзиратель. Да и сам комендант Альсен не забывает наведываться. Не знаешь, откуда и ждать напасть.

Таня тоже только что с поля. И хотя к дому протоптана тропинка покороче, она пошла верхней дорогой,

что тянулась по косогору к кузнице, а оттуда вниз к полуразрушенным колхозным фермам. Внизу, как раз на перекрестке дорог, стояла хата Маковеев.

Василь был уже дома, пришел недавно с мельницы. Стоял, подпирая плечом калитку, выглядывая на тропе знакомую розовую косынку.

Отец вкопал когда-то в палисаднике одноногий стол и две скамеечки. Любил посидеть в выходные дни с приятелями среди зелени за шахматами. Летом за этим столом ужинали, на свежем воздухе и еда приобретает особенный вкус.

Вот здесь как-то и состоялся этот разговор. Не впервые уже затевал его Василь, давно предлагал Тане выйти за него замуж, но не мог ее переубедить.

— Не могу, Василек, славный мой, пойми! Люблю только тебя и буду верной женой... Но не сейчас!.. Сама рвусь к тебе. Вот и сегодня бежала из степи, чтобы скорее свидеться... Но как вспомню, сколько крови льется! Брата, может, и в живых нет... Сердце обрывается. С ущербинкой, Вася, будет наше счастье, как вон тот месяц за тучками.

Василь мял в пальцах ярко-желтый цветок бархотки, несмело возражал:

— Ущербно — если бы мы сидели, как воробьи под застрехой. Но ведь мы боремся! Сделали мало, это верно...

— В день Победы, Василек, согласен? Мы будем по-настоящему счастливыми.

Вот тогда Василь и сказал:

— Я верю в такой день. И хочу, чтобы в тот день было много солнца. И цветов...

Они сидели за столиком — сероглазая девушка с шелковистой косой за плечами и худощавый юноша, чубатый, с ласковым взглядом из-под выпуклого надбровья. Вокруг палисадника раскинулся целый мир — беспокойный, тревожный. Мир этот любил и ненавидел, боролся и жил. И они боролись и ненавидели — и любили тоже.

— С Викентием Остаповичем разговаривала?

— Да. Он не против, даже обрадовался. Но сам подумай: какая из меня медсестра, Вася?

— Научишься, другие умеют. Надо.

— А если немца привезут? Этими руками буду его перевязывать?

— У них свои больницы. Госпитали! А случится, и немца перевяжешь. Пойми, Танюша, так надо!

Из глубины вселенной сорвалась первая звезда. Таня заторопилась:

— Мама будет сердиться. Она и так упрекает: где тебя нечистая носит?

Василь долго смотрел ей вслед. Вдруг около двора остановилась телега. С передка спрыгнул незнакомый мужчина в запыленной майке, воткнул кнут в какую-то щелочку в ограде, повесил на кнутовище вожжи.

— Не найдется ли для путника холодной водички?

— Мама! — крикнул Василь в окно. — Вынесите попить приезжему.

— Между прочим, фиалка пахнет ночью.

Слова пароля прозвучали так неожиданно, что Василь растерялся.

Незнакомца это насторожило. Он быстро отошел к лошади, принялся ладить сбрую. Услышав наконец ответ, недовольно произнес:

— А я уже грешным делом подумал, что не в свои ворота заехал... Слушай, парень, внимательно. Через неделю буду возвращаться с солью от моря. Приготовьте оружие, какое только сможете добыть. Заберу для Логвиненко. Очень нужно, особенно гранаты. Это приказ Центра...

Подошла мать с водой. Незнакомец одним духом опростал кружку, плеснул себе на грудь остаток, довольный, хлопнул в ладони, усмехнулся:

— Спасибо, мамаша, дай вам бог здоровья, легче стало. Извините за беспокойство. Поехал чумаковать... Н-но! Застоялись... Может, и вам завезти соли, а? На обратном пути! Для хороших людей не жаль.

— Заезжайте! — крикнул Василь. — Только небогаты мы.

— Сговоримся.

Телега затарахтела и исчезла.

— Ну, зачем бы это я чужому человеку голову морочила? — упрекнула мать. — Соли, правда, в обрез, да не побирушки же мы.

— Соль всегда пригодится, — хозяйственно рассудил Василь, чем очень удивил родительницу. Раньше он о таких вещах и не заговаривал.

23

Двадцать второго июня, в годовщину войны, немцы установили на площади напротив паровой мельницы

мощный громкоговоритель. Полицаи ходили по хатам, сгоняли криничан слушать какого-то гауляйтера.

Больше всех старался Смола. Вчера гауптман Альсен объявил ему благодарность за то, что он нашел за домом Климчука в загате несколько спрятанных там винтовок с патронами. Комендант намекнул, что если он и дальше будет так преданно служить фюреру, то его не минет солидная награда. Какая — гауптман не сказал, однако Смола тешил себя мыслью если не об офицерских погонах, то по крайней мере о месте начальника полиции. У этого фольксдойча Шефнера только и заслуг, что от предков немецкая кровь, а сам дубина дубиной. Корчит же из себя бог знает что. Вот бы кому нос утереть!

На оружие Смола натолкнулся совершенно случайно, а в рапорте доложил, будто давно уже держал Ивана Климчука на подозрении как большевистского агента. Отец в Красной Армии, старший брат перед войной учился в военном училище, сейчас, наверное, офицер, а что же в таком случае представляет из себя Иван? Смола, правда, понимал, что, действуя по такому принципу, пришлось бы арестовать полсела, но это его не беспокоило. Винтовки — факт? А загата чья?

Обнаружив оружие, Смола так возрадовался, что растерялся поначалу: нести винтовки в полицию или сразу связать руки Климчуку, чтобы предстать перед начальством в полном триумфе. Побаивался: а вдруг не удастся схватить Климчука неожиданно — еще шарахнет сгоряча, комсомолия эта отчаянная. Раз прятал винтовки, наверняка и в кармане пушку носит. В конце концов желание выслужиться победило страх, глотнул для храбрости из фляги, которая всегда была при нем, и постучал в двери.

— Кто там? — окликнула София.

— Тетка Соня, откройте, дело есть к Ивану, — произнес спокойным голосом Смола, чтобы не вызвать подозрения у женщины. — Днем намеревался заскочить, да все дела, чтоб им пусто было... Не узнаете, что ли?

— Узнала, кто тебя не знает. Ивана-то дома нет.

— Эка досада! Куда же это его понесло на ночь глядя?

— Знамо дело, куда вы все ходите, когда свечерест!

На большее у Смолы терпения не хватило.

— Откройте! — гаркнул он. — Некогда мне с вами лясы точить! Вы что — забыли, кто я?

Ворвался в хату, забегал из угла в угол, даже в печь заглянул.

— Показывай, старая ведьма, куда спрятала своего комсомольца! А то и тебе достанется заодно с ним!

Запер Софию в кладовке, а сам притаился в сенях, уверенный, что вот-вот скрипнет дверь и покажется Иван.

Не знал Смола, что пока он раздумывал у загаты, молодой Климчук едва не столкнулся нос к носу с ним.

Именно в тот вечер Иван собирался перенести винтовки в усадьбу Маковея. У Василя уже было припрятано десятка полтора винтовок и два автомата, да у него хранилось еще четыре. Вскоре по дороге с Сиваша за оружием должен был заехать «чумак» с солью.

Занятый своим типографским заданием, Климчук промедлил и не сразу выполнил Маковеев приказ. Винтовки эти он берег еще с осени, тайком подобрал в те дни, когда через село проходил фронт, вырыл в загате гнездо и, по-хозяйски завернув в тряпье, спрятал. Пусть лежат, пригодятся. И пригодились бы, если бы Смола не пронюхал...

Увидев полицая, разматывающего мешковину, в которую были завернуты винтовки, Климчук попятился и побежал к Маковею.

— Растяпа! — разгневался Василь. — Тоже мне нашел место для хранения оружия.

— Столько лежали, и ничего, — оправдывался Ваня. — Может, куры разгребли...

— Мать о винтовках знает?

— Откуда ей знать?

— Смотри мне! Сделаем так: домой тебе дорога заказана, иди на водокачку, сиди — и ни звука. Мать предупредим. Ясно? После что-нибудь придумаем.

Смола просидел в сенях до рассвета.

Разъяренный неудачей, погрузил винтовки на тачку и, воспользовавшись тем, что начальник полиции Шефнер был в Азовске, погнал Софию с тачкой через село прямо в комендатуру к Альсену.

Женщина плакала, останавливалась на каждом повороте, он грубо понукал ее, принуждая двигаться вперед.

Гауптман придал находке большое значение, внимательно рассматривал винтовки, щелкал затворами и молча ставил рядком вдоль стены. Смола нервничал, по собственному опыту зная, что молчание офицера предвещает грозу.

Так оно и получилось.

Комендант смерил его тяжелым взглядом, пренебрежительно бросил:

— Остолоп!

Смола не понял визгливого выкрика коменданта, учтиво переспросил:

— Что вы изволили сказать, господин комендант?

— Молчать! — гаркнул Альсен. — Я сказал, что ты кретин, а не полицай! — Ткнул пальцем в угол, где сидела заплаканная София. — Кого привел?

— Хозяйка той хаты, где было оружие, — объяснил Смола с достоинством. — Фамилия ее Климчук, зовут — София.

— Винтовки прятала баба? Ты хочешь, чтобы я в это поверил?.. Немедленно отпусти!

— Ясное дело, не она, — согласно закивал головой Смола. — Сынок ее, между прочим, комсомолец... Идите, тетка София! Господин комендант отпускает вас.

Оставшись один на один, Альсен дал волю гневу.

— Кто служит в полиции? — кричал он, потрясая кулаками. — Бездарь! Сборище каких-то дегенератов! Не баба прятала это оружие, а ее щенок! Сам же говоришь! Это абсолютно ясно, как и то, что ты стопроцентный идиот! Где ты видел, чтобы мать выдала родного сына? А раз так, для чего арестовывать старую женщину? Чтобы все на тебя пальцем тыкали?.. Нам не шумиха нужна, а тихая работа! Понял? Нужна тайная слежка. И вскоре мы бы знали все и всех взяли. Или ты решил, что Климчук один, больше таких, кто накапливает оружие, в селе нет?

Комендант, расходившись, стучал сапогами по полу, Смола ежился от страха.

— Климчука ты, конечно, вспугнул, и он теперь спрячется. Но рано или поздно наведается к матери. Потому я и отпустил эту бабу, от нее все равно ничего не добьешься. Тем более она наверняка ничего не знает. Иди!

Смола крутнулся на каблуках.

— Момент! Завтра доложишь мне, с кем водит дружбу этот Климчук... Расспрашивай осторожно, не натвори снова глупостей... А в общем ты заслуживаешь поощре-

ния. Винтовки — это уже кое-что... Вернется Шефнер, скажи, чтобы зашел ко мне. А сейчас мне нужен Ковбык. Иди!

Гауптман Бруно Альсен чувствовал: наступают тревожные дни. До сих пор он радовался, что судьба забросила его в эти неоглядные степи, где партизанам негде развернуться. Из других мест на этот счет поступали совсем невеселые вести. Приятель — комендант из-под Чернигова — потерял половину охранного взвода за каких-нибудь полтора месяца. Там почти фронтовая обстановка. Здесь рай земной, тишина. Четыре винтовки этот шалопай Смола мог насобирать и в глиняных карьерах. Но если не врет — симптом неприятный. То листовки, то оружие. Винтовки аккуратно смазаны, стволы прочищены... А может, тревога напрасна? Кто-нибудь из красноармейцев затолкал их по команде старшего под эту, как ее... фу, черт, загату, когда отступали. Не исключено, но вряд ли. Неужели и здесь скапливаются партизаны?..

Ковбык появился быстрее, чем ожидалось.

— Хочу сообщить вам, господин староста, приятную новость, — важно заговорил комендант. — Немецкое командование согласилось помочь нам в уборке хлеба. Через несколько дней сюда прибудут солдаты фюрера. С транспортом. Расквартируйте их, но так, чтобы они были в пределах видимости друг для друга.

Каждое слово коменданта Ковбык сопровождал кивком головы.

— Вчера я разговаривал с Мелитополем, — продолжал Альсен. — На каждую общину выделены новые косилки. Значит, и вам перепадет несколько штук. Людей отправьте в город сегодня же, документы на них будут выписаны. Если не найдете, кому поручить это дело, то езжайте сами. Все ясно?

— Слушаюсь, господин комендант.

— Сегодня же!.. Теперь докладывайте, что у вас. Если вы...

Ковбык поспешил прервать шефа, опасаясь, что тот разойдется в поношениях, а тогда его трудно остановить. Гауптман, видите ли, считает, что это наиболее подходящий способ улучшить свои знания украинского языка.

— Лобогрейки отремонтированы, хоть сейчас запрягай, а с комбайном ничего не получается. Мастерские сожгли большевики, из нескольких машин собираем одну, но чего-то там недостает. Комбайн, конечно, поставим на

колеса, однако нет трактора. Где же, господин комендант, локомобиль? Вы обещали.

— Локомобиль — моя забота, а ваша — комбайн. Используйте, как молотилку. Кстати, кто те люди, которые его ремонтируют?

— Механик Василь Маковей, господин комендант. Парень головастый.

— Пообещайте ему от моего имени вознаграждение, пусть постарается... К осени мне обещан «Ланцбульдог». Знаете, что это такое?

Ковбык поднял глаза к потолку.

— Догадываюсь, господин комендант! — радостно воскликнул он. — Есть такая собачья порода...

— Почти угадал, — усмехнулся гауптман. — «Ланцбульдог» — это трактор.

Альсен хотел сказать что-нибудь едкое в адрес старосты, но, взглянув на часы, заторопился. Через полчаса должны были передавать по радио речь гауляйтера Украины.

24

Площадь перед мельницей давно не видела столько народа. Полицаи еще с рассвета выгнали из хат и стариков, и детей, а чтобы никто не сбежал, перекрыли улицы.

Шло время, но громкоговоритель на столбе упорно молчал. Безжалостно жгло солнце, от сотен перегретых тел в безоблачное небо плыло марево. За грязными, покрытыми паутиной окнами мельницы слышался гул паровых двигателей.

Наконец громкоговоритель захрипел, прокашлялся, и диктор сообщил «уважаемым господам», что «гауляйтер Украины, проявляя добрую волю, желает обратиться к ним с программной речью».

— Гляди-ка, а мы и не знали, что он добрый, — не сдержался старый Супрун.

Люди вокруг засмеялись.

Услышав смех, Смола угрожающе взмахнул нагайкой.

Тем временем из громкоговорителя раздался голос гауляйтера. Чужие, отрывистые слова падали в толпу, как лай раздраженной дворняги: гел-гел, гел-гел...

Но вот заговорил переводчик, и то, что он сказал, поразило криничан в самое сердце. Выходило так, что

немцы побеждают на всех фронтах. Армия фюрера давно могла бы захватить и Москву, но не делает этого лишь из гуманных соображений. Дело в том, что большевики заминировали Москву и угрожают взорвать столицу вместе с населением. Сейчас немецкие войска готовят большую операцию, после которой Красной Армии ничего не останется, как сложить оружие.

Над огромной толпой нависла напряженная тишина. Слишком уж жуткими показались слова из громкоговорителя.

И вдруг эту тишину, словно взрыв гранаты, встряхнул звонкий девичий голос:

— Вранье! Товарищи, не верьте! Все это выдумки! Немцев давно прогнали от Москвы!

Все кругом загудело, заходило ходуном, в стоголосом гомоне утонуло хрипенье громкоговорителя.

Альсен, сидевший до сих пор неподалеку на тачанке, вытирая платочком пот, наклонился к Ковбыку и что-то сказал ему раздраженно. Полицаи бросились в толпу, прокладывая себе дорогу нагайками. Но попробуй найди того, кто кричал, в такой уйме людей. Первым это понял, пожалуй, сам гауптман, он поднялся на тачанке, грозно взмахнул над головой стеком.

— Ти-хо! Слушать дальше!

Толпа нехотя стихала. Полицаи остановились, все еще вглядываясь в людские лица.

Снова стал слышен хриплый голос из громкоговорителя.

— ...Если украинцы сначала встретили новый порядок в Европе с недоверием, то сейчас они уже полностью поддерживают хозяйственные начинания немецких эмиссаров. Жители городов энергично помогают восстанавливать предприятия, крестьяне охотно трудятся на полях. Они понимают...

Что понимают крестьяне, так и осталось неизвестным.

Огромной силы взрыв встряхнул воздух. Следом за первым взрывом прогремел второй — немного послабее. Из окон мельницы посыпались стекла, остановились двигатели, в оконные проемы повалил пар — лопнули котлы.

В один миг все на площади смешалось. Толпа всколыхнулась, хлынула к мельнице. Люди обтекали здание, не решаясь заглянуть вовнутрь. Запричитали женщины.

Пожалуй, впервые в жизни гауптман растерялся. Как только прозвучал взрыв, он соскочил с тачанки и кинул-

ся к мельзаводу. Перепуганный денщик хватал его за руку, умоляюще заглядывал в глаза:

— Герр гауптман, куда вы? Там опасно!

«И в самом деле, зачем я бегу?» — опомнился Альсен. Увидел Ковбыка.

— Что случилось, господин Ковбык? Вы можете мне объяснить, дьявол вас забери, что случилось?

Староста молчал. Он сделал неясное движение руками, будто всплеснув ими, и показал глазами в небо. Гауптман тоже посмотрел вверх. Прямо на него, покачиваясь в воздухе, опускалась стайка белых листков.

Листовки! Только их и не хватало. Все события этого дня сразу же выстроились в голове коменданта в один ряд. Все связалось в один узел. Теперь по крайней мере понятно: взрыв на мельзаводе не случайная авария, а подготовленная диверсия! Быть может, приуроченная к этой неумной затее с трансляцией речи гауляйтера.

— Вызвать комендантский взвод! — бросил он денщику.

Ноги отяжелели, перестали слушаться. Горячая волна злобы ударила в голову. Гауптман выхватил пистолет и принялся расстреливать в упор снижающиеся белые листки. Полицаи лезли в толпу, стегали нагайками тех, кто подбирал листовки. Никто не мог понять, откуда они берутся. Будто рождались где-то под солнцем и падали, падали...

Точно в назначенное время Матвей Супрун оголил кончик бикфордова шнура и чиркнул спичкой. Убедившись, что огонь побежал внутрь обмотки, засыпал шнур шлаком. Дрожал не от страха, а от нетерпения — давно ждал такой минуты и был счастлив.

Когда прогремел взрыв, Матюше показалось, что на него валится стена. Грохнули внизу сорванные с петель двери в кочегарку, с мышиным шорохом посыпалась глина. Вторым, точно рассчитанным взрывом на жестяной крыше в небо над мельницей, над площадью взметнуло пачку листовок. Проводив их пылающим взглядом, Матюша поспешно заковылял по ступенькам в разрушенную кочегарку.

На площади тем временем началась облава. Полицаи и комендантский взвод окружили часть людей, оказавшихся у здания мельзавода, притиснули их к высокой кирпичной стене. Кто попроворнее, лезли в разбитые

окна, надеясь скрыться от неминуемой расправы, однако повсюду шныряли солдаты с карабинами в руках, угрожающе кричали: «Цурюк! Цурюк!»

Начался повальный обыск.

25

Взорвать мукомольное предприятие подпольный райком намеревался еще с весны. Перед тем как покинуть Черную Криницу, Бугров сказал Маковею:

— Это крайне необходимо! Завод работает день и ночь. Считай, целую фашистскую армию кормит.

...Комсомольцы перебрали множество вариантов. Матюша стоял на своем:

— Две-три гранаты в котлы — и точка! Беру на себя.

— Ну а дальше! Дальше что? — спрашивал Василь.

— Дальше иду и докладываю: «Задание выполнено!»

— Сомневаюсь.

— Что-о?

— Сомневаюсь, говорю, что тебе удастся доложить. Разве что попросишь фрицев: подождите, не трогайте, пока отрапортую.

— Очень смешно! — обиженно загудел Матюша. — Ладно, пусть будет по-твоему. Что ты предлагаешь?

— Гнат Петрович говорил, что диверсию необходимо провести осторожно, без лишних жертв. Это приказ партии!.. Нас и так мало. Иван уходит в плавни к Логвиненко... Между прочим, Гнат Петрович требовал строгой конспирации, однако разъяснил, что это не означает — прятаться от людей за семью замками.

— К чему ты ведешь? — спросила Таня.

— Давайте дадим объявление: кто хочет записаться в подпольщики — обращайтесь к Василю Маковею, — засмеялась Маруся.

— Придумай что-нибудь поумнее, — не поддержал шутки Маковей. — А веду к тому, что надо найти общий язык с рабочими мельницы. Без их помощи нам не обойтись... Да и зачем обходиться?.. Те же люди, наши сельчане... И еще одно. Взрывчатка есть, а что толку, когда ни шнура, ни детонатора... Где взять их? Может, Маруся знает?

— Знаю.. В Азовске.

Маковей вздохнул.

— Больше негде. Завтра с утра и отправляйся...

...С машинистом паровой мельницы Кононенко Василь нашел общий язык быстро.

Илья Лукич, пожилой, седой уже человек с широкоскулым морщинистым лицом, до войны был приятелем старого Маковея. Любили ходить вместе на охоту. Зимой бродили знакомыми с детства балками, оврагами, добычу делили всегда поровну.

Как-то подстрелили только одного зайца, посмеялись и, чтобы не нарушать раз и навсегда условленного порядка, разрезали куцехвостого пополам. Так и пришли домой — из одного ягдташа высовывались уши, а из другого — задние ноги.

— Можешь рассчитывать на меня, — сказал Илья Лукич, — у самого руки давно чешутся. Я их еще в восемнадцатом бил, а теперь, видишь ли...

Заговорили о кочегарах.

— Павлушке верю, как себе, — сказал Кононенко, — был в истребительном батальоне, в армию не взяли из-за бельма на глазу. А Симеонов — этого надо остерегаться, не нашего поля ягода.

Михаил Симеонов появился в Черной Кринице вскоре после того, как пришли немцы. Приехал с женой, откуда — никто не знал. Поселился в заброшенной мазанке, жил тихо, незаметно.

Когда Илью Лукича привели под конвоем на мельницу, Симеонов был уже там, вертелся около Капгофа, местного немца, которого Альсен назначил директором предприятия. Нехитрые обязанности кочегара Симеонов исполнял старательно, после смены торопился домой, ни для кого не было секретом, что он побаивается жены, дебелой и на редкость горластой женщины. Илья Лукич не любил его, хотя толком и не знал, что за человек этот Симеонов.

Павел Чубко, которому он открылся после разговора с Василем, не называя, естественно, имени Маковея, сказал о Симеонове:

— Шкура! Другого слова и не подберешь. Не доверяйтесь ему, Лукич, сторонитесь беды.

— Доверяться не собираюсь, а поговорить не мешает.

...Перед концом смены машинист облазил с масленкой двигатель, осмотрел карданы, ремни и, вытерев паклей руки, зашел в кочегарку. Симеонов как раз набрасывал в топку уголь, стоял около манометров обнаженный до пояса.

Илья Лукич скрутил цигарку.

— Дай прикурить.

Симеонов молча выхватил клещами из топки уголек.

— Шабаш?

— Чубка где-то черти носят.

Илья Лукич поддел ногой кусок угля.

— Антрацитик. Не тот, правда, что был у нас до войны, но все же... Видимо, власти ценят наш заводик, раз не жалеют угля.

— Хлеб подороже угля.

— Важный, так сказать, объект... А табачок, между прочим, удался. Хочешь?

— Можно.

— А мы, значит, в этом деле помощники.

— Что?

— Помощники, говорю.

— Не нравится?

— Почему не нравится? — пожал плечами машинист. — Разве я это сказал?

— Да нет, ты лишнего не скажешь. А теперь, Лукич, я тебе скажу. Не разводи вокруг меня политики, катись-ка она корове под хвост! Не для того я в глухомань забился, чтобы жить и все время оглядываться. Коммунисты что-то не поделили с Гитлером, мне до этого нет дела. — Симеонов сплюнул прямо в пламя, распахнув двери топки. — Живу, никого не трогаю. Хочу, чтобы и меня оставили в покое. Вот это и вся моя нынешняя политика, господин-товарищ машинист. Надеюсь, мы поняли друг друга?

— Нынешняя, значит, — не удержался Илья Лукич. — Чего же тут не понять. Только откуда ты взял, что я хочу втравить тебя в политику?

— По глазам вижу, — буркнул Симеонов, отводя взгляд.

Помолчали.

— В глухомань, говоришь, забился... А родом-то откуда? Или это тоже — политика?

Симеонов присвистнул.

— Где был, там уже нет.

Илья Лукич, изображая усталость, зевнул, бросил в топку самокрутку.

— Когда-то наш сельский батюшка говорил: «Каждому человеку уготовано господом богом нести свой крест — кому тяжелый, кому легкий». А ты, значит, уже отрекся и от тяжкого, и от легкого. Пусть другие несут его. А в этом ведь своя политика. Можешь с ней и выжить,

а можешь... — Илья Лукич весело засмеялся, похлопал кочегара по голому плечу. — Ну что ж, извини за откровенность. Не со зла я все это. Живем и работаем рядом.

Кононенко поднялся по ступенькам вверх, в машинный зал, и здесь его прорвало:

— Гнида! Хочешь выжить за чужой спиной? Посмотрим...

Готовясь взорвать котлы, подпольщики действовали осторожно, никто из посторонних в кочегарку не заходил, а все подготовительные работы делал Павел Чубко во время своих дежурств. Однако Симеонов то ли заметил неладное, то ли что-то заподозрил, вскоре зашел в машинное отделение будто бы за тем, чтобы сообщить о подтекающих трубах, а в конце разговора сказал:

— Кажется, Лукич, ты обиделся на меня? А зря. У меня ведь тоже есть свой крест... И не легче твоего, быть может. Я мог бы на твои вопросы ответить в другом месте. Но это уже была бы политика, которой я, как ты уже знаешь, избегаю...

На этот раз промолчал машинист. Рассказал обо всем Маковею после смены.

— Похоже на угрозу, — сказал Василь. — Ну что же, и мы не станем с такими ловкими «политиками» церемониться.

На заседание подпольного райкома Василь впервые пригласил Кононенко.

— Знакомьтесь, товарищи, — с улыбкой сказал он. — Машинист паровой мельницы Илья Лукич Кононенко, о котором я вам уже рассказывал. А это члены нашего райкома.

Илья Лукич улыбнулся, сердечно пожал всем руки.

— С кем же здесь знакомиться? Росли на моих глазах... Вот только не знал, что вы и есть тот самый «районный комитет»... Помнишь, Маруся, как сердилась на меня: «Зачем зайца застрелили?» Сколько тогда тебе было?

Маруся смутилась, вздохнула:

— Помню, Илья Лукич, все помню. Давно это было, словно в какой-то другой жизни.

Она только что вернулась из Азовска, принесла и шнур, и детонаторы в той же самой камышовой кошелочке под камбалой.

На этот раз путешествие прошло без особых приключений, в дороге никто не обратил на нее внимания — много людей бродило в поисках еды в то голодное лето. Меняли одежду на продукты, на мыло, на самодельные спички. Кто в город, кто из города...

Она была еще под впечатлением последней встречи с Бугровым. Чуть не лицом к лицу столкнулась с ним на улице в Азовске. Одет по-городскому, в фуражке. Даже не поздоровался, а узнал же, видела, что узнал. Наверное, так надо.

И лишь позже, когда стемнело, он разыскал ее у знакомых...

— Диверсию проведем на дежурстве Симеонова, — говорил тем временем Маковей. — Сразу же распустим слух, что в угле оказалась мина замедленного действия, заложенная при отступлении советских войск.

— А если уцелеет? Ну, этот Симеонов? — спросила Таня. — Он же выдаст!

— Предвидено и это, — объяснил Илья Лукич. — Я-то ведь тоже буду поблизости.

— Не перестарайтесь, — предупредил Матюша. — Разом с котельной может и машина полететь к черту в зубы!

Василь наклонился, шепнул ему на ухо:

— Спокойнее. Девчат напугаешь.

— Они у нас не пугливые.

Василь имел в виду прежде всего Таню, видел, что не сводит с него тревожного взгляда. Хотя он и не говорил, что будет вместе с Кононенко на мельнице, но наверняка она догадывается.

Все в тот вечер обговорили до мельчайших подробностей, а утром выяснилось, что план придется пересмотреть еще раз.

От знакомой машинистки из комендатуры Маруся узнала, что завтра, в годовщину войны, по радио будут передавать речь гауляйтера Украины, поэтому всех криничан сгонят на завозную площадь у мельницы. Прибежала к Маковею.

— Гляди-ка, что надумали гады! — выругался Василь. — Наверняка будут снова пугать своими победами. Армия фюрера и так далее... Ну что ж, перенесем операцию на завтра, устроим им небольшой фейерверк... Ты, Маруся, иди на водокачку к Климчуку за листовками, а я предупрежу Илью Лукича...

Машинист схватился за голову:

— Завтра же дежурит Павел!

— Придумайте что-нибудь, Лукич, сами понимаете, Павлу нельзя.

— Легко сказать: придумайте. Но что? Немцы насчет смен аккуратисты!

Двадцать второго июня рано утром Кононенко прибежал к директору мельницы Капгофу.

— Что делать, Оскар Францевич? Чубко заболел, сестра записку принесла... Что-то с животом, из туалета не вылазит, а Симеонов уперся: не буду две смены подряд работать, и точка! Понимаете: супруга у него ревнивая...

— При чем здесь супруга? — вспылил директор. — Прикажете остановить завод?

Толстый Капгоф рывком поднялся из-за стола, редкие тараканьи усы гневно зашевелились.

— Не могу же я доложить господину гауптману: останавливаю завод, потому что у одного кочегара понос, а другой боится собственной жены! Кто их не боится, но прежде всего — дело! Позовите сюда Симеонова! Впрочем, я как раз иду в котельную.

Илья Лукич побаивался, что директор заставит его, машиниста, подменить Чубко. Но, к счастью, кочегар испугался одного взгляда Капгофа и, пробормотав, что это, конечно, непорядок, но если сам господин директор нашел необходимым обратиться с просьбой, то он, Симеонов, отработает и еще одну смену.

Удовлетворенный Капгоф заглянул в топку и милостиво пожал грязную руку кочегара, а Кононенко облегченно вздохнул. Прошлой ночью, когда дежурил Чубко, взрывчатка была заложена и старательно замаскирована, бикфордов шнур вывели через глухую стену во двор, к свалке шлака. Оставалось ждать назначенного часа.

26

— Герр гауптман! Герр гауптман!

Ганс долго тряс коменданта за плечо, удивленный тем, что застал шефа не в постели, а за столом: то ли рано встал и не позвал его, денщика, то ли так и спал, полураздетый, опустив взъерошенную голову на руки. Такого еще с ним не было.

— Господин староста просит разрешения поговорить с вами.

Бруно Альсен хмурым взглядом обвел комнату, мундир на подлокотниках кресла, шкатулку с сигарами. Надкусив одну, сплюнул огрызок под ноги, поднес спичку, бездумно следя за полетом синих колец в открытую форточку. Курение было нарушением давно установленного режима — до завтрака он обычно не позволял себе баловаться табаком.

— Пригласи. Впрочем, нет, убери сначала!

Пока Ганс метался по комнате, комендант надел мундир и причесался. Мысли тяжело бродили в голове. Вчерашний день окончательно развеял его надежды на спокойную жизнь. Взрыв разрушил котлы до основания, а установить новые не так просто, да и где их взять? И эти проклятые листовки! Каким-то необъяснимым способом подкинутые над толпой, будто их сбрасывали с самолета. Настоящие, печатные. Где?.. Кем?.. О написанных чернилами он даже не доложил по начальству, утешая себя, что это, мол, детская забава. А теперь придется докладывать обо всем сразу.

Зимой на совещании комендантов в Азовске он отказался от отдела гестапо в Черной Кринице. Он считал себя человеком гуманных взглядов, каким и полагается быть запаснику. Присутствие в районе гестаповцев казалось ему излишним и могло только обострить его взаимоотношения с населением. Тогда с ним, собственно, и не спорили, было указание налаживать контакты с аборигенами Южной Украины, на которую где-то там, в Берлине, была возложена роль основной житницы гитлеровского рейха. Тем более что гестаповцев недоставало в районах, прилегающих к фронту, где все более угрожающий размах набирало партизанское движение.

Да, тогда ему не возражали, а теперь, глядишь, и посчитают слишком беспечным. Жди гостей.

По правде говоря, гестаповцев он и в самом деле недолюбливал, ему хотелось быть полновластным хозяином в районе, а когда под боком эти пройдохи — только и знай, что озирайся по сторонам.

Вчера после взрыва он приказал арестовать всех, кого застали солдаты комендантского взвода на мельнице. Арестованных было слишком много, в помещение набилось столько сельчан, что пришлось прежде всего выяснять — кто из них попал на завод уже после взрыва, а кто находился там до него. Смола доложил, что погиб кочегар Симеонов, ранен машинист Кононенко и один из рабочих, которые в это время засыпали зерно в бункер.

До поздней ночи, вспоминая недобрым словом Шефнера, застрявшего в Азовске, он лично допрашивал арестованных.

Все в один голос повторяли легенду о минах замедленного действия, которые закладывали красноармейцы осенью, покидая Черную Криницу.

Он никогда не имел дела с минами замедленного действия, не очень разбирался в их применении, однако его брало сомнение: выходит, адская машина ждала своей минуты около девяти месяцев — странный какой-то расчет был у большевиков. В этой версии было мало убедительного. Да и взрыв произошел не когда-нибудь, а как раз во время речи гауляйтера, и тут же появились листовки. Нет, все это похоже на заранее подготовленную диверсию.

К такому выводу склонился Бруно Альсен, когда денщик впустил в кабинет Ковбыка.

— Хочу доложить, господин комендант, — староста почтительно снял соломенную шляпу. — Через несколько дней уборочная, а комбайн не ремонтируется.

— То есть как — не ремонтируется? — гаркнул гауптман. — Да я три шкуры спущу!

Ковбык переступил с ноги на ногу.

— Разрешите сказать... Вы арестовали механика, а больше некому...

— Механика? Какого еще механика?

— С мельницы. Маковей его фамилия.

— Маковей... Так, так. Разве это он занимался комбайном?

— Он самый, господин комендант. И больше некому, святой крест! Я уже ломал голову, никто не соображает по комбайнам. А колос наливается...

Гауптман задумался. Действительно, среди арестованных, которых он вчера допрашивал, был и Маковей, русый паренек с хмурым, негодующим взглядом. Он тогда еще подумал: «Ишь как может смотреть! Вот из таких и получаются фанатики».

Отпускать арестованных он не собирался. Наоборот, имел намерение сегодня же вызвать из Азовска гестапо, там есть специалисты, которые заставят заговорить любого молчуна. Но как же быть с комбайном? Ко всем бедам не хватает еще и уборочную завалить. Достаточно и того, что выведена из строя, и, судя по всему — надолго, мельница. А что, если... если обойтись без гестапо? В конце концов... Нет, слишком опасно, можно не только

погонами, но и головой поплатиться. В лучшем случае — фронт, передовая. Однако при расследовании будут непременно искать козла отпущения — и первая кандидатура... Он тряхнул даже головой, прогоняя эту мысль. А не написать ли рапорт с просьбой о переводе в другое место? Пожалуй, не помешает. А дату — задним числом...

— Господин Ковбык, как вы считаете: по каким причинам произошел взрыв на мельнице?

Глаза старосты забегали по комнате, не отваживаясь встретиться с испытующим взглядом коменданта.

— Люди болтают, — заговорил наконец Ковбык, — будто большевистская мина ждала своего времени. Созревала, значит, как дыня на бахче, ну и.. лопнула.

Гауптман понимал, что Ковбык не настолько глуп, как хочет показаться, и все же ухватился за его слова.

— Ну что ж, раз сама лопнула, тогда нет необходимости держать крестьян, тем более женщин, под замком. Правильно я говорю, господин староста?

— Истинно, — поддакнул Ковбык. — Святой крест!

У старосты были свои причины хитрить. Комбайн висел на его шее, и пусть все летит к чертям, только бы поставить на ноги эту машинерию. Впрочем, была у него и еще одна затаенная мысль, в которой он сейчас не хотел признаться и самому себе. Кто угадает, как она, жизнь, обернется, глядишь, когда-нибудь будет и выгодно пустить слух, что это он, Ковбык, уговорил коменданта отпустить арестованных криничан. Было бы лучше, если бы такие времена никогда не наступили, но все-таки...

— Ганс! Скажи фельдфебелю Кранцу, что я велел выпустить арестованных. Кроме двоих, Маковея и... подскажите-ка, староста, как зовут машиниста с мельницы...

— Кононенко, господин комендант!

— Кононенко... Этих немедленно ко мне!

...У Василия екнуло сердце, когда двери камеры открылись и длиннолицый фельдфебель, заглянув в листок бумаги, объявил:

— Маковей, Кононенко — к коменданту! Остальные — нах гаузе — по домам. Шнель!

Василь толкнул машиниста локтем. Неужели Альсен все же дознался об организаторах диверсии? О подготовке операции было известно очень маленькому кругу людей. Василь ручался за своих головой.

— Больше выдержки, юноша, — прошептал Илья Лукич. — Возьми себя в руки.

Кровь ударила в лицо Маковея. Действительно, еще ведь ничего не известно. Тоже мне подпольный секретарь... Поучись у Лукича — идет спокойно, будто и нет рядом конвоиров с карабинами за спиной: веселиться не с чего, но и тревожиться рано.

Правда, машинист Илья Лукич Кононенко знал не все. Не знал хотя бы того, что не сегодня-завтра по дороге от Сиваша к Маковею заедет связной партизанского отряда. Народным мстителям нужно оружие, а подпольщики накопили его уже немало. Винтовку в то лето в степных бурьянах было найти не трудно, а патроны лежали в окопах кучами. Как-то детвора разрыла в глинищах целый ящик. Сначала собирали оружие по собственной инициативе, потом делали это по приказу Бугрова.

Василь упрекал себя в том, что не сказал пароль Матюше, его ведь отпустили. Мог бы встретить и связного, передать ему оружие и договориться о Климчуке, не вечно же бедолаге сидеть на водокачке...

— Господин староста, это и есть те люди, которые интересуют нас?

— Да, господин комендант! Так точно!

— Вы можете идти.

Альсен склонился над столом, подписал какую-то бумагу, а когда поднял голову, серые глаза его смотрели холодно, но без того гнева, который обуревал им вчера во время допроса. Жестом руки отпустил конвоиров.

— Наши специалисты убедились, что на заводе в самом деле взорвалась мина замедленного действия, — скрипуче начал Альсен. — Ответственность за смерть кочегара Симеонова и ранения рабочих... Вас, кажется, тоже зацепило, господин машинист?.. А также за уничтожение имперского имущества я с вас снимаю.

И снова впился пронзительным взглядом в лица арестованных. Но ни Василь, ни Лукич не выказали радости, слушали спокойно, будто других слов от него и не ждали.

«Где он научился так хорошо говорить по-нашему? — раздумывал Маковей. — Может, тоже из бывших колонистов?»

«Причастны ли эти двое к диверсии? — думал Бруно Альсен. — Седой уж слишком спокойно ведет себя, лицо отчужденное, как у глухонемого. А молодой смотрит смело, словно бы его жизнь и не зависит от моего решения».

— Вызвал я вас для делового разговора, — Альсен

откинул крышку шкатулки с сигарами, но передумал и достал из кармана пачку сигарет: — Курите.

Кононенко и Маковей молча переглянулись, взяли по сигарете.

— Вы, Маковей, должны за три дня закончить ремонт комбайна, — гауптман поднял три пальца. — Ни одной причины не беру во внимание, в случае задержки с ремонтом — расстрел... А вы, Кононенко, получите в канцелярии документы и поедете в Азовск за котлами. Не раздобудете там — отправитесь в Мелитополь. Думаю, что рана у вас не серьезная и не помешает выполнить служебные обязанности... Ежедневно звоните мне. Даю вам неделю. Капгоф займется восстановлением помещения. Через месяц завод должен работать. А я,— он сделал паузу, гневно прищурил глаза,— я позабочусь о том, чтобы не оказалось больше мин с замедленным действием.

...Илья Лукич и Василь шли улицей спокойно, не торопясь, словно не избавились еще от гнетущего состояния неизвестности, докуривали немецкие сигареты.

— Выходит, Альсен на нашу версию клюнул, а, Лукич?

Кононенко бросил окурок, сплюнул.

— Нет, Вася, не поверил. В глазах у него — злоба и тоска, как у побитой собаки. Не такой он дурак, этот выхоленный немчик, чтобы всяким россказням верить. Война идет, юноша, самая жестокая из войн. Голова у коменданта не пустая. Не поверил, но сделал вид, что поверил, потому что сейчас ему так выгоднее. Мельница может карьеру испортить, а тут еще уборочная... Хитрит, сволочь! Знает, никуда не денемся. Комбайн придется сделать. На пока. А то влипнем. Мы его потом еще сто раз поломаем.

Маковей усмехнулся:

— А что его ремонтировать? Я уже целый месяц одну деталь поставлю, другую сниму... Вот котлы гробанули — это дело! Как же вы с котлами?

— Поеду, конечно. Но пока суд да дело... Заводик-то стоит?

— Как рана, Лукич? Болит?.. Матюша словно в воду глядел.

— Пустое. Бросился в кочегарку посмотреть на Симеонова, здесь меня и стукнуло железкой по ключице. Рана, Вася, заживет, а вот осторожными мы должны быть теперь вдвойне. На виду мы теперь у оккупантов. Под надзором.

Солнце давно уступило место бледному месяцу, но земля все еще дышала теплом, как пепел только что потухшего костра. Глубокое безоблачное небо похоже было на решето, в дырочки которого струится свет далеких миров. Около яслей хрустели сеном кони, фыркали, звенели поводками; цикады наполнили вечер такими безумолчными трелями, что уши привыкли не улавливать их; грустно кричали в пшенице перепелки, словно в такую тихую летнюю ночь сон не брал и их; за бугром, наверное на шоссе, гудела машина; далеко-далеко, где-то, пожалуй, над Чонгаром, взметнулся ввысь луч прожектора, похожий на язык огромного чудовища, и будто слизал на краю неба притихшие звезды.

Полевой стан занесло далеко от села, за старинные курганы, под лесополосу. Черным треугольником маячил на фоне ночного неба курень. Днем нежил желанной прохладой, но по вечерам из него убегали, потому что под крышей за день накапливалась духота.

Под копной взвизгивают, заходятся грудным, зазывным смехом девушки. Но вот забренчала балалайка, и поплыла над утомленной степью тоскливая мелодия:

Не вейтеся, чайки, над морем,
Вам некуда больше лететь...

Неподалеку, примыкая к лесопосадке, стояла тракторная будка, пылал ветошник. У костерка ходил вооруженный часовой. Там — немцы.

На уборочную в село прибыли солдаты на кованных железом возах. Альсен все же выпросил в Мелитополе несколько самоскидок, теперь до восхода солнца криничанские поля просыпались от стрекота косилок, запряженных здоровенными бельгийскими першеронами. Размахивали кнутами раздетые до пояса, в зеленых штанах, коневоды.

Картина эта была поразительной. Колола глаза, будто жнивье босые ноги. Старый Супрун не мог уснуть по ночам, перед глазами мельтешили чужеземные косари. Когда же это было видано, чтобы на родном поле, с давних времен политом соленым потом криничан, хозяйничал чужак, зайда, да еще явившийся сюда с оружием в руках!

Супрун лежал на охапке свежего сена, дымил трубкой. Подсохшее разнотравье кружило голову. Зеленый

щетинник перемешался с бархатно-желтыми метелками таврийской полыни, с лазурно-синими султанами душистых, как мед, васильков. Были здесь и тугие, повитые колючими листьями стебли молочая.

Супрун выбрал один стебелек, обчистил, повращал в ладонях. С детства у него привычка жевать молочай. Черт знает что! Не сказать, чтобы дюже нравилось, наоборот, горько во рту, а почему-то приятно. Свое, от земли...

Пилип Фалько, рыжеволосый старик, потомственный сельский портной, опершись на локти, тоже держал во рту какую-то травку. Полицай выгнал в поле и его, не пощадили преклонный возраст.

— Дай бумажку,— сплюнул Фалько и полез за кисетом.

— Нету, Пилип. У меня трубка,— отозвался Супрун.— Да вон сбочь тебя клок белеет.

На розовую головку чертополоха чья-то рука и в самом деле надела вдвое сложенный лист бумаги. Фалько подцепил его пятерней, оторвал вместе с чертополохом, поднес к глазам.

— Гляди-ка, мужики! Написано что-то. Небось прокламация.

Со всех сторон поднялись головы. Кто-то пробормотал:

— Вам, дед, не спится, так вы... Откуда этой прокламации взяться среди степи? Старый, а как ребенок.

— Много ты понимаешь. Может, выросла тут!— осерчал Фалько.— А ну, кто зрячий — читай!

— Подай-ка, дед, мне,— сказал Супрун.— Трубкой подсвечу... Ей-богу, люди, Пилип правду говорит... Подсовывайтесь поближе, кричать не буду, не на трибуне...

— «Товарищи! — начал читать он вполголоса, напрягая зрение.— Пусть не удивляет вас немецкая «помощь» на уборочной. Оккупанты пригнали к нам и солдат, и лошадей, чтобы поскорее собрать и увезти хлеб. Районный комитет призывает вас всеми способами мешать вывозке зерна на станцию. Помните: каждый килограмм хлеба в руках врага — удар по Красной Армии, по нашим отцам, братьям, сыновьям! Товарищи, прячьте зерно где придется, закапывайте в землю для себя, для своих детей. Все остальное уничтожайте! Пусть лучше сгинет наше добро, чем попадет в руки ненавистного врага!»

— Ух ты! — послышалось из темноты. — И есть же вот такие горячие головы!

— Выходит, есть, — сурово сказал Супрун. Он давно уже догадывался, что к листовкам имеет отношение и Матюша, но не признается, чертов сын!

— Жалко: вырасти и сожги!

— Жаль — это одно, да ведь за такое дело сразу смерть.

— А ты ремень подтяни, чтобы штаны не соскочили.

— В Кончаках расстреляли за пшеницу. Слышали? Там трактористом был отчаянный парень. Облил трактор горючим, поджег и пустил гулять в поле. Попробуй подступись! Занялась степь пожаром...

— И что ему за это?

— Парню ничего, скрылся. А невиновных расстреляли. Фашист разве простит? За хлеб наш уцепился он мертвой хваткой. Может, и вся война из-за хлеба.

— Думать надо...

Заговорили все сразу.

— Немцы не зря приехали сюда, это верно.

— Помощнички... Помогал Иван из чужого в свой карман.

— Дай отмолотиться — подметут.

— Молотить будем до снега. Один только комбайн на току, да и тот полдня работает, а три ремонтируется. Барахло, а не машина...

— Не такое уж и барахло, скажу вам, просто ребятам спешить некуда.

— Ну, ты про хлопцев не очень-то болтай. Не дай бог на чужое ухо...

Фалько все же раздобыл бумажку, закурил, огонек при затяжках выхватывал из тьмы его морщинистое лицо, пряди рыжих волос, не признававших седины.

— Не понимаю я, мужики, что советует этот комитет? Воровать пшеницу, что ли? За свои семь десятков я огурца с чужой грядки не принес, а теперь на такой грех...

Супрун выбил о колено трубку.

— Какой же ты непонятливый, Пилип. Не воровство это, а, если хочешь знать, святое дело... Разве тебе своих внуков не жаль?

— Почему же, для них я... моя кровь, — смешался Фалько. — А только немец, он хоть и немец, а тоже не дурак, все не возьмет. Вон лошадь не корми — и та от-

кажется тащить воз. А мы все ж таки люди... Что-то оставит на жизнь.

— А как же, только и думает, как бы Фалько обеспечить! Жить-то будешь, но... кхе-кхе... к бабе не захочешь.

Взорвался такой смех, что возле яслей испуганно всхрапнули кони. У копны тоже смолкли, будто кто-то положил на струны балалайки руку.

— Да ну вас! — разгневался Фалько. — Спать пора, глаза слипаются.

Не спали, однако, еще долго. Думали.

...Хлопотной эта ночь выдалась и для Грицка Калины.

Постелив пиджак на охапку пшеницы, он с нетерпением ждал, пока угомонятся степняки. В бок давил комок земли, пока возился с ним, шаря под пиджаком, в ухо залез остюк... Исцеляющий степной воздух был наградой за все неудобства ночи, да и о каких неудобствах может думать десятилетний мальчишка, выросший среди этой степи и привыкший спать, как солдат в походе. Не заметил, как и задремал.

Проснулся, будто толкнули кулаком в бок. И сразу обмер. Какой стыд! Матюшка поручил ему важное задание, так и сказал: «Очень важное!», а он, Грицко, едва не проспал, уже восток светится.

Огляделся, напялил на себя пиджак и крадучись нырнул в лесополосу.

28

Как ни ломался комбайн, а гора пшеницы на току все же вырастала. Дед Крыхта подбирал лопатой края бронзового пшеничного кургана, что-то бормотал себе под нос.

У него были свои причины для недовольства. Каждый раз, когда степная дорога дымилась под колесами машин, он в сердцах втыкал лопату в кучу зерна и лез в карман за табаком. Не мог спокойно глядеть, как экспедитор Пауль, розовощекий немец из хозяйственного взвода, присланного на уборочную из Азовска, запускает руки в золотящийся на солнце, выпестованный на чужой земле и чужими руками хлеб.

«Ишь как радуется! — бормотал Крыхта, пыхтя жел-

тым табачным дымом. — Бери, хватай, чтоб тебя самого нечистая сила схватила!»

Когда подъезжала машина, девчата, оставив веялку, шли грузить зерно.

Пауль заискивающе улыбался им и садился в холодок есть дыни, к чему имел пристрастие, вероятно, большее, чем к девушкам. Прежде чем разделать плод на скибки увесистым ножом, который всегда висел у него на колечке у пояса, он подолгу вертел дыню в руках, осматривая со всех сторон. Заметив что-то новое в привлекательно желтой коре, пускал в ход нож, аккуратно выбирал семечки на крыло машины. Пока ел, семечки подсыхали, а лоснящееся его лицо излучало бездну удовлетворения и сытости. Потом в руках появлялся бумажный конвертик. Ссыпав туда семечки, он подписывал конверт, сверкал белозубой улыбкой в сторону девчат, словно благодарил за обретенное счастье.

— Мутер, фатерлянд! Понимайт?

При этом Пауль показывал жестами, как его «мутер» там, в «фатерлянде», закладывает в грядку семена криничанских дынь...

Василь Маковей дневал и ночевал у комбайна.

Сейчас он сидел на мостике и перебирал в памяти события последних дней.

Освободившись из-под ареста, Василь успел-таки встретить партизанского связного. Передал ему часть оружия, отправил с ним к Днепру Ивана Климчука. Полицаи разыскивают его и по сей день.

Завидовал Ване — теперь уже среди своих, возможно, и в бой ходил. А здесь? Правда, мельзавод стоит и, похоже, будет стоять долго. Охрана отныне круглосуточная. Илья Лукич все еще в Азовске, а может, и еще где. Возможно, и звонил Альсену, как тот наказывал, но не спросишь же. Комендант злой, кажется, и кони в его тачанке бегают теперь резвее. Василю приказано не отлучаться с тока. Работы по горло. Он делает все возможное, чтобы ее всегда хватало в избытке. Старенький двигатель, уцелевший от «ХТЗ», и потрепанный «Коммунар», который еще до войны обрекли на списание, все время останавливаются. То в барабане вдруг затарахтит, то порвется собранный из кусков шкив.

Дед Крыхта, неизменный, со времени создания колхоза, шорник, доставал из замасленного ящика шило и

тонко нарезанную сыромятину, садился скреплять ремни. Делал это он не торопясь, сыпал прибаутками, материл неизвестно кого.

Не однажды комбайн ломался и в присутствии экспедитора. Пауль, однако, мало обращал внимания на простои. Они не касались его прямых обязанностей — отгружать готовое зерно. Но самодовольство немца раздражало Маковея. Хотелось заехать ему в морду или хотя бы плюнуть в безоблачно голубые вытаращенные глаза. Чтоб ты подавился этими дынями!..

Шофер, пожилой солдат, почти не покидавший кабину, был молчалив, но по прибытии всегда говорил «Гутен таг!», а при отъезде — «Ауфвидерзеен!». Чем-то он привлек внимание работающих на току.

Вчера шофер, пока нагружали машину, неожиданно полез на «Коммунар», заглянув в бункер, прислушался к грохоту барабана. Спустившись на землю, разгреб мимоходом ногой полову, покачал головой.

Маковей с тревогой следил за ним. Неужели заметил? Похоже, что солдат этот что-то смыслит в молотьбе. Если так, то наверняка догадался, почему около трети зерна пошло в отходы!

Шофер вернулся в кабину и, нажав на стартер, усмехнулся Василю, подмигнул: не бойся, мол...

Маковей перевел дыхание, долго смотрел машине вслед. Думал: выдаст или нет? Если бы хотел, то донес бы сразу. Выходит, и среди немцев есть люди как люди. В конце концов, не все подряд отпетые. Сказать бы Матюше об этом...

Шум возле куреня прервал раздумья Василя, он поднялся, оперся на поручни мостика. От лобогреек с вилами и кнутами бежали косари, девчата оставили валки и — как были с вилами и граблями — тоже кинулись к куреню.

Еще не поняв, что там могло произойти, Маковей набрал в грудь воздуха, закричал:

— Бросай работу! К куреню!..

У куреня молодцеватый лейтенант Битнер, командир хозяйственного взвода, гарцевал на жеребце среди толпы криничан, его лицо исказилось от ярости, он держал в руках обломки проволоки и все норовил наехать конем на старого Супруна.

— Ты бригадир! Ду виновайт! — орал Битнер, путая русские и немецкие слова. — Пойдешь трибунал! Айн, цвай — капут!..

Сбить Супруна с ног ему не удавалось. Люди наступали на жеребца со всех сторон, умное животное прядало ушами, чувствуя что-то недоброе, пятилось, натянув узду, ржало. Тогда разгневанный офицер поднял жеребца на дыбы и обрушил его вниз. Тяжелое копыто опустилось Супруну на плечо. Схватившись руками за грудь, старик упал. Упал вместе с ним и лейтенант — то ли сам не удержался в седле, то ли помог кто-то.

...Маковей прибежал к куреню в ту минуту, когда Битнер уже лежал в пыли, пытаясь выхватить из кобуры пистолет. Василь ткнул коня вилами в бок, жеребец отпрянул и попал под пули ослепленного бешенством Битнера.

На выстрелы заторопились от косилок солдаты...

А началось все с того, что на одной из жаток уже на первых гонах лопнула коса. Погонщик выругался и развернул упряжку к лагерю. Не успел он доложить о происшествии офицеру, как то же самое случилось и с другой жаткой.

Обеспокоенный Битнер сел на жеребца и тихой рысцой поехал в нескошенное поле. Вблизи остановившейся жатки он обнаружил стальной прут. Это показалось ему подозрительным. Вскоре он нашел такой же обрубок проволоки под второй жаткой.

Лейтенант решил, что находки его не случайны, и взъярился: в запасе осталась одна-единственная коса. Жатки прислали из Мелитополя с небольшим запасом частей. Да и кто мог подумать, что чья-то рука может рассовать между стеблями пшеницы куски проволоки!

«Славянское варварство! Саботаж!» — негодовал растерявшийся Битнер...

Когда солдаты, стреляя в воздух, прибежали к куреню, там, кроме их лейтенанта, никого уже не было. Офицер сидел в пыли, взлохмаченный, без головного убора, сжимая в дрожащей руке разряженный «вальтер». Неподалеку бился в предсмертных судорогах его конь.

Придя в себя, Битнер приказал оседлать другую лошадь и ускакал в село с твердым намерением добиться у гауптмана Альсена разрешения расстрелять через одного этих туземцев, осмелившихся противиться офицеру великой Германии.

...На таврические степи опять надвигалась ночь, густая, круто замешенная на запахах трав, как и вчера. Впрочем, не совсем такая — не слышно девичьего смеха, молчит балалайка. Расплывчатые тени крадутся за скир-

дой от комбайна к току, исчезают в лесополосе, сгорбившись под тяжестью мешков.

Дед Крыхта крестит их вслед прокуренными кончиками пальцев.

— Бог в помощь! Не трудодень теперь кормит — трудоночь...

И пристально всматривается старческими глазами в сторону спящих немцев. Там тихо.

Не спит и Василь Маковей, переворачивается с боку на бок. Чем кончится сегодняшняя стычка у куреня? Битнер не успокоится, не зря поскакал в село. Ну, прутья еще не доказательство, хотя, если поразмыслить, не сами же они выросли в пшенице?.. Эх, был бы Гнат Петрович, посоветовал бы, что тут делать. Последний раз Маруся видела его в Азовске, а где он сейчас? Пока доберешься, много воды утечет, а может, и крови...

29

— Не торопитесь, герр лейтенант, ваш гнев я полностью разделяю, а вот предложение... — Бруно Альсен говорил рассудительно, почти спокойно, стараясь переубедить этого зеленого петушка, как он про себя называл молодого офицера. — Расстреляем мы, как вы говорите, десяток потомков скифов, и почти наверняка не тех, кого следует. А кто останется в поле? Остальные ведь разбегутся от страха... Там, — гауптман кивнул на потолок, — не знают никаких Супрунов, там знают нас с вами и спрашивать хлеб будут с нас. Ломают жатки — пусть косят косами, серпами жнут, дьявол их побери! Мы должны и об этом не забывать. Кроме того, часть нынешних крестьян осенью будет отправлена в фатерлянд. Извольте ознакомиться с приказом: отрядить сорок остарбайтеров для использования внутри Германии. Вы думаете, легко выполнить этот приказ?

Битнер медленно отходил.

— Я вас понимаю, господин комендант. Но у меня свои задачи, и я отвечаю сейчас за сохранность техники.

Альсен налил в рюмки шнапса.

— Прозит! Цель у нас одна. Придет время — всех расстреляем. Но сегодня нужен хлеб, нужны рабочие руки. В приказе предписано: мобилизовать физически здоровых юношей и девушек. А если выявятся добровольцы, сообщить в гестапо. Для чего бы это, как повашему? — Комендант опрокинул в рот еще одну рюмку, крякнул и, не дожидаясь ответа, пояснил: — Доброволь-

цев, а их, как правило, единицы, берут на особый учет. Понятно, не затем, чтобы награждать за усердие. Дело в том, что каждый доброволец прежде всего вызывает подозрение как потенциальный диверсант, большевистский или партизанский агент, что в общем-то одно и то же. А если он, так сказать, глуповат — пойдет дальше, станет нашим осведомителем. Факт добровольного служения целям Германии компрометирует его перед остальными соотечественниками... Я надеюсь, лейтенант, на вашу сдержанность. Сейчас в наших интересах промолчать. Однако — до поры!.. Договорились? Давно не имел собеседника, с которым можно потолковать запросто... А коктейль удался! Как на ваш вкус? Не стесняйтесь!

— Что вы мне посоветуете, герр гауптман? — спросил Битнер, чувствуя, что в голове начинает кружиться и от шнапса, и от всего услышанного за этим столом. — Не могу же я как ни в чем не бывало возвратиться в поле! Помимо всего, мой мундир запятнан...

В серых глазах Альсена вспыхнули озорные искры.

— Беда поправима! Ганс, где ты там?.. Возьми мундир господина лейтенанта и хорошенько вычисти... Чтобы ни пятнышка!

«Сопливый мальчишка! — мысленно выругался Альсен. — Когда под угрозой карьера и кое-что помимо нее, поневоле забудешь о самолюбии».

Выпроводив Битнера, комендант приказал найти Ковбыка и Смолу. Последний недавно приступил к обязанностям начальника полиции, поскольку Шефнер приглянулся кому-то в Азовске.

30

Ковбык появился в степи на бедарке до восхода солнца. Люди еще спали — разбудил криком, поношениями. Чуть не с кулаками набросился на Супруна:

— Сдурели! Окончательно сдурели! Кому перечите? Немцу? Да он всесильный, полмира подмял под себя. А вы ему прутья в колеса... Благодарите бога, что господин комендант заступился. В Гавриловке за такие штучки расстреляли каждого десятого. Смотрите, допрыгаетесь и вы!

Ковбык уже хрипел от крика.

— Свирид Михайлович! — мял в руках черную бороду Супрун. — Зря вы, извините, голос надрываете, ей-бо, зря. Какие-то прутики торчали в пшенице, разве наша вина? Позавчера на мине арба подорвалась — столько

крику не было, а тут какие-то прутики... Дети с ними, видать, по полю бродили, может, и обронил кто. Так теперь за эту забавку и со стариков головы снимать? Может, и мину мы подложили под себя?

Староста погрозил кнутом из бедарки:

— Смотри мне! Перебрось лобогрейки на «немецкую» делянку! Да ребят погоняй, чтобы повыдергивали эти самые прутики. А немцев — на нашу, понял?.. Вот так. Теперь про кузнеца скажи: где он, не видно что-то. Ай слег?

— Журба?

— Журба на ладан дышит, про другого говори.

— Кузнец один.

— Один никто в кузнице не работает. Кто был подручным?

— Понятия не имею. Может, из городских кто нанимался? Заработал на харчишки да и отбыл.

Супрун проводил старосту ненавистным взглядом: догадались поменяться делянками! Не иначе, этому прихвостню пришло в голову, кумекает, сволочь... А Журба молодец, знал, когда заболеть. Не потому ли наведывался к нему на днях Матюшка? Скрытный сын, пора бы уже поговорить с ним напрямик.

...Битнер перебросил жатки на взгорок за мостиком. Пшеница здесь невысокая, прихваченная солнцем и довольно чиста, лишь кое-где желтели головки конского щавеля. Бельгийские тяжеловозы шли в упряжке легко, словно играючи.

Лейтенант старался не показываться на глаза криничанам. После стычки у куреня, которая закончилась для него далеко не так, как ему хотелось, разговаривал только с Ковбыком.

Ждал: вот-вот еще раз, как вчера, порвется коса. Но солнце поднималось все выше, косилки безумолчно стрекотали, и он понемногу успокоился. Правда, один агрегат так и стоял со вчерашнего дня, но пусть об этом болит голова у старосты, с одного легче спросить, чем с толпы непокорных.

Зато в логу до самого вечера работала лишь одна лобогрейка. Мужики время от времени находили между сегментов поломанных кос железные прутья и потихоньку, чтобы не нажить беды, прятали их в земле. Вслух проклинали бурьяны — сорняк в самом деле разросся здесь так, что всаднику на коне не проехать.

Грицко Калина привез воду из села, а с ней известие, которое быстро облетело степь:

— Больного Журбу приставили к горну...

— Ковбык привел полицаев, схватили под руки и потащили...

— Не зря говорят про полицию и старосту: «Одна шайка — одна нагайка».

За обедом Василь шепнул Марусе:

— Пусть Калинка заглянет ко мне! А ты все на валках? Скажи девчатам, чтобы не очень старались. Лишь бы день до вечера.

Грицко налил в ведро воды, принес к комбайну. Маковей напился, спросил вполголоса:

— В село когда едешь?

— Сейчас запрягаю.

— Вот бумажка. Передашь Матвею. Ему, никому больше. В случае чего — съешь, порви, чтобы никто не прочел. Зайдешь в больницу. Медсестру Таню найди. Скажешь ей, чтобы не опаздывала она.

— Куда? — не утерпел Грицко.

— Гм... Ну, конечно, на свидание. — Маковей засмеялся. — Все понял? Беги к коняге.

До больницы было с километр крюку, однако Грицко промолчал. Злился на себя: давал слово не расспрашивать — и снова вырвалось.

— Кому водички? Эй, холодная вода! Налетай!

31

Матюша только что вернулся от Павла. Не день, не два корпели над приемником. Детали добывали где только могли. К счастью, кочегар когда-то был завзятым радиолюбителем в школьном кружке, научился кое-что изготавливать сам. А сегодня перекладывал в доме директора мельзавода дымоход и принес батарейку. Матюша знал, что у Капгофа есть разрешение на приемник.

— Ты что — стащил?

— От многого немножко — не кража, а дележка, — ответил поговоркой невозмутимый Павел. — Ты не волнуйся. Заглянул в один ящик, а там их... Оскар Францевич мужик запасливый.

Домой Матюша возвратился, весело насвистывая. Здесь его ждал Грицко.

— Здорово, братан!

— Здравствуй, здравствуй! Пушки привез или, может, бомбы?

Вот так всегда этот Матюша. Будто он, Грицко, совсем тебе лопушок. Прутики вон какого шороха наделали!

Он не утерпел, сказал об этом.

— Правда? — обрадовался Матюша. — А я и не знал.

— Так-таки не знал?

— Значит, не зря ты отцовское зубило затупил. Ладно, с чем пожаловал?

Грицко вытащил из уха маленький бумажный шарик.

— Вот, Василь велел передать.

Матюша, развернув бумажку, вмиг сделался серьезным.

— Посиди малость, я сейчас вернусь. Мама! — крикнул на кухню.— Дайте мальцу поесть.

— Некогда мне, волы на улице. И воды еще не набрал.

— Волы подождут. У самого шея скоро будет как у вола хвост, — пошутил Матюша и вышел из хаты.

Через минуту Грицко хлебал из тарелки борщ, хрустел густо посоленной луковицей, он и в самом деле сильно проголодался.

Небольшой пакет, завернутый в лоскут, Матюша приказал хорошенько спрятать и из села ранее чем ночью не вывозить. А где спрячешь на этих дрогах?.. Грицко придумал. Забежал домой, на огород за арбузом. Ножом, будто для пробы, вырезал в нем треугольник, сердцевину выковырял, а на ее место затолкал пакет. Возможно, в такой конспирации и не было необходимости, зато была таинственность. Лежит теперь на телеге арбуз, и никто не догадается, что в нем под полосатой коркой...

— Арбузик привез? — обрадовался Василь. — Однако перегрелся он... Ты что ж на солнце держал его! А Матюшка ничего не передавал?

Грицко, загадочно улыбаясь, разбил арбуз об колено и подал Василю половинку, в которой лежал пакет.

— Гляди-ка! — удивился Василь. — Матюша додумался или сам?.. Неужели сам?.. Молодец! Кумекаешь!

Грицку очень хотелось спросить, что же в пакете, но на этот раз он сумел сдержаться.

— В больнице был?

— А как же. Медсестра сказала: не опоздает... на свидание, — лукаво добавил Грицко от себя, потому что Таня не говорила такого слова.

Маковей захохотал:

— Ну и голова у Григория Тихоновича! Не только умная, но и хитрая!

«Григорий Тихонович? О ком это? — перебирал Грицко в памяти всех известных ему Григориев на селе. — Стой! Да это же я сам, Грицко! Ну да! Грицко — Григорий, а отец — Тихон. Надо же! Никогда бы не подумал».

— Спать! — решительно сказал Василь. — Время позднее, утром глаз не продерешь.

Грицко нагреб соломы под бок и будто провалился в сон.

Приснилось: играет с ребятней в футбол, а вместо мяча — арбуз. Екает сердце: разобьют, а там секретный пакет. Арбуз таки лопается, звонко, как граната. Сейчас все увидят его тайник! Однако пакета нет, не тот, видимо, арбуз, просто похожий...

Грицко облегченно вздохнул и проснулся. Еще не открыв глаз, почувствовал, что спит один. Пощупал рядом рукой — так и есть. Василь куда-то исчез.

32

Жара стояла жуткая, нечем дышать. Немцы отказались косить, выпрягли лошадей, завели в лесопосадку, в одних трусах разлеглись в спасительной тени.

Криничане тоже оставили работу.

— Эй, девчата! — Маруся Тютюнник, воткнув вилы в землю, махнула рукой. — Мы хотя и не арийцы или как их там обзывают, а тоже люди. Айда в курень!

Василь Маковей остался около комбайна. Искоса бросал взгляд на скошенный клин в низине. Неужели Матюша ошибся? А заверял, что дело надежное.

На последнее заседание райкома Матвей принес собственноручно изготовленную «адскую машину». Состояла она из увеличительного стекла и деревянной опоры, начиненной порохом и сажей. Достаточно, сказал Матюша, установить ночью «машинку» так, чтобы днем в фокусе стекла оказался фитиль...

Не раз и не два посматривал Маковей на поле и все же проглядел, когда заструился дымок. Сильно застучало в груди, отвернулся к двигателю, принялся подтягивать гайки, будто ничего и не видел. А сам прислушивался к гомону в стане — пусть бы не сразу заметили, не сразу...

Дым в степи издалека виден, не зря в старину запорожские казаки от границы до самой Сечи связь держали дымовыми сигналами.

— Горит!

На току послышались крики...

Кто-то кинулся к лошадям, другие хватались за вилы, однако к огню не спешили, словно бы раздумывали: для кого спасать? Для немца? Да пусть лучше на корню сгибнет!

Занялось, заполыхало! Издалека среди дыма видно было пламя, дрожащее в горячем воздухе. От лесополосы бежали полураздетые солдаты, щелкали затворами карабинов.

— Шнель! Шнель! Але! Марш, марш!..

Только тогда люди двинулись навстречу туче, ползущей из низины на косогор.

Кто видел в степи пожар? Будто сухой порох горит нескошенный хлеб. Страшное и одновременно захватывающее это зрелище!

Огонь напоминает живое существо, ползучее, ненасытное: чем больше жрет, тем больше разверзается его всеядная пасть. Огромные клубы дыма катятся в небо, сыплется черный осадок гари. Горит земля, близко не подойдешь — адский жар бьет в виски, перед глазами опаляющий зной. Убегай все живое с дороги! Замертво падают припоздавшие взлететь птицы, с воплем бегут люди, храпят, поднимаясь на дыбы, лошади...

Из-под куста выскочил заяц, прижал уши, мечется между людей, не они сейчас ему страшны. С тревожным криком проносятся в дрожащем небе птичьи стаи. Только мыши да суслики не боятся огня, забьются в глубь своих нор и ждут, пока сверху перестанет дышать угаром земля.

Бом! Бом!

Бьют в селе тревогу. Меркнет солнце. Могучий вал стихии катится по обугленному за какой-нибудь час огромному пространству...

Сгорело без остатка гектаров сорок. Росшие поблизости зеленые подсолнухи опустили привядшие листья. Чадило, потрескивало черное пожарище, выдыхало испарение.

Маковей был черен от копоти. Не так старался, как показывал, что занят делом. Да и то сказать — разве его потушишь? Если бы и хотел.

С криком бросился туда, откуда впервые взвилось

пламя, размахивая руками, бил по тлеющим колосьям курткой, а сам незаметно подобрал увеличительное стекло, все остальное исчезло в огне. Ищи теперь виноватого!

Дед Крыхта — не разобрать: с похвалой или осуждением — сказал Маковею:

— Вот это, парень, агрегат, не то что твой. Сам скосил, смолотил, смолол, испек хлебушка, сам же и сожрал в один присест! Так что и людям делать нечего.

Из села примчалось все начальство: Альсен, Ковбык, Смола с полицаями. Стояли в стороне, о чем-то совещались, зло посматривая на взбудораженных людей.

33

Бурт пшеницы таял на глазах. Один за другим подъезжали к нему грузовики, толстомордые немцы насыпали в кузовы горячее от раскаленного солнца зерно и, взгромоздившись на него сверху, давали знак шоферам трогать. Непрерывно выли моторы. Пухлощекий Пауль не съел сегодня ни одной дыни, ходил подтянутый, покрикивал на девчат.

Крыхта сидел в сторонке на перевернутом ведре, вполголоса матерился. От косилок в бессильном гневе поглядывали на ток косари.

Супрун встретил Фалькову лобогрейку, покачал головой, наблюдая, как тот хмуро, не поднимая глаз, выгребает валки.

— Так где же твой добыток, Пилип? Выходит, немец и твою пайку присвоил? Нехорошо получается: человек верует, а ему вместо креста фигу. Нюхай, кум, на здоровье, она хоть и фига, а пахнет будто настоящая хлебина!

Если бы не отскочил, то так и огрел бы его Фалько двурогом по спине.

— Тю-у, сдурел на старости! — рассердился Супрун, ухмыляясь в бороду.— Ну и дьявол с тобой, значит, припекло, значит, помнишь ночной разговор... Гнедой на левую ногу припадает, взглянул бы!

Побрел к комбайну, углубившись в воспоминания о недавней довоенной жизни.

Был конюхом, хорошим конюхом — с детских лет обожал коней, весь напрягался, завидев ходкого скакуна. А каких рысаков на скачки выводили! Не было им соперников в округе, — летели как ветер. В спортивном уголке колхозного клуба сохранился не один приз Супруновых питомцев.

Когда пришли немцы — спрятал трофеи своих моло-

дых лет, пусть лежат, ждут лучших времен. Иногда открывал чемоданчик, с грустью разглядывал, обтирал чистой тряпицей.

Так, перебирая былое, добрел до комбайна. Засмотрелся на скирду, где священнодействовала вилами София Климчук. После побега Ивана ее не раз вызывали в полицию, допрашивали, ругали, пока наконец вроде бы отстали... или уверились, что женщина в самом деле ничего не ведает о сыне. Однако за хатой, как заметил Матюша, и до сих пор следят.

Подошел Маковей, устало опустился на жнивье.

— Скирдой, дядько Микола, любуетесь?

— Хорошая скирда. Если бы хоть одну такую необмолоченную...

Василь подбросил в руке гаечный ключ, поймал, искоса поглядывая на бригадира.

— Не понимаю. О чем вы?

— А ты пойми, — усмехнулся в бороду Супрун. — От чужого глаза можно и соломкой притрусить.

— В чем же дело? — Маковей принял игру. — Вы, бригадир, прикажите.

— Хитрый ты, парень, да не совсем. Я тебя мог бы уже десять раз заложить, если бы хотел. Думаешь, не вижу, как машину калечишь? Или не знаю, что зерно гонишь в полову?

Василь слушал эти разоблачительные речи без страха, хмурясь. Супрун не тот человек, чтобы его бояться, но все же... Верил сам и других уверял, что придерживает комбайн незаметно, а, выходит, уже второй человек остерегает: то шофер Пауля ткнул носом в полову, теперь Матюшин отец заговорил о том же. Ох, уж эти старики — вроде бы и слеповаты, а видят больше, чем молодые!

— Это надо еще доказать, — сказал тихо, старательно дробя гаечным ключом комок земли. — А невымолоченная скирда, ясное дело, не помешала бы... Людям зимой чем-то кормиться нужно.

— Ну так начинайте... с ночи, — распорядился Супрун. — Не такое уж и хитрое дело — валки необмолоченные в середину скирды... Никак каплет?

В зените, обогнув солнце, ползла небольшая тучка, роняла крупные, освещенные лучами, капли. Ползла одиноко, но снизу, по-над горизонтом, спешила ей на помощь темная завеса, надвигалась сплошной стеной, оповещая о своем приближении далекими, еще не озвученными сполохами.

...Дождь хлынул сразу после обеда. Навалился сумрак. Люди попрятались кто куда — под скирды, в курень, будто он мог спасти от ливня.

Солдаты поспешно выпрягали лошадей, верхом мчались к своему навесу.

— Мокните, мокните, — приговаривала, улыбаясь вслед им, Маруся Тютюнник. — Я из вас потом конопелек натереблю.

Дождь шел недолго. Еще грохотало раскатами наэлектризованное небо, плясали в лужах пузыри, но ветер уже погнал тучи на запад и выпустил из неволи солнце. Оно нырнуло в синюю глубь, слепящее, но не жаркое, словно успело остыть за тучами.

Из села примчалась тачанка. Позади кучера, рядом с Альсеном, сверкал зубами экспедитор Пауль, что-то шумно втолковывал коменданту.

Скликать людей не пришлось — все как раз собрались идти на ночлег по домам, после такого ливня не до жнив, подсохнет разве что к завтрашнему обеду.

Гауптман поставил ногу на передок тачанки, сунул руку за борт мундира, откашлялся.

— Я уверен, что вы не виноваты ни в пожаре, ни в тех прутьях. Я не верю, чтобы крестьянин поднял руку на хлеб, выращенный своими руками! Я уверен...

Бруно Альсен говорил как артист, то возвышая голос, то понижая его до полушепота. Он явно играл словами, и эта игра нравилась ему.

— Это сделали бандиты, которым нет дела до вас, до ваших детей. Им хочется, чтобы Таврия голодала...

Гауптман сделал паузу, приложил батистовый платок ко лбу, и вмиг голос его окреп, в нем зазвучали угрожающие нотки:

— Однако вы не уберегли хлеб и должны теперь доказать немецким властям свою лояльность. Приказываю подготовить десять подвод. Вы сами повезете зерно на станцию! Завтра утром... — Альсен уставился на притихшую толпу, перевел взгляд на Фалько. — Вот ты, старик, принесешь мне квитанцию собственноручно. Все понятно?

Криничане хмуро молчали.

34

Вечерело, когда цепочка подвод подползла к перекрестку, где к грейдерной дороге примыкает полузаросшая степная колея на Калиновку.

Кони, понуро качая головами, отбиваются хвостами от назойливых слепней. За спиной у ездовых в шарабане пахнет зерном; роятся в голове тревожные мысли, неотступные, колючие.

Не с досады ли хлещет Пилип Фалько кнутом по фиолетовым метелкам спорыша на обочине? Подметает немец пшеничку, плевать он хотел на его голодных внуков.

Сейчас всякая огородина идет на стол — огурчики, помидоры, арбузы подоспели. Невестка кукурузы принесет с поля тайком, наварит чугунок початков — вот и сыта малышня. А зимой? На одной картошке? Да и та скудно уродила.

Скрипят колеса.

Супрун сказал: «С врагом в мире жить — все равно что со смертью дружить!» Фалько испытал уже горькое разочарование, когда увидел, как немецкая автоколонна за два дня слизала огромный бурт пшеницы на току. А Ковбык уверял, что первый намолот между людьми поделят, брехун проклятый...

— Н-но! С вами, лодырюги, и в дороге заночуешь! — хлестнул кнутом по крупу гнедого, выругался.

«Ты погоняешь, тебя погоняют... Да, животина бессловесная, не человек. А ты все же — старый, немощный, но человек... Да еще и отец красного командира. Воюет где-то Андрюха, оставил пятерых сыновей, старший сейчас заканчивал бы школу, смышленый паренек. Пятеро, и всем давай есть. Одна надежда на руки, портного Фалька все окрестье знает. Шить нынче, правда, не из чего, больше старье перешиваю, да и то ладно... Пока полицаи в поле не выгнали. Вот и замкнулся круг, вези, не оглядывайся. Что не успел немец забрать — сам отвезешь, а завтра коменданту квитанцию на стол: «Вот какой я послушный, сделаю чего изволите». На душе горько. Сын с первых дней войны на фронте, а отец подкармливает хлебушком тех, кто на сына прет в атаку... — Фалько даже сплюнул: — Лезет же такое вот на думку! Самому страшно! Выходит, я подголодавшимся фрицам силы прибавляю?»

Вереница подвод тем временем переползла через покинутый хутор на краю пади. Берег здесь был крутым, на склонах взыграли заросли репейника. Дорога то убегала от него, то снова с опаской прижималась к ощетинившемуся обрыву. Снизу отдавало сыростью, квакали лягушки.

Фалько покосился на солнце, взглянул на другую сто-

рону болота, вздохнул. «Страшно, Пилип? — спросил сам себя. — Страшно, еще и как страшно...»

Чтобы не передумать, поскорее завернул коней к берегу.

— Э-ге-гей, мужики!

Обоз остановился.

Напрямик, через желтый косяк сурепки, бежали погонщики.

— Ты что надумал, Пилип? За такое дело сразу под ноготь...

— Блоха и та из-под ногтя выпрыгивает, а у нас с вами хоть и плохонькие, а все же головы на плечах... У меня сын, Андрюха, а у тебя, Семенович, брат в Красной Армии. Что им скажем? Глаза у дворняги взаймы попросим?

— Эх, не умерли в пеленках, так и в рядне не сгинем!

— Заворачивай, пока никто не наскочил!

Один за другим опрокидывали над обрывом шарабаны. Откуда и силы взялись! Расплавленной бронзой полилась пшеница в болото. Сцепили зубы деды, боялись впустить в сердце сомнение. А когда все закончилось, засосало под ложечкой.

— Столько хлеба! Жаль...

— Пусть его лягушки едят, чем враги наши.

— Пожалел Фома веревку и связал себе петлю! Загоняй в самую воду! — командовал Фалько. — Да коней, коней выпряги, очумел?

Он потерял картуз, рыжие волосы вздыбились, будто иголки у ежа, глаза полыхали давно забытым блеском.

— Вяжите друг друга вожжами! Ну, кому говорю! Ты, Семенович, беги в село и кричи: «Партизаны!» Стой! Сперва меня свяжи... А теперь, мужики, запомните: жизнь наша на кончике языка. Давай, Семенович, дуй в село... Наскочили, связали... ну, сам знаешь...

35

— Котлы будут?.. Не слышу вас! — кричал комендант в телефонную трубку. — Когда получать?.. Через неделю? Хорошо, хорошо... Почаще напоминайте о себе, я вами доволен.

Альсен швырнул трубку. Что дороги, что связь в этой стране — ни к черту!

Кононенко докладывал из Мелитополя, что котлы занаряжены, остались формальности, через неделю отгрузят на ближнюю станцию. Теперь думай, как их оттуда

доставить... Столько событий за последние дни — голова идет кругом.

За окном синели сумерки. В вечерней тишине было слышно, как где-то на краю улицы зашелся криком ребенок, женский голос ласково утешал: «Ну-ну, маленькая, не плачь, сейчас тебя мама накормит, не плачь...»

Гауптман шагнул к окну, чтобы закрыть плотнее, однако новые звуки, народившиеся где-то в другой стороне села, заставили его насторожиться.

Так он и стоял, наполовину высунувшись в окно, когда к воротам усадьбы в сопровождении двух вооруженных пулеметами мотоциклов подкатил черный «мерседес». Из него вышел приземистый упитанный офицер, которого Альсен узнал бы и в потемках. При других обстоятельствах знакомство с оберштурмбанфюрером СС Гуго Эрлихом могло бы польстить его самолюбию, но сейчас этот визит не предвещал ничего хорошего. Эрлих был влиятельной особой в сферах так называемой «новой волны» офицерства. Поговаривали, что карьеру он начинал вместе с всесильным Кальтенбруннером.

Комендант поспешил обрядиться в мундир, пальцы отказывались застегивать пуговицы.

Эрлих вошел без стука, отстранив Ганса, который замешкался доложить шефу о прибытии высокого гостя.

— Хайль Гитлер!

— Хайль!.. Рад вас видеть, герр оберштурмбанфюрер, у себя в гостях. Давненько... Проходите, садитесь. Вы верны своей привычке появляться неожиданно, об этом уже ходят легенды...

Эрлих поморщился.

— Как настроение? — сухо спросил он.— Пошел ли в рост ваш сад? Слышал, что вы большой любитель цветов.

— Благодарю вас, — Альсен расплылся в улыбке. Осведомленность гостя и льстила ему, и настораживала. — Я и в самом деле обожаю цветы, охотно уделяю им свободное время.

— Не чувствуете ли вы избыток свободного времени, господин комендант?

Эрлих ходил по комнате, заложив руки за спину.

— Смею заверить, герр оберштурмбанфюрер, дела в моем районе идут неплохо. Уборочную заканчиваю, хлеб ежедневно вывозится на элеватор.

Эрлих подошел вплотную к Альсену, слегка склонив перед ним голову, будто собираясь поблагодарить за хорошую службу.

— А сегодня куда вы его вывезли? В болото?

Альсен побледнел.

— Я вас не понимаю.

— Надо быть идиотом, чтобы отправить на станцию десять тонн зерна, не снабдив ценный эшелон охраной! — оберштурмбанфюрер взорвался руганью. — Редкий случай беспечности! Я удивляюсь тому, что они вас лично, господин Альсен, не затолкали в мешок, чтобы свалить в болото. Полагаю, это было бы им совсем нетрудно.

— Но... позвольте возразить: партизан во вверенной мне округе нет!

— Полно вам, господин капитан! — проворчал Эрлих, опускаясь в кресло. — Вы слишком самонадеянны! Мои люди только что развязали фурманов. Займетесь ими после. Да и я помогу... Прикажите зажечь свет. Между прочим, нет ли у вас чем прочистить горло? В дороге такая пылища...

Альсен позвал денщика.

— Могу, господин оберштурмбанфюрер, предложить коктейль собственного приготовления. Чего-то более приличного в этой глуши, как говорят, днем с огнем...

Выпили.

— Оригинальный букет, — похвалил Эрлих. — Запишите мне рецепт...

Пока гость плескался в сенях под рукомойником, Альсен лихорадочно обдумывал, как себя вести дальше. Первое: осторожно выведать, зачем он приехал. Второе: что он знает о событиях в районе, кроме злополучных подвод с хлебом? Третье: чем объяснить свою просьбу перевести в другой район? Впрочем, это необязательно. Такой вопрос не в его компетенции.

Ганс проворно накрыл на стол.

«Неужели гроза миновала?» — подумал Бруно Альсен, подсовывая гостю шкатулку с сигарами.

— Помните Литке? — продолжал тем временем Эрлих.— Вы докладывали о нем прошлой осенью. Немец, потомок бывших колонистов, коммунист. Пойман наконец. В Азовске.

— Так близко? А знаете, я хотел его на свою сторону перетянуть.

— Задумано было неплохо.

— И что вы с ним сделали?

Оберштурмбанфюрер захохотал.

— Что сделали? Не советую вам когда-нибудь оказаться на его месте. Упрямым оказался.

Глаза Эрлиха гневно блеснули, и Альсен почувствовал, как побежали по спине мурашки.

— Удивляюсь, господин оберштурмбанфюрер, вашей осведомленности. Буквально поражен! — сказал он, желая польстить собеседнику. — Откуда вам известны такие подробности о моем районе?

— Не будьте наивным, гауптман,— Эрлих пыхнул дымом сигары. Круглое лицо его не скрывало самодовольства. — Конечно же я не провидец. Кругом свои люди. Все просто, не правда ли?

— Просто,— согласился Альсен, вяло двигая вилкой и ножом.— Хотя люди эти иногда не очень-то и скрывают связи с вами. Я, например, знаю одного. Не он ли информирует вас? Его, правда, давно что-то не видно, но, возможно, так и полагается?

Эрлих вопросительно поднял брови.

— Бугров, Гнат Петрович Бугров... Разве вам это имя ни о чем не говорит? Но он представился с пропуском от вашего имени. Вас что-то удивляет в моих словах?

Оберштурмбанфюрер задумался. Бугров? Из прямых осведомителей человека с таким именем он не помнил. Впрочем, агентурой занимается его заместитель.

— Где вы встречались с этим Бугровым? Когда?

Это уже было похоже на допрос, однако Альсен торжествовал. Он охотно рассказал о своей встрече с Бугровым, о беседе, которая произошла между ними.

Оберштурмбанфюрер выкатился из кресла, будто обожженный догадкой.

— Вы сделали мне важную услугу, гауптман, а я умею быть благодарным, смею заверить. Быть может, этот Бугров и есть та самая крупная птица, присутствие которой в Таврии я в последнее время замечаю на каждом шагу! Вполне возможно, что и взрыв на элеваторе — дело его рук. Так, так. Интересно, очень интересно... А теперь займемся, господин комендант, нашими возчиками зерна.

— Вы хотите их расстрелять?

— Успеется. Для начала мы сожжем их хаты.

36

Осень сеет дождь через густое сито. Не дождь уже, а водяная пыль. Ветер швыряет ее в лицо, закручивает в какие-то немыслимые вихри, раскачивает деревья, срывает с них последнюю одежду. Листья устилают заплаканную землю невеселым ковром.

Два страшных слова ползут от хаты к хате по улицам Черной Криницы:

— Вербовка в Германию!

Сорок молодых криничан последние дни ходили по родному селу. Сорок заплаканных матерей собирали им котомки в дорогу, откуда, быть может, нет возврата. И как бы ни расписывал прелести жизни в фатерлянде Бруно Альсен, материнских слез от таких россказней не убывало. Оплакивали сыновей и дочерей без надежды на встречу.

Забирают в Германию,
прощевайте, мама!
В чужедальней сторонушке
обольюсь слезами...

Таня Гречко вернулась из больницы с тяжким сердцем. Викентий Остапович, старый доктор, которого вот уже тридцать с лишним лет знает вся Криница, сегодня сказал ей:

— Я очень сожалею, Татьяна Федоровна, что вас забирают в Германию. Руки у вас настоящей сестры милосердия.— Он снял очки, покрутил их и снова водрузил на нос.— Постарайтесь сберечь себя. Кончится война — непременно идите учиться на медика.

— Вы, Викентий Остапович, преувеличиваете мои способности, честное слово! — смутилась Таня.

Доктор развел руками.

— Не скажите, голубушка, не скажите. За семьдесят лет я научился разбираться в людях. Буду просить коменданта, возможно, не тронут вас.

— Учиться... — Уже в дверях Таня остановилась. — До учения ли, когда на свете такое творится?

Доктор опустил морщинистые руки на ее плечи, ласково заглянул в глаза.

— Милая девушка, вот такие, как вы, и спасают бойцов. Ваши ровесницы, а случается, и помоложе.

Таня поняла, что настал момент сказать главное:

— Викентий Остапович, мне... нужны медикаменты. Много разных лекарств, бинты, марля. Я, извините, иногда воровала у вас...— Таня покраснела. — Но совсем немножко! Прошу вас, вы такой человечный, добрый, я верю вам, как отцу. Скажите: сможете вы нас выручить?

Доктор, склонив голову, долго протирал платком очки, затем часто-часто заморгал, словно что-то влетело ему в глаз.

— Таня... Татьяна Федоровна, все, что у меня есть... Старые, знаете, запасы, довоенные. Я прятал их, чтобы немцы не забрали. Естественно, оставить больницу без средств первой помощи я не имею права, здесь тоже люди, но если нужно поделиться...

— Спасибо, спасибо, Викентий Остапович! — подпрыгнула, как ребенок, Таня.— Как вы все понимаете!

Доктор смотрел в нежное лицо своей юной помощницы и согласно покачивал головой.

— В восемнадцатом, голубушка, когда немцы впервые пришли на Украину, я уже был врачом...

Таня заторопилась к Маковею, чтобы сказать ему, что удалось договориться о медикаментах, обещанных Логвиненко, а Викентий Остапович долго смотрел вслед ей через окно. Очень уж и наивной и доверчивой казалась ему Таня в эту минуту. И в то же время не мог не поразиться ее выдержке. «Семнадцать лет... Ее угоняют в полон, на каторгу. Дорог туда много, а назад отыщется ли хотя бы узенькая тропа?.. Но не отчаивается, не льет напрасных слез, не клянет судьбу свою, а думает о других. О тех, кто принесет ей и тысячам таких избавление... Сильная девушка!»

Старенький Викентий Остапович ошибался — были и слезы, и отчаяние, когда Тане принесли из управы повестку.

Подпольный комитет решил: Маруся Тютюнник и Таня Гречко ночью покинут село. В дальнем хуторе Чапли проживала Марусина родственница. Пересидят это тревожное время у нее, а там видно будет.

Девчата уже собирались так и поступить, как вдруг комендантский приказ: за уклонение от вербовки наказаны будут родители.

— Никуда не пойду,— заявила Таня. — Не сердись, Маруся, у тебя нет родных... Спасай хотя бы себя.

— Заберут же, в самое пекло угонят! В неволе сгниешь! — уговаривала Маруся.— О чем ты думаешь?

— О матери думаю. Замучают — как тогда мне жить на свете?

Ночью и попрощались. Был при этом Василь Маковей.

— Коли так,— сказал он Тане,— то и я с тобой. Что бы там ни было, а вместе.

Таня бросилась ему на шею.

— Любимый мой, единственный... Хочешь, сейчас пойдем ко мне, хочешь? Мама поймет, она знаешь у меня какая? Пошли...

Василь опьянел от этих слов. Но все же хватило сил отвести девичьи руки. Глухо сказал:

— Танюша, милая, опомнись!

— На все согласна, на все,— горячо шептала девушка.— Но в Германию, будь она проклята, ты не поедешь, не имеешь права. Ты кто? Ты не просто Маковей, ты — секретарь райкома...

Подпольная группа обдумывала план новой диверсии на заводе. Илья Лукич предлагал на этот раз поджечь машинное отделение. Вариант казался не очень рискованным. Но тут приехал «чумак» с солью, забрал медикаменты, передал привет от Вани Климчука и приказ Бугрова на время отложить операцию. После расправы Эрлиха над возчиками Гнат Петрович считал необходимым какое-то время выждать.

И вдруг вербовка в Германию! Кажется, впервые в жизни сердце и разум Василия Маковея не поладили между собой. Переживал за Таню. Там, на чужбине, кто вздумает, тот и обидит девушку, защитить некому. Был бы рядом... А разум восставал, разум не мирился. Бросить подполье, лишь бы не разлучаться с любимой... А как же командиры и бойцы Красной Армии?.. Стой, Маковей, такие сомнения могут завести далеко. Заведут — не выведут.

37

До станции «вербованных» должны были везти на подводах. Рядом с кучерами сидели вооруженные полицаи. Альсен опасался, как бы люди не разбежались по дороге. Около управы, где был назначен сбор, навзрыд плакали женщины.

Полицаи делали вид, что ничего не слышат, переговаривались между собой. Лишь Смола гарцевал в седле, ругался сквозь зубы.

Таня гладила дрожащие плечи матери, беспомощно повторяя одни и те же слова:

— Не плачьте, мама. Ну, какая же вы... Вернусь домой, а то и сбегу по дороге... Не плачьте.

Василь и Таня, впервые никого не стыдясь, обнялись среди белого дня и долго стояли так, не сводя глаз друг с друга.

— Не грусти, милый. Мы и там не сложим рук, комсомольское слово! — шептала Таня.— Как приедем — сразу подам весточку...

— Я тебя очень люблю, — говорил Василь, улыбаясь вымученной улыбкой. — Ты для меня все теперь, понимаешь? Держись, Танюша, несмотря ни на что, держись. Мы еще встретимся под чисто выметенным небом. Помнишь? . .

Слышала его Таня или не слышала, все поплыло куда-то и исчезло: стонущая от боли толпа, причитания матерей, выкрики полицаев, охрипшая гармошка в пьяных руках какого-то юнца. . . Видела лишь глаза Василя и невыразимую муку в тех глазах.

— Са-адись! — хлестнуло, как кнутом.

Толпа всколыхнулась, еще сильнее всплеснулся гомон, люди окружили подводы, как море — островки.

Германия, Германия —
Чужая сторона. . .

Дернулись кони, заскрипели колеса. Зарыдали женщины, побежали следом, вздохнула в последний раз гармошка.

Василь махал кубанкой... Уехала... Неужели навсегда? . .

Вот уже на протяжении недели каждую ночь кто-нибудь из подпольщиков дежурит в овчарне, «чумак» предупредил, что должен прибыть Бугров. Василь где-то в степи, на водокачке. Там приемник и типография райкома. Матюша ни разу там не был, далековато, на одной ноге не доберешься, разве что занять у Альсена тачанку? Невесело усмехнулся своим мыслям. Посмотрел на Марусину хату, нахмурился. Давно не светятся окна — как пошла в Чапли, так и ни звука. Не случилась ли беда какая?

Раньше, бывало, заходил братишку проведать. Юный Калина жил тогда у Маруси. . .

— Спит?

— Читает на печке книжку.

— Это хорошо. Дай, думаю, загляну, как он тут.

Не хитри, Матвей, признайся хоть себе, не малого хлопца хотел ты видеть, разве не так? Пусть так, а что делать, если живу как стрелка компаса, нацеленная на ее хату. И смех и грех. Однако никому об этом не узнать, моя забота. . .

Маруся слегка похудела, но стала будто еще красивей. Под глазами залегли тени, между бровями прорезалась морщинка.

— В среду собрание в Грицковом сарае. Павла в комсомол будем принимать. Не забудешь? В среду.

— Как это я забуду?

— А в Калиновке — слышала? — старосту прибили. Скотина был распоследняя. Двух комсомольцев выдал. Вот и допрыгался. Дают и там ребята сдачи, а? Василь хочет послать тебя на связь.

— Правда, Матюшка? — обрадовалась Маруся. — Пошлите. Вот бы сообща...

— В среду и решим.

— Ну, иди уже, иди, — сказала тихо. — Еще увидит кто-нибудь, такого наговорят...

— Верно, это ты верно заметила,— заторопился Матюша. — Здоровья тебе! Спокойной ночи!

Пошел тогда от нее взволнованный. «Такого наговорят...» Даже в шутку высказанная мысль о том, что могло бы случиться между ними, делала его счастливым.

...Углубившись в воспоминания, Матюша шел напрямик к овчарне за выгоном, забыв об осторожности. Что-то хрустнуло позади, будто провалился под ногой мохнатый ледок. Замер, прислушался. Тишина. Наверное, показалось. Да и кто там будет лазать в такую погоду! Двинулся дальше. Не видел, что следом крадутся две фигуры...

...Полицаи подкрадывались к овчарне уверенные, что оттуда нет пути для скрытого отхода. Двери одни, собственно не двери, а широкий проем без притолок, а через окна с деревянными решетками не полезешь — слишком малы.

— Эй, кто там! Вы окружены! Руки вверх и выходи по одному!

Ночная степь далеко разнесла эхо.

Если бы Смола выждал еще минуту, мог бы схватить голыми руками и Матвея, и Бугрова — они как раз собирались уходить.

— Влипли, — прошептал Матюша. — Полиция. Держитесь, Гнат Петрович, глухой стены, подальше от окон...

— Вы что там — язык проглотили? — не терпелось Смоле. — Выходи, а то стрелять начнем!

Матюша извлек из-под обломков кирпича пистолет, затем гранаты.

— У меня тут кое-что припрятано на случай. Братанов подарок... Вот и пригодился.

— Подожди, надо выработать какой-то план.— Голос Бугрова был, как ни странно, спокоен, будто за выщер-

бленными глиняными стенами не ожидала смерть. По крайней мере таким он показался Матвею.

Сам же Гнат Петрович с грустью думал, что это тот самый случай, которого рано или поздно следовало ждать. Беспрерывные хождения от села к селу измотали его. Особенно усложнилась жизнь, когда за ним начал гоняться Эрлих. Документы с подделанной подписью оберштурмбанфюрера пришлось уничтожить. Оружия он с собой не носил, это не раз выручало его при случайных облавах и обысках, зато теперь. . .

— Какой здесь может быть план! — вздохнул Матюша. — Отдать подороже жизнь, вот и весь план.

В проем дверей бросились сразу трое. Матюша швырнул им под ноги гранату.

— Ну, кто там еще смелый? — закричал он. — Смола! Иди, шкура, поближе. Для тебя припасена противотанковая.

В ответ послышалась отборная ругань.

— Не теряйте время, Гнат Петрович, слышите? Я все равно далеко не уйду на деревяшке, а вы. . . За вас отвечаю перед подпольем, перед всей партией, если угодно.

И столько строгости и убежденности было в этих словах, что Бугров молча обнял Матвея и побежал к глухой стене.

Камыш и в самом деле ломался легко, но трещал так, что, если за стеной кто-нибудь оказался бы, на удачу с побегом нечего и надеяться. Лез, ожидая каждый миг пули или удара прикладом. Спрыгнул на землю, упал. Вокруг ни души. Пополз в темноту.

— Прощай, отважный юноша. . . Прощай.

— Вперед! — орал Смола. — Вперед, сучьи сыны!

Начальнику полиции не хотелось отдавать добычу немцам, делить с ними славу.

Тучи расступились, в прореху заглянул месяц, бросил голубоватые лучи и в решетчатые окна. Матюша стоял на одной ноге, опершись культей на кирпич, размахнулся деревяшкой.

— Подходите, гады!

В расстегнутом донизу ватнике, без шапки, он был страшен, как призрак в лунном свете.

— Живым, живым брать! — орал Смола.— Патрончиков нет, комсомолия? Га-га-га! . .

Блестели фонарики, черные тени приближались осторожно, выставив впереди себя карабины, боялись окованной железом деревяшки.

Смола не выдержал, грязно ругаясь, подбежал:

— Где второй? Ищите!..

Сноп желтого пламени возник в руках Матвея Супруна, словно последний всполох сердца...

Всю ночь Василь Маковей не вылезал из колодца затерянной в степи водокачки. Замерз, стучал зубами. При свете коптилки, напрягая глаза, записывал сведения для очередной листовки.

В ушах еще до сих пор звучал голос Левитана. Трижды за день сообщалось об окружении армии Паулюса под Сталинградом.

— Ура-а-а! — вне себя от радости закричал Василь, широко раскинув руки, будто хотел обнять весь мир. — Победа, товарищи! Побе-е-да-а!

В ответ ему торжествующе гудел тесный свод. Голос метался в нем, стонал, будто живое существо в железных путах, лишенное возможности вырваться на свободу.

Маковей прикусил язык. С ума сошел? Кто-нибудь случайно будет проезжать поблизости и услышит. Выбрался по ступенькам наверх — темно, хоть глаз выколи. Хотелось крикнуть над степью о победе, пусть знают облака и птицы, каждая былинка пусть радуется...

Около скирды Василь навеял пшеницы, бросил котомку через плечо. Теперь многие ходили в поле к скирде, собирать по горсточке, по зернышку на лепешки. Не зря он, Маковей, возился с решетками на комбайне.

Голенища сапог набиты листовками. Пусть бы их было вдвое больше, в сто раз — донес бы! То были первые вестники большой победы.

На дороге замаячила легкая фигурка. Кто-то из ребят торопится на хлебный промысел. Василь вздохнул: голодной будет зима.

— Григорий Тихонович! — обрадованно окликнул он путника. — Куда это ты вырядился? В какие дали? Котомка, корзинка... А компас прихватил?

— В Чапли. Может, Марусю разыщу,— угрюмо ответил Грицко.

— Кто тебе сказал, что она в Чаплях? — удивился Маковей. — А почему плачешь?

Грицко подбежал, уткнулся ему в кожушок:

— Убили... Уб-били его...

— Кого убили? Кого?

— Матюшу, — всхлипнул Грицко. — Подстерегли и убили... Нет теперь никого у меня. И мамка умерла, и Матюшку убили...

Василь стоял ошеломленный, прижав к себе Грицкову голову в заячьей шапке, молчал.

Неожиданно Грицко схватил Маковея за локоть, потащил за собой в кусты. По дороге катилась бедарка.

— Ковбык. Вот кого я ненавижу! Нет, не пойду я в Чапли, пока не сживу этого гада со света...

Василь удивился словам Грицка. Неужели это тот самый мальчонка, для которого совсем недавно самым большим горем было потерять двух турманов? Рядом с ним стоял худенький подросток в длинном пальто, старых валенках и заячьей шапке, однако в голосе его так мало оставалось детского.

— Огонь закаляет сталь, а война — сердце, — тихо произнес Маковей. — Пошли домой, будешь мне за брата... А там отец вернется. Не грусти, Калинка, наши под Сталинградом окружили немецкую армию. Понимаешь, братуха, целую армию!

— Правда? Откуда знаешь?

И затаился Грицко, испугался, что Василь спросит: «А борода у тебя растет?»

Но Василь не стал спрашивать о бороде.

— Приемник слушал. А собрал его нам Матюша. Завтра утром все село будет знать о победе. Это большая радость людям. Если... если ты мне поможешь.

Ни словом, ни жестом не выдал маленький Калина своего восторга, хотя и заколотилось сердце. Только спросил:

— Что я должен сделать? Говори!

Снег был уже такой густой, что слипался в воздухе и падал комками. Не видно ни земли, ни неба, ни горизонта.

Следы вели к Черной Кринице, туча быстро засевала их, они шли дальше — туча гналась до самого села.

А может, она и не преследовала Василя и Грицка, которые протаптывали тропинку в глубоком снегу, быть может, наоборот, она была им помощницей...

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Дмитриевич Залата

Далеко в Арденнах
Пламя в степи

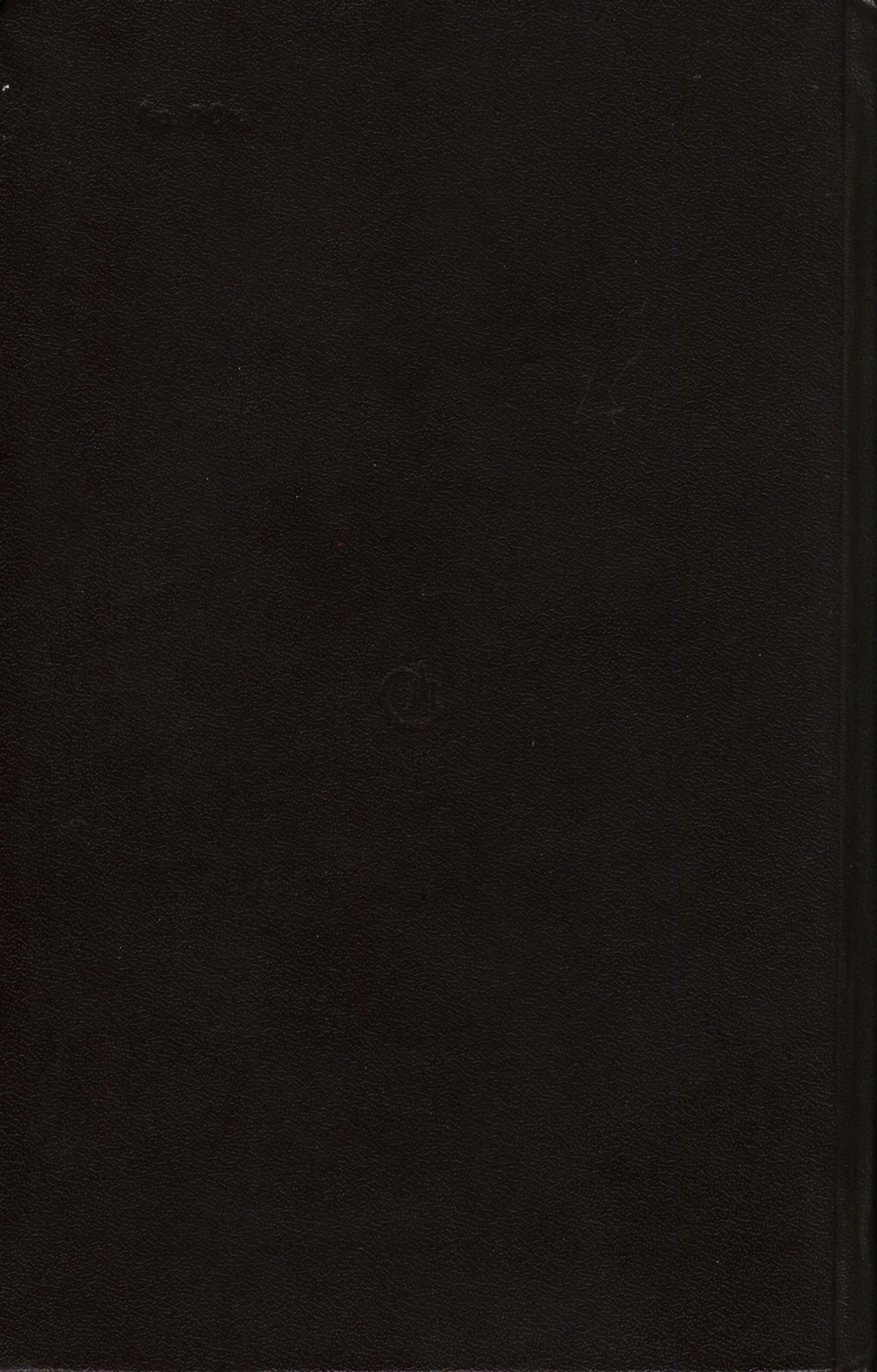
М., «Советский писатель», 1984, 448 стр.
План выпуска 1985 г. № 352

Редактор *В. И. Золотухин.* Худож. редактор *А. С. Томилин*
Техн. редакторы *Г. В. Белькова* и *С. Л. Шереметьева*
Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 4638.
Сдано в набор 03.04.84. Подписано к печати 30.08.84. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 23,52. Уч.-изд. л. 25,12. Тираж 100 000 экз. Заказ № 218. Цена 1 р. 90 к. Издательство «Советский писатель». 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.








Леонид Залата
40 лет победы